
К ЮБИЛЕЮ А. И. ГЕРЦЕНА

Н. Н. РОДИГИНА, Т. А. САБУРОВА

«ВПЕРЕД К ГЕРЦЕНУ»

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ А. И. ГЕРЦЕНА В МЕМУАРАХ РУССКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ XIX в.

Статья посвящена образу А. И. Герцена в мемуарном наследии русских интеллектуалов. В статье раскрыта связь представлений о Герцене с формированием идентичностей русской интеллигенции, становлением ее мифологии.

Ключевые слова: *репрезентации, интеллектуалы, идентичность, мемуары.*

«Не много русских писателей, о которых было бы высказано столько противоречивых мнений, сколько о Герцене... Для одних – это тип русского Гамлета, для других боец; то крайний идеалист, почти Дон-Кихот, то безнадежный пессимист; то вечно ищущий бога тип Ивана Карамазова, то сухой рассудочный атеист... Одни ужасаются его социализму, другие находят, что социалистом он мог быть разве что по имени только; видят в его взглядах на Россию только своеобразную форму славянофильства, считают их началом развивающегося и живучего донныне социалистического народничества», – такими словами начинается монография о Герцене, написанная в начале XX в. историком русской общественной мысли В. Е. Чешихиным¹. История конструирования и бытования образа Герцена в русской культуре XIX в. наглядно подтверждает приведенное наблюдение одного из первых биографов известного русского писателя, публициста, общественного деятеля.

Мы исходим из того, что репрезентации Герцена в общественном сознании его современников и культурной памяти ближайших потомков в большей степени зависели от их мировоззренческих пристрастий, чем от реальных характеристик его личности, жизни и деятельности. Мифологизация Герцена способствовала формированию идентичностей (идеологической, национальной, поколенческой и др.) русской интеллигенции, созданию ее системы ценностей, фигур и мест памяти.

Данная статья посвящена выяснению связи образа Герцена в русской мемуарной литературе XIX в. с процессом формирования социальных идентичностей русских интеллектуалов. Путем выявления слов-

¹ *Ветринский [Чешихин]. 1908. С. V–VI.*

маркеров, метафор, литературных героев и исторических личностей, с которыми отождествлялся или сравнивался Герцен, мы стремимся выявить приемы мемуарного повествования, при помощи которых русские интеллектуалы создавали одного из своих героев/антигероев.

Основным объектом анализа стали мемуары нескольких поколений русских интеллектуалов, начиная с 1830–1840-х гг. и заканчивая поколением 1880-х гг. Группировка мемуарной литературы по принципу поколенческой принадлежности ее авторов позволяет, с нашей точки зрения, не только увидеть этапы «моды на Герцена» у читающей России, но и показать сложно уловимое влияние социокультурных, идейных, политических характеристик и «вызовов» того или иного периода на содержание представлений об А. И. Герцене.

Отношение современников к Герцену – сюжет не новый как для отечественной историографии, так и для литературоведения, философии. Однако специфика мемуарного письма XIX в. «о Герцене» еще не была предметом самостоятельного изучения. Из внушительного перечня научных исследований о Герцене упомянем лишь о тех, которые послужили отправной точкой для наших рассуждений. З. П. Базилева в монографии, посвященной «Колоколу», анализируя реакцию русской периодической печати начала XX в. на 50-летие начала издания «Колокола» (1907 г.) и 100-летие со дня рождения Герцена (1912 г.), делает краткую, но очень важную для нас ремарку о том, что и «кадеты, и народники, и мирнообновленцы старались придать деятельности Герцена и его журналу свою окраску»².

М. К. Перкаль подробно охарактеризовал реакцию русской легальной прессы на смерть Герцена, показал влияние цензуры на судьбу литературного наследия Герцена в России и на содержание публикаций периодической печати 1870-х гг. о жизни и деятельности Герцена³. Собранный им фактический материал дает основания для сравнения репрезентаций Герцена в периодической печати и мемуарной литературе, позволяет судить о возможном влиянии прессы разной идеологической направленности на формирование представлений о Герцене.

Об экстравагантной «моды на Герцена» русского общества, «привыкшего к цивильным и военным мундирам», упоминал В. А. Туманов, связывая ее окончание с «закрытием либерального сезона и вступлением общества и литературы в новую, “фискальную” фазу развития», когда многие из посетителей лондонского изгнанника превратились в

² Базилева. 1949. С. 6.

³ Перкаль. 1986. С. 108–126.

обскурантов и гонителей Герцена⁴. Монографии В. А. Туманинова, И. В. Пороха, статьи И. П. Видуэцкой, Е. Г. Бушканец, Е. А. Смирновой, Н. Я. Эйдельмана и др. содержат ценную информацию об оценках личности и творчества Герцена известными русскими писателями и литературными критиками, раскрывают биографический контекст отношений нашего героя с русской интеллектуальной элитой⁵. Для выявления социокультурного, идеологического, эстетического, биографического контекста формирования мемуарного дискурса мы обращались к многочисленным работам, посвященным жизни и творчеству Герцена. Понимая их идеологическую и методологическую детерминированность и считая их важным источником изучения бытования образа Герцена в русской культуре XX столетия, мы обращали основное внимание на богатейший фактический материал, собранный нашими предшественниками, придавая второстепенное значение интерпретациям его жизни и деятельности, которые составляют предмет специального изучения⁶.

Существенным для нас являлся вопрос о степени реальной информированности русского общества о жизни и творчестве Герцена в период эмиграции. В поисках ответа на него мы обратились к работам Е. П. Федосеевой, Е. Л. Рудницкой, Н. Я. Эйдельмана, касающимся распространения герценовских изданий в России, круга их русских корреспондентов и читателей⁷. Мы учли наблюдения Л. П. Громовой о публикациях Герцена в русских легальных столичных и провинциальных периодических изданиях, о причинах кратковременной «легализации» имени и произведений «лондонского эмигранта» в 1862–1863 гг., о таких способах знакомства русской читающей публики с его идеями, как цитирование текстов его произведений без упоминания авторства или при помощи таких «прозрачных» для искушенных читателей номинаций, как «один из друзей господина Огарева» и др.⁸ Отправным для нас стало и утверждение И. Берлина о том, что идеологи всех направлений русской общественной мысли: либералы и радикалы, народники и анархисты, социалисты и коммунисты объявляли Герцена своим предтечей⁹.

Определенное влияние на замысел нашей работы оказало исследование Р. З. Хестанова, а именно та его часть, которая посвящена образам

⁴ Туманинов. 1994. С. 59–61.

⁵ См. напр.: Порох. 1963; Видуэцкая. 1963. С. 300–320; Бушканец. 1963. С. 280–292; Смирнова. 1963. С. 293–299; Эйдельман. 1979. С. 110–118 и др.

⁶ См. напр.: Володин. 1970; Пирумова. 1989; Дрыжакова. 1999 и др.

⁷ Федосеева. 1956; Эйдельман. 1963, 1984 и др.

⁸ Громова. 1994. С. 92–103.

⁹ Берлин. 2000. С. 111–142.

Герцена в русской культуре и способам их конструирования¹⁰. Посредством выявления специфических риторических приемов и ключевых метафор повествования о Герцене автор выделяет несколько, с его точки зрения, наиболее популярных и влиятельных моделей интерпретации жизни и творческого наследия Герцена. Одна из них, почвенническая, националистическая относится к интересующему нас периоду. По мнению Хестанова, смерть Герцена разделила почвенников на две группы. Часть их (например, Н. Н. Страхов) активно включилась в борьбу за герценовское наследие, считая, что его можно привлечь для борьбы с современным нигилизмом и западноевропейскими влияниями. Герцен описывался ими как «свой», но утративший веру отщепенец, что подтверждалось его западничеством, нигилизмом, атеизмом, эмиграцией в Европу. Эта группа почвенников для создания образа Герцена активно использовала патриархальную риторику семьи, рода, племени. Так, для Страхова, младшего современника Герцена, была характерна риторика отца, призванного, с одной стороны, репрезентировать сплывающую род волю и справедливость, с другой, оправдать «блудного сына» перед лицом охранительных обвинений в «преступных увлечениях», в «измене русскому народу», в «пагубном влиянии на молодежь»¹¹. Исходя из такой установки, «отчаявшийся западник» и «нигилист» Герцен превращен Страховым в русский народный культурно-исторический тип. Другая группа почвенников, к которой Хестанов относит В. В. Розанова, Ф. М. Достоевского, считала, что русское культурное наследие следует защищать от несправедливых претензий и агрессивных нападок нигилистов, вроде Герцена. Интерпретируя Герцена, они опирались на риторику обиды и зависти к бурному прошлому покаявшегося брата и стремились показать несостоятельность братской перспективы¹².

Для того, чтобы проследить эволюцию образа Герцена, понять, какие интерпретационные парадигмы закрепились в культурной памяти русского образованного общества, мы обращались к исследованиям, посвященным бытованию образа Герцена в XX в.

Символическое значение Герцена для конструирования интеллектуального пространства первых послереволюционных лет на примере творчества Г. Г. Шпета демонстрирует В. М. Живов¹³. Особенно важен его тезис о том, что для части русских интеллектуалов 1910–1920-х гг.

¹⁰ Хестанов. 2001.

¹¹ Там же. С. 27.

¹² Там же. С. 18–19.

¹³ Живов. 2005. С. 166–174.

Герцен являлся воплощением гуманистических ценностей, противостоявших как традициям русского консерватизма, так и утопизму русской религиозной философии и антииндивидуализму строителей «нового мира». В этом контексте сочинение Шпета о Герцене рассматривается как вариант нарратива, альтернативного марксистской интерпретации Герцена – «отца» революционного движения. Суть шпетовского нарратива Живов видит в констатации секулярного, антиутопического характера герценовской философии, декларировавшей свободу личности и возвращавшей интеллектуальную свободу тому поколению русских мыслителей, которое определяло свои мировоззренческие приоритеты, отрекаясь от «ренегатства» «Вех» и от революционной риторики.

Интересными представляются выводы И. Паперно о том, что для мемуаристов советской эпохи «Былое и думы» были основополагающим текстом интеллигентской культуры, так как они закрепляли формы повседневной и эмоциональной жизни поколения людей, рожденного в 1812 г., пережившего события 1825 и 1848 гг., связанного ощущением исторической, социальной, политической и апокалиптической значимости интимной жизни, разделенной с кругом «своих». Посредством чтения люди XX в. приобщались к жизни, описанной Герценом, как за счет отождествления себя с ним и его окружением, так и за счет воспроизведения подобных социально-эмоциональных парадигм на материале собственной жизни, в советских условиях¹⁴. Предпринятый И. Паперно анализ автобиографических текстов советских интеллектуалов наглядно свидетельствует о том, что образ Герцена сохранил свое идентификационное значение для русской интеллигенции XX столетия, а многочисленные «штудии» и научные работы о Герцене постсоветского времени свидетельствуют о преемственности стремления отечественных гуманитариев создавать «своего» Герцена. Впрочем, это стремление характерно не только для наших соотечественников. Примечательны в этом смысле слова английской исследовательницы А. Келли, соотносящей Герцена с либеральной традицией русской общественной мысли:

Сейчас, когда Россия вновь стоит перед выбором, на перепутье расходящихся в разные стороны дорог, мы различаем его отголоски. Эхо Герцена слышится в голосах тех, кто предостерегает нас от “единственно правильного пути”, куда бы тот ни вел – в славянофильскую утопию или рай свободного рынка; тех, кто убежден, что сложные и противоречивые устремления современных россиян могут наилучшим образом осуществиться благодаря некому эклектическому слиянию русских общинных традиций с западными идеалами личной свободы¹⁵.

¹⁴ Паперно. 2004.

¹⁵ Келли. 2002.

Герцен стал одной из знаковых фигур в процессе формирования идентичности русской интеллигенции. Создавая образ Герцена в мемуарах, представители русского образованного общества тем самым конструировали и обобщенный образ интеллигента, который становился основой для идентификации социокультурной группы, пытающейся определить свое место в российском обществе второй половины XIX в. Трудности идентификационных исканий, обусловленные традиционной формальной сословной структурой русского общества, созданной властью, отсутствие в этом случае европейских образцов идентификации, подкрепляли складывающиеся представления об уникальности русской интеллигенции как группы, подталкивали к формированию и закреплению идентичности через персональные образы, в которых должны были отразиться базовые черты интеллигенции. Интеллигенция создавала свой язык, свою мифологию, своих героев, что позволяло представителям русского образованного общества совершать идентификационный выбор и являлось средством групповой консолидации.

Обращаясь к характеристике Герцена, авторы воспоминаний об эпохе 1830–1840-х гг. подчеркивали его высокий интеллектуальный уровень, блестящий ум. И. И. Панаев писал: «С блестящими способностями, с пытливым умом, жаждавшим знания и не останавливавшимся ни перед какими преградами преданий, взращенный на французской литературе XVIII в., пылкий и остроумный, Искандер скоро обратил на себя внимание всей мыслящей Москвы»¹⁶. У П. В. Анненкова встречаем такие повторяющиеся слова-репрезентанты: «необычайно подвижный ум», «непокорный и неуживчивый ум», «стойкий, гордый, энергический ум», «безоглядная расточительность ума». Герцен воплощал в себе качества русского интеллектуала, критически мыслящего, стремящегося к новому знанию. Сам Герцен писал, что «отличительная черта нашей эпохи есть grubeln»¹⁷. Причем, критический ум не позволял представителю интеллигенции мириться с несовершенством жизни общества, что вызывало критику социальной действительности, выявление недостатков и борьбу с ними. Вновь сошлемся на Анненкова: «Герцен... как будто родился с критическими наклонностями ума, с качествами обличителя и преследователя темных сторон существования»¹⁸.

В 1830–40-х гг. интеллектуальная жизнь русского общества была сосредоточена в кружках и литературных салонах, где кипели споры за-

¹⁶ Панаев. 1956. С. 95.

¹⁷ Герцен. 1954. С. 49.

¹⁸ Анненков. 1956. С. 128.

падников и славянофилов, обсуждались пути исторического развития России, философские теории и литературные направления. Поэтому важным качеством являлись ораторские, полемические способности, которые неоднократно отмечали современники Герцена. У Анненкова: «неугасающий фейерверк речи», «умное слово, скользящее, парадоксальное, требующего напряженного внимания собеседника». В мемуарах А. Н. Пыпина: «Очень разговорчивый, мягко льющаяся речь, блестящая остроумием». А. Я. Панаева вспоминала: «Герцен сыпал остротами, точно блестящим фейерверком», «после его остроумных разговоров казалось, что все другие говорят вяло, как-то размазывают свою мысль, тогда как Герцен передавал ее всегда сжато, рельефно и блестяще; она сверкала, точно молния»¹⁹. Воспоминания Г. Н. Вырубова создают образ Герцена как неподражаемого рассказчика и идеального собеседника:

«Он не ораторствовал, не слушая партнера, как это делают многие: он, напротив того, вызывал возражения, внимательно выслушивал и с необыкновенной быстротой умел всегда облечь в изящную форму меткий ответ. Остроты, неожиданные сравнения, анекдоты, афоризмы, подчас парадоксы, расточал он в разговоре вовсе не с целью удивить или ошеломить противника, а для того, чтобы ярче и очевиднее представить то положение, которое он принимал за истину»²⁰.

Сочетание интеллекта, остроумия, умения вести полемику позволило создать образ «блестящего» Герцена, привлекавшего внимание, и соответственно имевшего возможность стать одним из героев русской интеллигенции. Метафора «блестящий» наиболее часто использовалась людьми 1830–40-х гг. при характеристике Герцена: «блестящие способности», «блестящий», «блеск и остроумие», «его блестящая речь играла и искрилась»²¹; «кипучая живость и блеск»; «Герцен, блестящий, полный огня, всегда увлекающийся в крайности, но одаренный большим художественным талантом и неистощимым остроумием»²². В связи с этим, интересно отметить сравнение Герцена с солнцем, оживляющим и меняющим все при своем приходе (Н. А. Тучкова-Огарева), а также сравнение Герцена с колокольчиком, которое в свете издания им «Колокола» выглядит особенно примечательно: «Всегда заливался и звонил, как колокольчик. В этом серебряном звоне было столько силы, блеска, ума, иронии, знаний, что он никогда не мог надоесть»²³.

¹⁹ Панаева. 1956. С. 122, 126.

²⁰ Вырубов. 1956. С. 287.

²¹ Панаев. 1956. С. 101.

²² Чичерин. 1990. С. 193.

²³ Панаев. 1956. С. 101.

Качества, которые отмечали в Герцене современники, создавали впечатление живого, подвижного, энергичного человека: «лицо одушевлено необыкновенным блеском и живостью карих остроумных глаз»²⁴, «пылкий и остроумный». В мемуарах находим такие словмаркеры как: «блестящие, живые, большие, пронизательные серые глаза», «подвижные манеры», «по живости натуры долго не мог усидеть на месте», «необыкновенную живостью характера оживлял всех». Можно предположить, что их появление связано не только с отражением индивидуальности Герцена, но и особой семантической связью понятий «жизнь» и «мысль» для русских интеллектуалов.

Образ Герцена в сознании современников порой соединялся с образом Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Сравним характеристику, данную Чацкому, с приведенными выше: «Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен. Речь его кипит умом, остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. Словом – это человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, “он чувствителен, и везел, и остер”»²⁵. И. А. Гончаров в статье «Милльон терзаний» писал:

«Много можно бы привести Чацких – являвшихся на очередной смене эпох и поколений – в борьбах за идею, за дело, за правду, за успех, за новый порядок, на всех ступенях, во всех слоях русской жизни и труда – громких, великих дел и скромных кабинетных подвигов. О многих из них хранится свежее предание, других мы видели и знали, а иные еще продолжают борьбу... Оставя политические заблуждения Герцена, где он вышел из роли нормального героя, из роли Чацкого, этого с головы до ног русского человека, – вспомним его стрелы, бросаемые в разные темные, отдаленные углы России, где они находили виноватого. В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого»²⁶.

Сравнение Герцена с Чацким отнюдь не случайно и было обусловлено не только чертами личности Герцена, но и особой ролью литературы в русском обществе XIX в., которая создавала образцы поведения, примеры для подражания, формировала общественное мнение и часто определяла восприятие эпохи. Реальные люди и герои литературных произведений настолько тесно переплелись, что Д. Н. Овсянко-Куликовский в начале XX в. написал «Историю русской интеллигенции», прослеживая изменения в общественном сознании по произведениям русской литературы, выделяя соответствующие интеллигентские

²⁴ Там же. С. 114.

²⁵ Гончаров. 1980. Т. 8. С. 24.

²⁶ Там же. С. 44.

типы. Часто и современные исследователи русской интеллигенции не отделяют ее от литературных героев.

В 1830–1840-х гг. «мысль и чувство» являлись ключевыми компонентами самоидентификации формирующейся русской интеллигенции, что не могло не отразиться на содержании образа Герцена в воспоминаниях его современников. В этом можно увидеть и результат влияния философии Просвещения, так как для просветительства XVIII в. были также характерны два художественных метода: «интеллектуальный» и «сентиментальный», которые уравнивали друг друга. В соединении мысли и чувства как двух важнейших категорий для русской интеллигенции прослеживается и влияние Вольтера, подтверждая сохранение просветительской парадигмы в сознании интеллигенции XIX в. Вспомним известные строки Вольтера: «Мы знаем достоверно, что существуем, чувствуем, мыслим». Не случайно современники Герцена называли его «Вольтером XIX столетия», «русским Вольтером»²⁷.

Итак, образ Герцена в мемуарах «замечательного поколения» 1830–40-х гг. воплотил основные качества интеллигента: критическую мысль и чувство. Для Анненкова Герцен воплощал собой тип первоклассного русского писателя и мыслителя, строгого учителя и нравственного проповедника. Мемуары запечатлели образ блестящего интеллектуала, неспособного мириться с окружающей его действительностью, искавшего выход в страстных спорах кружков, в публицистической деятельности, и вынужденного оставить Россию в поисках свободы. Вспоминая о Герцене, представители поколения 1830–40-х гг. создали блестящий автообраз своей эпохи, своего поколения, проявившего себя в насыщенной интеллектуальной деятельности и горячности чувств, несмотря на «холод» николаевского царствования. Герцен для людей 1830–40-х гг. стал той фигурой памяти, которая противопоставлялась «рассудочной» и «нигилистической» эпохе 1860-х гг. и использовалась в символической борьбе за «новые» поколения и место в сознании потомков.

Успешность закрепления в исторической памяти образа «блестящей» эпохи, представленной, в том числе, и Герценом, подтверждают мемуары следующих поколений русской интеллигенции. Для многих мемуаристов второй половины XIX в. «эпоха Герцена» стала точкой отсчета и «мерилом» собственной биографии. П. В. Быков писал:

²⁷ Образ Герцена в мемуарах современников подтверждает наблюдение В. Ф. Пустарнакова о том, что «просветительский рационализм пронизан чувствами, страстями, интересами деятелей, стремившихся к коренным преобразованиям всех сфер жизни общества». *Пустарнаков*. 2002. С. 82.

Мне посчастливилось, одаренному долголетием и родившемуся в *блестящую*, как принято считать, *эпоху нашей общественности, сороковые годы* (здесь и далее курсив наш. – Н. Р., Т. С.), застать отголоски того подъемного настроения, которым молодежь и лучшие люди этой эпохи, видевшие, прежде всего, благо страны в освобождении народа от крепостного рабства и капиталистического произвола. Тогдашняя литература, как известно, ярко отражала на себе боевой подъем, проникнутый представлением о подвиге, завещанном движением декабристов. И дышалось тогда вольно и легко пишущему человеку, несмотря на трудность материальной борьбы, тернистость пути писателя и цензурный гнет. *Эпоха эта дала нам своих лучших представителей в лице Герцена, Лаврова, Чернышевского, Грановского, Бакунина, Некрасова, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Писемского, Добролюбова, Белинского, Писарева и других*²⁸.

В числе приемов, использовавшихся мемуаристами второй половины XIX в., было сопоставление образа Герцена с типологическими характеристиками разных поколений русских интеллектуалов. Поколенческие градации истории культуры были одним из распространенных способов фиксации исторической памяти как в мемуарах, так и в публицистике и литературной критике XIX в. Определение поколенческой принадлежности Герцена отражало поколенческую, сословную и социокультурную идентичность авторов мемуарных текстов, их оценку жизни и творчества разных поколений русской интеллигенции.

Для младшего современника П. Д. Боборькина (р. 1836 г.) Герцен (р. 1812 г.) воплощал черты предшествующего (старшего) поколения русских интеллигентов, при этом 1830–40-е гг. соединялись в памяти как один период истории русской культуры. Важно, что мемуарист видел в Герцене, в отличие от И. С. Тургенева, не представителя поколения «отцов», а «старшего собрата, с такой живостью и прямою всех проявлений его ума, души, юмора, какая является только в беседе с близким единомышленником...»²⁹. В своих воспоминаниях Боборькин называл Герцена то «москвичом 1830-х гг.», то «москвичом 1840-х гг.». В очерке, посвященном русским политическим эмигрантам он пишет:

Герцен! Нет личности и фигуры в нелегальном мире русской интеллигенции более яркой и даровитой, чем этот *москвич 30-х годов*, сочетавший в себе все самые выдающиеся свойства великорусской природы... На всем моем долгом веку я не встречал русского эмигранта, который по прошествии более двадцати лет жизни на чужбине (и так полной всяких испытаний и воздействий окружающей среды) остался бы столь ярким образцом московской интеллигенции на барско-московской почве... По-французски он говорил бойко, так же как и писал; но мы и тогда находили, что он все-таки остался в своем произношении

²⁸ Быков. 1930. С. 3.

²⁹ Боборькин. 2003. С. 550.

и манере говорить *москвичом 40-х годов*, другими словами: он произносил по-французски, а думал по-русски³⁰.

В этом случае идентификация с определенной эпохой, поколением проявляет значимость и культурно-национальной идентификации, одной из «вечных» проблем русской интеллигенции. Образ Герцена позволяет утвердить мысль о «русскости» интеллигенции, национальной идентичности, заложенной еще в эпоху ее формирования. Интересно, что понятие «русский» соединялось с понятием «москвич», отражая сложившуюся традицию противопоставления Москвы и Петербурга в осмыслении национальных и европейских компонентов русской культуры. Москва являлась в общественном сознании воплощением традиционной русской культуры, национального начала – в противоположность Петербургу как воплощению начала европейского. С другой стороны, противопоставление Москвы Петербургу связано с официальным характером последнего, что выражает сравнение Н. В. Станкевича: «Москва – идея, Петербург – форма; здесь – жизнь, там движение – явление жизни; здесь – любовь и дружба, там – истинное почтение, с которым не имеют чести быть и т.д.»³¹. Причем сам Герцен внес вклад в формирование представлений о характере взаимоотношений Москвы и Петербурга. П. В. Анненков писал в своих воспоминаниях:

Когда я познакомился с Г<ерценом>, он нам читал только что написанную им известную остроумную параллель между Москвой и Петербургом. Сопоставляя упорство Москвы в сохранении всяческих, почтенных и непочтенных, своих особенностей с развязностью Петербурга, не признающего важности ни в чем на свете, кроме разве *приказания*, полученного из надлежащего источника, Г<ерцен> все-таки не мог скрыть, несмотря на все свои юмористические и саркастические выходки, жертвой которых были в равной степени обе столицы наши, своего тайного благорасположения к одной, старшей из них, – благорасположения, от которого он не освободился и в период заграничной эмиграции. Да он и не старался от него освободиться, а, напротив, как будто сбергал в себе это чувство³².

Однако вопрос о «русскости» Герцена неоднозначно решался современниками и по-разному интерпретировался его последователями и идейными врагами. Для его последователей утрированная «русскость» являлась основанием для «отсчета родства» русской интеллигенции с Герценом, а его «европейскость», «западничество» выступали свидетельством приобщенности русского образованного общества к достижениям европейской культуры и общественной мысли. Для идейных

³⁰ Там же. С. 635, 637.

³¹ Станкевич. 1982. С. 87.

³² Анненков. 1989. С. 192.

оппонентов важно было продемонстрировать «чуждость» Герцена русской жизни, его оторванность от русской культуры. Достаточно ярко миф «о русскости» Герцена воплощен в одном из очерков сибирского публициста, «шестидесятника» Н. М. Ядринцева, написанном в 1891 г.:

Здесь бывал блестящий и остроумный Г. [ерцен], представитель 40-х годов, человек с европейским воспитанием, знакомый с общественной жизнью во всех концах Европы, изъездивший ее вдоль и поперек, *человек европейских культурных влечений, но чисто русского характера*. В нем было соединение *русского барина* с привычками *европейского сибарита*, с эстетическим отношением к цивилизации. *Русская любовь* к народу была окрашена западничеством. Он изучал европейскую философию, но взял из нее только положительную сторону, что было свойством его трезвого ума, не зараженного мистицизмом и немецкими абстракциями. С едким *русским юмором* и наблюдательностью, он был склонен к сатире и сарказму, и в то же время не было человека более способного к увлечению и мечтательности. В этой натуре, чисто художественной, было сочетание *старого романтизма, нового идеализма* рядом с рефлексией, с глубоко затаенной *русской грустью* и разьедающим скептицизмом³³.

Таким образом, Герцен мог восприниматься и как тип русского европейца, воплощая европейскую культурную ориентацию русской интеллигенции. Как писал Г. Федотов:

Петровская реформа действительно вывела Россию на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу русских европейцев. Их отличает, прежде всего, свобода и широта духа – отличает их не только от москвичей, но и от настоящих западных европейцев. В течение долгого времени Европа как целое жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее. <...> Русский европеец был дома везде³⁴.

Европейцем называет Герцена в своих воспоминаниях П. Д. Боборькин: «В нем и тогда чувствовался всего более и *общечеловек* и *европеец*, который сам пережил и перестрадал все “проклятые” вопросы XIX в. и поднялся над всем тем, чем удовлетворялось большинство его сверстников»³⁵. Рассуждая о «душевном складе» Герцена, «манере говорить и держать себя в обществе», Боборькин отмечал его близость с «москвичем почти той же эпохи» К. Д. Кавелиным. Он даже утверждал, что они легко могли сойти за родных даже по наружности³⁶.

Заметим, что сравнение с другими «героями» русской общественной и литературной жизни было характерным приемом при конструировании образа Герцена в мемуарной литературе XIX в. Для Боборьки-

³³ Ядринцев. 1979. С. 229.

³⁴ Федотов. 1992. С. 178.

³⁵ Боборькин. 2003. С. 558–559.

³⁶ Там же. С. 546; 636.

на «зеркалами», в которых наиболее ярко отражались черты личности Герцена, стали образы его современников (И. С. Тургенева, Н. П. Огарева, Н. Г. Чернышевского и др.). Такие сопоставления предпринимались, чтобы показать масштаб личности Герцена, определить его значение для истории русской интеллигенции и общественной мысли:

Но и тогда, каким я находил Герцена как сына своей эпохи, как писателя и общественного деятеля второй половины XIX в., он выдержал бы сравнение с кем угодно из выдающихся людей в России и за границей, с какими меня сталкивала жизнь до той эпохи. Герцен был и тогда, в сущности, всех интереснее, блестящее и живее, горячее, отзывчивее на все крупные вопросы не одной своей родины, но и всего человечества³⁷.

Типична для мемуаристики об изучаемой эпохе фраза из «Записок революционера» П. А. Кропоткина (р. 1842 г.): «Годы 1857–1861 были, как известно, эпохой умственного пробуждения России. Все то, о чем поколение, представленное в литературе *Тургеневым, Герценом, Бакуниным, Огаревым, Толстым, Достоевским, Григоровичем, Островским и Некрасовым*, говорило шепотом, в дружеской беседе, начинало теперь проникать в печать»³⁸. В мемуаристике о второй половине 1850-х гг. Герцен наделяется статусом символа эпохи, его публицистическая и издательская деятельность интерпретировалась как симптом «нового» времени, знак перемен, происходивших в общественно-политической жизни империи. В мемуарном дискурсе об «эпохе обновления» Герцен становится фигурой памяти о начальном этапе реформирования страны для большинства мемуаристов, вне зависимости от их возраста, пола, общественно-политических симпатий. Он номинируется одновременно, как идеолог и ярчайший представитель *новых людей*.

Описывая вторую половину 1850-х гг. как начало «долголетней, смутной, горестной» эпохи, известный русский консерватор В. П. Мещерский (р. 1839 г.) писал: «Это *новое*, смешно вспомнить, был Герцен... Явился *новый страх* – Герцен; явилась новая *служебная советь* – Герцен; явился *новый идеал* – Герцен»³⁹. Ассоциативная связь периода подготовки либеральных реформ с Герценом у внука Карамзина настолько сильна, что весь этот период времени он отождествлял с Герценом, именуя «эпохой Герценовского террора»⁴⁰. Попутно заметим, что многократное повторение слова «эпоха» в текстовых фрагментах воспоминаний Мещерского, посвященных Герцену, подчеркивает, вне

³⁷ Там же. С. 558–559.

³⁸ *Кропоткин*. 1990. С. 124.

³⁹ *Мещерский*. 2003. С. 47.

⁴⁰ Там же. С. 48.

зависимости от стремлений автора, признание исторического значения «лондонского изгнанника», мифологизацию его образа, равно как и уподобление герценовской публицистики проповедям, упоминания о ее многочисленных читателях, в том числе, юнкерах, чиновниках, высокопоставленных сановниках. Герцен для убежденного консерватора Мещерского был лишь начальным звеном в числе многочисленных творцов «дерзостной крамолы». Причем, к концу 1870-х гг. Герцен уже стал «воспоминанием о чем-то детском» в сравнении с авторами многочисленных манифестов, судебных приговоров, которые разбрасывались в столице и провинции. Таким образом, Мещерский, как и его идейный оппонент – Ленин, как и многочисленные интерпретаторы ленинского наследия, включал Герцена в общую канву русского революционного движения и акцентировал преемственность этого движения.

Для либеральной и народнической молодежи 1860-х гг. имя Герцена становится *идентификационным символом их поколения*, своеобразным *паролем*, позволяющим различать «своих» и «чужих». Обратимся к воспоминаниям литературного критика А. М. Скабичевского (р. 1838 г.): «Вместо того, чтобы ухаживать за барышнями, молодые люди взапуски пустились развивать их посредством умных разговоров и чтения передовых мыслителей – русских и европейских. После первых же двух-трех приветствий у молодых людей появились уже на языке имена: Белинский, Грановский, Герцен»⁴¹. П. А. Кропоткин так вспоминал о своем юношеском преклонении перед герценовским «словом»:

А я почти с *молитвенным благоговением* глядел на напечатанный на обложке “Полярной звезды” медальон с изображением голов повешенных декабристов – Бестужева, Каховского, Пестеля, Рыльева и Муравьева-Апостола. Красота и сила творений Герцена, мощь размаха его мыслей, его глубокая любовь к России охватили меня. Я читал и перечитывал эти *страницы, блестящие умом и проникнутые глубоким чувством*. Тургенев правду сказал, что *Герцен писал слезами и кровью*, что с тех пор у нас никто так не писал⁴².

Анализ мемуаров позволяет утверждать, что чтение произведений Герцена было одним из показателей *принадлежности к субкультуре учащейся молодежи* 1850–1860-х гг. Земский статистик И. М. Красноперов, поступивший в Казанский университет в 1862 г., упоминает о том, что на собраниях популярного в студенческой среде историко-филологического кружка читали и обсуждали статьи «полузапрещенного» герценовского «Колокола»⁴³. Историк М. В. Голицын, ставший сту-

⁴¹ Скабичевский. 2001. С. 201.

⁴² Кропоткин. 1990. С. 125.

⁴³ Красноперов. 1924. С. 73.

дентом Московского университета в 1865 г., когда политическая активность студенческой молодежи пошла на спад, тем не менее, вспоминал:

Что касается до политики, то надо сказать, что эпоха моего вступления в университет была совершенно спокойною в этом отношении, но в нашей среде живы были традиции прошлого, предания о волнениях и смутах, происходивших как в самих стенах университета, так и вне их. Многое говорилось об этом между нами, многое передавалось от курса к курсу, как передавались из рук в руки запрещенные плоды – произведения Герцена и других⁴⁴.

Своеобразным показателем «разночинности» формировавшейся русской интеллигенции является различная сословная идентификация Герцена мемуаристами. Боборыкин зафиксировал двойственную сословную идентичность Герцена – «*русский барин-интеллигент*», переводя сословную идентификацию в социокультурную: «*Это барство, в лучшем культурном смысле, сейчас же чувствовалось – барство природы, образования и всей духовной повадки*»⁴⁵. Отмечалось сочетание в Герцене аристократических и демократических социокультурных характеристик: «*Тип русского человека, Герцен производил впечатление истого русского дворянина, вскормленного роскошью крепостной среды; демократ по убеждениям, он был истинным аристократом по манерам, вкусам, воспитанию*»⁴⁶. С. Д. Шереметев (р. 1844 г.), подчеркивая аристократизм Герцена, даже называл его главой «теневого» правительства, во многом определявшего реформаторскую деятельность власти:

С 1857 г. за рубежом России ударили в набат, “зову живых” – возгласили при звоне колоколов Герцена. Отныне нет тайн для подспудного правительства в Лондоне, и настоящее правительство прислушивается к этому “Колоколу”, направляется им и зачитывается им. Заслужить одобрение Герцена, удостоиться похвалы в его газете – это заветная мечта преобразователей... Герцен – человек большого ума, больших дарований. Это – сила, которую вовремя не сумели привлечь к правительству, его – по духу и приемам *аристократа*, по крови *потомка родовитого колена Яковлевых*, ирониию судьбы искусственно отброшенного в ряды врагов правительства⁴⁷.

Мемуары Шереметева указывают на то, что образ Герцена соотносился не только с русской родовой аристократией, но и с *образом власти эпохи реформ*. С одной стороны, Герцен номинировался как «властитель дум», в том числе и «команды чиновников-реформаторов», с другой – драма власти и самого Герцена в том, что он «случайно» («волей судьбы») оказался в оппозиции власти, не на «том берегу».

⁴⁴ Голицын. 1917. С. 179–180.

⁴⁵ Боборыкин. 2003. С. 546.

⁴⁶ Романович-Славятинский. 1903. С. 205–206.

⁴⁷ Шереметев. 2004. С. 145.

Поколенческая, сословная идентификация «через Герцена» тесно переплеталась с идейно-политической. Проиллюстрируем это на примере довольно типичных в этом смысле мемуаров студента столичного университета конца 1850-х – начала 1860-х гг. В. Сорокина:

Само собою разумеется, что в то наиболее *либеральное время* в жизни русского общества, характер и наших кружков (речь идет о студенческих кружках. – Н. Р., Т. С.) был по преимуществу *либеральный*. Столь популярный тогда “Колокол” Герцена, равно как и все другие заграничные издания этого писателя, читались на наших собраниях с особенным усердием и вниманием, и затем, далеко за полночь, обсуждались со всем пылом и задором молодости⁴⁸.

Примечательна рефлексия 17-летнего С. Д. Шереметева, будущего историка, по поводу своей идеологической идентификации:

Это было время появления “Что делать?” Чернышевского и “Отцов и детей” Тургенева, и тип Базарова был очень всем известен... Странное и сложное время, когда мысли и понятия еще бродили, когда молодые увлечения еще не вполне установились и чувствовали какое-то оживление либерализма... Я стоял на перепутье между *Герценом и Огаревым, подкупавшими талантом и остроумием*; Хомяковым, пленившим меня стройностью мысли и художественным своим стихом... От Хомякова переход к Константину Аксакову не труден, но когда я поддался течению и доверчиво пошел за Иваном Аксаковым, то сразу был остановлен звучащей неверной нотой: Герцен взял эту ноту в польском вопросе, И. Аксаков – в дворянском. Я был совершенно отрезвлен⁴⁹.

Заметим, что определение идейной принадлежности самого Герцена – вопрос, вызывавший наибольшие разночтения у современников и решавшийся, естественно, в зависимости от собственных убеждений мемуаристов и от времени, при характеристике которого актуализировался образ Герцена. Диапазон номинаций идеологических пристрастий Герцена достаточно широк: от либерала до революционера, от убежденного западника до сторонника русского общинного социализма.

Для поколения 1880-х гг. имя Герцена продолжало служить основанием для идентификации представителей общественного движения, интеллигенции. А. В. Тыркова-Вильямс (р. 1869 г.) отмечает, что П. Б. Струве сравнивали с Герценом, говорили, что «как “Колокол” подготавливал реформы 60-х гг., так “Освобождение” расчищает путь для реформ конституционных. Все это придавало Струве большой авторитет, создавало ему популярность»⁵⁰. Восприятие имени Герцена как символа интеллигенции подтверждают и воспоминания А. В. Амфитеатрова, относившего себя к поколению «восьмидесятников»:

⁴⁸ Сорокин. 1888. С. 619.

⁴⁹ Шереметева. 2004. С. 192.

⁵⁰ Тыркова-Вильямс. 1998. С. 350.

Есть имена, сами за себя говорящие, настолько выразительно, что прибавление к ним какого бы то ни было профессионального определения не только не поясняет их, но как-то даже затемняет, принижает, умаляет, суживает, почти опошляет их истинное значение. Поэт Пушкин, беллетрист Тургенев, публицист Герцен, профессор истории Грановский странно звучат в ухе русского человека ... Имена эти стали для интеллигентных масс символами своих идей настолько полно и прочно, что попытка еще добавочно разьяснять их эпитетами и определениями уже излишня и даже как будто оскорбительна⁵¹.

Даже портрет Герцена мог восприниматься как легко прочитываемый в русском обществе знак политических убеждений и определенной идентичности. Тот же Амфитеатров вспоминал, что у одного сотрудника газеты в 1880-е гг. над письменным столом висел портрет Герцена, причем характеризует его: «Человек весьма либеральный, почитавший себя “красным”»⁵². Смешение названий идейно-политических направлений не случайно, так как в процессе формирования идентичности интеллигенции важна не столько принадлежность к определенному политическому течению, сколько к определенной традиции, имеющей в основании «мысль и чувство». Поэтому и крупнейший русский мыслитель Н. А. Бердяев, определяя свою принадлежность к русской интеллигенции, использовал те же идентификационные основания, подчеркивая общность представителей интеллигенции, несмотря на мировоззренческие различия. В философской автобиографии Бердяев писал:

Несмотря на западный во мне элемент, я чувствую себя принадлежащим к русской интеллигенции, искавшей правду. Я наследую традицию славянофилов и западников. Чаадаева и Хомякова, Герцена и Белинского, даже Бакунина и Чернышевского, несмотря на различие мирозозерцаний, и более всего Достоевского и Л. Толстого, Вл. Соловьева и Н. Федорова. Я русский мыслитель и писатель⁵³.

Принадлежность к интеллигенции определяется Бердяевым как принадлежность к кругу лиц, воплощающих интеллигентскую традицию, являющихся символами русской интеллигенции. Примечательно, что в очередной раз имена литературных героев оказываются связанными с реальными людьми в рамках идентичности интеллигенции. Имена Ивана Карамазова, Версилова, Ставрогина, князя Андрея Болконского, Чацкого, Онегина, Печорина выстраиваются Бердяевым в одну линию, историю русской интеллигенции и историю своей жизни, подчеркивая мотив скитальчества, одиночества как характерный для русского интеллигента. Но для Бердяева самоидентификация проявляется в осознании связи с «Чаадаевым, с некоторыми славянофилами, с

⁵¹ Амфитеатров. 2004. С. 36–37.

⁵² Там же. С. 450.

⁵³ Бердяев. 1991. С. 11.

Герценом, даже с Бакуниным и русскими нигилистами, с самим Л. Толстым, с Вл. Соловьевым. Как и многие из этих людей, я вышел из дворянской среды и порвал с ней»⁵⁴.

* * *

Имя Герцена является знаковым в истории русской интеллигенции. Можно говорить о «присвоении»/«отторжении» Герцена разными поколениями и разными идейными течениями русских интеллектуалов. Герцен стал идентификационным символом формирующейся *русской интеллигенции* как социокультурной группы, утверждавшей свой статус в социуме, создающей свою мифологию, определявшей свои мировоззренческие истоки и приоритеты, поведенческие образцы. Современники Герцена – представители поколения 1830–1840-х гг. основное внимание акцентировали на интеллектуальных и коммуникативных характеристиках «героя своего поколения» и таким образом выдвигали на первый план социокультурную идентификацию «через Герцена».

Для авторов, причислявших себя к поколению «шестидесятников», в образе Герцена на первый план выдвигались общественно-политическая и цивилизационная ориентация «лондонского изгнанника», его взаимоотношения с властью. Расширение спектра социальных ролей Герцена свидетельствовало, с одной стороны, об актуализации новых идентификационных оснований для интеллигенции, как уже сложившейся социальной группы, находившейся на стадии «самоописания», претендующей на особое место в модернизирующейся российской империи. С другой стороны, новые черты в образе Герцена были обусловлены фактом его усиливающего отчуждения от реалий общественно-политической и культурной жизни Российской империи. Для представителей поколения 1880-х гг., не имевших опыта непосредственного общения с Александром Ивановичем и лишь в самых общих чертах знакомых с его идеями (в силу цензурных запретов на публикацию его произведений), имя Герцена стало знаком оппозиционности власти, личной независимости и активной гражданской позиции.

Образ Герцена в мемуарной литературе XIX в. нашел продолжение в XX веке, имя Герцена служило аргументом в идейных спорах и оставалось знаковым для русской интеллигенции. Противоречивый образ Герцена отразил все противоречия русской общественной жизни, трудности идентификационных исканий русского общества, и стал одним из оснований для самоидентификации русской интеллигенции XIX–XX вв.

⁵⁴ Там же. С. 40.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Амфитеатров А. В.* Жизнь человека, неудобного для себя и для многих / Вступ. ст., сост., подгот. текста и коммент. А. И. Рейтблата. М.: НЛЮ, 2004. Т. 1. 584 с.
- Анненков П. В.* Замечательное десятилетие // Герцен в воспоминаниях современников / Сост., вступит. статья и коммент. В. А. Путинцева. М.: Гослитиздат, 1956.
- Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М.: Правда, 1989. 688 с.
- Базилева З. П.* «Колокол» Герцена (1857–1867 гг.). М.: ОГИЗ, 1949. 294 с.
- Бердяев Н. А.* Самопознание. Опыт философской автобиографии. М.: Книга, 1991.
- Берлин И.* Александр Герцен и его мемуары // Вопросы литературы. 2000. № 2.
- Боборыкин П. Д.* За полвека. Воспоминания. М.: Захаров, 2003. 688 с.
- Бушканец Е. Г.* Добролюбов и Герцен // Проблемы изучения Герцена. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
- Быков П. В.* Силуэты далекого прошлого. М.-Л.: Земля и фабрика, 1930. 237 с.
- Ветринский Ч.* [Чешихин В. Е.] Герцен. СПб.: Труд, 1908. 532 с.
- Видуэцкая И. П.* Лесков о Герцене // Проблемы изучения Герцена. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 293–299.
- Володин А. И.* Герцен. М.: Мысль, 1970. 216 с.
- Вырубов Г. Н.* Революционные воспоминания // Герцен в воспоминаниях современников / Сост., вступит. статья и коммент. В. А. Путинцева. М.: Гослитиздат, 1956.
- Герцен А. И.* Капризы и раздумье // Герцен А. И. Собрание сочинений в 30-ти т. М., 1954. Т. 2.
- Голицын М. В.* Московский университет в 60-х годах // Голос минувшего. 1917. № 11–12.
- Гончаров И. А.* Милльон терзаний // Собр. соч.: В 8 т. М.: Худож. литература, 1980.
- Громова Л. П.* А. И. Герцен и русская журналистика его времени. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1994. 156 с.
- Дрыжакова Е.* Герцен на Западе в лабиринте надежд, славы и отречений. СПб.: Академический проект, 1999. 299 с. (Современная западная русистика. Т. 21).
- Живов В.* Апология Герцена в феноменологическом исполнении («Философское мировоззрение Герцена») Г. Г. Шпета) // НЛЮ. 2005. № 71 [Электронный ресурс]. – URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/71/zhi8.html>
- Келли А.* Был ли Герцен либералом? // НЛЮ. 2002. № 58 [Электронный ресурс]. – URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2002/58/kell.html>
- Красноперов И. М.* Записки разночинца. М.-Л.: Молодая гвардия, 1924. 152 с.
- Кропоткин П. А.* Записки революционера. М.: Мысль, 1990. 526 с.
- Мецкерский В. П.* Воспоминания. М.: Захаров, 2003. 864 с.
- Панаев И. И.* Литературные воспоминания // Герцен в воспоминаниях современников / Сост., вступит. статья и коммент. В. А. Путинцева. М.: Гослитиздат, 1956.
- Панаева А. Я.* Воспоминания // Герцен в воспоминаниях современников / Сост., вступит. статья и коммент. В. А. Путинцева. М.: Гослитиздат, 1956.
- Паперно И.* Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // НЛЮ. 2004. № 68 [Электронный ресурс]. – URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2004/68/pap5.html>
- Перкль М. К.* Отклики русской печати на смерть А. И. Герцена // Общественная мысль в России XIX в. Л.: Наука, 1986.

- Пирумова Н. М.* Александр Герцен – революционер, мыслитель, человек. М.: Мысль, 1989. 256 с.
- Порох И. В.* Герцен и Чернышевский. Саратов: Кн. изд-во, 1963. 212 с.
- Пустарнаков В. Ф.* Философия Просвещения в России и во Франции: опыт сравнительного анализа. М.: ИФ РАН, 2002. 341 с.
- Романович-Славатинский А. В.* Моя жизнь и академическая деятельность // Герцен в воспоминаниях современников / Сост., вступит. статья и коммент. В. А. Путинцева. М.: Гослитиздат, 1956.
- Романович-Славатинский А. В.* Моя жизнь и академическая деятельность // Вестник Европы. 1903. № 3.
- Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М.: Аграф, 2001. 432 с.
- Смирнова Е. А.* Герцен и Гоголь // Проблемы изучения Герцена. М. Издательство АН СССР, 1963.
- Сорокин В.* Воспоминания старого студента // Русская старина. 1888. № 12.
- Станкевич Н. В.* Избранное / Сост., вступ. статья и примеч. Г. Г. Елизаветиной. М.: Советская Россия, 1982. 256 с.
- Туманинов В. А.* А. И. Герцен и русская общественно-литературная мысль XIX в. СПб.: Наука, 1994. 217 с.
- Тыркова-Вильямс А. В.* Воспоминания. То, чего больше не будет. М.: Слово, 1998. 556 с.
- Федосеева Е. П.* Из истории борьбы самодержавия с изданиями Герцена // Литературное наследство. Т. 63. М., 1956.
- Федотов Г. П.* Письма о русской культуре // Федотов Г. П. Судьба и грехи России: В 2 т. Т. 2. СПб.: София, 1992.
- Хестанов Р.* Александр Герцен: Импровизация против доктрины. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. 344 с.
- Шмереметев С. Д.* Мемуары графа С. Д. Шереметева. Т. 1 / Сост., подгот. текста и прим. Л. И. Шохина. Изд. 2-е, испр. М.: Индрик, 2004. 736 с.
- Чичерин Б. Н.* Воспоминания // Русские мемуары. Избранные страницы. 1826–1856. М.: Правда, 1990.
- Эйдельман Н. Я.* Герцен против самодержавия: Секретная политическая история России XVIII–XIX вв. и Вольная печать. М.: Мысль, 1984. 367 с.
- Эйдельман Н. Я.* Герценовский «Колокол». М.: Учпедгиз, 1963. 104 с.
- Эйдельман Н. Я.* К истории лондонской встречи Чернышевского с Герценом (Дарственная надпись на книге «Эстетические отношения искусства к действительности») // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг.: Чернышевский и его эпоха. М.: Наука, 1979.
- Ядринцев Н. М.* Ночь в «Avenue de L'Opera» // Литературное наследство Сибири. Т. 4. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1979.
- Родигина Наталья Николаевна**, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Новосибирского государственного педагогического университета; natrodigina@list.ru
- Сабурова Татьяна Анатольевна**, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Омского государственного педагогического университета; sabourova@mail.ru

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ

И. М. САВЕЛЬЕВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ФРОНТИР*

В статье даны анализ и оценка теоретического обновления исторической науки за последние 10–15 лет. Объектом исследования является историческое знание в той его части, в которой формируются концептуальные основания изучения прошлой социальной реальности, определяющие сегодняшние профессиональные представления о «предмете и методе». Речь идет о новых теориях, концепциях, развитии понятийного языка, использовании конкретных методов научного анализа применительно к отдельным подсистемам прошлой социальной реальности, а также о создании новых междисциплинарных областей, обоюдных заимствованиях и интервенциях. Информационную основу исследования составляют исторические журналы, для которых характерен теоретический уклон; ведущие исторические специализированные журналы, репрезентирующие состояние дел в отдельных областях; социологические журналы, публикующие работы по исторической социологии, и научные монографии за 1995–2011 гг.

Ключевые слова: *история, теория, историография, методология, исторические понятия, исследование, анализ, обновление, темпоральность, пространственный поворот, гуманитарные науки, социальные науки, междисциплинарность, историзация, историческая социология.*

Идея произвести ревизию методологических оснований историографии XXI в. родилась в контексте более общих размышлений о новых траекториях теоретических поисков в социальных и гуманитарных науках последних десятилетий¹. В социальных науках теории часто представляют собой «всенародное достояние», они принадлежат всем, кто работает в области социальной мысли, хотя прежде всего, конечно, – своей дисциплине. В 1960–1980-х гг. практически все науки о человеке отличались не только постоянным появлением новых теорий, но и их

* Исследование выполнено при поддержке Программы «Научный фонд НИУ–ВШЭ» (индивидуальный исследовательский проект № 10-01-0079).

¹ Первым подступом к оценке новых тенденций в теоретической мысли отдельных современных социальных и гуманитарных наук (экономической теории, теоретической социологии, методологии истории и филологии) стала серия Круглых столов и семинаров ИГИТИ НИУ ВШЭ, проведенная в 2010–2011 гг., в том числе и семинар по истории в феврале 2011 г., на котором был представлен и обсужден мой доклад «Что случилось с «Историей и теорией?»». Всем коллегам, принявшим участие в обсуждении, я выражаю искреннюю признательность за творческое соучастие. Материалы см.: <http://igiti.hse.ru/Meetings/Conferences>

быстрым проникновением в другие социальные дисциплины; в результате непрерывно возникали новые междисциплинарные территории, объединенные как объектом, так и методом исследования². Историческая наука много выиграла от этого процесса, и ее сегодняшнее состояние и содержание до сих пор во многом определяется выработанной в прошлом веке способностью к плодотворной рецепции теоретических новаций. Гораздо менее четко просматривается роль новых социальных теорий в современной исторической науке. Отчасти в связи с этим возникает вопрос и о статусе теории в историографии наступившего века.

Соответственно, анализ современного состояния теоретических аспектов исторического знания представляется интересной исследовательской проблемой, по которой в современной исторической литературе сколько-нибудь ощутимой дискуссии не наблюдается. Более того, не очень заметны исследования новейших тенденций в развитии теоретических оснований и в других социальных и гуманитарных науках (экономике, социологии, психологии, филологии), которые привлекли бы внимание специалистов. Можно предположить, что после десятилетий бурного развития социально-научное знание вышло на плато и продолжает осваивать накопленный ранее теоретический багаж. Но подтверждение или опровержение этой гипотезы требует анализа очень большого массива литературы, профессиональных специализированных журналов и монографий, что позволит оценить степень теоретического обновления исторического знания, определить какие области исторической науки образуют сегодня методологический авангард.

Для определения теоретического фронта истории в XXI веке важны последовательные ответы на два вопроса:

– Что историки могут объяснить сегодня из того, что они не могли объяснить 15 лет назад?

– Что из того нового, что они могут объяснить сегодня, основано на концепциях, теориях, подходах, возникших за последние 15 лет?

I. Что историки могли объяснить 15 лет назад

Анализ современного состояния исторического знания предполагает краткую характеристику предшествующего периода, выберем достаточно протяженный, но единый – 1960– начало 1990-х гг. Любой историк согласится, что это были «славные десятилетия» радикального обновления и методологического переоснащения исторической науки, характерные черты которого – междисциплинарность, возникновение огромного количества новых исторических субдисциплин, появление у

² Савельева. 2011. С. 491–515.

историков нового (междисциплинарного) корпуса классиков, формирование конвенционального списка известных историков, возвращение «большой исторической науки» к читателям, отчетливая методологическая рефлексия³. Попробую кратко охарактеризовать эти параметры.

Междисциплинарность

В исторических исследованиях второй половины XX в. активно использовались концепции и понятия, выработанные в теоретической экономике, социологии, политологии, культурной антропологии, психологии, лингвистике. При этом междисциплинарное взаимодействие в сочинениях по истории почти всегда происходило в форме соединения теории из неисторической дисциплины и исторических методов исследования. Начиная с 1960-х гг. обновление историографии совершалось в высоком темпе, и сложилась следующая модель взаимодействия: социальная дисциплина – соответствующая историческая субдисциплина – выбор теории – ее применение к историческому материалу⁴.

«Стратегия присвоения» обнаружила совершенно иные возможности для анализа исторического материала и оказалась чрезвычайно плодотворной для развития исторического знания. В итоге тесного союза истории с социальными дисциплинами, реализованного ведущими западными историками, в 1960-е гг. экономическая и социальная истории завоевали передовые позиции в историографии, опираясь на экономические и социологические макротории (экономических циклов, экономического роста, социальной стратификации, модернизации, символической власти, конфликта, миросистемный анализ) и структурный анализ.

Вслед за становлением экономической, социальной и демографической истории, ориентированных в то время на возможности применения математических и статистических методов, начинается использование историками достижений других социальных и гуманитарных наук. Одной из самых востребованных историками областей знания становится культурная антропология; на ее теориях и во многом методах строится историческая антропология, история ментальности, история повседневности и даже «новая» политическая история. Причем, если в 1960–1970-е гг. историки брали на вооружение преимущественно мак-

³ Разные аспекты развития историографии в этот период обсуждались во многих работах: *Faire de l'histoire...*; *La nouvelle histoire...*; *International Handbook of Historical Studies...*; *Wehler*. 1980; *The New History: The 1980's and Beyond...*; *Novick*. 1988; *New Perspectives on Historical Writing...*; *Iggers*. 1997; *Passés recomposés: Champs et chantiers de l'histoire...*; *L'Histoire et le métier d'historien en France*; *Windshuttle*. 1996; *Hobsbawm*. 1997; *Pomian*. 1999; *Tou*. 2000; *Clark*. 2004; etc.

⁴ Савельева, Полетаев. 2005.

ротеретические подходы (экономические циклы, теория конфликта, модернизации, власти), то начиная с 1980-х гг., они начали обращаться к микроанализу с привлечением соответствующих теоретических концепций (потребительской функции, ограниченной рациональности, сетевого взаимодействия и т.д.).

Корпус новой классики

Для каждого периода развития социально-гуманитарного знания существует некий набор авторов, из работ которых ученые-гуманитарии черпают идеи, методы, цитаты, в крайнем случае – просто ссылаются на имена. Это – свидетельство и проявление междисциплинарного характера современных наук о человеке. Однако в историографии к концу прошлого века сложилась ситуация доминирования, условно говоря, «чужих» классиков. Значение концепций и моделей, почерпнутых из практически всех социальных и гуманитарных наук в небывалой степени возросло, сведя почти на нет роль собственно исторических теорий.

В исторических исследованиях второй половины XX в. функции классиков обычно выполняли представители социологии, культурной антропологии, социальной психологии и т.д. В исторических сочинениях появляются такие классики как экономисты Й. Шумпетер, С. Кузнец, У. Ростоу, К. Поланьи, Д. Норт; социологи Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, Ш. Айзенштадт, И. Уоллерстайн, П. Бурдьё, да и по-новому прочитанный К. Маркс. Ведущие антропологи (К. Гирц, К. Леви-Строс, А. ван Геннеп, Э. Лич, М. Мосс, М. Салинз и др.) выполняют функции классиков в исследованиях по исторической антропологии и истории ментальности. Такие же списки можно привести, если обратиться к лингвистике, психологии, cultural studies, философии.

В это же время сформировался круг признанных историков и список трудов, положивших начало новым направлениям. В современной макросоциальной истории к этому списку можно отнести исследования Ф. Броделя, П. Стирнза, Э. Хобсбаума⁵. Точно так же обращение к микроанализу в социальной истории, связанное с возникшими в 1970-е гг. сомнениями по поводу известных макроисторических моделей, четко маркировано работами Дж. Леви, К. Гинзбурга, Х. Медика⁶.

Появление культурологической интерпретации повседневного поведения в 1970–1980-е гг. было отмечено поистине культовыми историческими книгами – «Монтайю, окситанская деревня (1294–1324)» Э. Ле

⁵ См.: Stearns. 1967; Tilly. 1984; Tilly et al. 1975; Хобсбаум. 1999; Hobsbawm. 1994; Бродель. 1992.

⁶ Levi. 1985; Гинзбург. 2000; Medick. 1996.

Руа Ладюри, «Сыр и черви. Картина жизни одного мельника, жившего в XVI в.» К. Гинзбурга, «Возвращение Мартена Герра» Натали Земон Дэвис⁷, – которые стали эталоном исследования повседневной жизни в контексте культуры прошлого. Начало исследованиям плебейской культуры положили работы П. Бёрка и Э. Томпсона⁸. В ряду основополагающих работ по истории детства – известная книга французского историка Ф. Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке»⁹. У истоков психоистории стоит книга Э. Эриксона «Молодой Лютер: психоаналитическое историческое исследование»¹⁰.

Одна из последних инициатив в классики произошла совсем недавно в области «исторической памяти» – это известные исследования П. Нора и книг Я. Ассмана «Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности»¹¹. Вся современная «индустрия производства исторической памяти» перерабатывает в меру сил и потребностей их фундаментальные работы.

Диверсификация предметного поля исторических исследований, тенденция к пересмотру эпистемологических принципов исторического знания не увели признанных историков от массовой аудитории, а напротив, позволили приблизиться к ней. Появилась волна бестселлеров, созданных историками, способными писать «историю как роман», не поступаясь при этом соблюдением дисциплинарных конвенций¹².

Методологическая рефлексия

Манифесты в защиту исторической науки и дискуссии о характере исторического знания стимулировались как «историографическими поворотами», так и явлением постмодернизма. Никогда так активно, как на исходе прошлого века, историки не обсуждали проблемы методологии истории. В работах многих ведущих историков (П. Бёрка, П. Вейна, К. Гинзбурга, Р. Дарнтон, Н. Земон Дэвис, Ж. Ле Гоффа, Ю. Кокки, М. Конфино, М. Оукшотта, Ж. Ревеля, Л. Стоуна, Ч. Тилли, Р. Фогеля, Ф. Фюре, Э. Хобсбоума, Р. Элтона и др.) была предпринята попытка снова объяснить специфику предмета исторической науки, особенности исторического сознания и познания, а также четче обозначить нормы и конвенции, которыми руководствуются профессиональные историки.

⁷ Ле Руа Ладюри. 2001 [1975]; Гинзбург. 2000 [1976]; [Земон] Дэвис. 1990 [1983].

⁸ Burke. 1980.

⁹ Арьес. 1999 [1960].

¹⁰ Эриксон. 1995 [1958].

¹¹ Les lieux de mémoire. 1984–1993; Ассман. 2004.

¹² Ле Руа Ладюри. 2001; Гинзбург. 2000; Дарнтон. 2002; [Земон] Дэвис. 1990; [Земон] Дэвис. 1999; Шартье. 2001.

Весь теоретический багаж, освоенный и преобразованный исторической наукой во второй половине XX в., ощутимо работает в поле современной историографии. Но нас интересуют новые вопросы и новые ответы, получаемые с помощью *новых* теорий и моделей исследования.

II. История и теория в XXI веке

Начала я с просмотра журнала *“History and Theory”*, который на протяжении многих десятилетий был для меня главным ориентиром в теории истории. Казалось, что наименования тематических номеров, проблематика статей укажут на новые области исследования, обозначат возникающие междисциплинарные перекрестки. Но скорее журнал указал на начавшуюся в 1990-е гг. смену тематических приоритетов и даже на размывание границ между научной и не вполне научной историей.

Содержание журнала достаточно ощутимо изменяется с середины 1990-х гг. Это мало проявляется в названиях тематических выпусков, практически не уступающих прежним «по градусу концептуальности», но отличия легко уловимы по постановке проблем в отдельных статьях. Кроме того, поражает изобилие статей о кино, опере, фотографии, сериалах, исторической памяти, «неконвенциональной истории» и прочих сюжетах, типичных для *cultural studies*. При этом журнал по-прежнему позиционирует себя как издание, которое «прокладывает пути в исследовании природы истории. Известные мыслители мира делятся своими размышлениями в следующих областях: критическая философия истории, спекулятивная философия истории, историография, история историографии, методология истории, критическая теория, время и культура. Дисциплины, имеющие к этому отношение, также освещаются на страницах журнала, включая взаимодействия между историей и естественными и социальными науками, гуманитаристикой и психологией»¹³.

Более внимательное изучение содержания журнала за последние 15 лет определило модус размышлений и эмоциональный фон для них — с оттенком нерадостного удивления. Тут и возник первый вопрос: показывает ли журнал «среднюю температуру по больнице» или все-таки именно с ним что-то произошло? Основания для того, чтобы не генерализовать ситуацию, конечно, были. Одно из очевидных состояло в том, что приглашенным редактором многих номеров был Франк Анкерсмит, занимавший отчетливо постмодернистскую позицию¹⁴. Правда, в

¹³ [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/\(ISSN\)1468-2303/homepage/ProductInformation.html](http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2303/homepage/ProductInformation.html)

¹⁴ Недавно Анкерсмит отказался от последовательного постмодернизма и находится в поисках «третьей пост-постмодернистской стадии». *Ankersmit*. 2006. P. 121.

самые последние годы наметился сдвиг в сторону сциентизма и реализма. Содержание выпуска, изданного к пятидесятилетию журнала и посвященного темам будущего, кажется, показывает такую перспективу¹⁵. О том же в какой-то мере свидетельствует и список статей, которые пользуются наибольшим читательским спросом (Top Highlights), за 2008–2009 гг. Половину текстов из этого перечня представляют собой статьи о роли научных подходов к истории или программные рецензии ведущих историков на серьезные теоретические работы.

Top Highlights 2008–2009

Runia, Eelco. Burying the Dead, Creating the Past.

Iggers, George. A Search for a Post-Postmodern Theory of History (рец. на книгу под редакцией Йорна Рюзена “Meaning and Representation in History”. Ed. by Jörn Rüsen.)

Jay, Martin. Faith-Based History. (рец. на книгу Чарльза Тэйлора. Charles Taylor “A Secular Age”)

Carr, David. Narrative Explanation and its Malcontents

Spiegel, Gabriel M. Revising The Past / Revisiting the Present: How Change Happens in Historiography

Classen, Christoph and Kansteiner, Wulf. Truth and Authenticity in Contemporary Historical Culture: An Introduction to Historical Representation and Historical Truth

Printy, M. Skinner and Pocock in Context: Early Modern Political Thought Today (рец. на книги о современной политической мысли: “Rethinking the Foundations of Modern Political Thought”. Ed. by Annabel Brett and James Tully, with Holly Hamilton-Bleakley и “The Political Imagination in History: Essays Concerning J. G. A. Pocock”. Ed. by D. N. DeLuna and assisted by Perry Anderson and Glenn Burgess)

Bevernage, Berber. Time, Presence, and Historical Injustice

Werner, Michael, Zimmermann, Dicte. Beyond Comparison: Histoire Croisée and The Challenge of Reflexivity

Dietze, Carola. Toward a History on Equal Terms: A Discussion of Provincializing Europe (рец. на книгу Дипеша Чакрабарти. Dipesh Chakrabarty “Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference”).

В список из 10 работ попала, например, рецензия Дж. Иггера «В поисках пост-постмодернистской теории истории»¹⁶. Интересно, что речь (и не только в данном случае) идет о высокой востребованности всего-то рецензии на книгу, в которой говорится об исчерпанности не только модернистского, но и постмодернистского периода в исторической науке, и о потребности в новой «теории истории». Правда книга, о которой идет речь¹⁷, составлена известным историком-теоретиком Йорном Рюзеном, а наряду с его собственной статьей там помещены работы именитых Анкерсмита и Дэвида Карра. Да и автор рецензии не менее

¹⁵ History and Theory: The Next Fifty Years. Vol. 49. Issue 4 (December 2010).

¹⁶ Iggers. 2009.

¹⁷ Meaning and Representation in History...

известен. И все же резонно предположить, что читателей более всего привлекает тема, предлагающая новые подходы к истории или, по меньшей мере, новые размышления о них, возникшие у Иггерса на основании чтения коллективной монографии.

Статья известного философа истории Дэвида Карра «Нарративное объяснение и его противники», помещенная под рубрикой *Форум: Историческое объяснение*, написана в защиту нарратива как формы исторического исследования. Последовательно рассмотрев доводы противников нарративного объяснения, которые звучали из стана «школы Анналов», и шире – представителей разных направлений «новой научной истории», а затем из лагеря постмодернистов (Х. Уайт, П. Рикёр), Карр приходит к вполне ожидаемой в его устах реабилитации «рассказывания историй». Нарратив, по его словам, строится по правилам, по которым происходят сами действия: «Именно благодаря сходству структуры действия, производимого человеком, и структуры нарратива мы обычно можем объяснить действие, рассказывая о нем историю»¹⁸.

Рецензия М. Принти «Скиннер и Поккок: Политическая мысль раннего Нового времени в наши дни»¹⁹ на книги о политической теории в традиции Дж. Поккока и К. Скиннера возвращает к вершинам историко-политической мысли XX в. А статья Г. Спигел, как и выпуск, в котором она публикуется, посвящена механизму непрерывной ревизии в исторической дисциплине²⁰. В качестве стартовой автором избрана идея Мишеля де Серто о том, что ревизия является необходимой предпосылкой исторического исследования, поскольку сама дистанция между прошлым и настоящим требует постоянных инноваций, чтобы производить объекты исторического знания, которые не существуют, пока историк не укажет на них. Автор анализирует возможные психологические, социальные, и профессиональные причины смены интерпретаций на примере лингвистического поворота в историографии.

Замечу, что все упомянутые статьи из топ-листа написаны представителями «старой гвардии», осмысливающими очередные этапы эволюции дисциплины с позиций теории. Однако в этом списке есть и другая половина, к чему мы вскоре подойдем.

В предисловии к серии «Making Sense of History» ее ответственный редактор Й. Рюзен пишет, что в то самое время как многие теоретики провозгласили, что история как академическая дисциплина приближи-

¹⁸ Carr. 2008.

¹⁹ Printy. 2009.

²⁰ Spiegel. 2007.

лась к своему концу, «исторические предметы» обсуждения – народная память, телевизионные и голливудские истории, публичные и политические дискуссии о прошлом – «кажется, с остервенением занимают ее место». В связи с этой констатацией он ставит следующий вопрос: «представляет ли академическая дисциплина “история”, какой она сложилась в западных университетах на протяжении последних двухсот лет специфический способ или тип исторического размышления, который можно отличить и отграничить от других форм и практик исторического сознания»²¹. И призывает к «новой теоретической рефлексии».

Эта грань между академической (научной) историей и другими формами исторического знания на самом деле достаточно концептуализирована²², но почему-то непрерывно стирается даже на страницах солидных академических журналов. Пример тому – тематический номер «Истина и аутентичность в современной исторической культуре»²³. Даже введение к выпуску, написанное К. Классеном и В. Канштайнером, попало в Top Highlights. Ключевые слова – аутентичность, историческое сознание, историческая культура, Холокост, реализм, дигитальные медиа, травматическая память – дают надежду на то, что в выпуске мы найдем «новую теоретическую рефлексию». Авторы тома анализируют центральную для исторической науки проблему «исторической истины» (в данном случае в контексте формирования массовых исторических знаний). В поле зрения оказываются шесть типов исторической репрезентации, играющие важную роль в современной исторической культуре: исторический роман, историография, фотография, художественные фильмы, видеоигры и музейные экспозиции. Каждое эссе сфокусировано на историческом событии, которое служило пробным камнем в дискуссиях об историографии, исторической культуре и этике исторической репрезентации. Пять эссе посвящены Второй мировой войне и Холокосту²⁴, и одно – истории рабства и его наследия в США. В числе «репрезентирующих текстов»: роман «Бойня №5» Курта Воннегута²⁵, фильм «Список Шиндлера» Стивена Спилберга²⁶, современные видеоигры и пр. Выбор не вызывает возражений. Удивление вызывает вывод, в котором все эти формы знания уравниваются не по степени их влияния на массового читателя, а по критерию *исторической истинности*.

²¹ Western Historical Thinking: An Intercultural Debate... Pp. vii, ix.

²² Савельева, Полетаев. 2003–2006; Феномен прошлого...

²³ Classen, Kansteine. 2009.

²⁴ Kansteiner. 2009; Keilbach. 2009.

²⁵ Rigney. 2009.

²⁶ Classen. 2009.

«С одной стороны, они (статьи – И. С.) показывают нам, как работают отдельные тексты или визуальные репрезентации и как “ловкость рук” позволяет производить эффект реальности в разных культурных декорациях. С другой стороны, они знаменуют торжество текста и его создателя, оказавшего влияние на историческое сознание многих потребителей, включая самих авторов. В результате авторы тома вовсе не предлагают элегантных деконструкций исторических репрезентаций, созданных якобы теоретически наивными историками и другими практикующими в истории. Напротив, эссе представляют собой поисковые, свободные, отмеченные саморефлексией диалоги о проблемах исторической истины, основанные на благожелательном пристальном прочтении широкого круга артефактов культуры»²⁷.

Или статья из того же списка, написанная Элко Руни, в которой автор упрекает профессиональных историков в том, что изучая такие болезненные сюжеты как «память» и «травма» в «позитивистском» ключе, они уже одним этим фактом разоблачают свою «неискренность». В результате, по словам Руни, «тему коммеморации можно встретить повсюду, но к ней никогда не относятся с должной серьезностью»²⁸.

Итоги просмотра “*History and Theory*” побудили обратиться к другим историческим журналам, для которых характерен теоретический (методологический) уклон, среди них: *Historical Method*, *History Today*, *Journal of Modern History*, *Rethinking History*, *American Historical Review*, *History Workshop Journal*. Конечно, это было не сплошное прочтение, но просмотр «наметанным глазом» показал, что нельзя говорить о тотальном исчезновении из научно-исторической периодики теоретической составляющей. Встречается довольно много работ о теориях национализма, теориях империй, гендерном подходе. Есть статьи о роли *agency* в истории, компаративистике и ее субститутах, каузальном плюрализме в изучении прошлого, использовании исторической лингвистики, о конце марксистской историографии, об историческом ревизионизме. Встречаются выпуски и отдельные статьи, предлагающие концептуальное переосмысление хорошо изученных исторических феноменов, например, Английской или Французской революции и т.д. Но, к сожалению, на страницах практически всех упомянутых академических журналов очень заметен крен к стратегии «живой озабоченности».

Просмотр полнотекстовых баз книг по истории за последние полтора десятилетия (издательства Sage, Springer, Oxford University Press, Cambridge University Press, Routledge University Press, Yale University Press, California University Press, Princeton University Press и др.) с целью обнаружить новые труды по теории/методологии истории (в широком

²⁷ Classen, Kansteiner. 2009. P. 1.

²⁸ Runia. 2007.

смысле), конечно, дал более многомерную картину, но не изменил ее радикально. Можно уверенно сказать, что методологического обновления истории, сколько-нибудь *сопоставимого* даже с любым из десятилетий второй половины XX века, в наступившем столетии не происходило – ни на уровне внедрения новых «сильных» концепций, ни на уровне междисциплинарного взаимодействия, ни в области появления новых объектов, ни в сфере теоретической рефлексии.

Если же обратиться к конкретным направлениям, из сложившихся ранее, то можно увидеть, что продолжается экспансия культурной истории (особенно энергично в сфере визуальных исследований), активно развиваются микроистория, локальная история, историческая антропология, история массовых представлений и «исторической памяти», гендерная и женская тематика. Заметно изменилась история науки и образования. В целом историки за последние годы узнали много нового, радикально переосмыслили уже известную информацию – масштаб сделанного поражает. Однако в этих областях не произошли заметные *теоретические* подвижки, историки опираются на аналитические процедуры и методы, освоенные и «присвоенные» ими в прошлом веке.

Конечно, на фронт исторических исследований действуют экзогенные факторы. Социальные проблемы современного общества – постсоциализм, глобализм, неокOLONиализм, новый миропорядок, религиозная мобилизация, новый характер миграции и маргинальности, массовая культура – ставят задачи научного анализа связанных с ними явлений и процессов (демократии, империи, transition, цивилизации, культуры, идентичности, гендера, массовых представлений) и перед историками.

Кажется, что в целом развитие историографии в последние полтора десятилетия намного заметнее определяется «социальным заказом», чем в период первых «поворотов». Об этом говорит и распространение «публичной истории» и авторитетность фигуры публичного историка²⁹. Хотя вопрос о степени влияния социального заказа на трансформации исторической науки непрост: достаточно вспомнить, что в «новой социальной истории», утвердившейся на фоне событий 1968 г., в центре внимания были социальные движения, революции и другие формы протеста. (Правда тогда «публичные историки» и помыслить не могли о вытеснении академических, зато «левые» успешно теснили «правых».)

В то же время в развитии историографии важны факторы эндогенные, связанные с развитием социальных и гуманитарных наук. Очеред-

²⁹ О распространении публичной истории в разных странах см. специальный выпуск журнала: *The Public Historian*. Santa Barbara: Summer 2010. Vol. 32. Issue 3.

ные «повороты» там происходят, и они порождают новые междисциплинарные поля. Сегодня в социальных науках активно задействованы такие дисциплины как география, экология, биология, нейрология, антропология. Взаимодействие с ними образует не существовавшие ранее междисциплинарные союзы и «повороты», среди которых пространственный поворот³⁰, эволюционная экономика³¹, моральная география³², социобиология (биологический или когнитивный поворот)³³.

Интерес социальных наук к биологии связан с тем, что признание человека биосоциальным существом требует от представителей наук о человеке столь же тщательного изучения его биологической природы, как и социальной, а кроме того сегодня очень востребована и развивается неodarвинистская–эволюционная теория³⁴. В отдельных исторических работах, посвященных теоретическим или философским основам исторического познания, обнаруживается осведомленность в происходящем. Социобиологии и эволюции был посвящен специальный выпуск «*History and Theory*»³⁵. Однако мы находим трезвую оценку неготовности историков последовать примеру коллег по социальным наукам.

Из всех перечисленных трансформаций, наблюдаемых сегодня на поле социальных дисциплин, наиболее актуальной для истории оказалась «специализация» социальных наук³⁶. Переосмысление фактора пространства объясняется тем, что в современной историографии новации локализуются, прежде всего, в области глобальной истории, пост/неоколониальных исследований, истории империй, субстанциальной философии истории (в той ее части, которая связана с проблематикой глобализма)³⁷. Всемирная история в самых разных вариантах вышла на лидирующее место в исторических публикациях, особенно журнальных. Таким образом, влияние новых интерпретаций социального про-

³⁰ Baker. 2003; Cañizares-Esguerra. 2002.

³¹ См. напр.: Witt. 2003; Witt. 2008; *Frontiers of Evolutionary Economics...*

³² Cresswell. 1996; Livingstone. 1992; Sibley. 1995.

³³ Boyd, Richerson. 1985; 2005a; 2005b; Smail. 2008.

³⁴ *The Return of Science: Evolution, History, and Theory...*; Fracchia, Lewontin. 1999, and the subsequent debate in *History and Theory*. Vol. 44. Issue 1 (February 2005); Runciman. 2005; Fracchia, Lewontin. 2005; Runciman. 2005.

³⁵ См: *History and Theory*. Theme Issue 1999. Vol. 38, и последующую дискуссию в *History and Theory*. February 2005. Vol. 44. Issue 1.

³⁶ О специализации социальных наук см.: Gieryn. 2000; *The Spatial Turn...*; Löw. 2001; Massey. 2005; Murdoch. 2006, Филиннов. 2008.

³⁷ Crossley. 2008; Cowen. 2001; *Gentlemanly Capitalism, Imperialism and Global History...*; Reynolds. 2000; Bulliet et al. 2008; *The Global History Reader...*; Mazlish. 2006; Bentley et al. 2003; См. также: *Journal of Global History*. 2006–2010.

странства на историческую науку проявилось прежде всего в трансформации дисциплины, которую со времен Полибия называли всеобщей или всемирной историей. «Весь мир» – старейший предмет размышлений историка – оказался одним из самых востребованных и радикально ре- и деконструированных объектов в современной историографии.

III. Пространственный поворот и глобальная история

В последней трети XX в. всемирная история не фигурировала в списке «новых научных» (оснащенных передовыми социальными теориями) исторических субдисциплин, скрываясь в тени универалистских концепций, разработанных в философии истории и макросоциологии. В основе всемирной истории лежали идеи универсальности, линейности, цикличности, стадиальности, прогресса и т.д. (О. Шпенглер, А. Тойнби, Г. Уэллс, П. Сорокин, Ф. Нортроп, К. Ясперс, А. Крёбер, Э. Фёгелин и др). В последние десятилетия XX в. активно использовались также макросоциологические концепции, предлагающие различные модели перехода от традиционного общества к модерному. Хотя с конца 1960-х гг. появляется, условно говоря, «новая научная» всемирная история, очень немногие историки, среди них У. Макнил и Л. Ставрианос³⁸, писали всеобщую историю действительно по-иному.

На исходе XX и в XXI в. «всеобщая история» в значительной своей части радикально преобразуется. В ее границах, на фоне сохраняющейся традиции, утвердились новые, более заметные направления, которые являются следствием критической и постмодернистской революций в философии³⁹ и опираются на ряд концепций и подходов, разработанных в ходе антропологического, лингвистического и культурного поворотов. Это, во-первых, глобальная и транснациональная истории, предлагающие способы конструирования универсального не-европоцентричного мира. Во-вторых, мировая история, которая возникла в ходе переосмысления сравнительной истории цивилизаций, в результате чего в фокусе изучения оказались процессы взаимодействия миросистем и локальных цивилизаций. В-третьих, интернациональная история, изучающая историю формирования и развития различных международных сообществ. С необходимыми оговорками сюда можно отнести методологически переоснащенные историю империй⁴⁰ и историю наций.

Победоносное шествие всемирной истории во всех ее изводах является не только несомненной реакцией на мощный социальный заказ,

³⁸ McNeill. 1964; Stavrianos. 1989.

³⁹ Прежде всего, постколониальная критика: Gilbert, Tompkins. 1996.

⁴⁰ См.: тематический выпуск *History and Theory*. Oct. 2005. Vol. 44. Issue 4.

предъявляемый разными общественными группами, включая представителей самого «постколониального мира» (от наций и этносов до носителей современных и постсовременных идеологий), но и результатом познавательных процессов, пробуждающих исследовательский интерес. Это и заставляет присмотреться внимательнее к тому, насколько теоретична «историческая глобалистика» и в чем методологическая новизна «пространственного поворота» в историографии.

Одна из главных функций географического пространства в историческом исследовании состоит в том, что оно служит способом задать рамки предмету истории, то есть очертить границы социальных взаимодействий в прошлой реальности и тем самым трансформироваться в пространство историческое. При этом историк может исходить из своего видения пространства, может говорить о пространстве, сконструированном участниками социального взаимодействия, а может изучать сам процесс конструирования пространственных образований в тот или иной период прошлого. Радикальное переосмысление исторического пространства осуществил в своих эпохальных трудах Ф. Бродель, предложив рассматривать как целостные образования исторические ареалы, жизнь которых определялась единой геодемографической средой, независимо от границ политических образований⁴¹. Тем самым было положено начало обширной истории внесударственного пространства.

Позднее исследователи сконцентрировались на изучении того, что люди *думали* о своем и чужом пространстве, как они *видели* те или иные географические ареалы, как конструировали территориальные целостности и какими смыслами их наделяли. К подобным исследованиям исторического пространства относятся работы по истории формирования геоисторических (геополитических) конструктов, например, таких как «Индия», «Восточная Европа», «Балканы», «Кавказ», «Дикий Запад» и др. С историческим пространством в подобной интерпретации связано формирование символического универсума системы культуры: мистические компоненты традиции, приметы «малой родины», дизайн места обитания и базовые основы национальной идентичности. К этому же типу анализа следует отнести и работы по культурной антропологии, в которых анализируется категория «пространство», и исследования истории «ментальных карт» с такими популярными на рубеже веков концептами как «пограничье», «граница», «зона контакта», «срединность», «ориентализм» (и другие «измы», образованные по аналогии)⁴².

⁴¹ Бродель. 2003; Бродель. 1992.

⁴² Шенк. 2001.

Применительно к сегодняшней исторической науке речь идет о новой стадии аналитической рефлексии, главная задача которой в создании принципиально иного глобального (транснационального) пространства, сегментированного, дисперсного, а главное – не (европо)центрированного. В исследованиях, которые, хотя и с большими оговорками, но все же можно объединить под рубрикой «всемирная история», происходит радикальная реисторизация образов Африки, Азии и Латинской Америки, провинциализация «Европы»⁴³, деструкция таких обобщенных понятий как «третий мир», «периферия», «Запад» или «Восток». Категории «Евразия», «Латинская Америка», «Тихоокеанский регион», «Атлантический мир» (но не в броделианском смысле) начинают преобладать над концептами, связанными с «временем по Гринвичу» и «миром Запада». Одновременно появляется большое количество отдельных историко-территориальных объектов, существование которых в прошлом и настоящем человечества «открывается» или перекрывается. Предметом изучения становятся актуальные для современного мира, но новые для историков аспекты прошлого: миграции, феномены полиязыковости и поликультурности, разнообразные транскультурные процессы, «мир во фрагментах».

Глобалистика, дисциплина, под зонтиком которой расположились мировая, глобальная, транснациональная и пр. истории – междисциплинарное направление. При этом ярлыки «глобальная» и «мировая» («межнациональная») истории, равно как и их аналитический багаж, то противопоставляются друг другу, то воспринимаются в тандеме⁴⁴. Термин «глобальная история» более популярен среди философов и социологов, «в то время как большинство историков отдает предпочтение понятиям “всеобщей” или “всемирной” истории»⁴⁵.

Идейной, и во многом идеологической, базой самых заметных новых направлений всемирной истории является «постколониальная кри-

⁴³ Chakrabarty. 2000; Dirks. 2001. См. дискуссию в спецвыпуске *Форум: History and Theory: Provincializing Europe / History and Theory*. Vol. 47. Issue 1 (February 2008). В упоминавшуюся десятку самых читаемых статей вошла статья Dietze. 2008.

⁴⁴ Penina. 2009. С. 31. См., в частности: Kossock. 1993; Geyer, Bright. 1995; Mazlish. 1998; Internationale Geschichte. Themen – Ergebnisse – Aussichten...; Across Cultural Borders. Historiography in a Global Perspective...; Writing World History 1800–2000...; Manning. 2003; Bayly. 2004; Palgrave Advances in World Histories...; Hughes-Warrington. 2006; O'Brien. 2006; Sachsenmaier. 2007.

⁴⁵ Ионов. 2003. См., напр.: Globalisation in World...; Rethinking American History in a Global Age...; Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871–1914...; World Civilizations: The Global Experience. 2000–2003; Stearns. 2003; Traditions and Encounters. A Global Perspective on the Past...; Osterhammel, Petersson. 2003.

тика». Замечу, однако, что постколониальная критика, предложившая коренную реконструкцию образа мировой истории, включая разрушение границ между всеобщей историей, востоковедением и этнографией, – совсем не новация. Ее признанные гуру (социальный философ, один из теоретиков и идейных вдохновителей движения новых левых, Франц Фанон, философ Леопольдо Сеа [Zea], литературный критик и теоретик Эдвард В. Саид) создали свои основополагающие труды в *середине* 1990-х годов⁴⁶. В 2000-е годы книги писали уже о них.

А главное остается важный вопрос, сформулированный И. Н. Ионовым: «Что такое глобализация – реальность или идеологема, что такое глобалистика или постколониальная критика — научное направление или форма манипуляции общественным сознанием?»⁴⁷

Поэтому в контексте нашей темы обращение к глобальной истории оправдывает скорее то обстоятельство, что работы по *истории*, написанные в этой парадигме, становятся заметным явлением действительно в XXI в. Что касается новых сильных теорий, пополнивших инструментарий историков или разработанных ими самими, то, на мой взгляд, философские стимулы в виде постколониальной критики сильно ограничили нужду в них. Используя модель поворотов, все направления исторической глобалистики можно было бы объединить под условным названием «новой всемирной истории», но это в значительной мере будет «поворот второго порядка», так как в их концептуальный аппарат инкорпорирован багаж антропологического, лингвистического и культурного поворотов, хотя, безусловно, все варианты «новой всеобщей истории» представляют собой союзы истории с разными дисциплинами.

Прежде всего, это «история с географией»⁴⁸, новые теоретические проблемы которой (специализация социальной мысли, проблемы «концептуальной географии», «моральной географии») активно обсуждаются в современной исторической литературе⁴⁹.

В теоретической области глобальная история исследовала ряд важных проблем, связанных с самоидентификацией субъекта, определением его статуса («субалтерн»), а также с понятиями «модерность», «гибридность», «метисизация», «расизация», «лиминальность». Из социологии заимствуются и разрабатываются на историческом материале

⁴⁶ *Fanon*. 1967; *Fanon*. 1963; *Fanon*. 1969; *Cea*. 1984; *Caud*. 2006; *Culture and Resistance: Conversations With Edward W. Said*...

⁴⁷ *Ионов*. С. 6.

⁴⁸ *Baker*. 2003; *Canizares-Esguerra*. 2002; *Casey*. 2005; *Coleman*, *Agnew*. 2007; *Ethington*. 2007.

⁴⁹ *Wigen*. 2006; *Horden*, *Purcell*. 2006; *Alison*. 2006; *Matsuda*. 2006.

такие концепты как структуры власти, социальные иерархии, идентичность, воображаемые сообщества; из культурной антропологии – понятие Другого. И достаточно посмотреть на приведенный чуть ниже список имен идейных вдохновителей глобальной истории, чтобы понять, что особым спросом пользуется «новый литературный критицизм», позволяющий производить самые разнообразные колониальные дискурсы.

Политические науки с их хорошо разработанным для исследования межнациональных, межэтнических, институциональных отношений аппаратом представлены в гораздо меньшей степени. За исключением «новой истории империй», речь о которой надо вести отдельно⁵⁰.

Попутно замечу, что в глобальной истории эксплицитно выражен моральный аспект современного политкорректного и мультикультурного сознания. Как пишет один из наиболее исторически мыслящих современных антропологов Дж. Гуди, западные историки, обращаясь к прошлому тех, кто находится за пределами Запада (географически или даже хронологически), получают возможность отмежеваться от участия в акте «кражи», которая состояла в том, что «цивилизация, демократия, наука, капитализм, любовь, нуклеарная семья и многие другие ценности и институты, на изобретение которых могут претендовать другие культуры, репрезентировались как западные по происхождению»⁵¹.

Как и все другие исторические субдисциплины, направление уже обзавелось своим корпусом классиков, входящих, впрочем, в общий пул гуманитарных наук второй половины *прошлого* века. Если новых авторитетных имен пока немного (среди них, например, очень разные, но влиятельные – Д. Чакрабартти⁵² и Ю. Остерхаммель⁵³), то зато в изобилии старые имена: Б. Андерсон, Билл Ашкрофт, Р. Брубейкер, Ж. Деррида, Ю. Кристева, Ф. Купер, Э. Саид, Ф. Фанон, М. Фуко, Э. Геллнер. Отдельно назову известнейшего историка-универсалиста Дж. Бентли⁵⁴, получившего признание в 1970–80 годы. За ним традиция, не соотносимая с постколониальной критикой, предлагающая другой взгляд на познавательное значение всемирной истории.

Итак, оперируя критериями, предложенными для характеристики теоретического обновления исторической науки (междисциплинарность, появление новых исторических субдисциплин, новые сильные

⁵⁰ Анализом состояния этой области исследований последовательно занимается группа историков, объединившихся вокруг журнала *Ab Imperio*.

⁵¹ *Goody*. 2006. Цит. по: *Smail*. 2008. P. 61.

⁵² *Chakrabarty*. 2000; *Chakrabarty*. 1998.

⁵³ *Osterhammel*. 2000; 2005; *Osterhammel, Petersson*. 2005.

⁵⁴ *Bentley*. 1996; 2002; 2003; 2007.

теории, классики – «свои» и «чужие»), применительно к всемирной истории, безусловно, можно говорить об утверждении новой междисциплинарной субдисциплины и даже выходе на авансцену глобальной и транснациональной истории. Но, мне кажется, что и на этом поле не наблюдается ни *новых* сильных теорий, ни отличного от наследия XX века *корпуса* признанных имен. Однако показательно, что в выпуске *History and Theory*, посвященном прогнозам развития истории на грядущие полвека Д. Кристиан предсказывает, что «в следующие 50 лет мы увидим возвращение древней традиции “универсальной истории”; но это будет новая форма универсальной истории, глобальной на деле и научной по духу и методу, вплоть до возможной интеграции исторической гуманитаристики с исторически ориентированными естественными науками, включая космологию, геологию и биологию»⁵⁵.

IV Новые перекрестки

Задачей данной статьи была ревизия состояния исторической науки за последние 15 лет с целью определить насколько активно возникают исследовательские области, основанные на новых теориях и моделях. Сопоставление в рамках этой общей задачи динамики развития исторической дисциплины второй половины XX – начала XXI в., подтверждает предложенную исследовательскую гипотезу о «выходе на плато» после почти полувековых бурных и разнообразных теоретических трансформаций. Можно предложить некоторые релевантные объяснения ситуации с «историей и теорией».

Конечно, ответ, который сразу приходит на ум, это естественный процесс развития науки, предполагающий снижение потребности в новых теориях после нескольких десятилетий необыкновенно бурного развития. Видимо, освоенные в XX в. теории позволяют производить множество новых конкретных исследований и такое положение может продлиться довольно долго. Одно только тематическое разнообразие исторических работ, которое демонстрируют научные издания, свидетельствует в пользу такого объяснения. Но к закономерному процессу «переваривания» методологических новаций 1960–1980 гг. надо прибавить, как минимум, еще три причины. Или допустить их наличие.

1. Разочарование в общих теориях и шлейф постмодернистского наступления на науку. Казалось бы, историки благополучно пережили атаку постмодернистов и вышли из этой ситуации с минимальными потерями. Годы идут, а исторических работ, выдержанных в постмодернистском духе, почти не появляется, хотя манифестов было достаточно.

⁵⁵ Christian. 2010. P. 6.

Однако последствия постмодернизма оказались намного более серьезными, чем представлялось на рубеже веков. Постмодернистский дух практически не повлиял на исторический метод, но очень заметно воздействовал на тематику. И на отношение к теоретическим моделям, шире – к научности истории. Кроме того, очевидно, что постмодернизм сказался на системе аргументации: стандарты строгого научного изложения значительно ослабли.

2. Негативные перемены, которые произвело в исторической науке институциональное утверждение *cultural studies* (в данном случае нас не интересуют позитивные). Появление с 1980-х гг. многочисленных кафедр, курсов, журналов и грантов по *cultural studies* не сильно радовало традиционных историков. Не случайно книга А. Блума «Конец американского разума» (1987), призывавшая историков вернуться к «настоящим книгам и важным проблемам», неожиданно стала бестселлером. А. Шлезингер тогда же писал, что «культ этничности» является атакой на «общую американскую идентичность»⁵⁶, попыткой «повернуть поколение колледжей против европейской и западной традиции», разновидностью «культурного и лингвистического апартеида», и призвал «молчаливое большинство» американских профессоров не молчать, а бросить вызов «модной глупости». Затем последовали другие работы о засилье *cultural studies* и беспомощности университетских академических историков перед политкорректностью⁵⁷. Тем не менее, содержание журналов, где когда-то тон задавали те самые американские профессора, свидетельствует, что сопротивление экспансии *cultural studies* оказалось делом нелегким, если не безнадежным. Достаточно сказать, что с 2004 г. *Journal of American History* начинает рецензировать не только историческую литературу, но и фильмы! – новая форма презентации истории признается исторической ассоциацией в качестве легитимной⁵⁸.

Здесь самое время задаться вопросом, как учились те историки, которые сегодня могли бы интересоваться теорией?⁵⁹ А учились они так и тогда, когда на академическом уровне произошли радикальные изменения в учебных планах за счет исторических дисциплин. Популярность *cultural studies* привела к тому, что в настоящее время преподавание истории в университетах все дальше отрывается от модели классического исторического образования. Как показал, например, проведенный весь-

⁵⁶ Цит. по: *Levin.. 1993.*

⁵⁷ Библиографию см.: *Levin.. 1993.* P. 852, fn. 5.

⁵⁸ Все же, судя по анализу материалов этого журнала за 1999–2008 гг., сделанному Н. Д. Потаповой, *cultural studies* утрачивают позиции. *Потапова.* Рукопись.

⁵⁹ Мысль об этом подсказал мне Аркадий Перлов.

ма влиятельной в США организацией – Американским советом попечителей и выпускников (American Council of Trustees and Alumni – АСТА) – анализ учебных программ, в последние годы в списках обязательных тем курсы по истории часто объединяются в одну группу с различными неисторическими курсами под рубриками «американская культура», «мировая культура», «текстовые и исторические исследования» и подобными «культурологическими» предметами⁶⁰. И историки, получившие такое эклектическое образование, сегодня уже практикуют⁶¹.

3. Наконец, можно предположить скудость сопредельных социальных наук, к концепциям которых могут обращаться историки. Если там нет новых плодотворных теорий, удобных для изучения прошлого, то и «присваивать» нечего. Но так ли это? С одной стороны, для такого заключения основания имеются. С другой – в контексте предложенной темы, с моей точки зрения, внимание привлекает одна радикальная новация. Она обнаруживается в целом ряде дисциплин, и в ней на самом деле проявляется, казалось бы, давно исчезнувший *империализм* истории, поскольку налицо очередной виток *историзации* ряда наук (и не только социальных), выраженный в активном использовании неodarвинистской эволюционной теории⁶², биологическом или когнитивном повороте в антропологии⁶³, успехах эволюционной экономики⁶⁴, историческом измерении в экологии⁶⁵. Сегодня мы определенно имеем дело с темпорализацией очень разных дисциплинарных дискурсов. И в связи с этим кратко остановлюсь на процессах, происходящих в наиболее близких к истории социальных науках: антропологии и социологии.

Речь идет о дальнейшем углублении истории (в прямом смысле: на глубину миллионов лет) в исторической антропологии и о так называемой «третьей волне»⁶⁶ в исторической социологии. Суть новой концепции истории, предложенной антропологами, историкам достаточно известна – радикальный и обширный междисциплинарный проект, охватывающий миллионы лет и многие биологические виды, как объект

⁶⁰ Restoring America's Legacy... App.

⁶¹ *Поманова*. Рукопись.

⁶² The Return of Science: Evolution, History, and Theory...; *Fracchia, Lewontin*. 1999 and the subsequent debate in History and Theory 44 (February 2005); *Runciman*. 2005; *Fracchia, Lewontin*. 2005; *Runciman*. 2005.

⁶³ *Smail*. 2008.

⁶⁴ См. напр.: *Witt*. 2006; *Witt*. 2008; *Frontiers of Evolutionary Economics*...

⁶⁵ *Szabo*. 2010.

⁶⁶ Под таким названием объединяются в единое направление представители современной исторической социологии, для которых характерно внимание к событию, волевому акту, случайности и пр. – См.: *Adams et al*. 2005.

истории. Культура здесь рассматривается как видоспецифическая форма существования человека – одного из видов приматов, то есть снимается противопоставление между human и unhuman, натурой и культурой⁶⁷. Принцип «многообразия культур» стимулирует связь с «далекой и широкой» историей, потому что все имеют право на прошлое и должны быть «представлены». Логическим результатом применения этого тезиса стало радикальное удлинение истории (во всяком случае – предыстории) и принципиальное расширение понимания взаимодействия человека с природной средой (далеко превосходящее броделианское) в исторической антропологии. Это явление назвали «биологическим» или «когнитивным» поворотом, и историки достаточно о нем осведомлены.

А вот «третья волна» в социологии странным образом остается незамеченной. Представители третьей волны (Р. Аминзаде, Дж. Касанова, Э. Клеменс, Б. Дилл, Д. Дж. Фрэнк, Л. Гриффин, Дж. Хайду, М. Хэчтер, Э. Кизер, Дж. Мэйер, У. Сьюэлл и др.)⁶⁸ отвергли базовые принципы своих учителей (а среди них были такие известные ученые, как Т. Скокпол, И. Валлерстайн, Ш. Айзенштадт, Ч. Тилли) и сконцентрировались не на типологии, поисках подобия, преемственности и *больших* нарративах, а на принципиально ином – случайности, динамике, изменчивости, неустойчивости, мутациях. Разрабатываемые ими объяснительные модели существенно повышают статус исторических акторов и отдельных событий и, соответственно, фокусируются на непредвиденных долгосрочных последствиях человеческих действий в развертывании исторических траекторий. Тем самым процесс анализа сосредоточен на последовательностях (событий), вероятности и непредсказуемости, поворотных точках, «исторических ловушках» и т.п., а результатом исследования становится не создание типологий, а выковывание индивидуальных для каждой исторической тенденции цепей событий и причинно-следственных связей (достаточно сложно устроенных). «Третья волна» в исторической социологии поражает именно своей историчностью, столь ценным для историков стремлением объяснить сложные переплетения самых разных факторов, устремлений, событий, порой неожиданных по своим последствиям даже ретроспективно.

Историки, в том числе американские, практически ничем не выдадут своей осведомленности о разработках «третьей волны». Между тем,

⁶⁷ См., напр.: Шеффер. 2010; Gamble. 2007; Smail. 2008.

⁶⁸ О «третьей волне» см.: Steinmetz. 2007; Clemens. 2006; Adams et al. 2005; Abbott. 2001; Griffin. 1992; Clemens. 2005; Friedland, Alford. 1991; Griffin. 1993; Griffin et al. 1997; Haydu. 1998; Isaac, Griffin. 1989; Kiser, Hechter. 1991; Mahoney. 2000; Mahoney. 2004; Sewell. 2005; Somers. 1998.

похоже, что это направление в социологии уже довольно influentially. Статьи «новых» исторических социологов с завидной регулярностью печатаются в ведущих социологических журналах, а обзоры их книг можно найти практически в любом номере *Annual Review of Sociology*.

Таким образом, мы наблюдаем очередную интервенцию на территорию историков. В середине XX в. в США, это были экономисты – и сегодня в США экономической историей занимаются преимущественно экономисты на факультетах экономики⁶⁹. К концу прошлого века пришлось столкнуться с интервенцией филологов (новый историзм), и историки оказались очень чувствительны к постмодернистскому вызову. Адепты гендерных и феминистских исследований, а также постколониального дискурса тоже активно вторглись на территорию прошлого. Теперь происходит интервенция исторической социологии. Но здесь есть одно «но», отличающее это вторжение от многих других. «Третья волна», как кажется, наконец-то, радикально *приблизилась* к историкам, поставив в центр своих исследований единичное, индивидуальное, уникальное в перспективе времени.

Произойдет ли на этом очередном перекрестке «историческая встреча» – вопрос, как мне кажется, с предсказуемым ответом. Междисциплинарное общение в предложенном теоретическом формате, потребовало бы от историков овладения достаточно сложным и относительно новым теоретическим арсеналом (во многом он заимствован из экономической теории), который социологи «третьей волны» мобилизовали для решения проблем исторической изменчивости и непредсказуемости. Но перекресток (хотя бы один!) обнаружен.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999 [1960].
- Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1992].
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. / Пер. с фр. В 3-х т. Ч. I. М.: Прогресс, 1986–1992 [1979].

⁶⁹ О результатах этой интервенции для экономической истории в США Уильям Сьюэлл пишет: «Относительное безразличие профессиональных историков к истории экономической жизни в последние 30 лет... кажется парадоксальным, если принять во внимание поразительные трансформации, произошедшие с мировым капитализмом в тот же самый период. Я объясняю такое равнодушие свершившимся когда-то захватом междисциплинарного поля экономической истории математически ориентированными экономистами и почти одновременным разворотом историков от социальной к культурной истории» (Sewell. 2010).

- Бродель Ф.* Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II / Пер. с фр. В 3-х ч. Ч. 1: Роль среды. Ч. 2: Коллективные судьбы и универсальные сдвиги. М.: Языки славянской культуры, 2002–2003 [1949/1990].
- Гинзбург К.* Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XV в. / Пер. с итал. М.: РОССПЭН, 2000 [1976].
- Дарнтон Р.* Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры / Пер. с англ. М.: НЛО, 2002 [1984].
- [Земон] Дэвис Н.* Возвращение Мартена Герра / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1990 [1983].
- [Земон] Дэвис Н.* Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. Пер. с англ. М.: НЛО, 1999 [1995].
- Ионов И. Н.* От всеобщей истории к глобальной истории: роль постколониальной критики. Рукопись.
- Ионов И. Н.* Основные направления и методология глобальной истории // Новая и Новейшая история. 2003. № 1. С. 18–29.
- Ле Руа Ладюри Э.* Монтанью, окситанская деревня (1294–1324). Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001 [1975].
- Потапова Н. Д.* Современное состояние исторического знания. Сравнительный анализ исторической периодики России и США, 1999–2008. (Исследование в рамках проекта Смольного института свободных искусств и наук «Болонский процесс и основные направления модернизации исторического образования в России» при поддержке Фонда МакАртуров). Рукопись.
- Репина Л. П.* Идея всеобщей истории в России: от классики к неоклассике / «Гуманитарные исследования» (ИГИТИ ГУ–ВШЭ). 2009. Вып. 1 (38). 40 с.
- Савельева И. М.* Классики в исторической науке: «свой» и «чужие» // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы / Ред. Л. П. Репина. М.: Изд-во ЛКИ. 2011. С. 491–515.
- Савельева И. М., Полетаев А. В.* Классическое наследие. М.: ИД ГУ–ВШЭ, 2010.
- Савельева И. М., Полетаев А. В.* «Там, за поворотом...»: о модуле сосуществования истории с другими социальными и гуманитарными науками // Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации / Ред. Л. П. Репина. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 73–101.
- Савельева И. М., Полетаев А. В.* Знание о прошлом: теория и история. В 2-х т. Т. 1: Конструирование прошлого. Т. 2: Образы прошлого. СПб.: Наука, 2003–2006.
- Саид Э.* «Ориентализм. Западные образы Востока». СПб: Русский Мир, [1978] 2006.
- Сейл Л.* Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки. М.: Прогресс, [1978] 1984.
- Тош Дж.* Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М.: Весь Мир, 2000 [1984/2000].
- Феномен прошлого / Ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. М.: ГУ–ВШЭ, 2005.
- Филитов А. Ф.* Социология пространства. СПб.: Владимир Даль, 2008.
- Хобсбаум Э.* Век Революций [1972]. Век капитала [1975]. Век империй [1987]. В 3 т. / Пер. с англ. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
- Шенк Ф. Б.* Ментальные карты: конструирование географического пространства в Европе от эпохи Просвещения до наших дней // Новое литературное обозрение, 2001. № 6 (52). С. 42–61.
- Шеффер Ж.-М.* Конеч человеческой исключительности. М.: НЛО, 2010.

- Шартье Р.* Культурные истоки Французской революции. М.: Искусство, 2001 [1990].
- Эриксон Э. Г.* Молодой Лютер: психоаналитическое историческое исследование. Пер. с англ. М.: Медиум, 1995 [1958].
- Abbott A.* Time Matters: On Theory and Method. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2001.
- Across Cultural Borders. Historiography in a Global Perspective / Eds. E. Fuchs, B. Stuchtey. Lanham, 2002.
- Adams J., Clemens, E. S. and Orloff, A. S.* Introduction: Social Theory, Modernity, and the Three Waves of Historical Sociology / Ed. by Julia Adams et al. Remaking Modernity: Politics, History, and Sociology. Durham, NC, and L.: Duke Univ. Press, 2005. P. 1–72.
- AHR Forum: Oceans of History / American Historical Review. June 2006. Vol. 111. No. 3. P. 711–780.
- Alison G.* Atlantic History: Definitions, Challenges, and Opportunities // American Historical Review. 2006, Vol. 111. P. 741–757.
- Ankersmit F.* The Three Levels of ‘Sinbildung’ in Historical Writing; Language and Historical Experience / Ed. by Jörn Rüsen. Meaning and Representation in History. New York and Oxford: Berghahn Books, 2006.
- Baker A. R. H.* Geography and History: Bridging the Divide. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Bayly C.* The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons. Malden (Mass.); Oxford, 2004.
- Bentley J. H., Ziegler H. F.* Traditions and Encounters: A Global Perspective on the Past [2000]. Boston: McGraw-Hill, 2003.
- Bentley J. H.* The New World History / Ed. by Lloyd Kramer and Sarah Maza. A Companion to Western Historical Thought. Oxford: Blackwell, 2002. P. 393–416.
- Bentley J. H.* Shapes of World History in Twentieth-Century Scholarship. Washington, D.C.: American Historical Association, 1996.
- Bentley J. H.* World History and Grand Narrative // Writing World History, 1800–2000 / Ed. by Benedikt Stuchtey. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Bentley J. H.* Why Study World History? // World History Connected 5.1 (2007): 19 pars. 1 May 2011 – URL: <<http://www.historycooperative.org/journals/whc/5.1/bentley.html>>
- Beverage B.* Time, Presence, and Historical Injustice / History and Theory. May 2008, Vol. 47, Issue 2. Pp. 149–167.
- Boyd R., Richerson P. J.* Culture and the Evolutionary Process. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
- Boyd R., Richerson P. J.* The Origin and Evolution of Cultures. Oxford: Oxford University Press, 2005a.
- Boyd R., Richerson P. J.* Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution. Chicago: University of Chicago Press, 2005b.
- Bulliet R. W., Crossley P. K., Headrick D. R., Johnson L. L.* The Earth and its Peoples: a Global History. Boston: Houghton Mifflin Company, 2008.
- Burke P.* Popular Culture in Early Modern Europe. London: Temple Smith, 1978.
- Canizares-Esguerra J.* How to Write the History of the New World: Histories, Epistemologies, and Identities in the Eighteenth-Century Atlantic World. Stanford, California: Stanford University Press, 2002.
- Carr D.* Narrative Explanation and its Malcontents // History and Theory. February 2008, Vol. 47. Issue 1. P. 19–30.

- Casey E. S. *Earth-Mapping: Artists Reshaping Landscape*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2005.
- Chakrabarty D. *Minority Histories, Subaltern Pasts // Postcolonial Studies*. 1998. Vol. 1. № 1. P. 15, 22–27.
- Chakrabarty D. *Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Christian D. *The Return of Universal History // History and Theory Special Issue: The Next Fifty Years*. December 2010, Vol. 49, Issue 4. Pp. 6–27.
- Clark E. *History, Theory, Text. Historians and the Linguistic Turn*. Cambridge: Harvard Univ. Press, 2004.
- Classen Ch. and Kansteiner W. *Truth and Authenticity in Contemporary Historical Culture: An Introduction to Historical Representation and Historical Truth // History and Theory*. May 2009. Vol. 48. Issue 2. P. 1–4.
- Classen Ch. *Balanced Truth: Steven Spielberg's Schindler's List Among History, Memory, And Popular Culture // History and Theory*. May 2009. Vol. 48. Issue 2. P. 77–102.
- Clemens E. S. *Afterword: Logics of History? Agency, Multiplicity, and Incoherence in the Explanation of Change / Ed. by Julia Adams et al. Remaking Modernity: Politics, History, and Sociology*. Durham, NC, and L.: Duke University Press, 2005. P. 493–515.
- Clemens E. S. *Sociology as a Historical Science // The American Sociologist*. Summer 2006. Vol. 37, Issue 32. Pp. 30–40.
- Coleman M. & Agnew, J. A. *The Problem with Empire. / Ed. by J. W. Crampton & S. Elden. Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography*. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. 2007. P. 317–339.
- Cowen N. *Global History: A Short Overview*. Cambridge: Blackwell, 2001.
- Cresswell T. *In Place/out of Place: Geography, Ideology and Transgression*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
- Crossley, P. K. *What is Global History?* Cambridge: Polity Press, 2008.
- Culture and Resistance: Conversations With Edward W. Said. Interviews with Said by David Barsamian*. Cambridge: South End Press, 2003.
- Das Kaiserreich transnational. *Deutschland in der Welt 1871–1914 / Hg. S. Conrad, J. Osterhammel*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004.
- Dietze C. *Toward a History on Equal Terms: A Discussion of Provincializing Europe // History and Theory*. February 2008. Vol. 47. Issue 1. P. 69–84.
- Dirks N. *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India*. Princeton: Princeton University Press, 2001.
- Ethington P. J. *Placing the Past: 'Groundwork' for a Spatial Theory of History // Rethinking History*. 2007. Vol. 11. Issue 4. P. 465–493.
- Faire de l'histoire / Eds. J. Le Goff, P. Nora*. 3 t. Paris: Éditions Gallimard, 1974.
- Fanon F. *The Wretched of the Earth [1961]*. New York: Grove Weidenfeld, 1963.
- Fanon F. *Black Skin, White Masks [1952]*. New York: Grove Press, 1967.
- Fanon F. *Toward the African Revolution [1964]*. New York: Grove Press, 1969.
- Fracchia J., Lewontin R. C. *Dialectical Itineraries // History and Theory*. May 1999. Vol. 38. Issue 2. P. 169–197.
- Fracchia J. and Lewontin R. C. *The Price of Metaphor // History and Theory*. February 2005. Vol. 44. Issue 1. P. 14–29.

- Friedland R., Alford R. R.* Bringing Society back in: Symbols, Practices, and Institutional Contradictions / Ed. by W. Powell & P. DiMaggio. *The New Institutionalism in Organizational Analysis*. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 232–263.
- Frontiers of Evolutionary Economics* / Ed. by John Foster and J. Stanley Metcalfe. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2001.
- Gamble C.* Origins and Revolutions: Human Identity in Earliest Prehistory. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Gentlemanly Capitalism, Imperialism and Global History* / Ed. by Shigeru Akita. New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Geyer M., Bright Ch.* World History in a Global Age // *American Historical Review*. 1995. Vol. 100. Issue 4. P. 1034–1060.
- Gieryn T. F.* A Space for Place in Sociology // *Annual Review of Sociology*. 2000. Vol. 26. Issue 1. P. 463–496.
- Gilbert H., Tompkins J.* Post-Colonial Drama: Theory, Practice, Politics. L.: Routledge, 1996.
- Global History Reader* / Ed. by B. Mazlish, A. Iriye. New York, London: Routledge, 2005.
- Globalisation in World History*. Ed. by Anthony G. Hopkins. London: WW Norton, 2002.
- Goody J.* The Theft of History. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Griffin L. J.* Narrative, Event-Structure Analysis and Causal Interpretation in Historical Sociology // *American Journal of Sociology*. 1993. No. 98. P. 1094–1133.
- Griffin L. J.* Temporality, Events, and Explanation in Historical Sociology: An Introduction // *Sociological Research and Methods*. 1992. Vol. 20. Issue 4. P. 403–427.
- Griffin L. J., Clark P., Sandberg J.* Narrative and Event: Lynching and Historical Sociology // Ed. by F. Brundage. *Under Sentence of Death: Lynching in the South*. Chapel Hills, NC: University of North Carolina Press, 1997. P. 24–47.
- Haydu J.* Making Use of the Past: Time Periods as Cases to Compare and as Sequences of Problem Solving // *American Journal of Sociology*. 1998. Vol. 104. No. 2. P. 339–371.
- History and Theory Overview* – URL: [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/\(ISSN\)1468-2303/homepage/ProductInformation.html](http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2303/homepage/ProductInformation.html)
- History and Theory*. February 2005. Vol. 44. Issue 1.
- History and Theory*. October 2005. Vol. 44. Issue 4.
- History and Theory: The Next Fifty Years*. December 2010. Vol. 49. Issue 4.
- Hobsbawm E. J.* The Age of Extremes. L.: Michael Joseph & Pelham Books, 1994.
- Hobsbawm E.* On History. London: Weidenfeld and Nicolson, 1997.
- Horden P. and Purcell N.* The Mediterranean and “the New Thalassology” // *American Historical Review*. June 2006. Vol. 111. No. 3. P. 722–740.
- Hughes-Warrington M.* World History and World Histories // *World History Connected*. 2006. Vol. 3. No 3. – URL: <http://worldhistoryconnected.press.uiuc.edu/3.3.html>
- Iggers G. G.* *Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge*. Hanover (NH): Wesleyan Univ. Press; University Press of New England, 1997 [Germ. ed. 1993].
- Iggers G.* A Search for a Post-Postmodern Theory of History // *History and Theory*. February 2009. Vol. 48. Issue 1. P. 122–128.
- International Handbook of Historical Studies: Contemporary Research and Theory* / Ed. by G. G. Iggers, H. T. Parker. Westport (Conn.): Greenwood Press, 1979.
- Internationale Geschichte. Themen – Ergebnisse – Aussichten* / Hg. W. Loth, J. Osterhammel. München: Oldenbourg, 2000.

- Isaac L. W., Griffin L. J.* Ahistoricism in Time-series Analysis of Historical Process: Critique, Redirection, and Illustrations from U.S. Labor History // *American Sociological Review*. 1989, Vol. 54. No. 6. P. 873–890.
- Jay M.* Faith-Based History // *History and Theory*. February 2009. Vol. 48. Issue 1. P. 76–84. *Journal of Global History*. 2006–2010.
- Kansteiner W.* Success, Truth, And Modernism In Holocaust Historiography: Reading Saul Friedländer Thirty-Five Years After The Publication Of *Metahistory* // *History and Theory*. May 2009. Vol. 48. Issue 2. P. 25–53.
- Keilbach J.* Photographs, Symbolic Images, and The Holocaust: On The (Im)Possibility of Depicting Historical Truth // *History and Theory*. May 2009. Vol. 48. Issue 2. P. 54–76.
- Kiser E., & Hechter M.* The Role of General Theory in Comparative-Historical Sociology // *American Journal of Sociology*. 1991. Vol. 97. Issue 1. P. 1–30.
- Kossock M.* From Universal to Global History / *Conceptualizing Global History* / Ed. by B. Mazlish, R. Buultjens. Boulder, 1993. P. 93–112.
- L'Histoire et le métier d'historien en France 1945–1995* / Ed. F. Bédarida. P.: Éditions de la MSH, 1995.
- La nouvelle histoire* / Eds. R. Chartier, J. Le Goff, J. Revel. Paris: Retz/CEPL, 1978.
- Les lieux de mémoire* / Ed. P. Nora. 7 t. Paris: Gallimard, 1984–1993.
- Levi G.* L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento. Torino: Einaudi, 1985.
- Levin L. W.* Clio, Canons and Culture // *Journal of American History*, December 1993, vol. 80. No. 3. P. 852.
- Livingstone D.* *The Geographical Tradition*. Oxford: Blackwell, 1992.
- Löw M.* *Raumsoziologie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001.
- Mahoney J.* Comparative-historical Methodology // *Annual Review of Sociology*. 2004. Vol. 30. P. 81–101.
- Mahoney J.* Path Dependence in Historical Sociology // *Theory and Society*. 2000. Vol. 29. Issue 4. P. 507–548.
- Manning P.* *Navigating World History. Historians Create a Global Past*. N. Y., 2003.
- Massey D.* *For Space*. London: Sage. 2005.
- Matsuda M. K.* The Pacific // *American Historical Review*. 2006, Vol. 111. P. 758–780.
- Mazlish B.* *The New Global History*. New York, 2006.
- Mazlish B.* Comparing Global History to World History // *Journal of Interdisciplinary History*. 1998. Vol. 28. Issue 3. P. 385–396.
- Mazlish B.* Big Questions? Big History? // *History and Theory*. May 1999. Vol. 38. Issue 2. P. 232–248.
- McNeill W. H.* *The Rise of the West: The History of the Human Community*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1964.
- Meaning and Representation in History* / Ed. by Jörn Rüsen. N.Y.; Oxford: Berghahn Books, 2006.
- Medick H.* *Weben und Überleben in Laichingen, 1650–1900. Lokalggeschichte als Allgemeine Geschichte*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996.
- Murdoch J.* *Post-Structuralist Geography: a Guide to Relational Space*. L.: Sage. 2006.
- New Perspectives on Historical Writing* / Ed. P. Burke. Cambridge : Polity Press, 1991.
- The New History: The 1980's and Beyond. Studies in Interdisciplinary History* / Ed. by Th. K. Rabb, R. Rothberg. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1982.

- Novick P.* That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical Profession. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988.
- O'Brien P. K.* Historical Traditions and Modern Imperatives for the Restoration of Global History // *Journal of Global History*. 2006. Vol. 1. Issue 1. P. 3–39.
- Osterhammel J.* Colonialism: A Theoretical Overview. [1995] 2nd ed., Princeton: Marcus Wiener Publishers. 2005.
- Osterhammel J.* Internationale Geschichte. Themen, Ergebnisse, Aussichten. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2000.
- Osterhammel J., Petersson N. P.* Globalization: A Short History. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005.
- Osterhammel J., Petersson N. P.* Geschichte der Globalisierung. Dimensionen, Prozesse, Epochen. München: C.H. Beck Verlag, 2003.
- Palgrave Advances in World Histories / Ed. by M. Hughes-Warrington. Chippenham, Wiltshire: Palgrave Macmillan, 2005.
- Passés recomposés: Champs et chantiers de l'histoire / Eds. J. Boutier, J. Dominique. Paris: Éditions Autrement, 1995.
- The Political Imagination in History: Essays Concerning J. G. A. Pocock / Ed. by D. N. DeLuna, assisted by P. Anderson & G. Burgess. Baltimore MD: Owlworks, 2006.
- Pomian, K.* Sur l'histoire. Paris: Éditions Gallimard, 1999.
- Printy M.* Skinner and Pocock In Context: Early Modern Political Thought Today // *History and Theory*. February 2009. Vol. 48. Issue 1. P. 113–121.
- History and Theory Forum: Provincializing Europe // *History and Theory*. February 2008. Vol. 47. Issue 1.
- The Public Historian. University of California Press. Summer 2010. Vol. 32. Issue 3.
- Rethinking American History in a Global Age / Ed. by P. Bender. Berkeley, Los Angeles, London: University Of California Press, 2002.
- Rethinking the Foundations of Modern Political Thought Ed. by A. Brett and J. Tully, with H. Hamilton-Bleakley. Cambridge UK: Cambridge University Press, 2006.
- The Return of Science: Evolution, History, and Theory / Ed. by Philip Pomper and David Gary Shaw. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2002.
- Reynolds D.* One World Divisible: a Global History. London: Allen Lane, 2000.
- Rigney A.* All This Happened, More or Less: What a Novelist Made of The Bombing of Dresden // *History and Theory*. May 2009. Vol. 48. Issue 2. P. 5–24
- Runciman W. G.* Culture Does Evolve / *History and Theory* February 2005. Vol. 44. Issue 1. P. 1–13.
- Runciman W. G.* Rejoinder to Fracchia and Lewontin. / *History and Theory*, Feb 2005, Vol. 44, Issue 1. Pp. 30–41.
- Runia E.* Burying The Dead, Creating The Past / *History and Theory*. October 2007, Vol. 46, Issue 3. Pp. 313–325.
- Sachsenmaier D.* World History as Ecumenical History? // *Journal of World History*. 2007. Vol. 18. Issue 4. P. 465–490.
- Sewell Jr., W. H.* A Strange Career: The Historical Study of Economic Life // *History and Theory*. December 2010. Vol. 49. Issue 4. P. 146–166.
- Sewell Jr., W. H.* Logics and History: Social Theory and Social Transformation. Chicago: University of Chicago Press. 2005.
- Sibley D.* Geographies of Exclusion. London: Routledge, 1995.

- Smail D.* On Deep History and the Brain. Berkeley: University of California Press, 2008.
- Somers M. R.* 'We're no Angels': Realism, Rational Choice, and Relationality in Social Science // *American Journal of Sociology*. 1998. Vol. 104. Issue 3. P. 722–784.
- The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives* / Ed. by Barney Warf and Santa Arias. London: Routledge, 2009.
- Spiegel G. M.* Revising The Past / Revisiting The Present: How Change Happens in Historiography / *History and Theory*. December 2007. Vol. 46. Issue 4. P. 1–19.
- Stavrianos L. S.* Lifelines from Our Past. A New World History. N. Y.: Pantheon, 1989.
- Stearns P. N.* European Society in Upheaval. Social History Since 1800. New York: Macmillan, 1967.
- Stearns P. N.* Western Civilization and World History. N.Y.; L.: Routledge, 2003.
- Steinmetz G.* The Relations between Sociology and History in the United States: The Current State of Affairs // *Journal of Historical Sociology*. March/June 2007. Vol. 20. Issue 1–2. P. 1–12.
- Szabo P.* Why History Matters in Ecology: an Interdisciplinary Perspective // *Environmental Conservation*. Cambridge: Dec 2010. Vol. 37. Issue 4. P. 380–388.
- Taylor Ch.* A Secular Age. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.
- Thompson E. P.* Plebeian Culture and Moral Economy. London: Methuen, 1980.
- Tilly Ch.* Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New York: Russell Sage Foundations, 1984.
- Tilly Ch., Tilly L., Tilly R.* The Rebellious Century, 1830–1930. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1975.
- Traditions and Encounters. A Global Perspective on the Past* / Ed. J. Bentley, H. F. Ziegler. Boston, 2003.
- Wehler H.-U.* Historische Sozialwissenschaft und Geschichtsschreibung. Studien zu Aufgabe und Traditionen der deutschen Geschichtswissenschaft. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1980.
- Werner M., Zimmermann, B.* Beyond Comparison: Histoire Croisée and The Challenge Of Reflexivity / *History and Theory*, February 2006. Vol. 45. Issue 1. P. 30–50.
- Western Historical Thinking: An Intercultural Debate* / Ed. by Jörn Rüsen. New York and Oxford: Berghahn Books, 2002. P. vii, ix.
- Wigen K.* Oceans of History // *American Historical Review* 111 (2006). P. 717–721.
- Windschuttle K.* The Killing of History: How Literary Critics and Social Theorists are Murdering Our Past. San Francisco: Encounter Books, 1996.
- Witt U.* The Evolving Economy: Essays on the Evolutionary Approach to Economics. *Global Business and Economics Review*, Vol. 8, No. 3/4, 2006. P. 338–342.
- Witt U.* *Evolutionary Economics* / *The New Palgrave Dictionary of Economics*, ed. Steven Durlauf and Lawrence Blume, 2nd ed. L.; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008.
- Witt U.* *The Evolving Economy: Essays on the Evolutionary Approach to Economics*. Cheltenham: Edward Elgar. 2003.
- World Civilizations: The Global Experience* / Ed. P. N. Stearns et al. 2 vol. N.Y., 2000–2003.
- Writing World History 1800–2000* / Ed. by E. Fuchs, B. Stuchtey. Oxford; N.Y., 2003.

Савельева Ирина Максимовна, доктор исторических наук, профессор, директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А. В. Полежаева НИУ ВШЭ; isavelieva@hse.ru

ИСТОРИЯ ИДЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

АЛЛАН МЕГИЛЛ

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Отвечая на поставленные вопросы, автор рассказывает, как интеллектуальная история привлекла его своей широтой и относительной эпистемологической скромностью. Он видит ее, скорее, не как субдисциплину истории, а как междисциплинарное поле, ориентированное на прояснение проблем и привлечение внимания к границам, и считает, что она не должна следовать какому-то одному «правильному» подходу. Автор полагает, что сегодня важными темами интеллектуальной истории являются религия, идентичность, проблемы коллективной мотивации и наши отношения с миром природы.

Ключевые слова: интеллектуальная история, исторический метод, исторические подходы, гуманитарные науки, историческое знание.

1. Почему Вы обратились к интеллектуальной истории? 2. Как бы Вы оценили свой вклад в эту область? 3. Какой должна быть роль интеллектуальной истории по отношению к другим академическим дисциплинам? 4. Что Вы считаете наиболее важными темами и/или достижениями интеллектуальной истории? 5. Каковы наиболее значимые из поставленных проблем в этой области и перспективы / пути ее развития?¹

1. Почему Вы обратились к интеллектуальной истории?

В отличие от других областей, которыми я интересовался и возможно занялся бы в дальнейшем, мое первоначальное обращение к интеллектуальной истории было связано с ненадежностью – на самом деле с несколькими видами ненадежности. Я вырос в городке с населением около трех тысяч человек в северном Саскачеване (или в северной части той части Саскачевана, где можно культивировать зерновые культуры с некоторой вероятностью на успех – на тридцать или сорок миль дальше к северу климат и география устроили заговор против сельского хозяйства). С раннего возраста я чувствовал себя живущим в провинции на краю цивилизации. Мои родители вступили во взрослую жизнь во время Великой Депрессии 1930-х гг., до основания подкосившей рынок сельхозпродуктов. В Западной Канаде депрессия сопровождалась об-

* Редакция признательна издательству *Taylor & Francis* за разрешение опубликовать перевод этой статьи, которая впервые вышла как: *Megill, Allan. Five Questions on Intellectual History // Rethinking History* 15: 4 (December 2011): 489-510.

¹ Я признателен Миккелю Торупу (Mikkel Thorup, University of Aarhus) за то, что он задал мне эти вопросы, и благодарен за советы В. Брекману (W. Breckman), Р. Фелски (R. Felski), Т. А. Говарду (T. A. Howard) и Е. Мидлфорту (E. Midelfort).

ширной засухой. Люди, которые выросли в тех обстоятельствах, зачастую практически не знали, что такое жить в других местах или путешествовать в другие земли. Это объясняло определенную узость взглядов.

Далее, растущая механизация оказала продолжительное экономическое давление, направленное на укрупнение фермерских хозяйств. Поселенцы, осевшие в прерии в конце XIX – начале XX в., извлекли выгоду из 160 акров свободной земли, которую им первоначально предоставили в соответствии с Законом о гомстедах, но в конце концов эти хозяйства оказались нежизнеспособными. В результате, на протяжении многих десятилетий население Саскачевана стагнировало. В переписи 1931 года оно достигло пика – 921 785 чел., в 1976 г. оставаясь практически таким же: 921 325 чел. За то же время население Канады увеличилось почти в два с половиной раза. Многие уехали из Саскачевана.

До 20-ти лет я не видел выступления симфонического оркестра, и узнал, что такое «Ода радости» только когда учился в колледже. Для меня как ребенка олицетворением городского опыта были Реджайна и Виннипег, находившиеся на расстоянии почти 500 миль по существовавшим тогда шоссе. Моя семья редко посещала эти места, и в любом случае я всегда видел их только со стороны. Но «провинциальность» и «окраина цивилизации» – только часть этой истории. Саскачеван являлся землей иммигрантов. Бабушки, дедушки, а во многих случаях и родители моих одноклассников прибыли из других мест. Отличалась и политика Саскачевана. Суровый зимний климат, рассеянность населения, экономическое подчинение провинции сети поставок, контролирующихся бизнес-интересами в Восточной Канаде, и – последнее, но не менее значимое – экономическая разруха 1930-х гг. работали на идеологию кооперации, которая отличалась от собственнического индивидуализма, господствовавшего на большей части территории Северной Америки. Социал-демократическая партия пришла к власти в 1944 г. и оставалась правящей вплоть до 1964 г. Одним из самых сильных впечатлений моего детства была забастовка врачей 1962 г. (и приведшие к ней события), когда перед лицом широкой и хорошо финансируемой оппозиции правящая партия ввела программу всеобщего медицинского страхования, к чему стремились с 1944 г. Премьер-министр и его люди были кем угодно, но только не провинциалами: напротив, они достаточно независимо мыслили, чтобы понять, что большая часть поднятого против новых мер шума была беспочвенной². Кроме того, они имели

² Классическим исследованием того, что неверно названо «социалистической» политикой Саскачевана в середине XX века, является книга Сеймура Мартина Лип-

мужество рискнуть поражением на будущих выборах – и действительно проиграли, но к тому времени новые меры были уже столь популярны, что их трудно было отменить. В течение нескольких лет всеобщее медицинское страхование стало нормой на всей территории Канады.

Подрастая в этом северном сельском ландшафте, я ощутил не столько провинциальность, сколько своего рода диалектику провинциального и космополитического. Конечно, я говорю о собственном опыте, весьма специфическом и отличном от других. Телевидение едва присутствовало: телевизор появился в доме, когда мне было возможно 11 или 12 лет, и его много не смотрели. Был только один канал (черно-белый, разумеется), и прием от находящейся в 80-ти милях трансляционной башни был плохим. Намного значимее было радио. Атмосферные помехи зимой позволяли слушать радиостанции из таких экзотических мест как Чикаго и Омаха. Когда уровень атмосферных помех был особенно сильным, возникало ощущение, что весь радио-эфир заполнен каналами. Ближе к дому радио Си-Би-Си выдавало иногда удивительные вещи – я вспоминаю, например, переданное из Реджайны интервью с премьер-министром Британской Гвианы Чедди Джаганом (Cheddi Jagan): я тогда в первый раз в жизни услышал непонятную фразу «научный социализм»³. Холодными ясными зимними ночами иногда можно было видеть как в северном небе мерцало *aurora borealis* (северное сияние). На 1200 миль к северу поперек Арктики простиралась Отдаленная линия раннего обнаружения (Distant Early Warning Line), предназначенная для предупреждения советской бомбовой атаки на Северную Америку за несколько часов. К югу – какофонический беспорядок Соединенных Штатов – неувыдающий и притягательный источник развлечения.

Интеллектуальная история, казалось, обещала доступ к тому, что было космополитичным, даже универсальным. Можно задать вопрос: почему не философия? Я пробовал заниматься философией, но скепти-

сета «Аграрный Социализм» (*Seymour Martin Lipset. Agrarian Socialism (1971 [1950]). См. особенно важное исследование Беннета и Крюгера, добавленное к пересмотренному и дополненному изданию, в котором делается акцент на прагматизм этого движения (Bennett, Krueger. 1971). Однако я бы назвал это критическим или принципиальным прагматизмом, потому что для достижения прагматических целей он готов был идти вразрез с обычными политико-экономическими предрассудками.*

³ Очень немногие исследования касаются визита Джагана в Канаду в 1961 г. Незадолго до этого я услышал инаугурационное обращение президента Джона Кеннеди, убеждавшего американцев «заплатить любую цену, вынести любые тяготы, преодолеть любые трудности, поддержать любого союзника и противостоять любому противнику» ради поддержания свободного мира, – хороший контраст (*Кеннеди. 1961*). Любую цену? Любого «союзника»? Конечно, теперь мы стали мудрее.

чески относился к своей способности выдвигать и защищать аргументы такого плана, которыми, как мне казалось, должны были заниматься философы. Как я мог, будучи простым студентом, выбирать между эпистемологическими требованиями Локка и Канта? Действительно, как я мог выдвигать свои *собственные* аргументы в вопросах эпистемологии (или этики, или метафизики), а не только пересказывать и пытаться дать оценку тем аргументам, которые уже выдвинуты великими философами? В ретроспективе я вижу, что мог бы предложить исторический мета-аргумент против самой попытки осуществить выбор между конкурирующими философскими позициями⁴. Хотя я не считаю историцистскую позицию адекватной (так как утверждение о несуществовании такой вещи как универсальное философское утверждение само является универсальным философским утверждением) возможно, я мог бы что-то сказать по этому поводу. Но тогда я не был способен предложить такой аргумент. Не пошел я и в экономику – другую привлекавшую меня сферу, по отношению к которой также чувствовал себя непригодным. Здесь сыграло роль непредвиденное обстоятельство: у меня был блестящий преподаватель экономики на первом году обучения и посредственный на втором. Кроме того, сельская средняя школа, которую я посещал, давала слабую подготовку по математике: в ней не предусматривался даже Precalculus*. Теперь-то я знаю, что я легко мог освоить любую математику, необходимую мне для специализации в области экономики, но тогда я этого не знал.

Вместо этого я обратился к истории. Отчасти потому, что у меня была непрерывная череда хороших преподавателей-историков, но также и потому, что я чувствовал, что в истории я мог делать то, чего не мог, по собственному убеждению, делать в философии и экономике, а именно выдвигать такие аргументы, которые будут оценены как адекватные как моими учителями, так и самой дисциплиной. В этой моей уверенности мне помогло неверное представление о том, что выдвижение разумных аргументов в области истории происходит путем сбора и упорядочивания относящихся к вопросу фактов. Другими словами, в своем понимании исторического аргумента я был наивным эмпириком. И тем не менее, по сути я был прав. Историки как таковые говорят о конкретных исторических ситуациях – сколь масштабными они бы ни были. Перед

⁴ Как это сделал Квентин Скиннер. – См.: *Skinner*. 1969.

* В американском школьном образовании Precalculus является продвинутой формой алгебры. Иногда этот курс называется «введение в анализ». Во многих школах Precalculus – это два отдельных курса – алгебры и тригонометрии. – *Прим. пер.*

историками как таковыми, в отличие от большинства экономистов и философов, не стоит задача выдвинуть некое универсальное утверждение.

Но для меня проблема в других областях истории заключалась в том, что универсальное явно куда-то пропадало. Будь я гражданином большой и могущественной страны, возможно, я бы и не заметил потерю теоретической универсальности. Но я был гражданином страны средних размеров – процветающего, чрезмерно мирного и в целом хорошего, если не сказать временами скучного места на земле – которая не представлялась мне носителем универсального (тем более что страна объединяла две резко контрастирующие национальные культуры – английскую и французскую). Более того, мое происхождение лишило меня способности верить в то, что вообще *какая-то* национальная история может быть носителем универсального. Я отчетливо помню, как услышал слова президента Ричарда Никсона, сказанные им 30 апреля 1973 года в его «Обращении к нации по поводу расследования дела Уотергейта»: «Я глубоко убежден в том, что Америка – это надежда всего мира. И я знаю, что качество и мудрость американского лидерства – единственная надежда миллионов людей по всему миру в том, что они могут мирно и свободно жить»⁵. Эти слова поразили меня как проявление некоего странного американского помешательства. Сегодня же к подобным заявлениям я отношусь еще более скептически.

Мне казалось, что интеллектуальная история предлагает то, чего не могли предложить другие области истории. Утверждения историков, более сдержанные по сравнению с утверждениями (некоторых) философов и представителей социальных наук, больше подходили моему темпераменту. Интеллектуальная история представлялась мне способом заниматься философией, но без чувства вины. Это была возможность увидеть *aurora borealis*, утолить или хотя бы контролировать чрезмерное любопытство. Наконец, интеллектуальная история давала возможность испытать такое изумление, которое ощущаешь, когда слышишь от другого нечто прорицательное, или когда тебя самого посещает озарение как ответ на какие-то слова или мысли прошлого.

Таким образом, то, что я родом из Канады и специализировался в интеллектуальной истории, нет ничего «случайного». Среди интеллектуальных историков Северной Америки канадцы по происхождению составляют небольшое, но непропорциональное число. Можно было бы

⁵ Никсон. 1973. Р. Никсон был не единственным человеком, утверждавшим, что «Америка – надежда мира/человечества». Google® search дает 1 630 000 результатов, в некоторых из них это утверждение опровергается (на ноябрь 2010 года).

объяснить этот факт склонностью провинциалов к тому, что диалектически уравнивает провинциальность, и тем, что крайне сложно представить себе историю Канады несущей на своих плечах Мировой Дух.

2. Как бы Вы оценили свой вклад в эту область?

Я в основном не рассматриваю себя в рамках «внесения вклада в некую область». Если бы я смотрел на это именно с такой стороны, я бы не сделал той работы, которую сделал, и не «потратил бы впустую» столько времени (а я потратил впустую немало времени). Скорее, мною движет собственное любопытство и стремление «разгадать загадку». Несомненно, мне нужно было зарабатывать на жизнь, и это направило мое любопытство в определенные (а не другие) направления. Более того, с самого начала мне было ясно, что если я хочу породить какие-либо достойные мысли, мне необходимо опираться на мысли других. Бессмысленно пытаться заново изобрести колесо. Знание имеет социальный характер (если даже не *исключительно* социальный). Академическое знание в частности зависит от природы предыдущего знания. Чтобы какая-то статья или книга нашла свою нишу в огромном потоке академических исследований, им нужна «зацепка» (или же ряд «зацепок») в ранее написанных трудах. Но я, возможно, формулирую это слишком инструментально! Корпус знания, который существует в настоящее время – «существующая литература» – не просто дает новой книге место. Скорее, существующая литература, благодаря своим собственным лакунам и противоречиям – лакунам, которые *и не существовали бы* без этой литературы – рождает саму возможность новой работы.

В процессе своего образования как интеллектуального историка я научился своего рода исторически-чуткому «внимательному чтению». Но возможно, слово «образование» здесь не подходит. Скорее, я учился в процессе наблюдения – прежде всего, внимательно прочитывая то, что было написано научными руководителями моей диссертации (Jacques Barzun и Leonard Krieger) – и извлекая все возможное из их семинаров. Кригер в некотором отношении оказал на меня большее влияние. По стандартам историков он был исключительно аналитичен, и в течение определенного времени его умение видеть и вскрывать нестыковки и противоречия в теоретической позиции оказали на меня несомненное влияние. Например, я был очень впечатлен его анализом политических идей Канта и Гегеля в его книге «Немецкая идея свободы»⁶. К тому же довольно рано я заметил не очень удачные места этой книги, а именно

⁶ Krieger. 1957. С. 86–138.

попытки Кригера связать между собой социально-политический и теоретический «контексты» (использую здесь слово слишком уж любимое нами историками) обсуждаемых им работ.

Было лучше, когда Кригер занимался только анализом идей. На самом деле, социально-политический «базис» кригеровских исследований был порочен – слишком легко он принял идею (предложенную Эрнстом Трёлльчем, Фридрихом Майнеке и другими немецкими мыслителями в начале XX в.) о существовании особого, *немецкого* исторического пути (*Sonderweg*), отличного от пути развития «Запада»⁷. В то время меня беспокоила не столько проблема содержания, сколько проблема методологии – явная сомнительность предлагаемой Кригером связи между идеями и [социально-политическим] контекстом. Я знал много работ по интеллектуальной истории, которые механически и слишком общо пытались найти обоснование «идеям» в «контексте». У меня не было собственных оригинальных идей относительно правильного метода – я скорее был слишком неуверен в себе, чтобы доказывать существование связей, не имея для этого, как мне казалось, адекватного основания. В любом случае, меня в основном интересовали *сами* идеи – остатки «универсального». Эти рассуждения подтолкнули меня к тому, чтобы написать диссертацию, в которой я попытался описать, объяснить и проинтерпретировать довольно формальный спор между некоторыми мыслителями Просвещения по поводу весьма странно звучащего вопроса: «Предположим, что существуют люди без языка – смогли бы они обрести его самостоятельно, и если да, то как?»⁸. У меня не было какого-то специального плана – просто, когда я готовился к экзаменам в докторантуре в Колумбийском университете, я обнаружил, что на удивление большое число мыслителей XVIII в. (в том числе Кондильяк, Руссо, Мопертюи, Зюсмильх и Гердер) обращались к этому вопросу. Я написал эту диссертацию и в результате получил свою первую академическую должность в Университете Айовы. У меня не было никакого интереса продолжать это исследование; оно уже послужило своей цели, обеспечив меня работой.

Как я уже говорил, мною движет собственное любопытство и стремление «разгадать загадку». В 1975 г., будучи ассистентом профессора в университете Айовы, я слушал лекции Гайатри Чакраворти Спивак, которая тогда преподавала в Университете Айовы, и ее учителя Поля де Мана, которого Спивак пригласила из Йельского университета. Поль де Ман читал лекцию по Жану Жаку Руссо, и мне показалось, что

⁷ Аргументацию против этого тезиса см.: *Blackbourn and Eley*. 1984.

⁸ *Megill*. 1975.

он говорил совсем о другом Руссо, а не о том, который был так хорошо известен мне. Но самое поразительное впечатление произвела публичная лекция Спивак. Фактически это была версия предисловия переводчика к переводу Спивак «О грамматологии» (*De la grammatologie*) Деррида, который вскоре должен был быть опубликован⁹. Те, кто сталкивался с этой книгой, знают, что это предисловие состоит из 78 страниц плотного текста, на которых Спивак представляет Деррида английскому читателю, исследуя его увлечения своими «признанными “предшественниками”» – Ницше, Фрейдом, Хайдеггером и Гуссерлем¹⁰. Эта лекция была таким действием, подобных которому я не видел ни до, ни после этого. Я не совсем понимал, о чем идет речь, но с какой глубиной и вдохновением она была прочитана! Я решил, что нужно выяснить, чем занимаются Спивак и де Ман, а это означало, что нужно было выяснить, чем занимается Деррида – та личность, которая их связывала. Поэтому летом 1976 года я начал читать Деррида.

Нужно понять тот порыв, который пронизывал литературную теорию и смежные области знания в 1970-е гг. Так называемая «Йельская школа» (Гарольд Блум, Поль де Ман, Дж. Хиллис Миллер) и Деррида, частый гость в Йельском университете) была в самом расцвете. Спивак не принадлежала к этой школе (она училась с де Маном в Корнелльском университете, пока он не перевелся в Йельский), но она разделяла их увлеченность, а также, благодаря своему бенгальскому происхождению и тесным связям с Южной Азией, корректировала и усиливала ее. В общем, люди, занятые в самых разных областях исследований, начали серьезно и глубоко задумываться о роли репрезентации в процессе нашего обращения к реальности. В среде ученых-литературоведов Великобритании и Северной Америки начали набирать вес работы Роланда Барта, например, его «Мифологии»¹¹. Другая область, которой я занимаюсь, кроме интеллектуальной истории, – это историческая теория, и в конце 1960-х произошло то, что Артур Данто назвал «закатом и упадком аналитической философии истории»¹², и последующее появление в этой области, по словам Ричарда Ванна, «лингвистического поворота»¹³. Одним из признаков этого поворота был выход в свет в 1973 г. «Метаистории» Хейдена Уайта, которая продемонстрировала возмож-

⁹ Derrida. 1976 [1967].

¹⁰ Spivak. 1976. P. xxi.

¹¹ Mythologies. (1972 [1957]).

¹² Danto. 1995.

¹³ Vann. 1995.

ность риторического анализа исторического дискурса¹⁴. Также в 1970 г. было опубликовано второе издание «Структуры научных революций» Томаса Куна¹⁵. Интерес к этой работе постоянно возрастал, начиная со времени публикации ее первого издания в 1962 г., но в 1970-х гг. внимание к ней резко возросло в связи с тем, что ученые различных областей пытались применить на практике ее уроки. Результатом стала очень широкая, охватывающая разные области дискуссия о природе знания. Я был прекрасно осведомлен об этой дискуссии во время моей работы в Университете Айовы (с 1974 по 1990 г., с трехлетним перерывом, когда я работал в Австралии с 1977 по 1979 г.). Например, в течение моих первых двух лет работы в Университете Айовы имел место памятный визит Хейдена Уайта, а также литературных критиков Стенли Фиша и Барбары Херрнстейн Смит. Все трое глубоко интересовались вопросом о том, что можно считать знанием.

Вплоть до 1980-х гг. эта дискуссия была известна лишь небольшому кругу историков¹⁶. Я написал свою первую книгу¹⁷ не потому, что хотел внести свой вклад в интеллектуальную историю, а потому что хотел разрешить те загадки, которые посеяли в моей голове Спивак, де Ман, Уайт, Кун и другие. Я начал с Деррида, но сначала мне было трудно понять, к чему он клонит. Однако одной из самых поразительных его вещей была глава в его «Письме и различии», которая называется «Cogito и история безумия», глава о Мишеле Фуко, с чьими работами я уже до этого сталкивался¹⁸. Прочитав эту и несколько других глав в «Письме и различии», я вновь обратился к Фуко – не для того, чтобы его «контекстуализировать», а для того, чтобы просто разобраться в том, чем он занимается. В результате, в 1977 г. я отослал большую работу редактору *Journal of Modern History* Уильяму Макнилу, который занимался всемирной историей. В своем ответе Макнил написал, что никогда ранее не слышал о человеке по имени Мишель Фуко и сначала подумал, что моя работа, должно быть, касается изобретателя маятника Фуко. Он, тем не менее, принял работу к публикации, и она увидела свет в 1979 г.¹⁹ А я тем временем продолжать писать то, что в конечном счете превратилось в *Prophets of Extremity*.

¹⁴ White. 1973.

¹⁵ Kuhn. 1970.

¹⁶ Единственным исключением следует назвать теорию науки Куна, широко обсуждаемую в 70-х гг. в социальных науках. Историю вопроса см.: Hollinger. 1973.

¹⁷ Megill. 1985.

¹⁸ Derrida. 1978 [1967], 31-63.

¹⁹ Megill. 1979.

Я рассматриваю *Prophets of Extremity* как свой вклад в интеллектуальную историю. Безусловно, любая книга, законченная 27 лет назад (осенью 1983 года), выглядит примерно как слегка неуклюжий старый знакомый, неожиданно появившийся на свадьбе. Я не рассматриваю *Prophets of Extremity* как образец того, как следует писать интеллектуальную историю. На самом деле некоторые из моих последующих работ можно рассматривать как попытки исправить ошибки или упущения в этой книге. Самой заметной из них можно назвать мою работу над книгой *Rethinking Objectivity*²⁰, которую я редактировал и к которой написал введение; я также размышлял по поводу объективности в своей книге *Historical Knowledge, Historical Error*²¹. В этих работах я подспудно исправлял некоторые из упрощенных замечаний по поводу субъективности и объективности в *Prophets*. Представленное в этих книгах мое видение объективности отражает мой взгляд на Фуко с большим количеством оттенков и меньшей степенью неоднозначности, чем тот, что был предложен в *Prophets* и особенно в статье в *Journal of Modern History*, из которых очевидно, что я был одновременно и глубоко очарован Фуко, и слишком критически и полемически настроен по отношению к нему.

Другой недостаток *Prophets of Extremity* состоит в том, что я неадекватно рассмотрел и не объяснил свой подход в этой книге, которую я написал на основе того, что я рассматриваю «X как нечто», а подобное заявление сильно отличается от утверждения, что «X есть это нечто»²². Например, я не утверждал, что Ницше был «эстетом»; я скорее представил взгляд на Ницше «как на эстета». Говоря шире, я предложил *взгляд* на то, что я назвал «кризисным мышлением» (crisis thought), но это вовсе не является утверждением о существовании кризиса, будь то в прошлом ли или настоящем. Иногда людям трудно понять эту разницу. Поэтому, в частности, я посвятил большую часть *Historical Knowledge, Historical Error* роли предположения в истории. Предлагать умозрительное, странное, корявое объяснение реальности не является эпистемологическим грехом, если подобные объяснения идентифицируются именно как умозрительные и служат некоей поясняющей цели.

²⁰ Megill. 1994.

²¹ Megill. 2007a.

²² Очень жаль, что историки еще не приняли в достаточной мере взгляд философа истории Франка Анкерсмита, утверждающего, что предположение о том, что мы рассматриваем что-то как нечто, является исключительно важным в понимании того, чем занимаются историки. См., например: Narrative Logic (*Ankersmit*. 1983), p. 82–86; Sublime Historical Experience (*Ankersmit*. 2005), p. 41–43; A Semantic Analysis of the Historian's Language (*The Hague: Nijhoff*. 1983), p. 82–86; *Ankersmit*. 2005. P. 41–43.

В то время, когда я написал *Prophets of Extremity*, это была преждевременная и чрезвычайно амбициозная работа. Она была преждевременна в двух смыслах. Она вышла в свет до того, как появились архивы Фуко или Деррида или какие-либо доступные архивы Хайдеггера, а также до публикации (хотя бы в сомнительной редакции) многих рукописей Хайдеггера. Далее, она вышла в свет раньше, чем я обрел философскую компетенцию, достаточная для того, чтобы по достоинству оценить философское содержание «Бытия и времени» (*Being and Time*) (так, по меньшей мере, мне кажется). Другими словами, с философской точки зрения, *Prophets of Extremity* – работа спорная. Но некоторым она показалась интересной и продавалась гораздо лучше других моих книг. Но это «в прошлом». Недавно меня спросили, дал бы я свое согласие на ее перевод на русский язык (*Karl Marx: The Burden of Reason*²³ и *Historical Knowledge, Historical Error*²⁴ уже появились в русском переводе). Я сказал нет, потому что она не дотягивает до существующего в России уровня читателя философской литературы. Было бы гораздо лучше, если бы вместо этого я написал другую книгу.

Я работал над *Prophets of Extremity* с 1977 по 1983 г., в Австралии, а потом опять в Соединенных Штатах. Следовало ли мне написать другую книгу – более узкую и не столь амбициозную? Я так не думаю. Некоторые аспекты книги все еще хороши, по крайней мере, в качестве умозрительных конструкций – например, рассмотрение Ницше, Хайдеггера, Фуко и Деррида в ракурсе *crisis thought*. Безусловно, существуют и другие способы рассмотрения сформулированных, теоретически ориентированных идей прошлого, чем тот, которым я оперировал в *Prophets*. Например, можно было бы попытаться увидеть в них репрезентации или намеки на *что-то иное* – например, биографию, политику, общество, религию, культуру. Или же пояснения способа «переживания» конкретного времени и места. В то время как все эти подходы вполне легитимны, существует также опасность, что в процессе разработок этих подходов серьезные теоретические гипотезы, предложенные мыслителями прошлого, вместо того, чтобы быть подвергнуты исследованию, будут редуцированы до уровня «текста» или «дискурса» (каковыми они, конечно, отчасти являются). Теоретические аргументы предполагают – а на самом деле, *требуют* – ответы на теоретическом уровне. Опасность состоит в том, что интеллектуальные историки могут потерять из вида теоретическое содержание текстов прошлого – так что, например,

²³ Megill. 2002; Megill. 2011.

²⁴ Megill. 2007a; Megill. 2007b.

Маркс, станет просто изобретателем какого-то конкретного «дискурса», чьи теоретические идеи вообще не нужно серьезно исследовать.

3. Какова роль интеллектуальной истории по отношению к другим академическим дисциплинам?

У меня есть оговорка по поводу явной посылки этого вопроса, а именно того, что интеллектуальная история обладает (или же должна обладать) таким качеством, которое позволило бы говорить о *единственной* ее роли. Например, в начале своей карьеры Квентин Скиннер в своей широко обсуждавшейся статье «Значение и понимание в истории идей» набрал множество очков в свою пользу благодаря заявлению, что он открыл «*единственно* адекватную (appropriate) методологию для истории идей» (курсив мой – А. М.)²⁵. Скиннер – проницательный и тонкий мыслитель, он скорректировал свою первоначальную методологическую позицию как на практике, так и в последующих методологических дискуссиях, поэтому вопрос по поводу позиции Скиннера слишком сложен, чтобы быть представленным здесь²⁶. Я всего лишь хочу подчеркнуть, что необходимо затронуть *два* вопроса. Один из них – это поставленный в работах Скиннера вопрос, а именно, что является адекватным для истории идей методом? Второй вопрос – метафизический: что оправдывает предположение о том, что вообще существует *единственно* адекватный для истории идей метод? Этот вопрос практически не обсуждался; обычно просто подразумевается положительный ответ.

На самом деле, существует некий уровень, на котором любая академическая дисциплина должна разделять общие методологические принципы и процедуры – по меньшей мере, если она претендует на то, чтобы способствовать развитию знания. В данном случае я употребляю слово «знание» (knowledge) в смысле *науки* (science – англ.), *Wissenschaft* (нем.), *науки* (рус.) – другими словами, я подразумеваю такие утверждения или группы утверждений, которые (а) закреплены intersубъективно действующими процедурами для поиска или приведения

²⁵ Skinner. 1969. Слово сочетание «адекватная (appropriate) методология» появляется в статье четыре раза, «адекватные (appropriate) процедуры» – один раз, «адекватные (appropriate) средства» – один, и «адекватный (appropriate) метод» – тоже один. Вообще, термин «адекватный (appropriate)» встречается в эссе девятнадцать раз (плюс один раз слово «адекватно» (appropriately)). Основополагающей идеей, фактически, кажется поиск релевантности (propriety): исторические работы должны быть выполнены «надлежащим образом» (proper) (тринадцать раз). В значительной мере Скиннер ведет атаку на заведомо негодную работу. Он называет такую работу *inadequate* – два раза, *inappropriate* – два раза и (конечно) *improper* – один раз.

²⁶ См. введение в эту дискуссию: Tully. 1988; Palonen. 2003; Skinner. 2002.

относящихся к вопросу доказательств, и (б) распространяются путем передачи, обсуждения, дебатов и повторной рефлексии, в процессе которых критически исследуются эти доказательства и их заявленная релевантность. Нужно следить за тем, чтобы убедиться, что конкретные заявления, так же как и более общие утверждения, в рамках которых они делаются, соответствуют (и пропорциональны) поддерживающим их доказательствам и аргументам. Существуют пересекающиеся между собой круги историков, ученых в области социальных наук и представителей других сфер гуманитарного знания, которые придерживаются очень сходного набора процедур и эмпирических правил в отношении этой эпистемологической задачи²⁷.

Историки в целом и интеллектуальные историки в частности придерживаются – когда работают хорошо – очень сходного набора процедур и эмпирических правил, которые приспособлены именно для исследования той отсутствующей реальности, которой является прошлое. Можно объединить эти процедуры и эмпирические правила общим названием «метод». Среди таких эмпирических правил – то, что свидетельство из первых рук лучше, чем вторичное, а сведения, полученные непринужденно, обычно лучше свидетельских показаний. Кроме того, ученый обязан как можно понятнее изложить свои доказательства и аргументы, чтобы его работу можно было критиковать и корректировать, а также определить, где именно он вторгается в область спекуляций и подвергнуть эти спекулятивные утверждения («абдуктивные суждения») компаративному анализу²⁸. Не придерживаясь таких методов, главная функция которых состоит в том, чтобы минимизировать вероятность ошибки, любая дисциплина или область знания вряд ли может претендовать на то, что одной из ее основных задач является расширение человеческого знания. Короче говоря, историческая дисциплина, как и отдельные области внутри нее, должны быть унифицированы на уровне исторического *метода*.

Другое дело, когда мы обращаемся к историческим подходам. Зачастую, когда историки (или историки-аспиранты) говорят об «исторических методах» – например, на занятиях по «историческим методам» –

²⁷ Необходимо заметить, что гуманитарные науки занимаются не только знанием в обобщенно научном смысле, но также и более «экзистенциальным» проектом вербализации проявлений человеческой жизни. Это наиболее наглядно явлено в искусстве, но также является частью – или *должно* являться частью – любого исследования условий человеческой жизни. Следует внимательно относиться к тому факту, что науки о человеке являются гибридом «научных» и «ненаучных» элементов.

²⁸ Эти вопросы затрагиваются в нескольких главах в: *Megill*. 2007a.

они вообще не имеют в виду никакой метод (или же, если они все-таки имеют в виду метод, то только время от времени, и то мимоходом). Примером «исторического метода» можно назвать регрессивный анализ (в применении к историческим данным). В данном случае я определяю метод как ряд процедур, направленных на то, чтобы помочь ученому избежать ошибок. Многие из магистерских курсов по «историческим методам», преподаваемые в американских университетах, в действительности не предлагают студентам никакого систематического введения в исторический метод. Аспиранты гораздо чаще получают систематическую подготовку в методе (если это вообще происходит) в процессе взаимного общения с профессорами, когда они пытаются писать свои профессиональные труды. Многие курсы под заголовком «исторические методы» на самом деле являются введением в различные подходы, которые популярны в последнее время. Нет ничего плохого в том, чтобы рассказывать студентам о многочисленных «исторических подходах»: я всего лишь хочу отметить, что в данное время на исторических факультетах американских университетов почти нет формального обучения «историческому методу». Мы можем давать словам какие угодно определения – например, мы можем сказать, что преподаем метод, в то время как на самом деле мы преподаем подходы – но в результате, если у нас не будет некоей категории (как хотите, это назовите), которая определяет то, что мы за ней «спрятали», мы, скорее всего, запутаемся.

В зависимости от обстоятельств (например, характера свидетельств; степени исследованности конкретных областей; особенностей и интересов историка; особенностей и интересов аудитории на которую рассчитывает историк; характера и интересов других специалистов в данной области; того, чем в данный момент занимаются в других областях и дисциплинах, и т.д.), «подходы» будут самые разнообразные. Вообще, поскольку мы касаемся исторических подходов, хорошим советом здесь может быть мысль «да будет разноцветье»²⁹. Разные цели и обстоятельства требуют разных подходов. Интересует ли историка в основном описание недостаточно описанной до сих пор исторической реальности (вспомним броделевское «Средиземноморье и средиземноморский мир» или «Уничтожение евреев Европы» Рауля Хильберга³⁰)? Интересует ли его прежде всего объяснение чего-то, что, по его мнению, не получило до сих пор адекватного объяснения (на ум приходят многочисленные исследования по Холокосту, появившиеся после рабо-

²⁹ *Martin*. 2010.

³⁰ *Braudel*. 1972-73 (1949, 1966), *Hilberg*. 2003 (1961).

ты Хильберга)? Хочет ли он упорядочить относящиеся к некоей области свидетельства, чтобы создать более надежную доказательную базу для дальнейших исследований (вспомним Пауля Оскара Кристеллера, историка мысли эпохи Возрождения, который потратил годы на то, чтобы составить каталог ранее не каталогизированных средневековых и ренессансных манускриптов³¹)? Интересно ли ему обратить внимание на (не зафиксированные) жизнеописания людей, которые до последнего времени не рассматривались как часть истории (вспомним Натали Земон Дэвис «Возвращение Мартина Герра»³²)? Хочется ли ему обогатить наше представление об истоках современной философии или науки, прояснив аспекты более ранних идей (вспомним исследования Стивена Надлера по философии раннего Нового времени, Кэри Недерман – по политической теории Средневековья и раннего Нового времени, Лоррейн Дастон – о развитии научного знания в раннее Новое время³³)? Или прежде всего ему интересно вступить в «диалог» с предшествующей мыслью (именно такое направление акцентирует Доминик Лакапра³⁴)?

В своей классической статье «Историк и его день» Дж. Г. Хекстер, шуточно обыгрывая устоявшееся выражение о том, что мышление историка определяется заботами «его дня», утверждает, что настоящий «день» был прожит им не в 1950-х гг. в Сент-Луисе штата Миссури, а в Англии раннего Нового времени³⁵. Понимаю, о каком психологическом моменте он говорит: я сам не раз проживал такие моменты. Более того, я бы взялся утверждать, что отстраненность от настоящего является в определенной мере основополагающим качеством при написании истории. Парадокс состоит в том, что историки одновременно и принадлежат, и не принадлежат настоящему. По крайней мере, если они действительно занимаются своей работой. Хотя тот самый Джек Хекстер, который написал «Историк и его день», мог бы шутя это опровергнуть: мы почти *a priori* знаем, что различные предубеждения, проистекавшие из его личного опыта, проникли в его подход к прошлому (то же можно определенно сказать по поводу другого историка, который любил заявлять об «автономности» исторической практики – Дж. Р. Элтона³⁶). Но настоящее, разумеется, постоянно меняется. Следовательно, в результате не только сложности прошлого, но и многообразия настоящего,

³¹ Kristeller et al. 1960.

³² Davis. 1983.

³³ Например: Nadler. 1989, Nederman. 2009, Daston. 1988.

³⁴ Например: LaCapra. 1993.

³⁵ Hexter. 1961 [1954].

³⁶ Elton. 1967. P. 7–11.

спектр «подходов» к прошлому почти невообразимо широк. И поэтому ошибочно говорить о *единственной* роли (адекватной или неадекватной) интеллектуальной истории, либо любого другого вида истории.

Вопрос с интеллектуальной историей в частности еще более сложен, чем с почти всеми другими областями истории, потому что интеллектуальная история – это жанр, практикуемый в различных гуманитарных дисциплинах. Например, редакционная коллегия *Journal of the History of Ideas* традиционно включает в себя не только представителей разных областей исторического знания, но и философов, антиковедов, литературоведов, историков искусства, историков музыки, историков науки и исследователей в области политической теории. Есть некое общее чувство истории, но проявляется оно по-разному. И даже если бы мы, ради аргументации, ограничили поле интеллектуальной истории теми, кого можно назвать историками в дисциплинарном или «ведомственном» смысле этого слова, мы обнаружили бы, что эти люди имеют дело с огромным разнообразием времен, пространств и культур. Будучи интеллектуальным историком, живущим в Соединенных Штатах и сосредоточенным на определенных «высоких идеях», предложенных неким кругом европейских мыслителей (в основном Нового времени), я замечаяю, что мне постоянно приходится напоминать себе о том, насколько провинциальной является эта перспектива – хотя когда-то она представлялась мне «энной» степенью космополитизма³⁷.

Однако и это еще не все. Во многих своих проявлениях интеллектуальная история с очевидностью проявляет свое родство с такими областями как история искусства, история музыки и история литературы и литературоведение в широком смысле, так как (сродни этим областям) интеллектуальная история часто имеет дело с предметами, которым люди приписывают некое культурное значение в настоящем. Я понятия не имею, какое количество исследований проведено музыковедами по Генделю, Гайдну, Моцарту и Малеру, или историками искусства – по Рубенсу, Рембрандту, Мане и Пикассо. На деле можно заподозрить, что во многих случаях, даже когда конкретные объекты исследования, быть может, и не рассматриваются однозначно как «великие», историки культуры склонны изучать эти объекты отчасти потому, что их привлекают сами эти предметы (т.е. как творения «первых лиц»). Подобным образом, очевидно, что то внимание, которое привлекают такие исследования, связано с ощущением читателей, что рассматриваемые предметы – как и породившая их культура – *стоят* их внимания.

³⁷ Ср.: Chakrabarty. 2000.

Давайте теперь обратимся непосредственно к интеллектуальной истории: почему мир терпит лавину работ по Гоббсу, Локку, Руссо и другим подобным авторам? Возможно, в некоторых случаях потому, что читателям кажется, что эти исторические исследования прольют некий свет на общество, культуру, политику, скажем, в Англии XVII или Франции XVIII века. Но, безусловно, по большей части это продукция поддерживается «неисторическим» по своему характеру мнением, выдвигаемым историками и другими людьми по поводу интеллектуальной значимости работ Гоббса (а также Локка, Руссо...). Люди уделяют внимание таким мыслителям, как Декарт, Спиноза, Лейбниц, Руссо, Гегель, Маркс, Милль, Вебер, Хайдеггер и многим другим, потому что они считают, что эти мыслители (не важно по какой причине) были некогда способны мыслить, *преступая границы нормы* – то есть мыслить *необычно/экстраординарно* (в какой-то мере подобно тому, как Гендель сочинял музыку, а Пикассо писал картины). Повторю еще раз: я ни в коем случае не заявляю, что вся интеллектуальная история сосредоточена или должна быть сосредоточена на работах подобного рода. Например, существует направление интеллектуальной истории, в центре внимания которого находятся интеллектуалы, рассматриваемые как социальная группа, причем существо их идей не уделяется никакого внимания (или же очень малое внимание)³⁸, а другое направление занимается ошибочными представлениями заурядных людей³⁹. Но я утверждаю, что «ценностная предвзятость» (так это можно было бы назвать) является исключительно важным аспектом интеллектуальной истории.

Этот факт заставляет нас задуматься о том, что нам следует размышлять по поводу отношений интеллектуальной истории с «внешней средой» по крайней мере в двух направлениях. Во-первых, нам нужно поместить интеллектуальную историю в рамки, значительно шире тех, которые обычно подразумеваются под понятием академической дисциплины. Нам нужно помнить о наших студентах (подавляющее большинство которых не продолжают академическую карьеру) и о наших читателях за пределами академических кругов. Когда кто-то приписывает ценность каким-то картинам, или музыке, или книгам, или теориям и т.д., он оперирует не в закрытом академическом вакууме. Скорее, мы приписываем ценность чему-то, находясь в непосредственной зависимости от конкретных ситуаций нашего существования, от того, где мы жили, от нашего общего, аккумулированного опыта, от личных попыток

³⁸ Напр.: *Charle*. 1990.

³⁹ Напр.: *Stern*. 1961.

понять мир, от наших желаний и стремлений, наших чувств по отношению к другим людям и т.д. Например, предварительным условием для признания ценности «Отелло» или «Короля Лиры» является наш собственный или опосредованный опыт ревности или предательства. Те из нас, кто являются «профессорами», субсидирующими свои исследования с помощью преподавания умным студентам, которые, тем не менее, не стремятся к академической карьере, прекрасно осознают эту тесную связь между ценностью и бытием⁴⁰. Большая часть работы профессора интеллектуальной истории состоит в ознакомлении студентов с трудами и способами мышления, с которыми они вряд ли до этого встречались в своей повседневной жизни. В таком контексте часть работы профессора интеллектуальной истории состоит в том, чтобы показать взаимосвязь между той областью, которую он преподает, и современной жизнью.

Во-вторых (наконец-то!), есть вопрос о «правильных/должных» отношениях интеллектуальной истории с «другими академическими дисциплинами». Эти отношения подобны зеркальному отражению отношений интеллектуальной истории с «широкой аудиторией», которую мы часто встречаем среди студентов бакалавриата. Широкая аудитория хочет знать, чем полезен Х. Поэтому люди склонны задавать вопросы типа «Чем может помочь мне изучение Монтеня (или Декарта, или Руссо, или Маркса)?». Возьмем бестселлер 1997 года Алэна де Боттона (Alain de Botton) «Как Пруст может изменить вашу жизнь» (*How Proust can Change Your Life*) или книгу Сюзан Бейкуэлл (Susan Bakewell) 2010 года «Как нужно жить, или Жизнь Монтеня» (*How to Live, or, A Life of Montaigne*). На занятиях мы стараемся не упускать из вида этот вопрос «релевантности» и пытаемся помочь своим студентам увидеть ценность идей прошлого *именно для них*. Но когда интеллектуальные историки сталкиваются с представителями других академических дисциплин, лучше им «петь другую песню». Под «другими академическими дисциплинами» я подразумеваю любую область знания, в рамках которой идеи прошлого либо вообще не принимаются в расчет, или же *принимаются*, но без той особой ответственности, которая есть у историков в

⁴⁰ См. проводимое Мишелем де Серто различие между «профессором», которого «подталкивают к популяризации, направленной на «более широкую публику» (студентов и не студентов)», и «специалистом», «изгнанным из сферы потребления» (de Certeau 1988. [1975], 65). Де Серто не говорит о том, что специалист-историк выживает лишь потому, что в обществе, в котором он/она живет и действует, существует экзистенциальная ориентация на тот вид исследований, которыми он занимается. Только в таком случае специалисту будут платить.

отношении изучения прошлого именно *в качестве* прошлого⁴¹. Важным мотивом и причиной исследования идей прошлого является надежда на то, что мы таким образом узнаем что-то ценное в отношении настоящего и будущего. Например, знание о том, почему Маркс отверг рынок, вполне могут помочь нам провести разграничение между релевантным и нерелевантным в его идеях, в отличие от тех, кому идеи Маркса кажутся абсолютно нерелевантными. Однако очень часто в философии, политической теории, как и в других областях, существует тенденция не придавать значения взаимосвязи между идеями прошлого и особенностями той ситуации, в рамках которой эти идеи бытовали. Слишком часто на мыслителей или на теории прошлого надевают смирительную рубашку современной теории или современных предпочтений. Перед лицом общей ответственности историков за понимание специфики прошлого интеллектуальные историки должны особо акцентировать потенциально генерализируемые перспективы, которые можно извлечь из способов мышления, характерных для прошлого. С другой стороны, перед лицом тенденции некоторых не историков либо вовсе не обращать внимания на то, как мыслили в прошлом, либо подчинять это мышление современному способу теоретизирования или современным предпочтениям, интеллектуальные историки должны препятствовать этому, подчеркивая особенности мышления в прошлом на фоне грубого универсализма. Это само по себе может стать вкладом в настоящее, ведь грубый универсализм определенно играет роль в настоящем, когда некое мощное государство, пытаясь навязать свою волю другим странам, скрывает свои интересы за якобы универсальной идеологией.

4. Что Вы считаете наиболее важными темами и/или достижениями интеллектуальной истории?

Интеллектуальная история, с одной стороны, является особой областью внутри исторической дисциплины, но с другой, она гораздо шире. Когда Миккель Торуп (Mikkel Thorup) предложил мне ответить на эти пять вопросов, он также прислал мне список из 34-х имен других людей, к которым он обратился с аналогичной просьбой. Незначительное большинство из них – 18 человек – являются профессиональными

⁴¹ Одним из выражений этой исторической чувствительности можно назвать настойчивое утверждение Майкла Оукшотта о том, что история не является ни практической, ни теоретической областью: она не дает нам ни ясных и конкретных предписаний о том, как нам теперь действовать, ни теоретических обобщений, которые можно было бы применить к настоящему (Oakeshott. 1933). Подобную мысль высказывает и Анкерсмит в своих работах, особенно в: *Ankersmit, 2005*.

историками. Другие занимаются политологией (4), социологией (3), литературоведением (2), философией (2) и историей искусства – плюс пятеро «гибридных» ученых, сферу интересов которых трудно приписать какой-либо одной дисциплине. Список Торупа был совершенно произволен и ограничен (с чем, я не сомневаюсь, он бы согласился), но, тем не менее, он о многом говорит, подчеркивая один важный момент, а именно то, что неясно, где надо установить границы, внутри которых следует искать набор «наиболее важных тем и/или достижений». И конечно, сразу появляется еще один очевидный вопрос: важных для чего? Для какой сферы интересов? С точки зрения каких пожеланий?

Много лет назад в одном из коридоров Парижской национальной библиотеки я случайно услышал, как одна американская аспирантка, с которой я учился, заявила одному из охранников, что она пришла в библиотеку заниматься исследованием по 'l'histoire intellectuelle' («интеллектуальной истории»). Охраннику сказанное показалось странным и парадоксальным – разве не *любое* историческое исследование «интеллектуально»? Я во многом разделяю точку зрения этого француза, хотя и с оговоркой, что некоторые исторические работы более «интеллектуальны», чем другие – искуснее, оригинальнее, умнее. В этом смысле Марк Блок был интеллектуальным историком, что со всей очевидностью доказывает его великая книга «Феодальное общество»⁴², и равным образом – Фернан Бродель, что демонстрирует его «Средиземноморье и средиземноморский мир»⁴³, несмотря на то, что ни тот, ни другой, как историки, ничуть не склонялись к «интеллектуальной истории» как области исследования. То же можно сказать и о книге Саула Фридландера «Нацистская Германия и евреи»⁴⁴, исходя из того, как тонко и трогательно в ней удается представить, возможно, самые бередящие душу события современной европейской истории.

Но я должен по крайней мере *попытаться* ответить на вопрос Миккеля. Основным здесь я считаю попытку предложить некий «портрет» интеллектуальной истории как области и жанра – «портрет», который может быть интересен тем, кому любопытно узнать, чем является, или могла бы являться интеллектуальная история, а также полезен тем, кто хотел бы поглубже изучить эту область или жанр. Мне было бы легко просто дать список интересных работ, прочитанных мной в течение многих лет. Но такой список был бы слишком личным, слишком произ-

⁴² Bloch. 1961 [1939-40].

⁴³ Braudel. 1972-73 [1949, 1966].

⁴⁴ Friedlander. 1997, 2007.

вольным и ограниченным кругом моих интересов и моих же лакун. Мне практически ничего не известно об интеллектуальной истории за пределами европейского мира и очень немного об интеллектуальной истории Европы до Нового времени. Что касается тематики, то я очень хорошо представляю себе, что важно *для меня*, но нет никакой причины, чтобы важное для меня было важным для других людей.

Вместо этого, я перечислю некоторые работы, которые я считаю важными для *жанра интеллектуальной истории*. Можно было бы назвать их основополагающими текстами в том смысле, что они обеспечивают фундаментальные модели таких типов мышления, которые, по моему мнению, должны практиковаться в сфере интеллектуальной истории. Все эти авторы давно уже умерли, что, я надеюсь, сводит к минимуму вероятность того, что эти работы – сиюминутная мода.

Во-первых, это пятитомный «Исторический и критический словарь» Пьера Бейля⁴⁵. Я упоминаю эту работу из-за выдающейся способности Бейля выискивать неточности и противоречия в идеях предшественников и в принятой традиции, и даже еще больше из-за его потрясающей способности критиковать не только других, но и собственную критику⁴⁶.

Во-вторых, это «Новая наука» Джамбаттиста Вико⁴⁷. Важность этой работы состоит в бесхитростном доказательстве того, что разные люди, живущие в разных временах и пространствах, имеют глубоко различные способы мышления, и что если мы хотим понять значение того или иного утверждения, выдвинутого в рамках отличного от нашего культурного восприятия, мы прежде всего должны понять это утверждение именно внутри этих рамок. Это базовое правило интеллектуальной истории, и оно применимо далеко за пределами интеллектуальной истории и далеко за пределами академического мира⁴⁸.

⁴⁵ Bayle. 1965 [1697, 1702].

⁴⁶ Я мог бы добавить и «Критическую историю Ветхого Завета» (1682 [1680]) Ричарда Саймона, но Бейль значительно превосходит Саймона в своей способности к деконструкции.

⁴⁷ Vico. 2001 [1730, 1744]. – В рус. пер.: Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / Вступ. ст. М. А. Лифшица. М., [1940] (прим. пер.).

⁴⁸ Например, то же самое правило Вико говорит нам о том, что единственный способ для тех, кто находится далеко за пределами таких мест, как Ирак или Афганистан, понять, что там происходит, это погрузиться в иракский или афганский языки, культуры или религии... То же правило говорит нам, что нельзя понять «холодную войну» между США и СССР с 1945 до примерно 1990 г., не зная языков соперников, т.е. русского и английского – не только с целью получить доступ к «источникам» (в смысле военных и дипломатических документов), но (что, наверное, гораздо важнее) чтобы получить доступ к ментальным и эмоциональным мирам обеих сторон.

В-третьих, это «Лекции по истории философии»⁴⁹ Гегеля. Если Вико напоминает нам о тесных связях интеллектуальной истории с историей культур, то Гегель напоминает нам о ее тесном переплетении с философией; и хотя *первоочередной* задачей интеллектуального историка именно как историка не является определение истинности или ошибочности изучаемых им или ей прошлых теоретических предположений, именно ошибочная концепция культурной относительности побуждает историков избегать некоего обоснованного суждения по поводу адекватности теоретических утверждений, выдвинутых теми людьми прошлого, о которых он пишет.

Наконец, я порекомендовал бы «Цивилизацию итальянского Возрождения»⁵⁰ Буркхардта, потому что эта книга напоминает нам о том, что интеллектуальная история также тесно связана с миром представления и действия. В этом плане я упомяну и несовершенную, но глубоко вдохновенную работу Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»⁵¹.

Очевидно, что этот список ограничен в нескольких планах. Он культурно специфичен, будучи ограничен областью европейской традиции. Но еще более он ограничен, так как является производным моего собственного узкого интеллектуального пути. И даже учитывая это, я опустил целые категории работ, которые послужили мне стимулом на различных этапах моей жизни. Например, я давно интересуюсь политической теорией, и история политической мысли является важной частью канона европейской интеллектуальной истории. На меня оказало очень сильное влияние эссе Питера Ласлетта, в котором он по-новому представил ситуацию создания «Двух трактатов о правлении» Локка: я прочитал эту работу в 1965 г.⁵² В рамках академических дебатов я также избирательно читал работы о взглядах Гоббса на естественный закон (natural law) и по другим аспектам теории Гоббса. Меня также глубоко интересовали Руссо и Дж. С. Милль, равно как Гегель, Маркс, Вебер, Дарвин и Фрейд, а также Ницше, Хайдеггер, Сартр, Гадамер, Фуко и Деррида. Но возможно, вы уже понимаете, что я хочу сказать, а именно то, что, по-моему, не так важно читать работы интеллектуальных историков в профессиональном смысле этого слова, как значимые труды, к какой бы категории или категориям они не принадлежали. Более того,

⁴⁹ *Hegel*. 1892-96 [1833, 1836].

⁵⁰ *Burckhardt*. 1990 [1860]. – На рус. яз.: *Буркхардт Я.* Культура Италии в эпоху Возрождения: Опыт исследования (пер. с нем.). М.: Интрада, 1996 (прим. пер.)

⁵¹ *Nietzsche*. 1993 [1872].

⁵² *Laslett*. 1960.

знакомиться с работами следует в определенном порядке: совершенно бессмысленно читать Хайдеггера, не имея базовых представлений о западной философии до Хайдеггера, или же впустую тратить время на Хардта (Hardt) и Негри (Negri), не зная Маркса.

5. *Каковы наиболее значимые проблемы в этой области и перспективы / пути ее развития?*

Меня не столько интересуют важные проблемы в области интеллектуальной истории, сколько важные человеческие проблемы, на которые интеллектуальные историки могли бы пролить свет. Однако эта формулировка, будучи недостаточно историчной, не совсем корректна. Хотя мы не можем четко увидеть контуры нашего собственного времени – как сказал Гегель, «сова Минервы вылетает только ночью» – это не мешает нам иметь интуитивные представления о настоящем⁵³. А в вопросах «открытых проблем» и «направлений прогресса» нам фактически нечем оперировать, кроме интуиции. Науки о человеке не делаются в лаборатории, это не техническая/прикладная область знания. В отличие от физических наук, у нас нет таких мощных новых устройств, которые позволили бы открыть ранее не зарегистрированные качества вещества. В отличие от медицинских наук, у нас нет набора *очевидно* желаемых и *вероятно* достижимых целей, с которыми будет согласен почти каждый (например, излечение или, по крайней мере, терапия различных заболеваний). Науки о человеке и среди них особенно гуманитарные науки – другие. Здесь мы имеем дело с чем-то гораздо более неопределенным: это ответ на «положение человека» (the human condition) (что бы это ни было) *в условиях современной конъюнктуры*.

В данном случае конъюнктурный элемент является существенным – а также самым сложным для понимания. Тем не менее, я подозреваю, что мы пережили, или же еще переживаем, время радикальной мутации, которая началась в 1989–1991 гг., когда прекратила свое существование советская гегемония над Восточной Европой, и когда прекратил свое существование сам СССР. За те двадцать или около того лет, что прошли со времени тех событий, мир кардинально изменился, а с ним и «открытые проблемы», являющиеся интригующими вопросами исторического исследования⁵⁴. Каковы эти «открытые проблемы»?

⁵³ Hegel. 1991 [1821], 23.

⁵⁴ В данном случае я имею в виду *критическое* историческое исследование. Историческая дисциплина появилась в XIX в. в качестве преданного апологета той формы национального государства, которая появилась после Французской революции. Большая (возможно, основная) часть исторических работ в мировом масштабе

Прежде всего, я хочу сказать, что многое из того, что произошло (или же просто стало более заметным) начиная с 1989–1991 гг., говорит нам о том, что религия, по всей вероятности, является одним из самых важных вопросов нашего времени. На самом деле в последние годы наблюдается рост исследований по интеллектуальной истории как в широком, так и узком смыслах, сфокусированных на вопросах религии⁵⁵.

Во-вторых, крушение СССР обозначило более широкое крушение давно существовавшей государственной формы, а именно многонациональной империи, а также обозначило конец «холодной войны», которая в течение нескольких десятилетий «сдерживала пар» других типов конфликтов. Чаще всего в этих сдерживаемых конфликтах присутствовали серьезные национальные, этнические или религиозные компоненты. Соответственно, появилась новая «открытая проблема» – проблема взаимоотношения государств со своим населением и с понятиями этнической или религиозной «идентичности» среди этого населения, а также с другими государствами, в которых вполне могут существовать совпадающие или конкурирующие «идентичности». Это проблема для широкого круга дисциплин – для истории в целом, для политологии, антропологии, социологии – а не только для интеллектуальной истории.

В-третьих, огромной проблемой, появившейся в результате крушения коммунизма и не всегда замечаемой, стало крушение идеологий, направленных на поддержание *коллективной* деятельности людей (как, если брать американский пример, призыв Кеннеди в 1961 г. к индивидуальной жертве в поддержку «свободного мира»). Справедливости ради, стоит сказать, что война все еще, видимо, способна продуцировать определенную долю коллективного энтузиазма (как в американской «войне против террора» на ее начальных этапах). Но здесь коллективность существует только благодаря своему негативному отношению к другим коллективностям. Религия остается мощной силой в этом мире, но она выглядит непоправимо партикуляристской по своей природе (или «позитивной», как это называли Кант и Гегель), особенно тогда, когда она нацелена на обращение в свою веру.

Наконец, существуют проблемы планетарной экологии, которые, видимо, требуют некоторой коллективной рефлексии и хорошо проду-

оцелется по своей направленности национальной, даже когда (иногда) провозглашается «интернациональной» или «транснациональной». С другой стороны, в нашей дисциплине глубоко укоренена принципиальная озабоченность тем, чтобы разные времена и пространства, которые не находятся *hic et nunc*, исследовались в их *собственных рамках*. Трудно сказать, какая тенденция победит.

⁵⁵ Taylor. 2007; Howard .2003; Chapman et al. 2009.

манного коллективного действия. Вопрос здесь в следующем: как максимально увеличить наши шансы эффективно реагировать на реальность новой «эры Антропоцена» (отмеченной тем, что человеческая деятельность стала сама по себе мощной природной силой). Здесь вопрос состоит в том, пойдут ли люди «по пути прогресса» или, как в случае со средней продолжительностью жизни в странах с несовершенными социальными медицинскими системами, будет регресс.

Эти вопросы – место религии; взаимоотношения государства и идентичности; отсутствие (на данный момент) объединяющих коллективных факторов мотивации (нам прекрасно известно, что существуют *узконаправленные* мотивационные факторы); проблема реагирования на антропогенные изменения в окружающей среде – выходят далеко за пределы области интеллектуальной истории в двух смыслах. Во-первых, это вопросы для *множества* различных академических областей; и во-вторых, не факт, что вообще *какая-либо* академическая область может их разрешить. Тем не менее, историки в целом находятся не в худшей (по сравнению с другими учеными) позиции для того, чтобы напоминать своим современникам о случайности происходящего путем вербализации того, как было и как могло бы быть иначе, и демонстрации с помощью исторической репрезентации того, что не существует (и не существовало) явного (а значит, фаталистического) предопределения судьбы. Значительной частью этого проекта является размышление о последствиях идей прошлого и настоящего – отсюда и внимание к интеллектуальной истории. Безусловно, историки не могут сделать много, но мы знаем, что (к лучшему или к худшему) небольшие свершения нередко приводили к большим последствиям.

(пер. с англ. О. В. Воробьевой)

БИБЛИОГРАФИЯ

- Ankersmit F. R.* Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian's Language. The Hague: Nijhoff, 1983.
- Ankersmit F. R.* Sublime Historical Experience. Stanford: Stanford University Press, 2005.
- Ankersmit F. R., Kellner H., eds.* A New Philosophy of History. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
- Bakewell S.* How to Live, or, A Life of Montaigne in One Question and Twenty Attempts at an Answer. New York: Other Press, 2010.
- Barthes R.* Mythologies / Trans. A. Lavers. New York: Hill & Wang, 1972 [1957].
- Bayle P.* Historical and Critical Dictionary: Selections / Trans. R. Popkin and C. Brush. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1965 [1697, 1702].

- Bennett J. W., Krueger C.* Agrarian Pragmatism and Radical Politics // *Lipset S. M.* Agrarian Socialism. Revised and expanded edition. Berkeley: University of California Press, 1971 [1950]. P. 346-363.
- Blackbourn D., Eley G.* The Peculiarities of German History: Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany. Oxford: Oxford University Press, 1984.
- Bloch M.* Feudal Society / Trans. L. A. Manyon. 2 vols.; Chicago: University of Chicago Press, 1961 [1939-40].
- Braudel F.* The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II / Trans. S. Reynolds. 2 vols.; London: Collins, 1972-73 [1949, 1966].
- Burckhardt J.* The Civilization of the Renaissance in Italy / Trans. S. G. C. Middlemore. London: Penguin, 1990 [1860].
- Chakrabarty D.* Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton NJ: Princeton University Press, 2000.
- Chapman A., Coffey J., Gregory B. S., eds.* Seeing Things Their Way: Intellectual History and the Return of Religion. Notre Dame IN: Notre Dame University Press, 2009.
- Charle C.* Naissance des 'intellectuels': 1880-1900. Paris: Éditions de Minuit, 1990.
- Danto A. C.* The Decline and Fall of the Analytical Philosophy of History // *Ankersmit F. R., Kellner H., eds.* A New Philosophy of History. Chicago: University of Chicago Press, 1995. P. 70-85.
- Daston L.* Classical Probability in the Enlightenment. Princeton NJ: Princeton University Press, 1988.
- Davis N. Z.* The Return of Martin Guerre. Cambridge MA: Harvard University Press, 1983.
- De Botton A.* How Proust can Change Your Life. New York: Random House, 1997.
- De Certeau D.* The Writing of History / Trans. Tom Conley. New York: Columbia University Press, 1988 [1975].
- Derrida J.* Of Grammatology / Trans. by G. C. Spivak. Baltimore MD: Johns Hopkins, 1976 [1967].
- Derrida J.* Writing and Difference / Trans. Alan Bass. Chicago: University of Chicago Press, 1978 [1967].
- Elton G. R.* The Practice of History. London: Fontana, 1967.
- Friedlander S.* Nazi German and the Jews. Vol. 1. The Years of Persecution, 1933-1939. New York: HarperCollins, 1997
- Friedlander S.* The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939-1945. New York: HarperCollins, 2007.
- Hegel G. W. F.* Elements of the Philosophy of Right / Trans. H. B. Nisbet, ed. A. W. Wood. Cambridge: Cambridge University Press, 1991 [1821].
- Hegel G. W. F.* Lectures on the History of Philosophy / Trans. E. S. Haldane and F. S. Simson. 3 vols. London: Kegan Paul, Trench, Trübner, 1892-96 [1833, 1836].
- Hexter J. H.* The Historian and His Day // *Hexter J. H.* Reappraisals in History. Evanston IL: Northwestern University Press, 1961 [1954]. P. 6-9.
- Hilberg R.* The Destruction of the European Jews. 3rd ed. New Haven CT: Yale University Press, 2003 [1961].
- Hollinger D. A. T. S.* Kuhn's Theory of Science and Its Implications for History // *American Historical Review.* 1973. № 78, 2 (April). P. 370-393.

- Howard T. A. A 'Religious Turn' in Modern European Historiography? // *Historically Speaking*. 2003. 4 (June). P. 24-26.
- Kennedy J. F. Inaugural Address. January 20, 1961 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pbs.org/wgbh/amex/presidents/35_kennedy/psources/ra_inaug.html
- Krieger L. *The German Idea of Freedom: History of a Political Tradition*. Boston: Beacon, 1957.
- Kristeller P. O., et al., ed.. *Catalogus Translationum et Commentariorum: Mediaeval and Renaissance Latin Translations and Commentaries: Annotated Lists and Guides*. Washington DC: Catholic University of America Press, 1960-.
- Kuhn T. S. *The Structure of Scientific Revolutions*. 2nd, enlarged ed. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
- LaCapra D. *Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language*. Ithaca NY: Cornell University Press. 1993.
- Laslett P. Introduction and Apparatus Criticus // *Locke John*. Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.
- Lipset S. M. *Agrarian Socialism*. Revised and expanded edition. Berkeley: University of California Press, 1971 [1950].
- Martin R. Let Many Flowers Bloom // *History and Theory*. 2010. 49, 3. P. 426-434.
- Megill A. *The Enlightenment Debate on the Origin of Language and Its Historical Background*: Ph.D. dissertation. Columbia University, 1975.
- Megill A. Foucault, Structuralism, and the Ends of History // *Journal of Modern History*. 1979. 51, 3 (September). P. 451-503.
- Megill A. *Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida*. Berkeley: University of California Press, 1985.
- Megill A, ed. *Rethinking Objectivity*. Durham NC: Duke University Press, 1994.
- Megill A. *Karl Marx: The Burden of Reason (Why Marx Rejected Politics and the Market)*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2002.
- Megill A. *Historical Knowledge, Historical Error: A Contemporary Guide to Practice*. Chicago: University of Chicago Press, 2007a.
- Мегилл А. Историческая эпистемология / Пер. М. Кукарцевой, В. С. Тимонина, В. Е. Кашаева; вст. статья М. Кукарцевой. Москва: Канон+ РООИ 'Реабилитация'. 2007b.
- Мегилл А. Карл Маркс: Бремя разума / Пер. М. Кукарцевой. Москва: Канон+ РООИ 'Реабилитация', 2011.
- Nadler S. M. *Arnauld and the Cartesian Philosophy of Ideas*. Princeton NJ: Princeton University Press, 1989.
- Nederman C. J. *Lineages of European Political Thought: Explorations Along the Medieval Modern Divide from John of Salisbury to Hegel*. Washington DC: Catholic University of American Press, 2009.
- Nietzsche F. W. *The Birth of Tragedy out of the Spirit of Music* / Trans. Shaun Whiteside, ed. Michael Tanner. London: Penguin, 1993 [1872].
- Nixon R. M. Address to the Nation about the Watergate Investigations, April 30, 1973 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pbs.org/wgbh/amex/presidents/37_nixon/psources/ps_water1.html
- Oakeshott M. *Experience and Its Modes*. Cambridge MA: Harvard University Press? 1933.

- Palonen K.* Quentin Skinner: History, Politics, Rhetoric. Cambridge: Polity Press? 2003.
- Simon R.* Critical History of the Old Testament / Trans. a Person of Quality. London: Walter Davis [repr. Vance Publications, Pensacola FL, 1682 [1680] [Электронный ресурс]. – URL: www.vancepublications.com
- Skinner Q.* Meaning and Understanding in the History of Ideas // *History and Theory*. 1969. 8, 1. P. 3-53.
- Skinner Q.* Regarding Method (vol. 1 of Skinner, *Visions of Politics*). Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Spivak G. C.* Translator's Preface // *Derrida J.* Of Grammatology / Trans. G. C. Spivak. Baltimore MD: Johns Hopkins, 1976 [1967]. P. ix-lxxxvii.
- Stern F.* The Politics of Cultural Despair: A Study in the Rise of the Germanic Ideology. Berkeley: University of California Press, 1961.
- Stjensfelt F., Jeppesen M. H., Thorup M., eds.* Forthcoming // *Intellectual History: 5 Questions*. Automatic Press/VIP, Copenhagen [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.vince-inc.com/contact.html>
- Taylor Charles.* A Secular Age. Cambridge MA: Harvard University Press, 1997.
- Tully J., ed.* Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics. Cambridge: Polity Press, 1988.
- Vann R. T.* Turning Linguistic: History and Theory and *History and Theory, 1960-1975* // *Ankersmit F. R., Kellner H., eds.* A New Philosophy of History. Chicago: University of Chicago Press, 1995. P. 40-69.
- Vico G.* New Science: Principles of the New Science Concerning the Common Nature of Nations / Trans. D. Marsh, with an introduction by A. Grafton. London: Penguin, 2001 [1730, 1744].
- White H. V.* Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1973.
- Аллан Мегилл, профессор, исторический факультет, Университет Вирджинии, США; megill@virginia.edu*

Т. Г. ЧУГУНОВА

ТРАКТОВКА КЛЮЧЕВЫХ БИБЛЕЙСКИХ ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ ПЕРЕВОДЕ БИБЛИИ У. ТИНДЕЛА

В статье анализируется перевод Библии английского реформатора XVI в. Уильяма Тиндела, в частности, трактовка им ключевых терминов Священного Писания. Переводчик отвергает католическую интерпретацию ряда библейских терминов и предлагает их новое протестантское прочтение.

Ключевые слова: Реформация; Священное Писание; церковь; собрание; священник; старейшина; епитимия; исповедь; милосердие.

Английская Реформация всегда была в центре внимания отечественной исторической науки, однако личность Уильяма Тиндела (1494–1536), сыгравшего одну из главных ролей в английском реформационном движении, оказалась незаслуженно обделена вниманием наших исследователей. Уильям Тиндел не является фигурой второго плана, он относится к выдающейся плеяде английских теологов-реформаторов, которые определили вектор развития английской национальной церкви. Для своих соотечественников Уильям Тиндел не просто религиозный реформатор, но и одаренный лингвист, создатель английского литературного языка. Уроженец Глостершира, воспитанник Оксфордского университета, он был удостоен ученых степеней бакалавра (1512) и магистра искусств (1515). После Оксфорда Тиндел продолжил свое обучение в Кембридже. По словам Дж. Фокса, юноша проявил себя очень способным в изучении древних языков и Священного Писания¹. В Кембридже Тиндел познакомился с будущими лидерами английской Реформации, среди которых были Барнз, Фрит, Латимер, Кранмер и др. В 1522 г. он получил сан священника. В том же году молодой ученый возвратился в родной Глостершир и стал домашним учителем детей сэра Джона Уолша. Здесь у будущего реформатора и зародилась идея перевода Священного Писания на английский язык. Тиндел не был первым, кто осознавал потребность в переводе и поставил перед собой весьма сложную задачу. В конце XIV в. Джон Виклиф и его последователи Дж. Пэрви и Н. Герифорд перевели Библию на английский язык с латинской Вульгаты. Однако большая часть этого перевода представляла собой «перевод-кальку» и содержала много латинских слов и выражений, непонятных широкой массе читателей. Настало время перевести

¹ Foxe. 1877. Vol. 5. P. 114–115.

Библию с оригинала – греческого и еврейского текстов на живой, понятный людям язык. Для осуществления этой цели Тинделу нужно было добиться разрешения епископа, поскольку, согласно постановлениям Оксфордского синода 1408 г., известным под названием «Оксфордские конституции» Эрундела, переводить Библию на родной язык и читать на нем без разрешения епископа запрещалось. Тиндел поехал в Лондон, надеясь получить подобное разрешение у лондонского епископа Кутберта Тунсталя, однако последний отказал молодому ученому. Прожив в Лондоне около года, он решил покинуть страну и осуществлять перевод за границей, полагая, что только в Германии, вдохнувшей библейский дух, он сможет перевести и напечатать Священное Писание.

В 1524 г. Тиндел прибыл в Германию. Встречался ли он с инициатором европейского реформационного движения, переводчиком Библии на немецкий язык Мартином Лютером? Ряд исследователей отвечают на этот вопрос положительно. Более того, Дж. Фроуд даже отмечает, что под руководством Лютера Тиндел переводил Евангелия и Послания Нового Завета². Современник реформатора Томас Мор также писал о сотрудничестве Лютера и Тиндела³. Сам Тиндел отвергал этот факт, возможно в целях конспирации⁴. В 1525 г. вместе с компаньоном Уильямом Роем он прибыл в Кельн, чтобы издать свою рукопись перевода Нового Завета. Однако об этом мероприятии стало известно властям, поэтому Тиндел и его помощник, захватив с собой страницы Евангелия от Матфея, которые они успели напечатать, вынуждены были бежать в Вормс, чтобы завершить начатую работу. Полный вариант Нового Завета появился весной 1526 г. Это издание по разным источникам составляло от 3 до 6 тыс. экз.⁵. Книги контрабандой ввозились в Англию. В феврале 1526 г. Волси в сопровождении 36 епископов и других церковных сановников, собравшихся у собора св. Павла в Лондоне, устроили сожжение протестантских книг, среди которых был и перевод Нового Завета Тиндела, признанный еретическим⁶. В тинделовском переводе ревностные сторонники католицизма находили много ошибок и новых слов, отражавших протестантское настроение переводчика. От этого издания сохранилось только три экземпляра. Один экземпляр, в котором нет титульного листа, в настоящее время находится в Британской библиотеке, другой, в котором не достает 71 листа, был найден около собо-

² *Froude*. 1870. Vol. 1. P. 508.

³ *More*. 1927. P. 209.

⁴ *Tyndale*. 1573a. P. 210.

⁵ *Daniell*. 1994a. P. 18.

⁶ *Hall*. 1965. P. 708.

ра св. Павла, где ныне и хранится. Третий экземпляр, в котором имеются все страницы, обнаружен в 1997 г. в Штутгарте. Благодаря этой находке появилась возможность в новом издании воспроизвести точное название и содержание⁷. Перевод 1526 г. представляет собой библейский текст без предисловия и маргиналий. В конце имеется обращение к читателю, в котором Тиндел объясняет цель своего перевода⁸.

Следующий период жизни и творчества реформатора был связан с Антверпеном. Ведя трудную жизнь беженца, Тиндел тем не менее плодотворно работал. В период с 1528–1530 гг. вышли три наиболее важные его работы: «Притча о нечестивой Маммоне», «Послушание христианина и как христианские власти должны управлять», «Практика папистских прелатов», составившие своего рода реформаторскую трилогию. В 1530 г. Тиндел издал перевод первых пяти книг Ветхого Завета или так называемое Пятикнижие Моисея. В период с 1531 по 1534 гг. Тиндел перевел еще несколько ветхозаветных книг. Перевод Ветхого Завета открывают два предисловия, в одном из которых реформатор рассказывает о лондонском периоде своей жизни, в другом – дает наставления читателю по изучению Священного Писания⁹. В 1534 г. Тиндел переиздал Новый Завет. Если первый вариант представлял собой голый текст с коротким эпилогом, то во втором издании Нового Завета имелись общее и отдельные предисловия к некоторым книгам, многочисленные маргиналии. В конце книги добавлены фрагменты из текстов Ветхого Завета, используемые в Солсберийском обряде. В самом переводе тоже были сделаны существенные изменения. От этого издания сохранилось 12 экземпляров, один из них являлся подарочным и предназначался второй супруге короля Генриха VIII Анне Болейн.

В 1534 г. в Англии был провозглашен Акт о супрематии. Но именно в это время Тиндел, прошедший суровые жизненные испытания, был жестоко предан. В доверие реформатора хитро втерся шпион Генри Филлипс, который и донес на него властям. Тиндел был схвачен и посажен в тюрьму. Он мужественно переносил все трудности жизни заключенного, уверенно вел себя на допросах, ни на йоту не отступив от своих религиозных убеждений. 6 октября 1536 г. Тиндел был казнен.

Оценка роли Тиндела в реформационном движении в Англии становится по-настоящему предметом научных споров со второй половины XIX в.¹⁰ Историки этой эпохи (Р. Воуган, Дж. Фроуд, Д. Грин, Ч. Бэрд,

⁷ Tyndale. 2000.

⁸ Ibid. P. 553–555.

⁹ Tyndale. 1992. P. 3–6; 7–11.

¹⁰ См. подробно: Чугунова. 2009. С. 220–223.

Р. Демаус, Ф. Сибом и др.), не вдаваясь в лингвистический анализ тинделовского перевода, лишь восхваляют само предприятие по переводу Библии и называют Тиндела создателем английской Библии¹¹. Исследователи XX в. (К. Льюис, У. Клебст, М. Лон, Дж. Мозли, С. Буттерверт, А. Диккенс, В. Кэмпбелл, С. Биндоф, Р. Бейнтон, М. Андерсон и др.), уделяя более пристальное внимание переводческой деятельности Тиндела, отмечают, что он, несмотря на ряд заимствований у континентальных реформаторов, был талантливым лингвистом и внес большой вклад в развитие национальной литературы, создав перевод, ставший основой английской Библии¹². Некоторые исследователи, напротив, выдвигают версию о некомпетентности Тиндела в древних языках и некорректном переводе на английский язык ряда библейских терминов (Д. Карпман, В. Росс, Г. Хаммонд и др.)¹³. Большинство современных исследователей, избравших проблему перевода в качестве самостоятельного объекта изучения, уделяет основное внимание лексике переводчика, находя в ней множество просторечных выражений, фраз из английских пословиц и поговорок (Д. Даниелл, П. Аукси, А. Ричардсон¹⁴), и подтверждает точность выбранных им библейских терминов (Д. Даниелл, А. О'Доннел, А. Ричардсон, М. Декурси и др.)¹⁵. Ни один из указанных авторов не затрагивает проблемы толкования переводчиком библейских терминов, не рассматривает причин качественно иной интерпретации ключевых слов Библии в тинделовском переводе и не приводит никаких аргументов реформатора по этому поводу.

В данной статье мы попытались проанализировать, почему реформатор заменил наиболее важные, устоявшиеся в католической традиции слова, чем он обосновал выбор новой терминологии. Предпринятый анализ позволит более объективно взглянуть на перевод Тиндела, названного многими его современниками и исследователями еретическим вследствие иного толкования ключевых библейских слов.

Тиндел, как и все реформаторы, считал, что папистская церковь должна быть разрушена и заменена новой, реформированной на основе Священного Писания. Отчасти на этом основании он заменил в своем

¹¹ *Vaughan*. Vol. 2. P. 111–112; *Froud*. Vol. 1. P. 508; *Грун*. Т. 2. С. 100; *Бэрд*. 1897. С. 293–294; *Demaus*. 1886. P. 200, 233; *Seebohm*. 1874. P. 187, 216.

¹² *Lewis*. 1954. P. 192; *Clebsch*. 1964. P. 140; *Loane*. 1954. P. 63; *Mozley*, 1937. P. 88; *Butterworth*. 1941. P. 58; *Dickens*. 1972. P. 175; *Campbell*. 1949. P. 13; *Bindoff*. 1955. P. 101; *Bainton*. 1956. P. 196; *Anderson*. 1986. P. 331–351.

¹³ *Karpman*. 1967. P. 110–130; *Ross*. 1957. P. 24–25; *Hammond*. 1980. P. 351–385.

¹⁴ *Daniell*. 1998. P. 5–25; *Auksi*. 1998. P. 115–127; *Richardson*. 2000. P. 15.

¹⁵ *Daniell*. 19946. P. 148; *Donnell*. 1991. P. 123; *Richardson*. 1994. P. 26; *DeCoursey*. 1998. P. 77–78.

переводе Библии такие значимые для католицизма слова, как «церковь» (*church*), «священник» (*priest*), «покаяние-епитимия» (*penance*), «исповедь» (*confession*), «милосердие» (*charity*), «благодетельность» (*grace*) соответственно на «собрание» (*congregation*), «старейшину» (*senior*, позднее – *elder*)¹⁶, «раскаяние» (*repentance*), «знание» (*knowledge*), «любовь» (*love*), «милость» (*favour*). Были сделаны и другие замены (*piety* – на *godliness*, *idol* – на *image* и проч.), но именно первые шесть стали предметом ожесточенных нападков со стороны ревностных сторонников католицизма. Среди них был и Томас Мор. В 1530–32 гг. между двумя мыслителями шла бурная полемика, в основном касавшаяся толкования Священного Писания и трактовки основных библейских терминов¹⁷. Мор считал Тиндела самым опасным из английских реформаторов, пособником Лютера, разрушителем христианского мира¹⁸. В 1529 г. гуманист опубликовал трактат против Тиндела «Диалог о ересях», а тот в 1531 г. издал «Ответ на Диалог сэра Томаса Мора». В 1532–33 гг. Мор выпустил «Опровержение Ответа Тиндела», однако реформатор уклонился от следующего раунда. В полемике с Мором, а также в сочинениях «Послушание христианина...» и «Практика папистских прелатов» Тиндел изложил свое понимание библейских терминов.

В «Ответе на Диалог сэра Томаса Мора» (далее – «Ответ...») реформатор подробно разъясняет смысл термина *church*:

Слово «церковь» (*church*) имеет много значений. Сначала оно означало дом, куда в древности первые христиане приходили в удобное время, чтобы послушать Слово из Писания, закон Божий и наставления Господа нашего Иисуса Христа о том, как молиться и где искать силы жить по-божески. Старейшины, назначенные туда, проповедовали истинное Слово Божие на том языке, который понимали все люди. И люди слушали их молитвы, молились с ними в сердцах своих и от них научились молиться дома и во всяком месте. Что же слышим мы ныне? Слова без значения, словно жужжание и лепет, вздыхания и крики, твяканье лисиц и рев медведей <...> По причине, что мы впали в такое невежество, мы знаем об обетованиях Христовых меньше малого, и о законе Божиим мы думаем столько, сколько и турки, и так, как раньше думали язычники, что каждый человек может делать то, что в его силах, и деяниями своими оправдаться и стяжать небо. В безумии своем мы подражаем фантазиям и суетным самодельным обрядам, ни полезным для смирения нашей плоти, ни чествующим Бога. А о молитве мы решили, что нельзя молиться кроме как в церкви, и прочими добавлениями и выдумками мы верим, что добьемся того, чего жаждут наши слепые сердца¹⁹.

¹⁶ В издании Нового Завета 1526 года Тиндел использует термин *senior*, а в издании 1534 года – *elder*.

¹⁷ О позиции Мора в этой полемике см.: *Осиновский*. 1978 С. 236–279.

¹⁸ *More. Dialogue*. 1927. P. 99.

¹⁹ *Tyndale. Answer*. P. 249.

Далее переводчик указывает, что во втором значении под словом «церковь» понимаются «папа, кардиналы, легаты, священники, монахи, черные, белые, серые и в крапинку бродячие братья и прочие всякие имена богохульных великих лицемеров во многих забавных масках и личинах»²⁰. В этом значении в обязанности церкви входят такие действия, как бритье, постриг, помазание и другие, относящиеся к духовенству²¹. Реформатор же предлагает под словом «церковь» понимать собрание людей, которые истинно веруют во Христа:

В третьем значении “церковь” есть церковь Бога и Христа, провозвещанная в Писании или все множество тех, кто воспринял имя Христово ради веры в него, а не только духовенство. Как сказал Павел в Послании к Галатам (гл. 1): “Я преследовал Церковь Божию и разрушал ее” или в Деяниях (гл. 22): “Я до смерти гнал последователей этого учения, связывая и сажая в тюрьму мужчин и женщин”. В этих фрагментах и в других местах Писания церковь принимается за все множество тех, кто верует во Христа в приходе, городе, области, земле или по всему миру, а не только за духовенство. **Это слово означает всех, кто верует во имя Господне** (здесь и далее выделено мной. – Т. Ч.), хотя мала еще их вера. Но иногда так говорится лишь об избранных, в чьих сердцах Бог написал закон Святым Духом и даровал им благодать²².

Исследуя содержание термина, Тиндел объясняет Морю, почему в своем переводе он использует слово «собрание», а не «церковь»:

Поскольку духовенство (природы твердой как алмаз, всё тянет на себя заразу) присвоило себе этот термин, **который означает всех, кто верует в Иисуса Христа**, и тонкой липкой ложью оплело народы, отняло понимание сего слова, заставив их видеть в слове “церковь” ничего более блеющих бритых баранов, готовых постричь весь мир, посему в переводе Нового Завета везде, где я находил слово *ecclesia*²³, я перевел его словом «собрание» (*congregation*), а, отнюдь не лукавствуя умом, дабы распространить ересь, как господин Мор говорит в своем «Диалоге», где он прохаживается по моему переводу Нового Завета²⁴.

Опровергая оппонента, отмечавшего, что слово «церковь» всем знакомо, а «собрание» – термин более общий, Тиндел парирует:

Когда мистер Мор говорит, что слово «церковь» хорошо известно, я взываю к сознанию всей страны, правду он глаголет или нет, и понимают ли миряне под «церковью» все множество тех, кто исповедует веру Христову, или только шутов в сутанах. И когда он говорит, что «собрание» есть термин более общий, то и что из того? Ибо по контексту всегда распознаешь, какое собрание имеется в виду. И все же он скрывает правду, почему я говорю «собрание», ведь может

²⁰ Ibidem.

²¹ Ibidem.

²² Ibid. P. 250.

²³ Тиндел в основном дает греческие термины в латинской транскрипции.

²⁴ Ibidem.

быть и другая церковь, а именно церковь Дьявола и Сатаны, церковь оглашенных, церковь злодеев и лжецов, магометанская церковь²⁵.

Тиндел обосновывает правильность перевода греческого слова *ἐκκλησία* как «собрание» не только теологически, но и лингвистически, доказывая, что оно было еще до апостолов и в древнегреческом языке означало языческую сходку, «где не было ни самого Христа, ни собрания Христова»²⁶. В качестве защиты своего мнения реформатор ссылается на авторитет Эразма²⁷, который переводил *ἐκκλησία* в Новом Завете «собранием»²⁸. Немецкий реформатор Мартин Лютер в своем переводе Священного Писания тоже использовал «собрание» (*gemainde*) вместо «церкви» (*kirhe*)²⁹. Если придерживаться буквального толкования, то слово *ἐκκλησία* в переводе с древнегреческого, действительно, означает «народное собрание», и в раннехристианскую эпоху под этим термином понималась религиозная община. Позднее данное слово стало означать также и церковное учреждение. Английское *church* является аналогом греческого термина *κυριακόν* (букв. – «Дом Господа» или «Божий дом»), которое тоже имело двоякое значение и в узком смысле означало здание для отправления христианского религиозного культа, а в широком – объединение последователей той или иной религии. В Новом Завете слово «церковь» практически не употребляется по отношению к зданию, но всегда только к определенной группе людей. Таким образом, заменяя «церковь» «собранием», переводчик хотел вернуться к исконному значению слова и показать, что речь идет о верующих в Бога, а не только о духовенстве и церковных зданиях.

Второе греческое слово – *πρεσβύτερος* («старший», «старейшина») – Тиндел переводит латинским (*senior*): «Слово «старший» (*senior*) – неудачное английское, хотя слова *senior* и *junior* употребляют в университетах, но на ум мне лучше ничего не приходило»³⁰. Позже переводчик менял свою точку зрения и исправил латинское *senior* на английское *elder* («старший», «старейшина»), о чем и сообщил в «Ответе...» Мору:

Я менял свою точку зрения задолго до того, как на меня набросился Мор, и исправил это слово во всех трудах, которые с тех пор написал³¹. Я заменил *senior* на *elder*, а он посчитал ересью называть пресвитера старейшиной, тем самым

²⁵ Ibidem.

²⁶ Ibidem.

²⁷ Ibid. P. 251.

²⁸ *Erasmus Desiderius*. Novum Testamentum. 1588. (См., напр.: Мф 16: 18.)

²⁹ *Luther*. Biblia. 1557. (См., напр.: Мф 16:18).

³⁰ *Tyndale*. Answer. 1573. P. 251.

³¹ После издания перевода Нового Завета 1526 г., где использовано слово *senior*.

похулив свой старый латинский текст о ересьях, который повседневно используется в церкви уже в течение четырнадцати лет. В этом тексте тоже употребляется слово «старейшина». В первом послании Петра, гл. 5. написано следующее: «*Seniores qui in vobis sunt, obsecro ego consenior pascite qui in vobis est gregem Christi*» <...>³². Здесь *presbuteros* переведено словом «старейшина». Так вот, вы видите, что я заблуждаюсь не более чем они, поскольку их собственный текст, которым духовенство пользовалось с самого начала перевода Библии на латынь, переводит этот термин «старейшиной»³³.

Если бы авторы Нового Завета хотели представить службу христианского духовенства как культовую, они, по мнению Тиндела, воспользовались бы греческим словом *ἱερεὺς* («жрец»):

Апостолы почти не пользовались греческим словом *ἱερεὺς* или его латинским аналогом *sacerdos*, но только словами *presbuteros* и *senior*, которые обозначали у ранних христиан общинного старейшину³⁴.

В трактате «Послушание христианина...» в разделе «О рангах» Тиндел объясняет смысл обоих греческих слов:

Ранг священника по-латински называется *sacerdos*, по-гречески – *hierous*, по-еврейски – *cohen*. Буквально это означает «слуга Божий», каковым был Аарон, отправитель жертвоприношений и посредник между Богом и людьми. По-английски этот термин следует переводить словом *priest*. Антихрист запутывает нас мешаниной терминов, чтобы мы не уяснили себе их истинного смысла. Второе слово по-гречески – *presbuteros*, по-латински – *senior*, по-английски – *elder*. Это не кто иной, как наставник для поучения, но не для посредничества между Богом и нами <...>. Под «священником» (*priest*) в Новом Завете понимай «старейшину» (*elder*), поучающего молодежь и приводящего ее в полное познание и понимание учения Христа и служение таинствам, которые нам заповедал Иисус Христос³⁵.

Итак, Тиндел использует слово *priest* для обозначения иудейского священства и отбирает этот титул у христианских пастырей, называя последних старейшинами. В трактовке данного термина он вновь заручается авторитетом Эразма, который, по его словам, переводил греческое *πρεσβύτερος* как *senior* в Деяниях, а также Иеронима, употреблявшего *senior* в некоторых пассажах своего перевода. Эразм, на которого часто ссылается Тиндел, действительно, переводил *πρεσβύτερος* как *senior*, а *ἱερεὺς* как *sacerdos* не только в Деяниях, но и в некоторых стихах Евангелий (Мф 8: 4, 12:5, 15: 2 и т.д.)³⁶. В переводе предтечи Тиндела

³² В синодальном переводе: «Пастырей ваших умоляю я, ...пасите Божие стадо, какое у вас».

³³ Tyndale. Answer. 1573. P. 251.

³⁴ Ibid. P. 253.

³⁵ Tyndale. Obedience. 1573. P. 144.

³⁶ Ibidem; Erasmus Desiderius. Novum Testamentum. 1588.

Виклифа *ἱερείς* переводится как *prestos*, а *πρεσβύτεροι* – *eldere men* (Мф 12:15, 16:21, Марк 7:5, 8:31 и т.д.)³⁷. Таким образом, Тиндел соглашается и со своим старшим современником, и со своим предшественником. В Авторизованном переводе 1611 года, созданном в период правления Якова I, принята виклифо-тинделовская интерпретация (Мф 8:4, 12:5, 15: 2 и т. д.)³⁸. Реформатор часто напоминает своему оппоненту, что не он один дает такую трактовку данному термину, прежде всего намекая на Виклифа и Эразма, а также своих коллег-реформаторов³⁹. Не случайно, многие зарубежные исследователи отмечают сильную зависимость Тиндела от переводов Эразма и Лютера.

Замена понятий «священника» на «старейшину», несомненно, связана с отрицанием протестантскими богословами, в том числе и Тинделом, института священства. Тиндел наделил религиозными полномочиями каждого верующего. В «Послушании христианина...» он пишет:

В крайнем случае, каждое лицо имеет право крестить, любой может поучать свою жену, слуг и детей. Если я вижу, что мой брат грешит, я могу попенять ему и осудить его деяния по закону Господню, могу утешить отчаявшихся божьими обетованиями, упasti их, если они верят⁴⁰.

Подобные высказывания звучат и в «Практике папистских прелатов» (1530 г.):

Всякий мужчина или женщина имеют ключи и силу вязать и разрешать в порядке и мере, какие дают случай, время и место. Разве не может жена, если ее муж грешит против Бога и нее самой и берет другую женщину, тайно указать ему на его вину в доброй манере, смиренно и связать его совесть законом Божиим? И если он раскается, разве она не простит и не разрешит его, как папа? Ведь грешит-то он против нее, а не папы. Так же пусть раскается и сын перед своим отцом, и слуга – перед господином, и сосед – перед соседом, как отмечается в главе 18 Евангелия от Матфея⁴¹.

В «Ответе...» Мору Тиндел пишет о том, что если, к примеру, женщина попадет на остров, где Христос никогда не проповедовался и ей захочется проповедовать, то она может это делать. Паписты, по его мнению, напрасно принижают женщин, ибо они способны проповедовать не хуже мужчин. «Бог предпочитает мужчин женщинам, старых – молодым, но это совсем не обязательно», – заключает Тиндел⁴².

³⁷ Biblia NT. Evangelia. 1888.

³⁸ The New Testament. The Authorized or king James Version. 1998.

³⁹ Tyndale. Obedience. 1573. P. 251.

⁴⁰ Ibid. P. 144.

⁴¹ Tyndale. Practice. 1573. P. 358.

⁴² Tyndale. Answer. 1573. P. 252.

Таким образом, реформатор отказывает духовенству в праве быть посредником между Богом и людьми и отстаивает принцип «всеобщего священства». В Новом Завете имеются фрагменты, в которых верующие в Иисуса Христа, уподобляются священникам. Так, например, в Откровении Иоанна Богослова 1:6 сказано: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». В 1 Послании Петра 2:5 говорится: «И сами, как живые камни, устройте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом»⁴³. Тиндел, видимо, считал, что каждый человек должен напрямую предстать перед Богом, служить Ему, приносить бескровные жертвы через посредничество Иисуса Христа, который «единственный истинный священник на все времена и другого священника не нужно, да его и не найдется»⁴⁴.

Тиндел переводит греческое *μετάνοια* («раскаяние», «перемена мыслей») как *repentance* («раскаяние») вместо принятого в католической традиции термина *penance*, обозначающего и само таинство покаяния, и налагаемую священником епитимию:

Слово *penance* придумано папистами, как и многие другие. В Писании мы имеем «раскаяние», по-гречески – *μετάνοια*. Из раскаяния паписты сделали «покаяние-епитимию», чтобы убедить людей, что они должны страдать, дабы очиститься от своих грехов, причем именно таким способом, как этого надо папистам. Когда христианские вожди средневековья, вдоволь навоевавшись, вспоминали о совести, то они каялись не Христу, а папе. Их покаяние и налагаемая затем епитимия заключались в выполнении того, что им приказывали папы и епископы, например, строить аббатства, давать земли, скот, а за это папы давали светским владыкам отпущение грехов и позволение грешить дальше.

Раскаяние – не таинство, это лишь воспоминание о духовном обетовании, которое может быть видимо лишь взором веры. Раскаяние начинается с того момента, когда Святой Дух начинает работать в нас, т.е. с момента крещения. ...это следование по пути Христа, оно длится всю жизнь, ибо известно, сколь слабы мы перед Божьим законом»⁴⁵.

Тиндел упоминает также слово *contrition*, означающее для папистов истинное покаяние:

Это слово близко слову «раскаяние» (*repentance*) и обозначает «сокрушение сердца». Бог обещал прощение раскаявшемуся, а паписты извратили его слова, придумав особое слово – *contrition*, так что, каюсь, ты не знаешь, *contrition* это или *attrition*. Но если пошептать духовнику на ушко, тогда это точно считается *contrition* <...>. Священники выдумали такую тонкость, чтобы удобнее было наживать-

⁴³ Синодальный перевод.

⁴⁴ Tyndale. Obedience. P. 144.

⁴⁵ Ibid. P. 146.

ся и торговать отпущением грехов <...>. Если ты раскаешься и осознаешь свое прегрешение, то Бог уже простит тебе твой грех безо всякого шепота. Если ты обидел ближнего, осознал это, раскаялся и ближний тебя простил, то и Бог тебя простил, согласно обетованию <...>. Перед кем человек грешит, пусть перед тем и кается. Иудеи не знают никаких исповедей и папистских «истинных покаяний», почему же мы, за которых пролилась кровь Христа, являемся более связанными, чем иудеи? Ведь Христос пришел не связывать нас, а разрешать от уз <...>. Бог не привязывал Христа к Антихристову⁴⁶ уху и не придумывал исповедальных кабинок, чтобы было узко, а не широко. Бог не всовывал обетований в Антихристово ухо, но дал их всем верующим <...>. Кто любит Бога, любит и ближнего. Если ты оскорбил ближнего, раскайся, и он даст тебе удовлетворение (*satisfaction*). Если он тебя простит, то и Бог простит. Если он тебя не простит, то Бог все равно тебя простит, ибо сокрушения сердца по поводу греха достаточно для того, чтобы заслужить прощения. Христос распятый есть достаточное удовлетворение для всех до конца времен <...>. Если ты споткнулся на пути, раскайся, приходи назад и будешь прощен, как блудный сын. Добрый пастырь упасет тебя, и ангелы небесные возрадуются о твоём приходе. А если какой-нибудь фарисей будет возвращать на тебя, то Отец твой Небесный найдет, что ответить нечестивцу <...>. Те, которые делают из раскаяния покаяние, **считая его таинством**, и делают его на истинное покаяние, исповедь и удовлетворение, несут отсебятину и подло лгут⁴⁷.

Смысловые нюансы, связанные с термином *repentance*, не сводятся для Тиндела к сожалению по поводу совершенных ранее грехов, а предполагают оставление грешной жизни и обращение к Богу. Греческое слово *μετάνοια* тоже подразумевает не столько выполнение внешних действий, сколько изменение внутреннего состояния человека, его мыслей. Так Тиндел хотел приблизиться к оригинальному толкованию.

Изменилась и интерпретация греческого слова *ἐξομολόγησις* («признание»). Реформатор переводит его как «знание» (*knowledge*) вместо «исповеди» или «признания» (*confession*). Как видно из предыдущего отрывка, Тиндел не признавал покаяние в качестве таинства, а значит и его необходимые составляющие – исповедь и епитимию он рассматривал как ненужные церемонии, для него важнее было изменение, преобразование человека через раскаяние, чтобы идти к правильному знанию. Во введении к Новому Завету 1534 года Тиндел отмечает, что «признание на исповеди – это всего лишь изобретение человека, но в отношении к Богу в своем сердце мы можем оставаться грешниками»⁴⁸. Реформатор считает, что «шепот в ухо священнику – это не исповедь, а ловушка Сатаны»⁴⁹.

⁴⁶ В своих сочинениях Тиндел называет папу Антихристом, а католическое духовенство – слугами Антихриста.

⁴⁷ Tyndale. Obedience. 1573. P. 148–149.

⁴⁸ Tyndale. The New Testament. 1989. P. 9.

⁴⁹ Tyndale. Obedience. P. 147.

«Зная постыдные подробности моего греха, ты не увидишь моего сердца, раскаялся я в нем или нет, смирился ли я перед законом и верю ли я обетованиям. Вместо того, чтобы отпустить грехи, апостолы в подобных ситуациях проповедовали грешнику закон Божий и обетования, что и ныне нужно делать. Это только Антихристу надо знать все тайны, чтобы лучше построить свое царствие и творить в нем свои таинства», – пишет Тиндел⁵⁰.

Тиндел намекает и на то, что католическое духовенство пользуется исповедальней в своих сугубо корыстных интересах и использует полученную информацию во всевозможных политических и другого рода интригах. Однако в некоторых местах переводчик сохраняет и традиционное слово, правда, в ином смысловом значении. В «Послушании христианина...» он пишет о двух видах исповеди:

Одна исповедь проводится по истинной вере, когда мы исповедуем наш Символ веры. Она обязательна для всех, кто готовится спастись... Если ты раскаиваешься и веруешь, то исповедуй это. Другой вид исповеди – это та, которая предшествует вере и сопровождает раскаяние. Если мы знаем свои грехи и хотим, чтоб их простили (на основании Божьего обетования), то мы должны исповедовать это. Такому исповедь, как и раскаяние, надо проводить в течение всей жизни⁵¹.

Отвергнув институт священства и заменив «священника» на «старейшину», а «покаяние» с исповедью и исполнением епитимии – на «раскаяние», Тиндел тем самым лишил церковь двух столпов, поддерживающих ее богатство и власть. Он не обошел вниманием и столь важную теологическую категорию христианства, как милосердие. В отличие от представителей католической церкви, он переводит греческое слово *ἀγάπη* не как «милосердие» (*charity*), а как «любовь» (*love*):

Мор также критикует меня за то, что я перевожу греческое слово *ἀγάπη* словом «любовь» (*love*), а не «милосердие» (*charity*) как термином более известным. Но «милосердие» не столь разговорное слово, каковым является «любовь» (*agape*). Когда говорят: давайте милостыню Бога ради сладостного милосердия, и когда отец учит своего сына благословлять святое милосердие, то, что они имеют в виду? Честно говоря, они не задумываются, как и мы не думаем, говоря: “Господи, помоги”. Греческое *ἀγάπη* и латинское *caritas* были в ходу у язычников задолго до Христа и обозначали они больше, чем любовь Бога и к Богу. Иногда мы можем сказать и услышать, что турки «оказали милосердие» пленным или друг другу, а термином *agape* обозначается и плотская любовь. И когда Мор говорит, что не каждая любовь есть милосердие, то ведь и не каждый апостол есть Христов апостол, и не каждый ангел есть Божий ангел, и не каждая надежда – христианская надежда и т. д. Но контекст легко поясняет, какая любовь, надежда и вера именуются в виду⁵².

⁵⁰ Ibid. P. 148.

⁵¹ Ibid. P. 147.

⁵² Tyndale. Answer. 1573. P. 253.

Далее переводчик отмечает, что слово «любовь» имеет как существительное, так и глагол, «милосердие» же – только существительное, и мы не можем говорить «милосердствовать» Бога и ближнего, но «любить» Бога и ближнего⁵³. В первые века христианства агапами (*ἀγάπαι*) называли братские трапезы христиан, которые также именовались вечерами любви. Поэтому в толковании этого термина Тиндел стоит намного ближе к его исконному значению, чем католические интерпретаторы. Кроме того, английское слово *charity* произошло от латинского *caritas* («любовь»). Позднее *charity* имело значение «милостыня», в котором оно заменило собою старое английское слово *alms*.

В трактовке греческого слова *χάρις*, имеющего несколько значений («благодать», «милость», «благодарность», «благосклонность» и т.п.) и представляющего огромную трудность для переводчиков, Тиндел не всегда соглашается с католической интерпретацией. Он отдает предпочтение *favoure* («милость», «благосклонность», «одобрение» и т.п.) вместо *grace* («благодать», «благосклонность», «привлекательность» и т.п.), но при этом сохраняет и традиционную трактовку. В «Ответе...» Мору Тиндел пишет по этому поводу следующее:

Мор критикует меня за то, что я перевожу греческое *χάρις* английским «милость», а не «благодать», говоря, что не всякая милость есть благодать, а порой бывает такая милость, где благодати очень мало. На это я отвечаю: есть и такая благодать, где мало милости⁵⁴.

На самом деле это синонимичные понятия, они соответствуют друг другу, однако длинные слова плохо уживаются в английском языке. Тиндел отказался от *favoure* во втором издании Нового Завета, исключая отдельные места.

Подробно анализируя важнейшие библейские понятия, переводчик приходит к выводу, что причина всех сложностей – неточное семантическое соответствие греческих, латинских и английских слов, «обозначающих вроде бы одно и то же, а вроде бы несколько разное»⁵⁵. Некоторым словам при переводе на другой язык сложно подобрать адекватные аналоги, отражающие их смысловые оттенки.

«Причина, по которой они (католическое духовенство – Т. Ч) так насаждают на меня, заключается в том, что я лишил их свободы словесной эквилибристики, ибо доктора и проповедники привыкли проводить тончайшие различия, писать о разновидностях милости, к примеру. А с исповедью они играли так, что люди не поняли, в чем ее суть. Так, как они ее проповедают, напрямую противоречит

⁵³ Ibidem.

⁵⁴ Ibid. P. 253–254.

⁵⁵ Ibid. P. 254.

Писанию, а для Бога это – оскорбление и идолопоклонство. Потеря схоластической терминологии – вот где жмет им башмак, и вот почему они чувствуют себя столь неладно», – с сарказмом замечает реформатор⁵⁶.

Тиндел, как и многие протестантские реформаторы, критиковал традиционный схоластический метод четырехсмысленного толкования каждого слова. В «Послушании христианина...» он писал:

Паписты говорят, что Писание можно понимать в четырех смыслах: буквальном, тропологическом, аллегорическом и анагогическом. Буквальный смысл папистами игнорируется. Папа присвоил его себе, замкнув ключами глупых и никому ненужных церемоний, или отвратил людей от него силою меча. Паписты говорят, что тропологического (морального – *Т. Ч.*) смысла вполне достаточно, чтобы уяснить, что и как нужно делать. Аллегория якобы хороша для укрепления веры, а анагога – для надежды на лучшее будущее. Термины «тропология» и «анагога» суть папистские выдумки и не имеют исторического значения <...>. Для нас Писание имеет лишь один буквальный смысл. Именно буквального смысла многих не совсем ясных или фигурально выраженных библейских мест должен доискиваться настоящий верующий.

Однако Тиндел все же делает реверанс в сторону аллегорического толкования и добавляет:

Библия часто пользуется сравнениями, аллегориями и прочими образными оборотами речи <...>. Мы имеем право заимствовать фигуральные выражения и использовать их в повседневной речи и в проповеди <...>. Сравнение или пример запечатлевает нечто в человеческом сердце более, чем простая речь <...>. Аллегория все равно, что фундамент под домом и надо использовать ее лишь там, где библейский текст дает к тому повод.

На самом деле Тиндел искал способ, позволяющий буквальному смыслу превалировать над аллегорическим. Он хотел предложить читателю метод, который позволит ему достигнуть сути Писания без привлечения вспомогательного текста.

Предпринятый анализ позволяет с определенной долей уверенности сказать, что при передаче Тинделом на английский язык ключевых терминов Священного Писания прослеживается влияние протестантской теологической доктрины. В экклесиологии Тиндела ведущее место отводилось Писанию как высшему авторитету в вопросах веры и единственному каналу связи между Богом и людьми, поэтому никакие внешние авторитеты в лице церкви, священника и прочего не являлись необходимыми. В «Ответе на Диалог сэра Томаса Мора», в «Послушании христианина...» и «Практике папистских прелатов» Тиндел подверг критике католическую традицию интерпретации наиболее значимых библейских слов. Мор как апологет католической церкви считал недо-

⁵⁶ Ibidem.

пустимым переосмысливать существующую традицию толкования Библии, полагая, что это может пошатнуть авторитет католической церкви и привести к расколу западного христианского мира. Опасения Мора были не напрасны: Тиндел хотел вернуться к истокам христианства, где не было ни церковной организации, ни института священства, а любой христианин мог проповедовать, наставлять в духовных делах и т. п.

Кроме того, Тиндел хотел вернуться и к исконному толкованию ряда библейских терминов. Подбирая соответствующие эквиваленты в английском языке для ключевых слов Библии, переводчик попытался понять их истинное значение в языке оригинала. Наиболее ярко это прослеживается в исследовании им греческих терминов *ἐκκλησία* и *πρεσβύτερος*, означающих «собрание» и «старейшину». Практически во всех случаях Тиндел приводит сопоставительные схемы, показывающие смысловые различия между словами, относящимися к одной семантической группе. Особенно убедительно это выглядит на примере сравнения английских слов *penance* и *repentance*. Многозначные слова, каковым является греческое *χάρις*, Тиндел передает не одним и тем же английским эквивалентом, а использует в качестве альтернативы слова-синонимы (*grace-favoure*). Однако греческое слово *ἀγάπη* во всех контекстах им трактуется одинаково (*love*). В Авторизованном переводе 1611 года используются оба термина – *charity* и *love*⁵⁷.

Таким образом, Тиндел попытался заново переосмыслить наиболее значимые слова Священного Писания, современные значения которых далеко не всегда совпадали со значениями первоисточника. Если бы Томас Мор увидел, что в задачу переводчика входило не только нахождение нужных эквивалентов, но и сохранение внутреннего единства между ветхозаветной, новозаветной и современной церковной традициями, он бы не стал упрекать переводчика в пособничестве Лютеру и преднамеренном искажении библейского текста⁵⁸. Тиндел не раз напоминал своему оппоненту, что он согласовал перевод некоторых ключевых терминов Священного Писания с интерпретацией «обожаемого» Мором Эразма Роттердамского, перевод которого английский гуманист никогда не критиковал⁵⁹. Несмотря на все нарекания в адрес тинделовского перевода Библии, следует отметить, что он искренне желал того, чтобы Слово Бога стало понятно и доступно каждому христианину, а не только служителям католической церкви.

⁵⁷ The New Testament. 1998. (См., например: 1 Посл. Иоанна 3:17; Евр. 13:1 – *love*; 1 Кор. 13:13; 1 Кор. 14:1 – *charity*).

⁵⁸ More. Dialogue. 1927. P. 209.

⁵⁹ Tyndale. Answer. 1573. P. 209.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Российское библейское общество, 2001. 1376 с.
- Бэрд Ч.* Реформация XVI века в ее отношении к новому мышлению и знанию / Пер. Е. А. Звягинцева под ред. и с предисловием проф. Н. И. Кареева. Санкт-Петербург: Типография Гершуна, 1897. 362 с.
- Грин Д. Р.* История английского народа / Пер. с англ. П. Николаева. Т. 1–4. М.: Типография К. Т. Солдатенкова, 1891–1892.
- Осиновский И. Н.* Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, Реформация. М.: Наука. 1978. 326 с.
- Чугунова Т. Г.* Перевод Библии В. Тиндела: историографический аспект // Актуальные вопросы истории. Материалы межвузовской научной конференции. Нижний Новгород: НКИ, 2009. С. 220–223.
- Anderson M.* William Tyndale: A Martyr for All Seasons // *The Sixteenth century Journal*. 1986. Vol. 17. № 3. P. 331–351.
- Auksi P.* “Borrowing from the Shepherds”: Tyndale’s Use of Folk Wisdom // *Word, Church and State: Tyndale Quincentenary Essays* / Ed. by J. Day, E. Lund and A. M. O’Donnel. Washington: Catholic University of America Press, 1998. P. 115–127.
- Bainton R. H.* The Reformation of the sixteenth century. Boston: The Beacon Press, 1956. 276 p.
- Biblia N. T.* Evangelia. The Gothic and Anglo-Saxon gospels in parallel columns with the versions of Wycliffe and Tyndale / With pref. and notes by Joseph Bosworth, assisted by George Waring. 3-d ed. London: Reeves and Turner, 1888. 584 p.
- Bindoff S.* Tudor England. Harmondworth: Penguin books, 1955. 320 p.
- Butterworth C. C.* The Literary lineage of the king James Bible. 1340–1611. Philadelphia: University of Pensilvania Press, 1941. 394 p.
- Campbell W. E.* Erasmus, Tyndale and More. London: Eyre & Spottiswoode, 1949. 288 p.
- Clebsch W. A.* England’s earliest protestants. 1520–1535. New Haven and London: Yale University Press, 1964. 358 p.
- Cummings B.* The Theology of Translation: Tyndale’s Grammar // *Word, Church and State: Tyndale Quincentenary Essays* / Ed. by J. Day, E. Lund and A. M. O’Donnel. Washington: Catholic University of America Press, 1998. P. 36–59.
- Daniell D.* “Gold, silver, ivory, apes and peacocks” // *Word, Church and State: Tyndale Quincentenary Essays* / Ed. by J. Day, E. Lund and A. M. O’Donnel. Washington: Catholic University of America Press, 1998. P. 5–25.
- Daniell D.* Introduction // *Tyndale W. Tyndale’s Old Testament. A modern-spelling edition of the Pentateuch (1530), Joshua to 2 Chronicles (1537) and Johan (1531)* / Ed. and introduction by D. Daniell. New Haven and L.: Yale Univ. Press, 1992. P. IX–XXIX.
- Daniell D.* Let there be light. William Tyndale and the making of the English Bible. London: The British Library, 1994a. 31 p.
- Daniell D.* William Tyndale: A Biography. New Haven and London: Yale University Press, 1994b. 429 p.
- DeCoursey M.* The Semiotics of Narrative in *The Obedience of a Christian Man* // *Word, Church and State: Tyndale Quincentenary Essays* / Ed. by J. Day, E. Lund and A. M. O’Donnel. Washington: Catholic University of America Press, 1998. P. 74–86.

- Demaus R.* William Tyndale: A Biography / Rev. by R. Lovett. 3-d ed. London; Religious Tract Society, 1904. 341 p.
- Dick J. A.* "To Dig Again the Wells of Abraham": Philology, Theology, and Scripture in Tyndale's *The Parable of the Wicked Mammon* // *Moreana*. 1991. Vol. 28. № 106–107. P. 39–52.
- Dickens A. G.* The Age of Humanism and Reformation Europe in the Fourteenth, Fifteenth, Sixteenth Centuries. New Jersey: Humanities Press, 1972. 255 p.
- Erasmus Desiderius.* Novum Testamentum Graece et Latine, studio et industria. Basileae: Officina Leonhardi Osteni, 1588. 857 p.
- Foxe J.* The Acts and Monuments of the Church / Ed. by J. Pratt. 8 vols. London: Religious Tract Society, 1877.
- Froude J. A.* History of England from the Fall of Wolsey to the defeat of the Spanish Armada. 12 vols. London: Green, 1870–1875.
- Hall E.* Chronicle, contains the History of England during the reign of Henry IV to the end of the reign of Henry VIII. (1548). N.Y., 1965.
- Hammond G.* William Tyndale's Pentateuch: Its Relation to Luther's German Bible and the Hebrew Original // *Renaissance Quarterly*. 1980. Vol. 28. P. 351–385.
- Karpman D. M.* William Tyndale's Response to the Hebraic Tradition // *Studies in the Renaissance*. 1967. Vol. 14. P. 110–130.
- Lewis C. S.* English literature in the sixteenth century excluding Drama. Oxford: The Clarendon Press, 1954. 696 p.
- Loane M. L.* Masters of the English Reformation. London: The Church book room Press, 1954. 247 p.
- Luther M.* Biblia, das ist: Die gantze heilige Schrifft: Deusch. Wittenberg, 1557.
- Mansbridge R.* The Percentage of Words in the Geneva and King James Versions taken from Tyndale's translation // *Tyndale Society Journal*. 1995. № 3. P. 10–14.
- Millus D. J.* "Howe diligently wrote he to them": Tyndale 's Own Letter *The Exposition of the First Epistle of Saint John* // *Moreana*. 1991. Vol. 28. № 106–107. P. 145–153.
- More T.* The Dialogue concerning Tyndale by Sir Thomas More / Ed. with a modern version of the same and an essay on the spirit and doctrine of the Dialogue by W. E. Campbell. London: Eyre & Spottiswoode. 1927. XVIII, 324 p.
- Mozley G. F.* William Tyndale. London: Society for promoting Christian knowledge; New York: The Macmillan Co., 1937. 364 p.
- O' Donnell A. M.* Scripture Versus Church in Tyndale's *Answer Unto Sir Thomas More's Dialogue* // *Moreana*. 1991. Vol. 28. №. 106–107. P. 119–130.
- Parker D.* Tyndale's Biblical Hermeneutics // *Word, Church and State: Tyndale Quincentenary Essays* / Ed. by J. Day, E. Lund and A. M. O'Donnell. Washington: Catholic University of America Press, 1998. P. 87–101.
- Richardson A.* Scripture as Evidence in Tyndale's *The Obedience of a Christian Man* // *Moreana*. 1991. Vol. 28. № 106–107. P. 83–104.
- Richardson A.* William Tyndale and the Bill of Rights // *William Tyndale and the Law. Sixteenth Century Essays & Studies* / Ed. by J. A. Dick, A. Richardson. 1994. Vol. 25. P. 11–29.
- Richardson A.* William Tyndale at 500 years and after // *Moreana*. 2000. Vol. 37. № 142. P. 13–44.

- Ross W. H.* The beginning of the English Reformation. N.Y.: Sheed and Ward, 1957.
- Seebohm F.* The Era of the Protestant revolution. London: Longmans, Green and Co., 1874. 236 P.
- The New Testament. The Authorized or king James version of 1611 with an Introduction by John Drury. Cambridge: The University Press, 1998. 421 p.
- Tyndale W.* An Answere into Sir Thomas More's Dialogue // The Whole works of W. Tyndall, John Frith and Doct. Barnes, three worthy Martyrs and principall teachers of this Church of England collected and compiled in one tome together, being before scattered now in print here exhibiten to the Church / Ed. by J. Foxe. London: Printed by J. Daye, 1573a. (далее – WW). P. 247–339.
- Tyndale W.* Practice of papisticall Prelates // WW. 1573c. P. 340–377.
- Tyndale W.* The New Testament. The text of the Worms edition of 1526 in original spelling / Ed. for the Tyndale Society by W. R. Cooper with a preface by D. Daniell. The British Library, 2000. 558 p.
- Tyndale W.* The Obedience of a Christian man and how Christian rulers ought to governe // WW. 1573b. P. 97–183.
- Tyndale W.* Tyndale's New Testament. A modern-spelling edition of the 1534 translation / Ed. and introduction by David Daniell. New Haven and London: Yale University Press, 1989. 429 p.
- Tyndale W.* Tyndale's Old Testament. A modern-spelling edition of the Pentateuch (1530), Joshua to 2 Chronicles (1537) and Johan (1531) / Ed. and introduction by D. Daniell. New Haven and London: Yale University Press, 1992. 643 p.
- Vaughan R.* Revolutions in English History. 3 vols. London: Parker Son and Bourn, 1861.

Чугунова Татьяна Георгиевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и дисциплин классического цикла Нижегородского государственного педагогического университета; tat-chuginova@yandex.ru

К. Ю. ЕРУСАЛИМСКИЙ

ПУБЛИЦИСТ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО

И. С. ПЕРЕСВЕТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ А. А. ЗИМИНА

Монография А. А. Зими́на о российской публицистике середины XVI в. вызвала дискуссию в советской и мировой науке. Интерпретации жизни и сочинений И. С. Пересветова переустроили представления о зарождении публицистики в России и потребовали от дискутантов очертить свое понимание публицистики как таковой, ее места в общественной жизни прошлого и настоящего.

Ключевые слова: *публицистика, централизованное государство, реформы Избранной рады, И. С. Пересветов, советская историческая наука, А. А. Зимин.*

Монография А. А. Зими́на «И. С. Пересветов и его современники: Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI века» (М.: Изд-во АН СССР, 1958, далее – «Пересветов и его современники»), защищенная в качестве докторской диссертации в 1959 г., сегодня застаёт нас врасплох своим непомерным охватом источников и остротой поставленных проблем¹. Эта книга и предшествующее ей издание «Сочинений И. Пересветова», подготовленное Зиминым и его коллегами², не были научной «бомбой» и не имели такого долгосрочного резонанса, как исследование о «Слове о полку Игореве» (далее – «Слово»). Однако по широте замысла и яркости научной мысли эти историографические явления вполне сопоставимы. Сегодня вошли в научное сознание исследователей российского XVI века гипотезы Александра Александровича, даже – и особенно – когда с ними споришь и находишь новые решения и интерпретации. Сопоставление со «Сло-

¹ *Каиштанов*. 2000. С. 8, 20–21; *Каиштанов, Чернобаев*. 2001. С. 806. Защита диссертации состоялась 28 мая 1959 г. в Ученом совете Института истории АН СССР. Консультантом Зими́на выступил М. Н. Тихомиров. Официальными оппонентами на защите были доктора исторических наук Н. Н. Воронин, В. И. Шунков, Б. Б. Кафенгауз и доктор филологических наук академик АН УССР Н. К. Гудзий, неофициальными – С. А. Покровский, Ю. Ф. Сальников.

² Сочинения И. Пересветова. 1956. Зимину в издании принадлежат статья «И. С. Пересветов и его сочинения», «Археографический обзор сочинений И. С. Пересветова», подготовка основного текста источника и одного приложения. Комментарий к сочинениям Пересветова составлен Я. С. Лурье. В издание вошли также статьи Д. С. Лихачева и Л. Н. Пушкарева и подготовленный М. Д. Каган текст «Повести о двух посольствах».

вом» невольно приходит на ум, когда заставляешь себя найти аналогию амбициозной общей задаче книги «Пересветов и его современники»³.

Личность Пересветова и его творчество интересовали А. А. Зими́на еще в 1940-х гг. В 1948 г. им был обнаружен в Отделе рукописей ГБЛ (ныне – НИОР РГБ) список сочинений Пересветова, который при детальном исследовании рукописной традиции был принят им как древнейший и лучший из известных⁴. Работа над списками заняла многие годы, в течение которых Зимин выступал с тезисами и статьями, намечавшими общие очертания большого исследования⁵, и увенчалась монографией 1958 г. и пособием к спецкурсу по истории русской публицистики конца XV–XVI в., изданным в 1959 г.⁶

Проделав огромную источниковедческую работу, историк показал, что реформам Ивана Грозного предшествовала и сопутствовала публичная борьба концепций общественно-политического развития. В условиях неразвитости печатного дела и узости возможностей для дискуссий все же сложилась публицистика. Этот сам по себе спорный термин в приложении к российской общественной инфраструктуре середины XVI в. обрел в исследовании Зими́на ту плотность и осязаемость, которой не имел ни в книгах И. У. Будовница, ни в работах дореволюционных историков культуры. Видимо, и для российской, и для советской историографии это был первый шаг к дискуссии о формировании «публичной сферы» в России до реформ Петра I⁷. Да, мы не можем знать, был ли проект Пересветова известен до 1630-х гг., обсуждались ли до конца XVI в. предложения и обличения Ермолая-Еразма, кремлевского протопопа Сильвестра и перебежчика А. М. Курбского так, как это происходило, скажем в полемике Н. И. Новикова с Екатериной II или, тем более, в публицистике эпохи реформ Александра II. Однако если мы равно ищем или не признаем аналогий между публицистическими баталиями нового и раннего нового времени, нам предстоит приложить усилия, чтобы инвентаризировать многосложные построения А. А. Зими́на.

Менее очевидной для исследователей русской культуры «большой посылкой» в его аргументации является идея о том, что реформы Из-

³ См. также: Дубровский. 2005. С. 711–718.

⁴ Waugh. 1985. P. 25; Дубровский. 2005. С. 704.

⁵ Зимин. 1955. Вып. 3. С. 311–324; Зимин. Т. 32. С. 455 (статья без подписи); Бахрушин, Зимин. 1955. С. 291–301 и др.

⁶ Зимин. 1959; Каи́танов. 2000. С. 17, 19–20.

⁷ Понятием «публицистика» применительно к сочинениям российских интеллектуалов середины XVI в. иногда пользовались историки общественной мысли, работавшие до 1917 г. и в эмиграции. Личность Пересветова был значима для российской либерально-демократической мысли: Кизеветтер. 1925. С. 279–288.

бранной рады реализуют на практике идеи, находящие отклик и воплощение в трудах публицистов XVI в. До диссертации А. А. Зимины этот тезис не был очевиден. Живым примером служит главный герой книги – И. С. Пересветов. Потребовалось вернуть ему идентичность дворянина на московской великокняжеской и царской службе, доказать его творческую активность в эпоху Избранной рады, чтобы восстановить единство его идей и замыслов Избранной рады. Эта идея следовала в русле концепции Д. И. Иловайского и П. Н. Милокова и вразрез построениям, связывающим концепцию Пересветова с террором Ивана Грозного. Кроме того, потребовалось показать, что Пересветов был не автором реформ, а лишь их творчески самостоятельным глашатаем. Отчасти даже проектером-утопистом, смотревшим дальше своего времени, в перспективу масштабного демократического переустройства России. Подобная исследовательская попытка предпринималась лишь в небольшом эссе А. А. Кизеветтера 1925 г. и была весьма далека от общепринятых интерпретаций советской историографии.

Этот ход мыслей был и остается одним решением из множества возможных. И не все выводы в этих вопросах принадлежат Зимину. Сегодня можно лишь подчеркнуть его исследовательскую честность и стремление учесть точки зрения предшественников, среди которых особенно значимы выводы Иловайского, Милокова и Кизеветтера, а также архимандрита Леонида, С. А. Белокурова, В. О. Ключевского, Ю. А. Яворского, С. Л. Авалиани, В. Филиппа, Д. Н. Егорова и, конечно, В. Ф. Ржиги, чье имя упоминается первым в книге Зимины.

Как представляется, до сих пор недооценены научные подтексты концепции об осуществлении в реформах Избранной рады программы, изложенной в Большой и Малой челобитных, а также в других сочинениях Пересветова. В историографии 1930–50-х гг. господствовавшим был тезис о противостоянии централизаторских усилий Ивана Грозного реакционной политике боярской и княжеской оппозиции. Собственно, вопрос заключался лишь в том, когда и насколько реакционными были враги централизации. Уже в работах С. В. Бахрушина был намечен отход от этой концепции – правда, в очень осторожной форме учитель Зимины говорил о прогрессивном характере Избранной рады в деле централизации и тождестве Избранной рады Ближней думе Ивана Грозного⁸. Если так, то следовало согласиться и с тезисом о том, что входившие в Избранную раду боярско-княжеские аристократы не были противниками централизации. А это уже означало, что период правления

⁸ *Waugh*. 1985. P. 7.

Избранной рады представлял альтернативу централизации эпохи опричнины. Незадолго до выхода дискуссионной монографии Зимина о Пересветове, на волне критики «культы личности», прошло обсуждение тезисов С. М. Дубровского, прошедшего через гонения против «школы» М. Н. Покровского, о преувеличении роли Ивана Грозного в советской историографии, а также о том, что централизация не была единственным закономерным путем развития Российского государства⁹.

А. А. Зимин ни тогда, в мае 1956 г., ни позднее не отрицал того, что в России конца XV–XVI в. формировалось централизованное государство, в целом, придерживаясь своей периодизации феодализма в СССР, сформулированной в дискуссии по статье К. В. Базилевича в 1949–50 гг.¹⁰ Об особенностях подхода Зимина в середине 1960-х – начале 1970-х гг. к росту государственного единства России XV–XVI вв. вспоминает С. М. Каштанов: «Ему была близка мысль В. И. Ленина о «живых следах прежней автономии» в России XVI в. Ученый полагал, что централизация в это время была еще далеко не завершена, и предлагал называть Русское государство конца XV–XVI в. не «централизованным», а «единым»¹¹. Пересмотреть с этих позиций свои монографии 1950-х – начала 1960-х гг. Зимин не успел, но уже и в самих этих работах был намечен особый взгляд на историю российской государственности¹². В частности, сохраняя лояльность «общей линии» на уровне деклараций, вместе с тем Зимин развил концепцию С. В. Бахрушина¹³, а в ее обоснование показал, что взгляды Пересветова выражали идеал централизации страны путем компромисса между различными слоями правящего класса, а не опричного террора. Пересветов, по его мнению, не был сторонником террора, а выражал идеалы, отчасти осуществленные Избранной радой. В противовес многочисленным авторитетным исследователям А. А. Зимин отходит от традиции Н. М. Карамзина в сближении взглядов Ивана Грозного эпохи опричнины и представлений Ивана Пересветова и доказывает, что «чаяния передовой части дворян-

⁹ Дубровский. 1956. С. 121–129; Шевяков. 1956. С. 71–77; Курмачева. 1956. С. 195–203. О преследовании Дубровского см.: Юрганов. 2011. С. 168–170, 178–179.

¹⁰ Зимин. 1950. С. 69–76. Подробнее о дискуссии см.: Юрганов. 2011. С. 575–672.

¹¹ Каштанов. 2000. С. 37, см. также с. 45–46.

¹² Кобрин. 1982. С. 256–269.

¹³ В «Храме науки» Зимин не скрывает своей приверженности идеям учителя: «Вывод С. В. Бахрушина о компромиссном характере деятельности Избранной рады сделался основой представлений большинства советских историков (разделял его и я)» (Александр Александрович Зимин. 2005. С. 38; см. также: Зимин. 1961. С. 117–127; Каштанов. 2000. С. 29, 48).

ства», и в их числе Пересветова, «обгоняли свое время и шли значительно дальше самых последовательных из реформ 50-х годов XVI в.»¹⁴.

Здесь необходима, конечно, оговорка. Зимин в то время открыто не выступал против концепции «прогрессивного войска опричнины» и доказывал в своей монографии «Опричнина Ивана Грозного», что именно с ее помощью царь расправился с остатками удельной раздробленности. Из этого не следовало, впрочем, что предшествующие усилия по объединению страны были обречены на неудачу. Рассуждения Пересветова о «царской грозе», санкциях за нежелание вельмож воевать «игрой смертной» за государя, а также реконструируемая в книге Зимина семантика понятий «вера» и «правда» подводили к иному выводу. Между радикальным клерикализмом иосифлян и умеренной реформаторской программой нестяжателей существовал средний путь, которым Российское государство успешно шло во главе с правительством компромисса, состоявшим из прогрессивных представителей аристократии и возглавивших их лидеров неаристократичного происхождения¹⁵. Правление Избранной рады А. А. Зимин подразделяет, впрочем, на два подпериода, видя в первом (1549–1552) наивысшее воплощение компромиссности правительственной политики, а во втором (1553–1560) начало наступления на боярскую аристократию, хотя еще и на компромиссной основе. Таким образом, исследователь стремился выстроить логику преемственности и перехода от Избранной рады к Опричнине и видел в последней закономерное продолжение предшествующей политики¹⁶.

С другой стороны, Зимин не был самоубийцей – полемической мишенью в его построениях были концепции «государственной школы». Дистанцироваться от концепций С. М. Соловьева, В. И. Сергеевича и В. О. Ключевского было важно как раз потому, что идея «правительства компромисса» могла у идеологически чутких читателей вызвать аналогию с критикуемой в советской историографии идеей бесклассового или надклассового государства. Было бы странно критиковать реформы Избранной рады за то, что они осуществляли на практике идеалы «государственной школы». Реформы первых лет царствования Ива-

¹⁴ Зимин. 1958. С. 354, 371, 375–376, 392. Цитата и подбор сходных мест в монографии Зимина по: Лурье. 1959. С. 450–453, здесь с. 450.

¹⁵ До Зимина В. Ф. Ржига, Б. А. Рыбаков, Б. Д. Греков и Л. В. Черепнин говорили о «прогрессивных» слоях боярства и прогрессивности нестяжателей применительно к Вассиану Патрикееву и Максиму Греку и ко всем сторонникам государственной централизации России первой половины XVI в. См.: Плигузов. 2002. С. 35.

¹⁶ Эта схема получила обоснование в монографии: Зимин. Реформы 1960. См. также: Шмидт. 1999. С. 91–102; Каишанов. 2000. С. 22–23; Хорошкевич. 2001. С. 8.

на IV несли на себе отпечаток социальной солидарности и классового компромисса: собор примирения, проекты создания единого служилого сословия, реформа военной службы, объединение церкви и государства, объединительные доктрины публицистов. В то же время этот выбор оппонентов, прикрытый «генеральной линией», парадоксальным образом совпадал с далекими от официозных формул личными предпочтениями Зимины, убежденного в правильности славянофильского понимания русской истории и много читавшего религиозных философов начала XX в., близких к российскому и панславянскому почвенничеству и национальному мессианству¹⁷. Впрочем, по сути выдвигаемых построений Зимины сближались с концепциями В. Ф. Ржиги, П. Н. Милюкова, А. А. Кизеветтера, уходя от славянофильских доктрин в область сравнительно-исторического метода и философии истории рубежа XIX–XX вв. И это создавало интригу в развернувшейся дискуссии.

Опасная игра предстояла исследователю, попытавшемуся в корне пересмотреть представления историков о борьбе централизаторов в лице государства и поддерживающих их иосифлян с реакционерами в лице удельной, княжеской и боярской оппозиции и их сторонников в церкви – нестяжателей¹⁸. Одновременно с книгой А. А. Зимины была опубликована монументальная работа И. И. Смирнова, в которой доказывалось, что у царя было множество тайных и открытых противников в его политике централизации¹⁹. В дискуссии с оппонентами автору «Пересветова и его современников» предстояло отстоять ряд частных позиций, из которых складывалась сложная мозаика его концепции.

Необычность идей Зимины для советского научного истеблишмента была очевидна уже для первых рецензентов «Сочинений Пересветова». Прежде всего, ему сразу было поставлено на вид родство его концепции с построениями Ржиги – несмотря на то, что и в издании источников, и в монографии Зимины они были представлены как объект критики и преодоления. Уже тогда же развернулась многолетняя дискуссия Я. С. Лурье и А. А. Зимины с А. Л. Саккетти о соотношении ортодоксии и ереси в творчестве Пересветова. Саккетти упрекнул оппонентов в том, что они следуют концепции Ржиги 1908 г., доказывая еретичество Пересветова в словах «Бог не веру любит – правду», тогда как: «Тщетно искали бы мы в официальной церковной литературе положения о том,

¹⁷ *Каиштанов*. 2000. С. 14; *Дубровский*. 2005. С. 704–711; *Муравьев*. 2000. С. 169–170.

¹⁸ *Будовниц*. 1947. С. 128; *Саккетти*. 1948. С. 78–79.

¹⁹ *Смирнов*. 1958.

что христианский бог «любит веру», веру вообще как таковую без дальнейших ограничений, и предпочитает ее «правде». И понятно, почему: ведь единой веры нет, ибо на свете существует не одна, а много вер». Кроме того, в «Сказаниях о книгах» Пересветова обнаруживаются и слова о любви Бога к христианской вере, критика порабощения феодалов находит параллель в ст. 81 Судебника Ивана Грозного, максимальный семилетний срок плена заимствован из Ветхого завета, не расходится Пересветов с принятыми в его время прочтениями Библии и в ссылках на апокрифические источники²⁰. Чтобы объяснить обращение Пересветова к образу Магмет-салтана, Саккетти пришлось, в свою очередь, прибегнуть к гипотетичным построениям, призванным подтвердить заурядность образа мыслей книжника середины XVI в. Лурье отвел эту критику и остался при своем мнении о еретичестве Пересветова²¹.

Если рецензия Саккетти не вносила явных идеологических коннотаций в спор о Пересветове и сама была уязвима с точки зрения историографической идеологии²², то в развернутой заметке Ю. Ф. Сальникова, опубликованной в связке с рецензией Саккетти, упреки в адрес коллектива публикаторов «Сочинений Пересветова» звучали более тревожно. Им вменялось, что их мысли «находятся в явном противоречии с общей характеристикой Пересветова» и «продолжают линию модернизаторского истолкования идейной борьбы XVI века»²³. Успехом публикаторов признано то, что они признали в Пересветове выразителя интересов дворянства, но этого рецензенту недостаточно, и он отмечает ошибочное, с его точки зрения, представление Зимина о «перерастании» Пересветовым рамок дворянской ограниченности и слова Д. С. Лихачева об «идее ответственности» царя перед народом и всеобщей «идее ответственности» в публицистике XVI в. Полемические выпады подвели к выводу о том, что публикаторы скрытно принимают построения Ю. А. Яворского, В. Ф. Ржиги и И. В. Филиппа. Лихачева упрекают в том, что он развивает тезис о «народническом направлении» Пересветова и его современников, заявленный в первом издании книги Р. Ю. Виппера «Иван Грозный» (1922). И вновь главный удар направлен в тезис о еретическом, неформатном звучании идей Пересветова, а в выводах, как и

²⁰ Саккетти. 1957. С. 117–118. Автор остается при своих взглядах, высказанных в рецензии на книгу И. У. Будовница и в статье: Саккетти. 1951. С. 107–117.

²¹ Лурье. 1959. С. 451; Лурье. 1989. С. 180.

²² Критика «демократизма» Пересветова находила параллель с концепцией П. Н. Милюкова, которая при этом была в равной степени далека от точки зрения В. Ф. Ржиги: Милюков. 1995. С. 70.

²³ Сальников. 1957. С. 121.

у Саккетти, говорится о том, что Пересветов – носитель традиционной религиозности и выразитель идеала дворянской монархии. Разоблачение не оставляет места идеям дворянско-буржуазной историографии и ее скрытым советским адептам в лице Зими́на, Лихачева и Лурье: «За «идею ответственности» ратовали представители княжеско-боярской оппозиции на Руси, но у них эта «идея» играла чисто демагогическую роль, прикрывая общими фразами их «самовластные» интересы»²⁴.

Дискутируя с издателями «Сочинений Пересветова», Сальников признает неверным выбор основного списка для издания, обнаруженного Зиминым. По мнению рецензента, текст списка ГБЛ Музейного собр. № 4469 «отличается от текстов других редакций сочинений Пересветова»²⁵. Высказанное здесь же предположение о том, что редактором текстов Пересветова в редакции Музейного сборника был князь Курбский до его побега за границу, носит сугубо предварительный характер. Так же голословно и заявление о вторичности «Полной редакции», оно не обосновано полновесным сравнением чтений и критериями их первичности²⁶. В целом, критические выпады Сальникова рассчитаны на моментальный подрыв системы аргументации публикаторов. Более того, приняв образ Пересветова в изложении Курбского, можно было свести все построение Зими́на и его коллег к взглядам не Пересветова, а Курбского, хотя неясно какого периода – до эмиграции в сочинениях Курбского нет полонизмов, если же полонизмы появились в эмиграции, то проект Пересветова терял бы связь с российскими реалиями. Создателям «Сочинений Пересветова» досталось крайне непростое дело – опровергать точку зрения, которую невозможно было доказать, но можно было принять, при желании. Даже если рассуждение Сальникова о «Пересветове» в редакции Курбского, запрятанное в примечание, было совершенно беспочвенным, оно указывало на вопиющий на общем фоне тезис Зими́на и его коллег о близости взглядов Курбского и Пересветова. «Ересь» в этом тезисе заключалась в том, что признанный идеолог централизации Пересветов выступал на одной доске с признанным идеологом реакционного боярства Курбским. При всей видимой незна-

²⁴ Там же. С. 123.

²⁵ Там же.

²⁶ Позднее (о чем будет сказано ниже) Зимин разобрал и опроверг предположения Сальникова. Выбор Музейного сборника признал верным в своей рецензии А. И. Клибанов, отметивший, что до публикации, подготовленной Зиминым, в науке был известен только текст сокращенного извода Неполной редакции, изданный Ржигой, а «общее количество известных исследователям списков едва достигало десяти, тогда как в издании учтено было свыше тридцати: *Клибанов. 1957. С. 204.*

чительности этой идеи, за ней открывались те самые перспективы централизации путем компромисса, о которых говорилось выше. Показательно, что А. А. Зимин, Я. С. Лурье и Д. С. Лихачев и позднее не будут признавать принципиальных расхождений между идеями Курбского и его современников в отношении к централизации страны, а также в концепции ответственности царя за свою страну и народ²⁷.

В рецензии на монографию Зимина Саккетти последовательно отстаивает точку зрения, согласно которой реформационные движения повсеместно, в том числе и в России, препятствовали процессу централизации. В упрек автору поставлено, что он неточен в терминологии, называя Пересветова еретиком. Читатель остается в неведении, каким именно еретиком он был – протестантом в духе Матвея Башкина или социинианином в духе Феодосия Косого. Светское понимание «правды» Пересветова, предложенное германским историком Вернером Филиппом отвергается Саккетти на общих и текстовых основаниях. Турецкий законодательный аналог предложений Пересветова, «Канун-Намэ» султана Сулеймана Великолепного, утверждался шейх-уль-исламом или муфтием и сравнивался с Кораном. В сочинениях Пересветова «чисто светская» интерпретация «правды» невозможна, поскольку ее соединение с «верой» должно привести к тому, что с «нами» будут беседовать ангелы. Саккетти поддавливает Зимина на противоречии. С одной стороны, Зимин неблагоприятно отзываясь о работе В. Филиппа, с другой – следует его точке зрения. И вновь, как и в рецензии на «Сочинения Пересветова», звучит упрек в необоснованности концепции еретичества Пересветова. На сей раз упор сделан на том, что челобитчик, адресуя царю свои сочинения и зная, что в России за ересь предусматривались суровые наказания, нисколько не боялся, что его взгляды будут расценены как еретические, следовательно, он не мог высказывать ничего еретического. Это замечание, конечно, не вполне выдержано с точки зрения формальной логики и подкреплено фактической ошибкой: Саккетти отмечает, что Пересветову «было пожаловано поместье»²⁸. Не представляло труда парировать, что поместье было ему пожаловано задолго до написания челобитных, и к тому времени, когда они были поданы, их автор как раз уже свои земли потерял и разорился.

Рецензенты И. Б. Зильберман и Я. Мальярчик отметили двуединство успеха исследователя, опровергающего построения буржуазной исторической науки о «всякого рода иноземных влияниях» на российские

²⁷ Ерусалимский. 2009. Т. 1. С. 263–302.

²⁸ Саккетти. 1959. С. 205.

общественно-политические теории и в то же время признающего их родство с «западными теориями и течениями» того времени. Авторы рецензии присоединились к концепции Зимина о том, что гуманистическо-реформационная мысль в России развивалась по сходному пути с Западом, но менее резко и, в целом, независимо от европейских влияний²⁹. Впрочем, их полемические ремарки выдержаны в духе рецензий Саккетти и Сальникова на издание «Сочинений Пересветова»: «Конечно, А. А. Зимин прав, когда он отрицает тождество взглядов И. С. Пересветова и Грозного, признавая лишь сходство их воззрений, но ведь и у Пересветова нет идей, которые при всем присущем ему свободомыслию, независимо от церковной догмы, были бы преодолением феодального мировоззрения»³⁰. Подтекст здесь, в сущности, тот же: Зимин впадает в анахронизм и переоценивает оригинальность сочинений Пересветова.

Как бы в развитие осторожных подступов Сальникова Зильберман и Малярчик со ссылкой на «Ивана Грозного» И. И. Смирнова (1944) и «Русскую публицистику XVI в.» И. У. Будовница (1947) атакуют идейный союз Курбского и Пересветова у Зимина: «Курбский – это демагогический, псевдодемократический борец за свободу человека, который с ложным пафосом осуждал “адовы твердыни самодержавия” и принципиально отвергал самодержавие во имя реакционных притязаний князей и бояр на власть. Пересветов и Курбский – это идеологические антагонисты, отражавшие в своей публицистике классовые противоречия между боярством и дворянством»³¹. Это лишь начало долгого рассуждения о загнивании «княжеско-боярского слоя» и одновременном движении дворянства «к вершинам господства» в России XVI в. Рецензенты уловили ряд противоречий, допущенных Зиминим в концепции становления абсолютной монархии. В этом вопросе он расходился с Бахрушиным, считавшим Пересветова защитником абсолютизма, и доказывал, что тот был сторонником сословно-представительной монархии. У Зимина можно обнаружить и высказывания, подтверждающие идеи Бахрушина, и иное построение. За этой двойственностью, на наш взгляд, кроется стремление автора обосновать нестандартную концепцию компромиссного абсолютизма, что было невообразимо в рамках бинарной логики централизации *либо* княжеско-боярского правления, господствовавшей на момент выхода в свет «Пересветова и его современников»³².

²⁹ Зильберман, Малярчик. 1960. С. 165.

³⁰ Там же. С. 167.

³¹ Там же.

³² Зильберман и Малярчик приблизились к концепции Зимина, когда упрекнули его за неверное понимание взглядов А. Фрыч-Моджевского. Они отметили, что его в

А. И. Клибанов, оказавший своими работами влияние на Зимина, посвятил разбору публикации «Сочинений Пересветова» рецензию, в которой также обратился к вопросу о прогрессивных и непрогрессивных мыслителях. Как и Саккетти, Клибанов уловил тенденцию Зимина следовать в русле предположения Ржиги о «вольнодумстве» Пересветова и тоже эту тенденцию оспорил. Впрочем, Клибанов тут же вступил в полемику и с оппонентами Зимина Саккетти и Сальниковым и отметил, что их вывод о религиозной ортодоксальности Пересветова «неубедителен». Свою контраргументацию исследователь построил на противопоставлении Священного Писания – церкви и ортодоксальной религиозности, доказывая, что и в западноевропейских странах, и в России именно несоответствием церковной жизни Писанию было вызвано реформационно-гуманистическое движение. Вывод звучал однозначно в пользу Зимина: «Православие Пересветова не ортодоксальное и направлено к тому «духовному», «внутреннему» христианству, к индивидуализму и рационализму, которые отличали как чешских и немецких реформаторов XV–XVI вв., так и русских стригольников, «жидовствующих», Башкина, Косога»³³. У исследователя нашлись дополнительные аргументы в поддержку концепции Зимина, в их числе идея о возможности «нехристианского христианства» для московских еретиков и Пересветова, но вместе с тем упреком коллеге прозвучало: «К числу прямых ошибок относится, например, помещение Зиминим в ряд передовых мыслителей середины XVI в... Зиновия Отенского!»³⁴.

Зная о рецензии Клибанова, Н. К. Гудзий высказал свои соображения о книге Зимина. Прежде всего, череда похвал, среди которых важная и нетривиальная: «Выдающаяся эрудиция автора, незаурядная его настойчивость и добросовестность в разыскании и привлечении источников и пособий, очень тщательное и внимательное обращение с тем и другим, примерная библиографическая документация текста работы – все это

науке признают выразителем «политических взглядов не всего дворянства, а лишь самой его прогрессивной части», а также бюргерства и крестьян. Во взглядах польского гуманиста подчеркивается утопизм и даже близость к идеалам «Утопии» Т. Мора. Как справедливо отмечают рецензенты, сблизжая концепции Пересветова и Фрыч-Моджевского, Зимин не замечал, что представление о границах верховной власти Фрыч-Моджевского «выглядит далеким от абсолютистских идеалов» (Там же. С. 170).

³³ Клибанов. 1957. С. 206.

³⁴ Там же. С. 205–206. Другие критические ремарки в адрес А. А. Зимина в этой рецензии – он не снабдил текст публикации переводом на русский язык, не привел источниковедческий анализ сочинений Пересветова. Недочеты были восполнены – первый значительно позднее в «Памятниках литературы Древней Руси», второй самим Зиминим в его монографии.

свидетельствует о высокой исследовательской культуре А. А. Зимина...»³⁵. Гудзий поддержал дискуссию о применимости понятий «вольномыслие» и «ересь» к московской общественной жизни середины XVI в. Никакого вольномыслия в трудах Пересветова рецензент не обнаружил. Гудзий называет его «виднейшим идеологом дворянства в эпоху Ивана Грозного» и «апологетом самодержавного Русского государства»³⁶. Рецензент коснулся и зависимости автора от трудов В. Ф. Ржиги – ошибочным он признал постулируемое в его работах и вслед за ним в книге Зимина авторство Повести о Петре и Февронии, а вместе с тем отстаиваемую Зиминим принадлежность тому же автору Повести о Василии Рязанском.

Поддержал концепцию Зимина в основных положениях Л. Н. Пушкикарев. Его рецензия замечательна той осторожностью, с которой обойдены острые углы дискуссий о централизации. Рецензент доказывает, что выбор хронологических рамок работы оправдан и даже «составляет ее достоинство», в чем подразумевалось ограничение верхней границы 1550-ми гг. и невключение опричной тематики, вне которой имя Пересветова звучало очень свежо³⁷. Не прошел Пушкикарев и мимо зависимости концепции Зимина от построений Ржиги – как и в рецензии Гудзия, отмечено необоснованное полное согласие автора с тезисом о Ермолае-Еразме как авторе «Повести о Петре и Февронии». Однако реабилитировал коллегу стройной формулировкой о победоносном вскрытии им «ограниченности и несостоятельности буржуазной историографии»³⁸. Это были формальные похвалы, дань научному вокабуляру. Вскоре точно за то же А. Л. Хорошкевич хвалила монографию А. И. Клибанова.

Оперирование понятием «ересь» вызвало критику и со стороны ближайшего коллеги и друга Зимина – Я. С. Лурье, который назвал «надуманным» утверждение о близости взглядов Пересветова с предпола-

³⁵ Гудзий. 1959. С. 215. Высказаны замечания к структуре работы (диспропорции в выборе сюжетов) и к отдельным противоречивым и ошибочным суждениям (например, о том, был ли А. Ф. Адашев автором «Летописца начала царства»). Рецензия Гудзия была заказана для «Истории СССР» С. О. Шмидтом, поддержавшим концепцию Зимина об отражении в идеях Пересветова реформаторской программы А. Ф. Адашева и его окружения. См.: Шмидт. 1999. С. 48, 145–146.

³⁶ Гудзий. 1959. С. 218.

³⁷ Пушкикарев. 1959. С. 186, далее в примечании цит. со с. 187. В качестве замечания А. А. Зимину замечено, что он напрасно отказался от изучения памятников устного народно-поэтического творчества. Впрочем, сам рецензент признал, что «произведения народного творчества как исторический источник, за ничтожными исключениями, по сути дела, еще не проанализированы». В конце рецензии приведено множество частных, в основном текстологических и структурных, замечаний.

³⁸ Там же. С. 188–189.

гаемым еретичеством кн. С. И. Ряполовского, Патрикеевых и московских «еретиков»-нестяжателей. По мнению Лурье, Ряполовский и Патрикеевы не были близки к еретическому кружку, нестяжательство конца XV в. исследователь назвал «чистейшей историографической легендой», а ересь в «Кормчей» Ивана Волка Курицына – следствием текстологической ошибки³⁹. Кстати, уже во время дискуссии о подлинности «Слова» О. А. Державина преподнесла как общее мнение: «А. А. Зимин, как нам кажется, без достаточных оснований объявляет Пересветова и Афанасия Никитина еретиками»⁴⁰. В своем ответе Зимин назвал приписываемый ему тезис о еретичестве Афанасия Никитина недоразумением. Что же касается Пересветова, то он не был еретиком: «Я писал, что Пересветов разделял все основные положения христианства и только *приближался* к предшественникам реформационного движения»⁴¹. Таким образом, все замечания о неточностях в формулировках были отведены, а дальнейший спор Зимина с концепцией Саккетти лишился смысла.

Вместе с тем Лурье принимал ряд ключевых положений Зимина. Прежде всего, у обоих вызывала несогласие схема, согласно которой публицисты XVI в. делились на два лагеря: консерваторов и сторонников централизации – с одной стороны (Иосиф Волоцкий – митрополит Даниил – Пересветов – Иван Грозный), и передовых, прогрессивных противников централизации – с другой (Нил Сорский – Вассиан Патрикеев – князь Андрей Курбский)⁴². Со ссылкой на коллегу Лурье опровергает причастность Пересветова к той «линии» публицистов, которая связывает Иосифа Волоцкого с Иваном Грозным, и настаивает, что Пересветов, выдвигая свой проект реформ, не имел ничего общего ни с иосифлянами, ни с нестяжателями, но своей критикой рабства приближался к еретикам круга М. Башкина⁴³. Как можно видеть, Лурье не менял точки зрения, высказанной еще издателями «Сочинений Пересветова», и в дискуссии между Зиминим и Саккетти солидаризировался с Зиминим. К нему присоединились А. И. Клибанов, В. И. Корецкий, А. Л. Хорошкевич⁴⁴. Впрочем, в этом месте возникало препятствие на-

³⁹ Лурье. 1959. С. 451–452.

⁴⁰ История спора о подлинности «Слова о полку Игореве». 2010. С. 383.

⁴¹ Там же. С. 557. Выделено автором.

⁴² Luria. 1960. S. 356–361.

⁴³ Ibid. S. 367–368.

⁴⁴ Kliбанov. 1958. С. 194–197; Корецкий. 1963. С. 350–352. В рецензии на монографию Клибанова в пользу точки зрения на ереси в России, разделяемой Клибановым, Зиминим, Лурье и Н. А. Казаковой, высказалась Хорошкевич. Впрочем, она не согласилась с выводами Клибанова и других коллег о масштабе воздействия ере-

учно-идеологического порядка. По логике Зимина и Лурье, либо следовало признать Пересветова одним из немногих публицистов, одиноким интеллигентом XVI в., либо приписать его к какой-то другой традиции. Но к какой? Тезис о том, что подлинными строителями Российского централизованного государства были совсем не идеологи самодержавия и террора, а близкие к еретикам реформаторы, разрушал стереотипы и ставил под сомнение все тот же концепт централизованного государства. Можно ли было себе представить, что подлинными поборниками православного царства были еретики и их единомышленники? Зимин последовательно отстаивал именно такую точку зрения. В его построении ведущие идеологи едиnodержавного государства в XVI в. – создатель «ядра теории “Москва – третий Рим”» близкий к еретикам митрополит Зосима, создавшие «Чин венчания», «Родство литовских князей» и первоначальную версию «Сказания о князьях владимирских» интеллектуалы из окружения Дмитрия-внука и антиклерикалы, теоретики светского государства Федор Карпов и И. С. Пересветов. Им удалось повлиять на Ивана Грозного, который своим Первым посланием Курбскому признавал, что разрушение грозит царству, «еже от попов владому»⁴⁵. Ортодоксальная православная церковь была лишена веса в становлении идеологии царства, а Иван Грозный в своем противостоянии церкви предстал выучеником еретиков-реформаторов.

Высоко оценивал работу коллеги С. О. Шмидт, неоднократно ссылавшийся на книгу А. А. Зимина в ходе дискуссии. Краткая комплиментарная характеристика «Пересветова и его современников» дана Шмидтом в статье «Вопросы истории России XVI в. в новой исторической литературе» (1962)⁴⁶. В своей монографии исследователь ссылается на проект Пересветова как на воплощение позиции Избранной рады, а в идеях публициста, как и Зимин, обнаруживает отсылки к бурным российским событиям 1540-х гг., идеал освобождения воинских людей от холопства, реформы суда, финансов и другие «планы государственных преобразований», обсуждавшиеся в годы Избранной рады («правительства Адашева»). Шмидт принимает образ Пересветова-публициста в трех его «ипостасях»: во-первых, это активный идеолог «правительства компромисса» и сторонник радикальных реформ; во-вторых, он – сто-

сая на русское общество конца XV – первой половины XVI в. и показала, что, в отличие от ряда европейских стран, реформацию в России не поддержали не только крестьянство и буржуазия, но и феодалы: *Хорошкевич*. 1961. С. 199–203.

⁴⁵ *Зимин*. 1963. С. 117.

⁴⁶ *Шмидт*. 1999. С. 47–48.

ронник «абсолютизма, пропитанного азиатским варварством»; в третьих, источниками его взглядов могли, согласно Шмидту, послужить османские тексты или европейские следы их рецепции⁴⁷. В первом концепция Зимина находит поддержку Шмидта, во втором и третьем расходится, так как пересветовская «гроза» в «Становлении российского самодержавства» не сугубо российского происхождения, а его политические идеалы приближены к опричнине и концепции «восточного» или «азиатского» абсолютизма, с чем Зимин все же не соглашался. Общим для Зимина и Шмидта является поиск той интеллектуальной питательной среды, в которой стали возможными реформы первых лет царствования Ивана Грозного. Уже позднее, и на основе новых наблюдений и находок, Шмидт расширил поле поиска и обратился к кругам Максима Грека, Тучковых и Захарьиных, а также к окружению митрополита Макария. Кстати, Пересветов был протеже М. Ю. Захарьина, и нельзя исключать близость самого Пересветова к царице А. Ю. Захарьиной, митрополиту Макарию, Максиму Греку, кн. А. М. Курбскому и др.

За рубежом книга А. А. Зимина была встречена положительно. Исследователи из Великобритании, Румынии, ГДР высоко оценили концепцию, источниковедческий инструментарий и эрудицию московского ученого, его стремление увидеть в своих героях современников европейского гуманизма⁴⁸. Звучала, конечно, и критика. Н. Андреев отметил, что некоторые интерпретации и оценки в монографии А. А. Зимина слишком категоричны, он выразил несогласие с чрезмерным применением в книге терминов «феодальный», «реакционный», «прогрессивный», с модернизацией источников, со стремлением связать Пересветова с «реформационно-гуманистическим движением»⁴⁹. В то время как Э. Винтер приветствовал тему ересей и свободомыслия в России XVI в., Э. Доннерт присоединился к Саккетти, признав недоказанным, что Пересветов проявлял еретичество, вольнодумство или был религиозно-индифферентен. Доннерт связал репрессии против Пересветова не с его религиозными представлениями, а с тем, что программа наступления на юг и юго-восток уступила Ливонскому направлению в российской военной политике⁵⁰.

А. А. Зимин внимательно отнесся к замечаниям рецензентов из СССР и зарубежных коллег. Позднее он неоднократно возвращался к

⁴⁷ Шмидт. 1973. С. 32, 76, 110–111, 176–177, 208, 271–272, 286, 297.

⁴⁸ Portal. 1958. P. 168–169; Andreyev. 1959. P. 532–534; Stökl. 1959. S. 426–430; Winter. 1959. S. 935; Donnert. 1960. S. 408; Bogdan. 1962. P. 212–217.

⁴⁹ Andreyev. 1959. P. 532–533.

⁵⁰ Donnert. 1960. S. 408.

личности и сочинениям И. С. Пересветова⁵¹. Прежде всего, он темпераментно ответил своим критикам А. Л. Саккетти и Ю. Ф. Сальникову, отстаивая все свои более ранние позиции. Выводы Сальникова о редакторе Музейного списка Зимин отвел как основанные «исключительно на домыслах автора»⁵². Выводы Саккетти о том, что Пересветов пострадал за свою внешнеполитическую программу, Зимин считает ошибочными, поскольку в сочинениях Пересветова нет призыва наступать против владений Турции и Крыма. Не принимает историк и предположение о том, что Магмет-салтан был для челобитчика «тайным сторонником христианства»: сложное построение Саккетти признано избыточным, так как не подтверждается знание Пересветова о том, что мать султана была христианкой⁵³. Впрочем, не так решительно Зимин отвел выводы об ортодоксальности взглядов Пересветова, согласившись, что вопрос нуждается «во всестороннем освещении»⁵⁴. В концепции Саккетти Зимину и его коллегам, прежде всего – Лурье, претил тезис о том, что выдающийся мыслитель XVI в. оказался в ряду царедворцев, «раболепствующих перед Иваном Грозным»⁵⁵. Действительно, ни в ходе дискуссии, ни позднее так и не было высказано убедительных аргументов, которые бы обосновали единство взглядов Ивана IV и Пересветова. Однако Зимин шел дальше и отмечал, что Пересветов, как и другие яркие публицисты, выступали «с критикой современной им действительности и с предложением серьезных общественно-политических реформ»⁵⁶. Понятие «правда» исследователь считал сугубо светским, лишенным религиозной основы и обращенным к политико-правовой культуре Московского царства. За религиозной «правдой», как и за ересями, для историка-марксиста открывались задачи социально-политического реформирования, и в конечном счете – антифеодальная борьба народных масс. В своем обобщающем докладе по проблемам реформационно-гуманистического движения в России, прочитанном в Софии в сентябре 1963 г., Зимин особенно подчеркнул позицию советской историографии в этом вопросе, со ссылкой на работы Н. А. Казаковой, Я. С. Лурье,

⁵¹ *Зимин*. 1960. С. 639–646; *Зимин*. 1963. С. 91–119; *Зимин*. 1968. Стб. 28–29; *Зимин*. 1976. С. 154–159; *Зимин*. 1978. С. 162–165 (об общественной мысли XIV–XVI вв.); *Зимин*. Русская культура. 1982. С. 504 (о работе А. И. Клибанова 1977 г.), 507 (о работе Л. В. Черепнина 1972 г.).

⁵² *Зимин*. 1976. С. 639–640.

⁵³ Там же. С. 640–641.

⁵⁴ Там же. С. 641.

⁵⁵ Там же. С. 642.

⁵⁶ Там же.

В. И. Корецкого, Л. В. Черепнина, А. И. Клибанова и на свою монографию о Пересветове. Здесь исследователь назвал «крайностями» как тезис Г. Э. Прохазковой о том, что Пересветов боролся «за равенство и свободу всего народа», так и подход А. Л. Саккетти, который не видел «в мировоззрении Пересветова какие-либо следы вольнодумия»⁵⁷. Однако уступка оппоненту все же прозвучала. Как уже говорилось, во время дискуссии о «Слове» Зимин признал, что взгляды Пересветова были не еретическими, а близкими к еретическим.

Позже взгляды Зимина на личность и творчество Пересветова незначительно менялись. Отстаивая свой тезис о неисполнении приговора 1550 г. об испомещении «тысячников», он ссылался на то, что начало реформ Избранной рады ознаменовалось многочисленными проектами реформ, как правительственными, так и частными, выдвинутыми публицистами Пересветовым и Ермолаем Еразмом. По мнению Зимина, необходимость в таких проектах показывала, что «далеко не все аспекты преобразований были ясны»⁵⁸. Новое правительство колебалось в выборе курса и нуждалось в обсуждении проблем преобразования и общественной поддержке. Такое понимание причин появления челобитных 1549 г. предполагает, что их составитель был не только глашатаем идей Избранной рады, но и одним из разработчиков правительственного курса. В одной из своих последних работ Зимин видит во взглядах Пересветова целостную «программу реформ» или «проект государственных преобразований», реализуемый «верной думой» царя – подобием Избранной рады Ивана IV. Исследователь не упоминает каких-либо иностранных влияний на Пересветова, а говорит лишь о подобии его проектов сочинениям У. фон Гуттена, Н. Макиавелли, Ж. Бодена. Источник данных сравнений – все то же докторское исследование Зимина, а их направление было задано еще работами Г. В. Плеханова, И. И. Полосина и А. Стендер-Петерсена (на что автор сослался)⁵⁹. Вместе с тем в других разделах книги приведена «восточная» параллель янычар Магмет-салтана со стрельцами «гораздыми огненяя стрелбы», а тех и других с опричниками. Ни Пересветов, ни его современники-интеллектуалы не

⁵⁷ Зимин. 1963. С. 91–92, 94, 108, 110–112, 117, 108. Здесь приведена ссылка на дискуссию Зимина с Саккетти и Сальниковым и упомянута работа: Procházková. 1959. S. 42, 47 и др.

⁵⁸ Зимин. 1976. С. 159.

⁵⁹ Зимин, Хорошкевич. Россия. 1982. С. 46–49; ср.: Зимин. 1976. С. 433–437. Впрочем, ряд других европейских параллелей, в том числе польских, в книгу 1982 г. не попал. В других, более ранних работах А. А. Зимин также видел параллели в сочинениях И. С. Пересветова и А. Фрыч-Моджевского.

осмеливались «поднять голос против нарождающегося самодержавия, горячо поддерживая идею царской власти»⁶⁰.

Изменились и некоторые источниковедческие гипотезы Зимина. В последние годы жизни он откорректировал свое понимание записи о «черном списке» И. Пересветова и П. Губастого в «Описи Царского архива» (ящик 143) и вернулся к ранее критикуемой им точке зрения о том, что под «черным списком» следует понимать не следственные документы, а скорее все же какие-то литературные тексты конца 1540-х гг., а возможно, «челобитную Пересветова». Свой новый взгляд исследователь подкрепляет ссылкой на статьи А. Данти и И. И. Полосина, тогда как в подтексте этого переосмысления можно обнаружить продолжение дискуссии с Я. С. Лурье⁶¹.

Сегодня, пять десятилетий спустя после выхода в свет книги Зимина, многие поднятые тогда вопросы остаются без ответов. Прежде всего, как отмечалось рецензентами в первых дискуссиях вокруг монографии, концепция противостояния церковных и общественных группировок по ключевым вопросам реформирования церкви и государства немало упрощена и гипотетична. Чтобы обосновать близость мыслителей того времени к какой-либо из «партий», мы обречены переносить с публициста на публициста маркеры идеологических программ. Оппозиция нестяжателей и иосифлян – скорее плод такого перенесения, чем данность источников. Сегодня, когда подорваны основания в тезисе о расхождениях между ранним иосифлянством и нестяжательством и во многих работах сближены митрополит Макарий и протопоп Сильвестр, концепция Зимина не выглядит безупречно⁶². Уже только в виде вопроса на месте бывшего изъяснительного наклонения должен звучать тезис о демократическом и антиклерикальном характере ересей Матвея Башкина, Феодосия Косого, Артемия и Ивана Висковатого. Собственно, концепция доморощенной реформации в России разделялась не одним Зиминим, а была достоянием советской исторической науки, унаследованным еще от науки дореволюционной. Она получила развитие в трудах митрополита Макария (Булгакова) и признана к середине XX в. не только в СССР, но и в исследованиях реформационных движений в Польше и США. По его собственным признаниям, Зимин пришел к российскому Возрождению и российской Реформации во многом благодаря трудам А. И. Клибанова⁶³. Дискуссии продолжаются, но уже невозмож-

⁶⁰ Зимин, Хорошкевич. *Россия*. 1982. С. 121, 155–156.

⁶¹ Государственный архив. 1978. Ч. 1. С. 68; Ч. 2. С. 336–337.

⁶² Емченко. 2002; Шапошник. 2002 и др.

⁶³ Дубровский. 2005. С. 716.

но игнорировать тезис о том, что никто из названных еретиков середины XVI в. не высказал и не признал в своих взглядах ни одной еретической мысли⁶⁴. Придерживался канонического православия и в московский, и в зарубежный периоды своего творчества бывший троице-сергиевский игумен Артемий. И лишь Феодосий то ли создал одно из направлений в литовском антитринитаризме, то ли просто примкнул к литовским арианам или протестантам⁶⁵.

Исследование Зимина показало, что списки сочинений Пересветова, известные с XVII в., восходят к общему протографу и отражают состояние сборника, который был составлен современником Ивана Грозного около 1547–49 гг. и, по мнению историка, воплощал идеи самостоятельного мыслителя, поддерживавшего преобразования правительства А. Ф. Адашева⁶⁶. Не все исследователи согласились с текстологическим построением Зимина и его выбором Музейного сборника как основы для публикации. В недавнем переиздании челобитных Пересветова в серии «Памятники литературы Древней Руси» (переиздано в серии «Библиотека литературы Древней Руси») М. Д. Каган-Тарковская, А. А. Алексеев и Я. С. Лурье в основу публикации и перевода положили список БАН 33.7.11, тогда как Музейный список использовали лишь как факультативный⁶⁷. Лурье не снял своих сомнений в отношении времени возникновения сборника и допускал его создание уже в ходе развития рукописной традиции XVII в. Больше внимания к рукописям потребовалось после дискуссии вокруг тезиса о подложности сочинений в сборниках, включающих сочинения Пересветова. Зимин застал начало этой дискуссии и, в целом, не поддержал тезисы скептиков⁶⁸.

Не обойти стороной также спорный вопрос о происхождении И. С. Пересветова. Еще Ю. А. Яворский видел три возможных ответа: «московско-русский дворянин», «уроженец Западной Руси» или же шляхтич, чьи родители «эмигрировали в Литву» из Московского госу-

⁶⁴ Danti. 1964. P. 56ff; Scritti. 1976. P. 27.

⁶⁵ Зимин. 1963. С. 96; Zema. 2005. S. 222–238. Ни «Истины показание» Зиновия Отенского, ни анонимное «Послание многословное» не позволяют сделать вывод о московском происхождении ереси Феодосия. В послании К. Чапличу Шпановскому от 21 марта 1575 г. Курбский замечает, что монах Игнатий и Феодосий Кривой (вероятно – Косой) сблизилась с арианством и проповедуют ереси в духе Меланхтона, Лютера, Цвингли и Кальвина, и то, по мнению магната-мецената, «не так ради ученых, яко зацных для своих паней». См.: *Ерусалимский*. 2009. Т. 2. С. 373–374.

⁶⁶ Зимин. 1958. С. 217–450 passim.

⁶⁷ Библиотека. 2000. Т. 9. С. 555–556.

⁶⁸ Keenan. 1971. Об отношении А. А. Зимина к гиперкритической концепции см.: Waugh. 1995. P. 31, 37, 48, 54.

дарства⁶⁹. Принимая гипотезу Д. И. Иловайского о том, что Пересветов – западнорусский шляхтич на московской службе, мы наталкиваемся на множество вопросов. При этом, несмотря на всю кропотливость, с которой Зимин решал их в пользу концепции Иловайского, не всегда аргументация в пользу этой гипотезы согласуется с доступными материалами. Зимин критикует рассказ Пересветова о своем происхождении от Пересвета и Осляби и считает, что автор не называет Пересвета своим предком, а считает его и Ослябю своими предшественниками. Это возможно, но не исключает версию о московском происхождении Пересветова⁷⁰. В книге Зимина высказано предположение: «Судя по тому, что сочинения его написаны на прекрасном русском языке лишь с некоторыми следами польской лексики, Пересветов происходил из русских земель, захваченных литовскими феодалами»⁷¹. Этот аргумент в выборе между русскими землями Российского и Польско-Литовского государства крайне зыбок. По исследованиям самого Зимина, регионы, в которых в XV–XVII вв. бытовала фамилия «Пересветов», слишком удалены друг от друга и охватывают все три государства, так что предпочтение «западнорусской» версии нельзя считать прочно обоснованным. Кроме того, доказано родство московских Пересветовых с Захарьиными, и в этом свете приезд Ивана под протекцией М. Ю. Захарьина и имущественное оскудение после смерти патрона весьма показательны⁷².

Обратим внимание, монография А. А. Зимина послужила своеобразным мостом между разработками рубежа XIX–XX вв. и исследованиями второй половины XX в., в том числе написанными позднее самим Зиминим. Книга «Пересветов и его современники» конкурирует, прежде всего, с творческим наследием Д. Н. Егорова и В. Ф. Ржиги. Как мне кажется, опровергая тезис о восточных и западных литературных источниках Пересветова, Зимин затрагивает крайне сложные и спорные проблемы межкультурных контактов. Проблематика западных и восточных влияний на Пересветова была развита на рубеже XIX–XX вв., когда Д. Н. Егоров отметил, что идеализация Турции была свойственна европейским авторам эпохи Реформации и Контрреформации⁷³. Сборником концепции европейского и особенно польского влияния был и первый публикатор комплекса сочинений Пересветова В. Ф. Ржига, писавший: «В самом деле, многие мысли нашего публициста не находят

⁶⁹ Яворский. 1908. С. 16.

⁷⁰ Зимин. 1958. С. 301–302.

⁷¹ Там же. С. 301, 312–313.

⁷² Там же. С. 301–308. Ср.: Кузьмин. 2002. С. 5–29.

⁷³ Егоров. 1907. С. 11–13.

себе объяснения ни в предшествующей русской литературе, ни в современном ему русском обществе»⁷⁴. Мысль Ржиги шла по тому пути интерпретации, который был проторен «государственной школой» российской историографии и вел к констатации противоборства в Европе сил монархической власти с феодализмом и почти повсеместного торжества «монархического принципа государственности». Альтернативный путь развития преобладал в Венгрии, Чехии и Польше – он был для всех этих стран чреват анархией и утратой государственной независимости. Опираясь на факт службы Пересветова польскому королю, Ржига рассматривает гипотезу о влиянии реформ 1511–1527 гг. в Польше на российского публициста⁷⁵. И следующим весьма логичным в хронологическом отношении шагом был вывод исследователя о том, что Пересветов оказал влияние на реформы Избранной рады⁷⁶.

Тезисы Ржиги были отчасти поддержаны в советское время, а также в зарубежной историографии. И. И. Полосин констатировал сходство сочинений Пересветова с посланиями князя Курбского, трудами Макиавелли и других авторов, которые могли быть известны Ивану Грозному⁷⁷. Сходства между проектами Пересветова и польского гуманиста Фрыч-Моджевского были обнаружены в известной Зимину диссертации Л. В. Кржеминской⁷⁸. Мысль Ржиги о знакомстве Пересветова с европейскими реформами вызвала согласие у Л. Н. Пушкарева: «Проекты реформ, выдвигавшиеся в то время в Польше, возможно, оказали некоторое влияние на политические проекты Пересветова»⁷⁹. Уже в рецензии на монографию Зимина Г. Штёкль признал, что на взглядах Пересветова сказалось его долгое пребывание в Литве⁸⁰. Вместе с тем нельзя было не согласиться с противником концепции заимствований Зиминным, когда он, положительно в целом оценив направление поисков, отметил, что никаких явных польских, итальянских, греческих или турецких источников сочинений Пересветова так и не было обнаружено⁸¹.

⁷⁴ Ржига. 1911. С. 169–181, то же: Ржига. 1912. С. 1.

⁷⁵ Ржига. 1912. С. 3.

⁷⁶ Ржига. 1908. С. 53.

⁷⁷ Полосин. 1946. С. 50–51.

⁷⁸ Кржеминская. 1952, С. 146, 243; Зимин. 1958. С. 433, 437–439.

⁷⁹ Пушкарев. 1956. С. 70.

⁸⁰ Stöckl. 1959. S. 98.

⁸¹ Зимин. 1958. С. 225–229, 272–288. В издании сочинений Пересветова Зимин оценивает концепции Егорова и Ржиги о западных влияниях резче, чем в более поздней монографии. Говорится, что это «неверное утверждение», и что его необходимо «изжить». Думаю, сделав «скидку» на идеологическую цензуру, эти оценки в главном не противоречат концепции Зимина. См.: Зимин. 1956. С. 6, 9.

А. А. Зимин не был склонен преуменьшать фактор заграничных влияний на российскую общественную мысль, и наоборот, дискутируя с коллегами, признавал влияние Схарии и княгини Елены Стефановны на возникновение ереси «жидовствующих», гуситов на ересь Федора Курицына и мыслителей его круга, польско-литовской реформации на Матиаса Ляха (Матюшку), Андрея Хотеева и Матвея Башкина. В дискуссии об идейных заимствованиях особенно остро был поставлен вопрос в упомянутой статье Штёкля, считавшего идеи Пересветова «отзвуком» литовской реформации⁸². В ответ советский исследователь оспорил категоричность выводов, но полностью их Зимин не опровергал. Более того, в его монографии можно найти высказывания, свидетельствующие об обратном. Когда Зимин обращается к истокам общественных воззрений Пересветова, он прибегает к догадкам о заимствовании им европейского опыта: «На формирование его общественно-политических взглядов сказались и его пребывание в Польше, и знакомство с турецкими порядками во время войны за венгерскую корону»; «Таким образом, находясь в наемных королевских войсках, Пересветов уже задолго до выезда на Русь мог убедиться в их большом значении для укрепления королевской власти. Хозяйничанье придворной камарилли способствовало росту у Пересветова ненависти к “вельможам”»⁸³. Как уже говорилось, критики Зимина и его коллег уловили за ниспровергательной риторикой его бережное обращение с концепцией Ржиги.

Поиск литературных источников сочинений Пересветова продолжился, и на рубеже XX и XXI вв. А. Л. Юрганов, И. Н. Данилевский и А. В. Каравашкин предложили свои ответы на вопрос о «влияниях». Прежде всего, исследователи зафиксировали неясность для современного сознания тех категорий, которые встречаются у Пересветова. Обратившись к диалогу православных и католиков о «вере» и «правде» Сказания о Магмет-салтане, Данилевский и Юрганов анализируют употребление слов «вера» и «правда» в славянской библейской книжности и выдвигают гипотезу о том, что первое из них ассоциировалось с Новым Заветом, а второе – с Ветхим⁸⁴. Категории «вера» и «правда» раскрыты Юргановым в системе средневекового православного мировоззрения, для которого «всяка правда» была условием спасения на Страшном Су-

⁸² Зимин. 1963. С. 96–98.

⁸³ Зимин. 1958. С. 288, 316–317, соответственно. На этом фоне критика в адрес концепции влияния Пересветова на Ивана Грозного, высказанной Ржигой, теряет в убедительности. Ср.: Там же. С. 226.

⁸⁴ Юрганов, Данилевский. 1998. С. 144–170; Юрганов. 1998. С. 35–36.

де, а православная вера – свидетельством верности Богу. «Закон дел» противопоставлен был «закону веры» (Рим. 3:27–28) еще в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Иллариона и в такой же дихотомии у Пересветова, «который противопоставляет, соответственно, «веру» и «правду»»⁸⁵. Идеал Ивашки Пересветова был своеобразной православной утопией – недостижимой, поскольку челобитчик в доступных московскому обществу категориях предлагал установить в царстве Ивана IV «гармонию силы со справедливостью»⁸⁶.

Библейско-герменевтическая концепция лишает былого значения идею об отразившемся в сочинениях Пересветова противостоянии сил прогресса и реакции, долгое время служившую фоном для дискуссии о публицистике XVI в., и существенно дополняет направление поисков, хотя и развивает некоторые положения, ранее уже высказывавшиеся, в частности – А. Л. Саккетти. Впрочем, и это направление, требующее вчитывания в библейские источники Пересветова, не устраняет с повестки подходов Д. Н. Егорова и В. Ф. Ржиги и нуждается, на мой взгляд, в поисках не только на материале московской книжности, но и греко-турецкой и европейской⁸⁷.

Рецензенты уже на ранней стадии дискуссии отметили особенность построения Зимина. Исследователь как бы впадал в противоречия, оценивая вклад своих предшественников в изучение проблемы, ему было трудно расстаться с идеями, которые он сам подвергал критическому разбору. Вывести «на чистую воду» работу Зимина не представляло труда. Он едва скрыл от своих читателей почтительное отношение к исследователям, которых полагалось бичевать за ошибки и классовую близорукость. Современникам Зимина было ясно, что его книга – научный палимпсест, успешно прошедший испытание докторской защитой. А вместе с ним не только возвращались в науку забытые имена и точки зрения, но и был брошен вызов господствующей концепции противостояния централизаторов и реакционеров. Согласно новой концепции, развивающей построения С. В. Бахрушина, ни официальные доктрине-

⁸⁵ Юрганов. 1998. С. 104.

⁸⁶ Юрганов. Идеи... 1996. С. 15–28; Юрганов. Идеал... 1996. С. 80–92; Юрганов. 1998. С. 227.

⁸⁷ Европейская образованность Пересветова подчеркивалась в работе: *Danti A.* 1964. Р. 3–64. Еще С. О. Шмидт заметил, что Зимин и другие участники дискуссии об идеях Пересветова не учли параллелей между проектами Пересветова и турецкими реалиями, обнаруженных А. Е. Крымским и В. А. Гордлевским: *Шмидт.* 1973. С. 271–272. Перспективы сопоставления взглядов Пересветова с турецкими реалиями XV – первой половины XVI в. показаны в статье: *Розалиева.* 1990. С. 212–221.

ры, ни еретики в годы реформ Избранной рады не были противниками централизации, а лишь отстаивали ее различное понимание.

Ориентиром в этом выводе служила все та же «централизация», однако нельзя не задуматься, что оставалось от идеала, если его по своему преследовали едва ли не все герои монографии. На этом фоне удивительная метаморфоза наметилась в дискуссии по монографии. А. Л. Саккетти, Ю. Ф. Сальников, Н. К. Гудзий, И. Б. Зильберман и Я. Малярчик отказывали Пересветову в еретичестве и самобытности, но смотрели на него как на сторонника дворянской централизации. Критика была направлена в стертый слой палимпсеста, поскольку в книге нетрудно было найти правоверные высказывания о дворянском централизаторско-монархическом идеале Пересветова⁸⁸. Только во второй рецензии Саккетти иначе заострил критику, отметив, что реформационные ереси вели к укреплению феодальной раздробленности. Это было предложение Зимину принять точку зрения оппонента, чтобы его концепция открыто не противоречила идеологическим инструкциям. Критика в адрес Зимина звучала жестко и доходила до полного отрицания его основных тезисов, однако она ни разу не перешла грани, которая отделяла академическое побоище от идеологической выволочки. Вплотную приближаясь к этой грани, никто из читателей «Сочинений Пересветова» и «Пересветова и его современников» не позволил себе провести прямых аналогий концепции Зимина с построениями «буржуазных» и «белоэмигрантских» историков. Этого счастья Зимину предстояло лишиться несколькими годами позже, в дискуссии по «Слову».

Определились и «друзья», которые, не во всем соглашаясь с Зиминим, открыто демонстрировали научному сообществу, что говорят с ним на «одном языке». Л. Н. Пушкарев в своей рецензии обозначил – обозначил, чтобы обойти стороной – вопрос о связи между проектами публицистов из монографии Зимина с «новыми формами государственной и общественной жизни» в 1560-е и 1570-е гг. Н. К. Гудзий отмечал, что исследование Зимина может служить образцом для коллег. А. И. Клибанов поддержал Зимина и доказывал, что даже цитирование Священного Писания не избавляло вольнодумца от угрозы быть обвиненным в ереси, однако для Клибанова неприемлем был тезис о прогрессивности «клерикала» Зиновия Отенского. И чтобы не касаться темы централизации Клибанов оставляет свое замечание в виде одинокого возмущения и уходит от темы политических реформ к вопросу о религиозном конформизме Пересветова. И Зимин, и Клибанов своими моно-

⁸⁸ Например: *Зимин А. А.* 1958. С. 348.

графиями о российском вольнодумстве XVI в. нарушали историографический канон и если не лишали почвы, то по меньшей мере подкапывались под официальную концепцию прогресса.

Требуется, конечно, дополнительная работа, с привлечением материалов из личного фонда А. А. Зимина, чтобы понять, насколько он понимал, как его «слово отзовется». В любом случае после выхода книги и докторской защиты для него открылись перспективы дальнейшей дискуссии, пришло научное признание, появилась готовность к новым прорывам. Выступления оппонентов на защите звучали академично и комплиментарно. Защита прошла блестяще. Впервые за многие годы раздались приветливые голоса западных рецензентов на работу советского русиста-медиевиста. Причем и в СССР, и за его пределами работа была оценена по достоинству специалистами в различных научных областях: историками, филологами, правоведами. Он сам уже во время дискуссии о подлинности «Слова» говорил, что работая над «Пересветовым и его современниками», приобрел междисциплинарный опыт. Отрицать это было невозможно, и слова о его непрофессионализме в литературоведении и лингвистике вызвали в нем законный протест: «Здесь некоторые коллеги говорили, что я не являюсь специалистом по «Слову», что якобы я историк, а не литературовед, хотя присутствующим известно, что моя докторская диссертация о Пересветове была как бы на стыке этих двух наук»⁸⁹. Конечно, образ А. А. Зимина-«ересиарха», неконформиста, борца за научную свободу определится позже. Однако уже монография «Пересветов и его современники» показывала, что в ее авторе исследовательская добросовестность сочетается с решительностью и смелостью в конструировании гипотез. Можно предположить, что «поздний Зимин», увлеченный историческими альтернативами и вариативностью интерпретаций, выразил более открыто, хотя и в основном «в стол», поиски и наклонности «раннего Зимина»⁹⁰.

Критика в адрес Зимина как с точки зрения сторонников концепции заимствований европейских и турецких реалий в проектах Пересветова, так и с позиций библейской герменевтики, потребует, повторю, немалых усилий и немалого смирения от самих критиков. Им на каж-

⁸⁹ Материалы. 2010. С. 509.

⁹⁰ Вероятно, А. А. Зимин второй половины 60-х – 70-х гг. не согласился бы с таким выводом. В то время, по воспоминаниям С. М. Каштанова, он «неоднократно говаривал то ли в шутку, то ли всерьез, что все, написанное им до “Слова”, ничего не стоит, что как исследователь он родился только со “Словом”». Впрочем, Каштанов тут же отметил, что в этих суждениях Зимин «был несправедлив к себе» (*Каштанов*. 2000. С. 10, см. также с. 27–28).

дом шагу придется останавливаться, чтобы воздавать должное монографии «Пересветов и его современники». Критика в адрес избыточно-социологической и избыточно-почвеннической интерпретаций общественной мысли упирается в тот факт, что в ряде вопросов мы вправе лишь подчеркнуть гипотетический характер суждений автора, и из этого с неизбежностью следует, что иные сценарии не отменяют его гипотез, а выстраиваются рядом с ними. Огромный пласт новых источников и их тщательная обработка в книге Зимина воскресили лучшие традиции российской историко-филологической науки, вернули истории общественной мысли XVI в. ее дореволюционную проблематику, заострили ее классовым и сравнительно-историческим подходами, и послужили стартом для дискуссий, многие из которых длятся до сих пор.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Александр Александрович Зимин / Сост. В. Г. Зимина, Л. Н. Простоволосова. М., 2005.
- Бахрушин С. В., Зимин А. А.* Правительство компромисса и реформы 50-х годов XVI в. // Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV – начало XVII в. Укрепление Русского централизованного государства (конец XV–XVI в.). Крестьянская война и борьба русского народа против иностранной интервенции в начале XVII в. М., 1955.
- Будовниц И. У.* Русская публицистика XVI века. М.; Л., 1947.
- Государственный архив России XVI столетия. Опыт реконструкции / Подг. текста, коммент. А. А. Зимина; под ред., предисл. Л.В. Черепнина; Ин-т истории СССР АН СССР. М., 1978. Ч. 1, 2.
- Гудзий Н. К.* [Рец.] // История СССР. 1959. № 1. – Рец. на кн.: *Зимин А. А.* 1958.
- Дубровский А. М.* Историк и власть: Историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930-е – 1950-е гг.). Брянск, 2005.
- Дубровский С. М.* Против идеализации деятельности Ивана IV // ВИ. 1956. № 8.
- Егоров Д. Н.* Идея «турецкой реформации» в XVI в. // Русская мысль. 1907. Кн. 7. Разд. 13.
- Емченко Е. Б.* Стоглав: Исследование и текст. М., 2000.
- Ерусалимский К. Ю.* Сборник Курбского: Исследование книжной культуры. М., 2009. Т. 1, 2.
- Зильберман И. Б., Мальярчик Я.* [Рец.] // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1960. № 1. – Рец. на кн.: *Зимин А. А.* 1958.
- Зимин А. А.* Некоторые вопросы периодизации истории СССР феодального периода // Вопросы истории. 1950. № 3.
- Зимин А. А. И. С.* Пересветов и русские вольнодумцы XVI века // Вопросы истории религии и атеизма. М., 1955. Вып. 3.
- Зимин А. А.* Пересветов, Иван Семенович // Большая советская энциклопедия. 2-е изд. М., 1955. Т. 32.
- Зимин А. А. И. С.* Пересветов и его сочинения // Сочинения И. Пересветова / Подг. А. А. Зимин; под ред. Д. С. Лихачева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956.

- Зимин А. А.* И. С. Пересветов и его современники: Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI века. М., 1958.
- Зимин А. А.* Русская публицистика конца XV–XVI в.: Учеб. пособие по источниковедению ист. СССР / отв. ред. А.Ц. Мерзон. М., 1959 (стеклограф).
- Зимин А. А.* Реформы Ивана Грозного: Очерки социально-экономической и политической истории России середины XVI в. М., 1960.
- Зимин А. А.* К изучению взглядов И. С. Пересветова // ТОДРЛ. М.; Л., 1960. Т. 16.
- Зимин А. А.* Творческий путь Сергея Владимировича Бахрушина // Науч. докл. высш. шк.: Ист. науки. 1961. № 2.
- Зимин А. А.* Основные проблемы реформационно-гуманистического движения в России XIV–XVI вв. // История, фольклор, искусство славянских народов: Докл. сов. делегации / V Междунар. съезд славистов (София, сент. 1963). М., 1963.
- Зимин А. А.* Пересветов, Иван Семенович // СИЭ. М., 1968. Т. 11.
- Зимин А. А.* К изучению реформ «Избранной рады» // История СССР. 1976. № 4.
- Зимин А. А.* Русская культура и общественная мысль в советской историографии / А. А. Зимин, А. И. Клибанов, Я. Н. Щапов, Г. И. Щетинина // Изучение отечественной истории в СССР между XXIV и XXV съездами КПСС. М., 1978. Вып. 2.
- Зимин А. А.* Русская культура и общественная мысль в советской историографии / А. А. Зимин, А. И. Клибанов, Я. Н. Щапов, Г. И. Щетинина // Изучение отечественной истории в СССР между XXV и XXVI съездами КПСС. М., 1982.
- Зимин А. А., Хорошкевич А. Л.* Россия времен Ивана Грозного. М., 1982.
- Каишанов С. М.* Александр Александрович Зимин (1920–1980) // Александр Александрович Зимин: Биобиблиографический указатель. М., 2000.
- Каишанов С. М., Чернобаев А. А.* Александр Александрович Зимин // Историки России. Биографии. М., 2001.
- Кизеветтер А. А.* Иван Пересветов // Сборник статей, посвященных Петру Бернгардовичу Струве ко дню тридцатилетия его научно-публицистической деятельности. 30 января, 1890–1925. Прага, 1925.
- Клибанов А. И.* [Рец.] // История СССР. 1957. № 3. Рец. на кн.: Сочинения И. Пересветова / Подг. А. А. Зимин; под ред. Д. С. Лихачева. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1956.
- Кобрин В. Б.* Новейшие труды о процессе централизации Русского государства // Россия на путях централизации: Сб. ст. М., 1982.
- Корецкий В. И.* Христологические споры в России (середина XVI в.) // Вопросы истории религии и атеизма. М., 1963. Т. 11.
- Кржеминская Л. В.* Передовая польская публицистика XVI в. как исторический источник для изучения социальных отношений. Л., 1952.
- Кузьмин А. В.* Андрей Ослябя, Александр Пересвет и их потомки в конце XIV – первой половине XVI века // Н. И. Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия Центральной России: Сб. ст. в 2-х т. Т. 2. История, этнография, искусствоведение. Тула, 2002.
- Курмачева М. Д.* Об оценке деятельности Ивана Грозного // ВИ. 1956. № 9.
- Лурье Я. С.* Рец. на кн.: А. А. Зимин. И. С. Пересветов и его современники... // Известия Академии наук СССР. Отд. литературы и языка. 1959. Т. 18. Вып. 5.
- Лурье Я. С.* Пересветов Иван Семенович // Словарь книжности и книжников Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 2: Л–Я. Л., 1989.

- Материалы дискуссии 1960-х годов / Вступ. ст., сост., подг. текстов и коммент. Л. В. Соколовой. СПб., 2010.
- Милюков П. Н.* Очерки по истории русской культуры. В 3 т. М., 1995. Т. 3.
- Муравьев В. А.* Александр Александрович Зимин // Историки России. Послевоенное поколение. М., 2000.
- Плигузов А. И.* Полемика в русской церкви первой трети XVI столетия. М., 2002.
- Полосин И. И.* О челобитных Пересветова // Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина, кафедра истории СССР. М., 1946. Т. 35. Вып. 2.
- Пушкарев Л. Н. И.* Пересветов и его связи с русской литературной традицией // Сочинения И. Пересветова. 1956 / Подг. А. А. Зимин; под ред. Д. С. Лихачева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956.
- Пушкарев Л. Н.* [Рец.] // Вопросы истории. 1959. № 4. – Рец. на кн.: *Зимин А. А.* 1958.
- Ржига В. Ф.* Пересветов, публицист XVI в. // ЧИОИДР. 1908. Кн. 1.
- Ржига В. Ф. И. С.* Пересветов и западная культурно-историческая среда. СПб., 1912.
- Розалиева Н. Ю.* Османские реалии и российские проблемы в «Сказании о Магмете-салтане» и других сочинениях И. С. Пересветова // Османская империя: Государственная власть и социально-политическая структура. М., 1990.
- Саккетти А. Л.* [Рец.] // Советское государство и право. 1948. № 3. – Рец. на кн.: *Будовниц И. У.* 1947.
- Саккетти А. Л.* Политическая программа И. С. Пересветова // Вестник Московского университета. Серия общественных наук. 1951. Вып. 1.
- Саккетти А. Л.* О взглядах И. Пересветова // Вопросы истории. 1957. № 1.
- Саккетти А. Л.* Из истории русского права. А. А. Зимин. И. С. Пересветов и его современники. Изд-во АН СССР, М., 1958, 498 стр. // Вестник Московского университета. Серия экономики, философии, права. 1959. № 3.
- Сальников Ю. Ф.* О взглядах И. Пересветова // Вопросы истории. 1957. № 1.
- Смирнов И. И.* Очерки политической истории Русского государства 30-50-х гг. XVI века. М.; Л., 1958.
- Сочинения И. Пересветова / Подг. А. А. Зимин; под ред. Д. С. Лихачева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956.
- Хорошкевич А. Л.* [Рец.] // История СССР. 1961. № 4. С. 199–203. – Рец. на кн.: *Клибанов А. И.* Реформационные движения в России в XIV – первой половине XVI вв. М., 1960.
- Хорошкевич А. Л.* Александр Александрович Зимин и его книга «Опричнина Ивана Грозного» // *Зимин А. А.* Опричнина. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2001.
- Шапошник В. В.* Церковно-государственные отношения в России в 30–80-е гг. XVI века. СПб., 2002.
- Шевяков В. Н.* К вопросу об опричнине при Иване Грозного // Вопросы истории. 1956. № 9.
- Шмидт С. О.* Становление российского самодержавства: Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1973.
- Шмидт С. О.* Россия Ивана Грозного. М., 1999.
- Юрганов А. Л.* Идеи И. С. Пересветова в контексте мировой истории и культуры // Вопросы истории. 1996. № 2.
- Юрганов А. Л.* Идеал Ивашки Пересветова // Знание – сила. 1996. № 6.

- Юрганов А. Л.* Категории русской средневековой культуры. М., 1998.
- Юрганов А. Л.* Русское национальное государство: Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011.
- Юрганов А. Л., Данилевский И. Н.* «Правда» и «вера» русского средневековья // Одиссей. Человек в истории. Культурная история социального. 1997. М., 1998.
- Яворский Ю. А.* К вопросу об Ивашке Пересветове, публицисте XVI в. Киев, 1908.
- Bogdan D. P.* [Rec.] // Analele Romino-Sovietice: Ser. Istorie. 1961. № 1. – Rec. ad op.: *Зимин А. А.* 1958.
- Danti A.* Ivan Peresvetov – Osservazioni e proposte // Ricerche Slavistiche. 1964. Vol. 12.
- Donnert E.* Das gesellschaftliche und politische Denken in Russland um die Mitte des 16. Jh. Zum Erscheinen des Buches von A. Zimin, Ivan Peresvetov und seine Zeitgenossen // Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Länder Europas. Berlin, 1960. Bd. 4.
- Keenan E. L.* The Kurbskii – Groznyi Apocrypha: The Seventeenth-Century Genesis of the «Correspondence» Attributed to Prince A.M. Kurbskii and Tsar Ivan IV / with an appendix by D.C. Waugh. Cambridge, Mass., 1971.
- Klibanov A. I.* Questions de l'histoire de la pensée sociale russe // Вестник истории мировой культуры. 1958. № 5 (11).
- Luria J. S.* Das Problem der ideologischen Hauptrichtungen in der russischen Literatur am Ende des 15. und in der ersten Hälfte des 16. Jh. // Zeitschrift für Slawistik. 1960. Bd. 5. H. 3.
- Panaïtescu P. P.* [Rec.] // Studii: Revista de istorie. 1962. An. 15. № 1. – Rec. ad op.: *Зимин А. А.* 1958.
- Portal R.* Histoire politique, sociale et économique // Revue des études slaves. 1958. T. 35.
- Procházková H.* Po stopách dávného přátelství. Praha, 1959.
- Scritti politici di Ivan Semënovic Peresvetov / A cura di G. Maniscalco Basile. Milano, 1976.
- Stökl G.* Das Echo von Renaissance und Reformation im Moskauer Russland // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1959. Bd. 7. H. 4.
- Waugh D. C. A. A.* Zimin's Study of the Sources for Medieval and Early Modern Russian History // Essays in Honor of A. A. Zimin. Columbus, Ohio, 1985.
- Waugh D. C.* Correspondence concerning the “Correspondence” // Harvard Ukrainian Studies. Камень краєугльнь. Rhetoric of the Medieval Slavic World. Essays presented to Edward L. Keenan on his Sixtieth Birthday by his Colleagues and Students. Cambridge, 1995. Vol. 19.
- Winter E.* Zur Geschichte der Religion und des Ateismus // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1959. Jg. 7. H. 4.
- Zeta W.* Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej i herezja Feodosija Kosoja: sprostowanie mitu historiograficznego // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok (3) 2005.

Ерусалимский Константин Юрьевич, доктор исторических наук, доцент кафедры истории и теории культуры факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного университета; kerusalimski@mail.ru

П. Ю. РАХИМИР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА БУНТА ПРОТИВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

В статье анализируется концепция американского автора Л. Харриса, в соответствии с которой основной внутрицивилизационной проблемой современного Запада, и прежде всего США, является противоречие между либеральной интеллектуальной элитой и консервативными популистами.

Ключевые слова: *цивилизация, элита, либерализм, консерватизм, популизм, идентичность, Орнери.*

Книги Ли Харриса вызвали резонанс не только в его стране, но и за пределами США. К политической философии он пришел не сразу. Побудительным мотивом послужили события 11 сентября 2001 г. За плечами Харриса университет Эмори, разнообразная трудовая и творческая деятельность, в том числе и сочинение романов. В статусе независимого автора он живет в небольшом городке штата Джорджия, часто публикуется в периодических изданиях в основном консервативной ориентации. С 2004 по 2010 гг. опубликованы три его книги. Между двумя первыми – очевидная связь; названия говорят сами за себя: «Цивилизация и ее враги. Грядущая стадия истории» (2004) и «Самоубийство разума. Радикальный ислам – угроза Просвещению» (2007). Еще через три года появилась третья книга (о ней и пойдет речь), под названием, на первый взгляд, не связанным с двумя предыдущими: «Будущая американская гражданская война. Популистский мятеж против либеральной элиты» (2010). Тем не менее, она органично вплетена в харрисовскую трилогию.

Поскольку Харрис занимается цивилизационной проблематикой, не может не возникнуть вопрос о том, как соотносятся его взгляды со ставшими почти парадигматическими подходами Ф. Фукуямы и С. Хантингтона? В самом общем виде можно сказать, что он решительно отвергает идею «конца истории» Фукуямы и в то же время высказывается жестче Хантингтона. В «Самоубийстве разума» Харрис исходит из того, что нет гарантии непрерывного прогресса, нет надежды на «конец истории», на «золотой век», когда у людей не будет больше побуждений к конфликтам и битвам. Более того, утверждает Харрис, «не может быть гарантий, что эти битвы будут просто не доходящими до решительного исхода столкновениями цивилизаций. Напротив, есть все основания предполагать, что грядущие сражения будут завершаться триумфом од-

ной цивилизации и гибелью другой»¹. В предисловии Харрис пишет: «то, что происходит, – это даже не простое столкновение цивилизаций. Вместо этого происходит нечто такое, о чем наши лидеры не желают помышлять – крушение цивилизации, какой мы ее знаем». «Лидеры Запада отказываются думать о худшем. Но отказ от этого – лучший путь к тому, чтобы худшее свершилось... Поэтому каждому необходимо подумать о самом худшем. Вот почему я написал эту книгу»².

В первых двух книгах Харрис рисует образ главного врага западной цивилизации – радикального ислама. Его фанатизму Запад пытается противопоставить свой, унаследованный от Просвещения рационализм, демонстрируя очевидное непонимание сути и масштаба угрозы. Рационализм заведомо обречен на поражение в столкновении с экстремизмом фанатиков. С позиции разума, убежден Харрис, просто невозможно понять природу врага, так как лидеры Запада и интеллектуальная элита, будучи «рациональными актерами», считают, что их противники тоже являются таковыми. Между тем западным «рациональным актерам», противостоят актеры совершенно другого типа. Их Харрис именует «трайбалистскими», поскольку они привыкли жить по закону джунглей. Цель фанатиков – разрушить западный мир, но современный либеральный Запад неспособен принять всерьез вызов фанатизма.

Западу не пошел впрок урок «мюнхенской политики». Людей, подобных Н. Чемберлену, принято считать простаками и глупцами, тогда как, по мнению Харриса, их беда была в том, что они придерживались «политики разума»³. Однако разум бессилен в столкновении с фанатизмом. Отсюда, на взгляд Харриса, роковым заблуждением является политика «умиротворения» исламских фанатиков. Абсурдно рассчитывать, что в случае пересмотра американской политики по отношению к арабскому миру или Израилю наши враги будут меньше нас ненавидеть, писал он в первой своей книге. Либеральный Запад со своими рациональными правилами игры, со своим эпикурейским, по сути, этосом, для характеристики которого Харрис воспользовался фразой Горация *carpe diem* («лови день»), не готов дать жесткий ответ на смертельный вызов. Поэтому для него собственный этос даже опаснее, чем «угроза, исходящая от культуры, подобной исламу, в которой индивиды вместо того, чтобы искать личное благо, стремятся умирать – и, увы, убивать –

¹ Harris. 2007. P. 9.

² Ibid. P. X–XI. Один из рецензентов «Самоубийства разума» назвал ее автора «трагическим пессимистом». Thornton. 2008.

³ Harris. Op. cit. P. 36.

ради того, чтобы навязать свои культурные традиции тем, кто потерял всякое чувство своих собственных»⁴.

Создателем и основным носителем этого губительного этоса является, по Харрису, интеллектуальная элита Запада, убежденная в том, что история на ее стороне, что каток глобализации, в конечном счете, свершит модернизаторскую миссию. Она привыкла уповать на свое интеллектуальное превосходство, но оно отнюдь не гарантирует успех в столкновении с фанатичным противником. Что касается Харриса, то он придает первостепенное значение иррациональному фактору. В его концептуальном багаже по-современному осмысленные идеи У. Джеймса, В. Парето и в особенности Ж. Сореля. Усилия Харриса нацелены на то, чтобы дать ответ на вопрос: каким может быть путь к спасению западной цивилизации? И если в двух более ранних его книгах доминировал пессимизм, то в третьей звучат оптимистические нотки и высвечиваются контуры спасительного решения.

* * *

Ободряющим сигналом для Харриса явились массовые митинги противников либерального курса Б. Обамы. Начались они весной 2009 года, их участники объединились в «Движение чаепития». Название должно было вызывать исторические ассоциации со знаменитым «Бостонским чаепитием» 1773 года. Движение имело консервативно-популистский характер, его идолом поначалу была Сара Пэйлин, губернатор Аляски и напарница Дж. Маккейна на президентских выборах 2008 г. Вскоре она отказалась от губернаторства, но осталась в политике. Правда, ореол ее потускнел, прежде всего, благодаря массивованному натиску на нее могущественных либеральных СМИ⁵.

Характерно, что консерваторам-популистам ситуация, возникшая после избрания 44-го президента США, напоминала времена войны за независимость. Так, известный консервативный радиоведущий Ш. Ханнити утверждал, что приход в Белый дом администрации Обамы создаст такую же угрозу американским свободам, какая существовала в дни Американской революции⁶. Когда республиканец С. Браун в январе 2010 г. победил на выборах в сенат либерального демократа М. Куикли, несмотря на активную поддержку ее со стороны президента, это событие вызвало сравнение с битвой при Конкорде⁷.

⁴ *Harris*. 2007. P. 13.

⁵ *Continetti*. 2009. P. 227.

⁶ *Harris*. 2010. P. 14.

⁷ *Ibid*. P. 2.

Более всего либералы были шокированы массовыми выступлениями сторонников «Движения чаепития», для которых Барак Хусейн Обама был не «их» президентом⁸. Один из самых авторитетных либералов, лауреат Нобелевской премии по экономике П. Кругман пренебрежительно назвал участников движения «сборищем», увидел в них «нечто новое и уродливое на американской политической сцене»⁹. Удивленные и шокированные либеральные комментаторы затруднялись дать ответ, что это за люди, называя их расистами, террористами, неонацистами, лунадиками и т.п. «Но я, – пишет Харрис, – уже знал ответ. Большую часть жизни я провел в Джорджии и знал многих мужчин и женщин, которые могли участвовать в таких городских митингах. Я разговаривал с людьми, которые верили, что Барак Обама – мусульманин, и с теми, кто был уверен, что он радикальный социалист, склонный к тому, чтобы разрушить в Америке все ценное, страстно ими любимое». Они не лунатики или придурки. У них нет желания что-либо взрывать. Но им не нравится, когда другие люди решают за них, как им жить и что им делать. Их воззрения не основываются на теории: «Они никогда даже не слышали о Джоне Локке или Джоне Стюарте Милле, они инстинктивно восприняли максимуму Тома Пейна о том, “что даже самое лучшее правительство – не более чем неизбежное зло”»¹⁰. «Естественные либертарианцы» – такое определение, по Харрису, наиболее адекватно характеризует их жизненную позицию¹¹. Им чужд, тем не менее, доктринальный либертаризм. На чрезмерную, по их представлениям, концентрацию власти в руках правительства они отвечают популистскими бунтами, которые носят антиэлитистский характер. Такие бунты уходят в глубины истории, они направлены против высокомерной элиты. Для популистов не важно, чем она обосновывает свои притязания – благородством крови или высоким IQ. Удивляясь современным выступлениям популистов, либеральная интеллектуальная элита, как и ее конкретный представитель П. Кругман, обнаруживают признаки исторической амнезии¹². Истоки сегодняшней конфронтации связаны с Просвещением. Американская интеллектуальная элита – прямая наследница европейского Просвещения с его культом разума и презрением к традициям, в которых просвещенные интеллектуалы видели препятствие прогрессу.

⁸ Ibid. P. 4.

⁹ Ibid. P. 3–4.

¹⁰ Ibid. P. 5–6.

¹¹ Ibid. P. 6.

¹² Ibid. P. 9–10.

Ситуация усугубляется тем, что сегодня есть немало американцев, «особенно либеральных интеллектуалов, твердо убежденных в том, что путь к спасению Америки – реформация ее институтов и политики по европейским моделям»¹³. Это означает усиление контроля над обществом со стороны профессионалов, принятие мягкого патернализма как единственного реалистического ответа на вызовы XXI века. Под ним подразумевается «невидимая диктатура», гораздо более эффективная, по сравнению с тираниями прошлого. С помощью разнообразных изощренных методов граждане низводятся до статуса «манипулируемых детей». Именно этот, пусть даже мягчайший патернализм «потенциально представляет угрозу подлинной свободе, которую американцы всех политических убеждений ценят превыше всего, а именно: праву быть самим в ответе за свою жизнь и делать выбор по собственному усмотрению»¹⁴. Не случайно критики современного либерального государства называют его «государством-няней».

«Мягкий патернализм» предполагает принятие во внешней политике мультилатеризма и отказ от «ковбойского стиля», а в национальной психологии – признание того, что «дух фронта» и другие традиции ушли в прошлое. По сути дела, речь идет о «постамериканской Америке», теряющей свою исключительность. Естественно, для современных популистов все это «отдает привкусом предательства»¹⁵. Тем не менее, подъем современной интеллектуальной элиты – «не продукт зловещего заговора». Главное – необычайный прогресс в науке и технологии, а их истинная природа «глубоко антидемократична и элитарна». Этот прогресс во многом зависит от «колоколообразной кривой» (the bell curve), «которая правит распределением человеческого интеллекта». «Сложность современной науки и технологии требует большего, нежели здравый смысл обычного человека»¹⁶. Сегодняшние демократии, включая США, – это меритократии, базирующиеся на образовании и способностях. Они, признает Харрис, приносят немало добра, но неизбежно создают интеллектуальную элиту, стремящуюся «улучшить мир», основываясь на идеалах европейского Просвещения, которые «враждебны традиционным ценностям и идеалам простых людей». Представители американской интеллектуальной элиты считают, что обязаны победить «абсурдные традиции и идиотские обычаи». Их не останавливает обстоятельство, что многие американцы не только вполне удовлетво-

¹³ Ibid. P. 58.

¹⁴ Ibid. P. 38.

¹⁵ Ibid. P. 58.

¹⁶ Ibid. P. 74.

ны этими традициями и обычаями, но и «готовы сражаться за их сохранение не на жизнь, а на смерть»¹⁷.

Столкновением консервативных популистов и интеллектуальной элиты, по Харрису, в значительной степени объясняется «современная напряженность в Соединенных Штатах». Эта линия внутренних противоречий становится приоритетной, деление на либералов и консерваторов, левых и правых, республиканцев и демократов устаревает. Если прежде либералы и консерваторы могли приходиться к консенсусу, то выдвижение на авансцену когнитивной элиты, полагает Харрис, резко подняло степень враждебности: «Слишком часто она проявляет грубый интеллектуальный снобизм школьника с высоким IQ, который любит дразнить тех, кто ниже его по этому показателю, высмеивая их тупость». Либеральные интеллектуалы не воспринимают с ценностной точки зрения опасения и недовольства своих оппонентов, видя в них всего лишь «популистскую фрустрацию», обусловленную экономическими трудностями¹⁸. И хотя современный популистский бунт, несомненно, связан с экономическим кризисом, но в «гораздо большей мере он – результат глубоко и широко распространившегося культурного отчуждения, которое усугублялось в течение прошедшего десятилетия и разделило американцев на два враждебных лагеря. В этом проглядывают зловещие признаки вырождения в гражданскую войну». По одну сторону культурного водораздела, «высокообразованные мужчины и женщины, сливки американской меритократической системы, искренне убежденные в том, что они представляют прогресс и просвещение». По другую – люди, которые противились тому, чтобы кто-либо управлял ими, и были «полностью убеждены, что они способны лучше справиться со своими собственными делами и контролировать собственные жизни»¹⁹. Насколько серьезно воспринимает Харрис перспективу войны между этими двумя лагерями, свидетельствует название его книги. В предрекаемой им войне между интеллектуальной элитой и консервативными популистами симпатии автора на стороне последних. В связи с этим представляется уместным озаглавить статью о третьей книге Харриса словами одного из ее американских рецензентов Дж. Таранто: «Интеллектуальная защита бунта против интеллектуалов»²⁰.

«Добро пожаловать, популистский мятеж», – таково название первой главы книги. Как пишет Харрис, «самое бурное выражение сего-

¹⁷ Ibid. P. 85.

¹⁸ Ibid. P. 87.

¹⁹ Ibid. P. 88.

²⁰ Taranto. 2010. P. 46.

дняшний популистский мятеж, возможно, нашел в Движении чаепития»²¹. Оно вдохновлялось стремлением к свободе в соответствии с традициями «естественных либертарианцев». Однако наряду с преемственностью оно отличалось существенной новизной: «В прошлом яростный антиэлитизм американских популистов неизменно находился в конфликте с американской консервативной традицией». Целью популизма было свержение коррумпированной и хищной элиты, тогда как консерваторы были поборниками стабильности». «Но сегодня, – по словам Харриса, – популистский мятеж отвергает все формы элитизма, одновременно агрессивно отстаивая свои консервативные принципы»²².

«Более всего консервативных популистов раздражает убежденность в том, что Америка теряет свою историческую уникальность, быстро становится все более и более похожей на европейские страны»²³, – таков, по Харрису, один из главных побудительных мотивов современного популистского бунта. Тем самым США стремительно лишаются «исключительного статуса страны свободы»²⁴. Под угрозой оказываются традиции свободы и независимости, которые изначально закладывались у обитателей Нового Света. Этим Харрис объясняет специфику современного популистского движения, которое одновременно притязает быть и консервативным. У популистов сильна тоска по тем временам ранней американской истории, когда люди в силу исключительных обстоятельств пользовались исключительной свободой. Как убежден Харрис, «сегодня американцам не хватает личных свобод фронта, которыми наслаждались их предки»²⁵. Особая роль принадлежит традициям независимости, чье отличие от большинства прочих обусловлено тем, «что они создают скорее определенный тип личности, чем увековечивают обычаи и институты»²⁶. Было бы заблуждением полагать, будто одержимость свободой и тяга к независимости возникли из-за того, что люди читали памфлеты или трактаты, слушали речи, призывавшие к мятежу или зажигательные проповеди: «их страсть к свободе была интуитивной и диктовалась чувствами, а не рассудком»²⁷. И дело было не в том, пишет Харрис, что «у одних людей был ген свободолюбия, а у других его не было. Скорее отношение людей к свободе являлось продуктом того

²¹ Harris. 2010. P. 39.

²² Ibidem.

²³ Ibid. P. 40.

²⁴ Ibid. P. 43.

²⁵ Ibid. P. 110.

²⁶ Ibid. P. 106.

²⁷ Ibid. P. 124.

типа общества, в котором они родились»²⁸. Люди, собравшиеся в Новом Свете, чтобы избежать деспотизма Старого, «могли стартовать, создавая свое собственное общество, по своим собственным вкусам». А создавая такое общество, они создавали и самих себя. Таким образом, они и зависели от самих себя, то есть были независимыми, «а из их практической повседневной независимости, возник самый парадоксальный из всех человеческих институтов – традиция независимости»²⁹.

Чтобы уберечь себя от тех, кто попытался бы манипулировать ими, люди этого типа должны были создать собственный личный стиль жизни. Эти люди, сделавшие себя сами (self-made men) должны были стать, по определению Харриса, «орнеру»³⁰. Сам он позаимствовал это понятие из лексикона фронтира. Оно плохо поддается переводу. Кто такие «орнери» Харрис раскрывает через присущие этому типу людей признаки. Прежде всего, они решительно выступают против тех, кто пытается ими манипулировать. Их раздражают те, кто в силу более высокого IQ или наследственного статуса хотели бы наставлять их. «Орнери» даже склонны считать, что чрезмерное образование вредит естественному здравому смыслу. Они – мятежники, но не революционеры. Им чужды абстрактные доктрины равенства, и они слишком горды, чтобы быть завистливыми. Для них характерна готовность прийти на помощь друзьям и соседям. «В золотом веке американского кино, – пишет Харрис, – люди типа орнери часто бывали героями, особенно в вестернах»³¹. Во многом их воплощением служили герои Джона Уэйна. В общем орнери, убежден Харрис, представляют собой тип людей «наиболее релевантный для понимания сегодняшнего популистского бунта»³². Или еще точнее: традиция орнеризма жива сегодня в «Движении чаепития» и среди тех американцев, которые ему симпатизируют³³.

Популистские мятежи, пусть даже в большинстве своем неудачные, настаивает Харрис, «внесли вклад в дело человеческой свободы»³⁴. В качестве доказательства у него фигурирует серия мятежей от Уота Тайлера и Джона Болла в Англии XIV в. до Дэниэла Шейса в Америке XVIII в. Если иметь ввиду Америку, то чрезвычайно важное значение для США имел мирный популистский мятеж Э. Джексона. Сам 7-й пре-

²⁸ Ibid. P. 125.

²⁹ Ibid. P. 128.

³⁰ Ibid. P. 136.

³¹ Ibid. P. 139.

³² Ibid. P. 144.

³³ Ibid. P. 179.

³⁴ Ibid. P. 192.

зидент США представлял собой ярко выраженный тип орнери, а его мятеж Харрис оценил как «необходимый шаг в создании современной демократии»³⁵. Бунтарскую традицию он отнюдь не считает препятствием для прогресса, а видит в ней «обязательную предпосылку для создания и сохранения свободных и самоуправляющихся обществ»³⁶.

Бунт обычно несет в себе иррациональный заряд той или иной мощности. В связи с этим Харрис обращается к одной из главных идей своей трилогии: «Если бы свобода зависела только от рациональных акторов, делающих рациональный выбор, она давно бы погибла. Иногда, наилучший – и на самом деле единственный – путь сохранить любовь и страсть к свободе – это бесцельные и тщетные, на поверхностный взгляд, мятежи»³⁷. К счастью для дела свободы, их участники не руководствовались рациональными расчетами, а погружались в свои мятежи, не думая о последствиях, не останавливаясь перед применением иррационального насилия. Между тем «наивный либерализм», «доминирующая политическая философия нашего времени», пытается рационалистически истолковать страсть к свободе, игнорируя свойственный ей «иррациональный драйв»³⁸. Своим решительным вмешательством современные орнери, уверен Харрис, защищают всех американцев, включая тех, кто не разделяет их идеологии и отношения к жизни: «Отказываясь признавать авторитет когнитивной элиты, ее право принимать за них решения, орнери предохраняют нас от опасности бюрократического тоталитаризма»³⁹.

Современные консервативные популисты – преемники орнери. Их позиция заключается в том, что определенные традиции, проверенные временем доказали свою ценность в создании и сохранении свободных обществ. Многие из этих традиций, настоятельно подчеркивает Харрис, жизненно необходимы для сохранения «нашего коллективного чувства национальной идентичности». «На протяжении всей книги, – подводит итог автор, – я утверждал, что невозможно повернуть стрелку часов к нашим ранним дням. Мы не в состоянии вернуть Америку к началу XIX в. Но еще возможно оживить традиции прошлого, привести их в соответствие с современностью в духе прагматического эклектизма»⁴⁰.

За сегодняшним противостоянием консервативных популистов и интеллектуальной элиты Харрис видит «вечный антагонизм между сво-

³⁵ Ibid. P. 157.

³⁶ Ibid. P. 92.

³⁷ Ibid. P. 180.

³⁸ Ibid. P. 203.

³⁹ Ibid. P. 216.

⁴⁰ Ibid. P. 230.

бодой и цивилизацией. Чем больше у вас одной, тем меньше другой»⁴¹. Современным американцам недостает многих свобод, которыми обладали их предки времен фронта, зато они «более чем компенсированы результатами подъема наших стандартов цивилизации»⁴². Но сегодня возникает вопрос, не теряют ли американцы слишком много свободы, даже если потери компенсируются ростом богатства и влияния? Для многих консерваторов-популистов ответ на этот вопрос означает выбор за или против свободы. Сам же Харрис не разделяет такой, по сути, децизионистской позиции. Для него дело не в выборе по принципу «или-или», а в достижении баланса между двумя часто конфликтующими ценностями: «свободой делать то, чего вам хочется, с одной стороны, и порядком, стабильностью и комфортом цивилизации – с другой»⁴³.

Америка может оставаться богатой, сильной и свободной только «благодаря тщательно сбалансированной и непрерывно освежаемой гражданской экологии». Но трудно объяснить Рашу Лимбо и Энн Коултер (наиболее непримиримые консервативные противники либералов – *П. Р.*), почему нужны либералы, а сотрудникам «Нью-Йорк Таймс ревью оф букс» (архетип либералов – *П. Р.*), почему американцам нужны Раш Лимбо и Энн Коултер. Для США жизненно необходим «деликатный баланс нашей гражданской экологии, в которой сосуществовали бы и сталкивались различные типы личностей, стили жизни, религиозные взгляды»⁴⁴. Конечно, к такому компромиссу прийти нелегко. Но, с другой стороны, если его легко достигнуть, тогда он вряд ли будет серьезным. Необходимы терпение и упорство. Важно отметить, что речь идет о компромиссе, а не консенсусе, который предполагает определенную степень совпадения ценностей. Это убедительно свидетельствует о серьезности противоречия, которое может быть скорее смягчено, чем преодолено. «Современный популистский бунт, включая Движение чаепития, мог бы оказать оздоравливающее влияние на наше общество, вынудив нашу когнитивную элиту серьезнее, чем теперь, воспринимать страхи и чаяния простых людей»⁴⁵. Иначе велик риск новой гражданской войны. «Нашей просвещенной элите следует помнить, что трудно убедить человека принять ваши идеи, если вы презираете его идеи»⁴⁶, – предостерегает Харрис. Если либеральная элита искренне желает улуч-

⁴¹ Ibid. P. 109.

⁴² Ibid. P. 111.

⁴³ Ibid. P. 200.

⁴⁴ Ibid. P. 218-219.

⁴⁵ Ibid. P. 224.

⁴⁶ Ibid. P. 231.

шить общество, ей следует кое-чему поучиться у естественных либертарианцев-орнери. «Мы не можем жить без нашей когнитивной элиты, но мы определенно не хотим жить под ней»⁴⁷, – гласит вердикт Харриса. Если такая элита обеспечивает интеллектуальный потенциал западной цивилизации, то орнери, в наши дни – это консервативные популисты, которые предотвращают ее декаданс. Они являются ферментом, придающим Америке, а тем самым и всей западной цивилизации иррациональную витальность, столь необходимую для защиты и выживания. Иными словами, орнеризм у Харриса предстает как фактор, способный спасти западную цивилизацию от самой себя и от внешних врагов.

* * *

Американские рецензенты анализируют книгу Харриса преимущественно во внутриамериканском контексте. Между тем американская проблематика трактуется автором под цивилизационным углом зрения. Его третья книга, как уже отмечалось, – органичный элемент трилогии. Она весьма насыщена концептуально. В этом ее привлекательность, но в то же время и причина ряда недостатков. Обычно выстраивание концепций сопряжено с тем, что строительный материал вольно или невольно, в той или иной мере «обтесывается» под конструкцию.

Так, в концепции Харриса решающее значение придается когнитивной элите. Действительно, ее роль чрезвычайно велика, особенно в науке, образовании, экспертном сообществе, СМИ. Она в значительной степени определяет духовный климат страны. Однако Харрис обходит вниманием еще более могущественный сегмент элиты – ее представителей С. Хантингтон характеризовал как «экономических транснационалистов» и «глобалистов», которые «рассматривают весь мир как единую сущность. Дом для них – не национальный мир, а глобальный рынок»⁴⁸. «В США представители этой элиты составляют менее 4 процентов от общего населения страны; они не нуждаются в национальной идентичности»⁴⁹, – отмечает он. Эти люди менее националистичны и более либеральны, чем американская публика. «У них больше общего с себе подобными в Брюсселе или Гонконге, нежели с массой американцев»⁵⁰, – писал еще раньше известный американский ученый К. Лэш.

Такое отношение глобалистов к американской национальной идентичности, «государству-нации», естественно сказывается на их подходах

⁴⁷ Ibid. P. 76.

⁴⁸ Хантингтон. 2004. С. 420.

⁴⁹ Там же. С. 421.

⁵⁰ Лэш. 2002. С. 31.

к мультикультурализму, иммиграции, борьбе с терроризмом. Влияние этой ветви элиты чрезвычайно велико в социально-экономической и политической сферах. У нее много точек пересечения с либеральной когнитивной элитой. Среди глобалистов есть и либеральные консерваторы.

Видимо, по концептуальным соображениям Харрис преувеличивает степень новизны популистского консерватизма. Во всяком случае, популисты такого типа играли заметную роль среди приверженцев Б. Голдуотера еще в 1960-х гг. Преувеличением грешит, на наш взгляд, и оценка потенциала консерваторов-популистов, этих современных «орнери». США успели довольно далеко продвинуться по западноевропейскому пути. Весьма велик удельный вес американцев, склонных полагаться не столько на самих себя, сколько на «государство-няню». Правда, традиционалистский ресурс в Америке в отличие от социал-демократизированной Западной Европы еще отнюдь не исчерпан.

Заслуживает критического комментария еще один концептуальный аспект книги Харриса. Имеется в виду его мысль о том, что противостояние между популистами и когнитивной элитой превращается в основную линию поляризации, вытесняя привычное деление на либералов и консерваторов, левых и правых, республиканцев и демократов. Бесспорно, в XXI в. границы между успешными стать традиционными идейно-политическими течениями, все более утрачивают устойчивые очертания. Сами эти течения подвергаются фрагментации, из-за чего внутри них возникает сложная палитра тонов и оттенков. Все же, в конечном счете, сквозь эту пеструю цветовую гамму просвечивают пусть более причудливые, но, тем не менее, распознаваемые образы тех же консерватизма и либерализма. Что же касается поляризации, то консервативные популисты, несомненно, ее обострили, причем не только между либералами и консерваторами, но и в самом консервативном лагере, где немало консерваторов, прежде всего либерального толка, негативно воспринимают популизм.

Наконец, уже не в плане критики хотелось бы высказать соображение по поводу антагонизма между интеллектуальной элитой и консервативными популистами. В этой связи есть смысл вспомнить теорию «культурного отставания», выдвинутую еще в первой половине прошлого века американским социологом У. Огборном. Он указал на постоянно увеличивающийся разрыв между материальной и «адаптивной» культурами⁵¹. Как раз в этом, по словам футуролога Э. Тоффлера, кроется причина социальных стрессов. С нарастающим темпом роста изме-

⁵¹ Беккер, Босков. 1961. С. 397.

нений, расширением разрыва между объемом знаний и информации, с одной стороны, и способностью массы людей его осваивать – с другой, возникает ситуация непрерывного «футурошока».

Об этом ярко и емко пишет известный российский философ Г. Померанц: «процессы, требующие веков, становятся катастрофой при изменении темпа. Культура – не машина, ее нельзя ускорить. Целостность культуры не успевает впитать и усвоить поток нового, созданный наукой и техникой. Говоря в терминах Шпенглера, скорости, созданные цивилизацией, рвут культуру на части»⁵².

Это характерно не только для стран с относительно архаическим уровнем развития, но и для продвинутой цивилизации. Именно в этом контексте проблема взаимоотношений между интеллектуальной элитой и массами далеко выходит за рамки идейно-политических течений, хотя их наличие серьезно усугубляет ситуацию.

Книга Ли Харриса является одновременно диагнозом, рецептом и симптомом. Как раз в этом последнем своем качестве она особенно интересна, отражая остроту и глубину межцивилизационных и внутрицивилизационных противоречий современности.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. М. Иностранная литература. 1961. 896 с.
- Лэй К. Восстание элит. М. Логос. 2002. 224 с.
- Померанц Г. Живучесть древних основ // Знамя. М. 2004. № 8.
- Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М. Транзиткнига. 2004. 637 с.
- Continetti M. The Persecution of Sara Pailin. New York. Sentinel. 2009. 227 p.
- Harris L. Civilization and Its Enemies. The Next Stage of History. New York. Free Press. 2004. 256 p.
- Harris L. The Suicide of Reason. Radical Islam's Threat to the Enlightenment. New York. Basic Books. 290 p.
- Harris L. The Next American Civil War. The Populist Revolt against the Liberal Elite. New York. Palgrave Macmillan. 2010. 248 p.
- Taranto J. Ordinary Ormery // Politics and Ideas. 2010. June. P. 46-47.
- Thornton B. The New Individualist. 2008 [Электронный ресурс]. – URL: April 26/http://www.lee-harris.org/2512/the-swicide-of-reason

Рахмиров Павел Юхимович, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой новой и новейшей истории историко-политологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета им. М. Горького; modhist@yandex.ru

⁵² Померанц. С. 187.

Д. В. ШМЕЛЕВ

ИДЕИ ФРАНЦУЗСКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

НА ПРИМЕРЕ ДОКТРИНЫ ПАРТИИ МРП*

В статье исследуются идейные принципы французской христианской демократии, положенные в основу доктрины партии МРП. Затрагиваются проблемы взаимовлияния персонализма и христианской демократии, отношений с либерализмом и марксизмом, трактовки понятий человека, социальной справедливости, свободы, собственности, демократии.

Ключевые слова: *Народно-республиканское движение, МРП, христианская демократия, персонализм, социальная, экономическая и политическая демократия.*

Создание в ноябре 1944 года бывшими участниками Сопротивления партии Народно-республиканское движение обозначило новый этап в развитии французской христианской демократии, когда ее представители не только оказывали интеллектуальное и духовное влияние, но также активно участвовали во власти, в формировании политического курса послевоенной Франции. Выход из политической маргинальности довоенных лет предписывал серьезную работу над доктриной новой партии и развитием некоторых ее положений.

Идейные позиции народных республиканцев формировались под влиянием исторических обстоятельств, сложившихся во Франции после второй мировой войны, но также учитывали опыт предшествующей политической деятельности французской христианской демократии, наследие социального католицизма. Они в большей степени, нежели политическая практика, соотносят партию МРП с христианской демократией. Один из ее руководителей А. Гортэ в докладе на III съезде МРП (1947 г.) подчеркивал: «МРП рождена примечательным совпадением двух решающих факторов нашей национальной жизни. С одной стороны, предшествующее духовное течение, связанное с ценностями христианской цивилизации, являвшимися традиционными для французского народа: свобода, справедливость, братство, уважение человека. С другой стороны, сильная потребность освобождения и обновления, испытываемая этим народом в борьбе против завоевателя и против бесчеловечного режима, навязанного ему силой. Это освобождение, за которое мы сражались, не останавливалось в границах территории. Оно

* Статья выполнена при поддержке Дома наук о человеке (г. Париж, Франция).

означало для нас формальное обязательство бороться против всех прошлых и новых форм давления, которые давят на человеческое существо, обязательство бороться за то, чтобы защищать, преодолевая все опасности, французскую независимость, чтобы сделать единой энергию нации, чтобы Франция оставалась верной своей исторической миссии¹. Таким образом, изначально видно стремление народных республиканцев заложить в основу своей доктрины тесную взаимосвязь республиканского режима, социально-экономической и политической демократии с христианской трактовкой человека, идеалов справедливости и братства.

В своих воспоминаниях один из основателей и лидеров партии МРП П.-А. Тейтжен указывал на следующие ключевые положения мысли народных республиканцев: отказ от конфессионализма, приверженность «философии общинного персонализма», внимание к ценности человеческой личности, «ангажированной и ответственной в своих жизненных сообществах, индивиду, потерянному в своем одиночестве», критика капиталистической системы и пороков либерального общества, взаимосвязь структурной революции и «революции нравов»².

Несмотря на то, что в названии партии отсутствовало прилагательное «христианско-демократическая», а ее программные документы избегали прямого отождествления, апелляция к историческому наследию этого течения всегда присутствовала, прямо или косвенно, в выступлениях и публикациях народных республиканцев. Так, в манифесте МРП имелась отсылка к «основополагающим принципам христианской цивилизации». Э. Борн также подчеркивал значение традиции: «Философская оригинальность христианско-демократической мысли заключается в поиске теоретических и практических соответствий между христианством и демократией. Отсюда политическая этика, согласно которой демократическое изменение общества было бы принципом прогресса, который поставил бы публичную жизнь в согласие с христианской этикой свободы, справедливости, братства»³. Следовательно, христианско-демократическая мысль оставалась частью политической культуры народных республиканцев. Более того, в идейном плане партию МРП можно рассматривать как прямое продолжение этой традиции.

Важный источник идей народных республиканцев, о котором упомянул П.-А. Тейтжен, – это персонализм. Главные проблемы персонализма затрагивали универсальность развития человеческой личности и

¹ *Gortais*. 1947. P. 7-8.

² *Teitgen*. 1988. P. 336–337.

³ Цит. по: *Durand*. 1995. P. 135.

вопрос о «кризисе человека», критику либерального индивидуализма и капитализма («вырвать Евангелие из рук буржуазии»), но также и тоталитарного опыта, попытку критически объяснить марксизм, идею «персоналистской революции», одновременно духовной и экономической, поиск идеологии «третьего пути»⁴. Можно ли говорить, что доктрина МРП была полностью «персоналистской»? Скорее всего, нет. Но эти аспекты, так или иначе, присутствовали в идеологии партии МРП, делая ее наследником и в определенной мере интерпретатором этого общественно-политического и философского направления.

Важной чертой доктрины партии МРП является ее «борющийся» характер: «Необходимо отдавать отчет, что мы вовлечены душой и телом в историческое сражение нескольких поколений, целью которого является придание демократии во Франции и в мире ее человеческой значимости, сражение за свободу, справедливость и мир между людьми через преобразование структур и законодательства, через прогресс нравов»⁵, – отмечалось в одном из доктринальных документов МРП. Этому сражению был придан идеологический и философский фундамент. М. Санье подчеркивал на III съезде: «В мире разворачивается трагическая дуэль между материализмом, который имеет форму угнетающего капитализма, и который сегодня представлен некоторыми тоталитарными доктринами, и духом человеческого единения, которого жаждет Франция, в котором нуждается мир и который является нашим»⁶.

Любая «борющаяся» доктрина предусматривает изменение. Каким образом его осуществить? Через революцию, о чем говорит манифест партии МРП. Но любая революция подразумевает выбор или серьезную трансформацию экономического и политического режима. Выбор народных республиканцев вполне четок. Он пролегает через отказ от коммунистического тоталитарного опыта и разрыв с «капиталистическим режимом», а значит, предполагает выбор некоего срединного пути между коммунизмом и либерализмом. Этот выбор подразумевал наличие основательной критики двух моделей развития общества.

Народные республиканцы весьма критично оценивали коммунистический социальный эксперимент. Для них коммунистическая, советская или народная демократия «является результатом победы одного класса над другим посредством силы и насилия»⁷. Более того, они прямо

⁴ См.: Мунье. 1992; 1994; 1999.

⁵ Les origines du MRP...

⁶ Цит. по: Marabuto. 1948. P. 77.

⁷ Formation politique. Cahier № 1. № 67. P. 7–8.

отождествляли ее с крайней формой тоталитаризма. Но партия МРП активно сотрудничала с коммунистами в период Освобождения и трипартизма. Это привело к тому, что в марксистской критике капитализма было признано определенное рациональное зерно. «В капиталистическом режиме марксизм разоблачает тройное отчуждение, жертвой которого становится рабочий: плодов своего труда имущим классом; своей свободы буржуазным государством; своей личности религией», – пишет А. Гортэ. Но ведет ли такая критика к построению более справедливого общества? Вывод для народных республиканцев очевиден: «это тройное отчуждение снова ударяет по рабочему в коммунистическом режиме: по плодам его труда отчислениями в пользу власти; по его свободе тоталитарным и полицейским государством; по его личности единственной партией, интенсивной пропагандой и разрывом с остальным миром». В коммунистическом обществе существует диктатура государства, пришедшая на смену «диктатуре денег», нет даже видимости политической демократии, «мистификация непогрешимого вождя принимает там вид религии». Экономическая демократия присутствует, разумеется, но исключительно в коллективистской и этатистской форме, и рабочий не имеет больше ни свободы, ни ответственности, как и в отвергнутом капитализме. Следовательно, на «практике ничего решающего не отделяет коммунистическую диктатуру от других форм диктатуры, против которых французский народ героически сражался: свобода равным образом там подавляется, человек равным образом там порабощается»⁸. Согласно Гортэ, коммунизм «берет начало от определенной концепции человека и мира, полностью материалистической философии, которая полностью отрицает существование духа как реальности, отличной от материи. По этой концепции, предопределено, чтобы человеческие отношения понимались согласно законам, свойственным материи, то есть как отношения силы. В организации коммунистического общества нет свободных и ответственных граждан. Это не имеет смысла. Имеется сила, которая доминирует, которая подавляет и, в конечном счете, существует слепое подчинение»⁹. Иными словами, марксизм отвергается, потому что он игнорирует внутреннюю жизнь человека.

В выступлениях некоторых народных республиканцев такое отрицание марксизма приобретает философский оттенок. Поэтому можно говорить о философском противопоставлении марксизма и христианской демократии. Например, М. Шерер писал:

⁸ *Gortais*. 1947. P. 22–23, 24.

⁹ *Gortais, Madaule, Scherer*. 1948. P. 7.

Верный своему материалистическому постулату, марксизм заявляет, что духовные ценности представляют собой нечто вроде не имеющей значения роскоши или «идеологическим» отражением в сознании людей классовых материальных интересов. Вследствие этого марксистская культура и цивилизация игнорируют, отрицают или разрушают все ценности, которые для нас, начиная с истоков иудейско-христианской античности, составляют сущность того, что мы называем цивилизацией. В этом смысле марксизм является глубоко и буквально революционным: он представляет инверсию ценностей, потому что он представляет замкнутую в самой себе и на земной и временной истории цивилизацию. Марксизм естественно лишен ссылок на порядок ценностей, который выходит за земной горизонт. Провозглашая имманентность духа в материи, марксизм естественно отвергает всякую трансцендентность духа и отрицает важную реальность порядка сверхъестественных ценностей¹⁰.

По Э. Борну, сила марксизма в том, что он имеет жесткую доктрину – диалектический материализм, который «претендует на научное объяснение прошлого, настоящего и даже будущего». Но достаточно философских размышлений, чтобы показать слабость этой доктрины.

Материализм коммунистов является закрытой доктриной, закрытой системой, которая подчинением диалектике навязывает не метод, а атеистическую метафизику, которая переводится в догматическое неверие в гражданские качества и осуждает любого верующего на национальное унижение. Наш спиритуализм также является догматичной мыслью, но открытым догматизмом, который может быть продолжен различными формами веры и неверия. Достоинство человеческой личности будет для одних светской формой священного убеждения, души, для других – нечто вроде благородного пари без метафизической или религиозной гарантии. Именно в этом наша доктрина не является тоталитарной¹¹.

Все же для народных республиканцев характерно смешение политических и философских аспектов критики марксизма. Если в первые годы существования партии ее теоретики пытались апеллировать к фундаментальным основам, то с началом «холодной войны» критика марксизма и коммунизма приобретает пророческие черты и не требует доказательств. Показательно высказывание Ж. Фонтане на XII съезде МРП в мае 1956 г. Для него, коммунизм – это «не только мистика, но и совершенная, связанная, логическая и жесткая система». Марксизм видится ему «интегральной идеологией, тотальной доктриной». По его словам, он не ограничивается, как социализм, социальной и экономической интеграцией. «Он хочет создать тип нового человека, определить новую позицию в отношении всей жизни, быть научным объяснением и принести точное решение главным проблемам природы и бытия». В коммунистическом режиме человек сводится только к социальному изме-

¹⁰ Ibid. P. 29.

¹¹ *Borne*. 1948. 20–21 juil.

рению. «Его конечность состоит единственно в его полном участии в строительстве коммунистического режима, в его мобилизации на службу историческому делу сообщества, то есть диктаторского государства, ожидая иллюзорной реализации совершенного коммунистического общества, которое покончит с принуждением». На деле, марксизм, рожденный критикой угнетения рабочего класса капиталистическим режимом, заменяет это угнетение другим – угнетением коллективистского режима¹². Отождествлением марксизма и тоталитаризма, коммунистического общества и тоталитарного государства достигается острота противопоставления западной демократии и коммунизма.

«Тоталитаризм делает вид, будто он обладает не только полной истиной, но истиной окончательной и неизменной. Он не может ни ждать, ни соблюдать последовательность этапов, особенно если он олицетворен в человеке, который знает, что он смертен, и потому желает завершить свое дело без всяких отсрочек. Демократия учитывает эволюцию идей и коррективы, вносимые опытом, она извлекает уроки из успехов и поражений, используя практику свободных дискуссий и свободных оценок»¹³, – писал Р. Шуман.

Отсюда проистекают императивы, выделенные исследователем христианской демократии Л. Битоном:

Отвержение тоталитаризма, где государство требует от человека его полной службы и претендует на то, чтобы ему служили как Богу. Отвержение любого органицизма, который видел бы в человеке лишь ячейку коллективного бытия, имеющего независимое существование индивидов, реальность которых оно поглощает, чтобы сделать из нее материал социального корпуса. Отвержение любого материализма, который уродует личность, игнорируя существование духовных реальностей в человеческом бытии. Также отвержение любой технологии, которая претендовала бы лишь на решение социальных проблем в зависимости от чисто материальных обстоятельств¹⁴.

В сознании некоторых народных республиканцев происходит соединение коммунизма и фашизма в некую единую форму тоталитаризма.

От тиранической демократии социального контракта к мессианской бюрократии коммунистического государства, переходя через все формы национализма и различного рода фашизмы, общая тенденция тоталитарных систем заключается в поглощении человека индивидуалистского человеком социальным, что ведет к отмене в каждом исключительном сознании любого другого императива, чем императив группового интереса... Нет другой добродетели для него, кроме подчинения социальной власти, которая оказывается облеченной в его глазах мистической непогрешимостью, так как она определяет временный интерес группы¹⁵.

¹² Séance du jeudi 10 mai 1956 (matinée)...

¹³ Шуман. 2002. С. 37.

¹⁴ Битон. 1955. P. 75.

¹⁵ Simon. 1958. P. 52–53.

Критика либерального капитализма, в отличие от критики марксизма, у народных республиканцев более приземленная. Они воспроизвели, по сути, критику персоналистов, для которых капитализм означал примат производства, денег и прибыли. Обвиняя либерализм и политическую систему III Республики в бедах, обрушившихся на Францию, народные республиканцы рассматривали упадок либерального государства и общества сквозь призму кризиса цивилизации. При этом они допускали опасность перерождения западного либерализма в некую форму тоталитарного господства. Э. Борн весьма категоричен:

Либеральное государство станет якобинским, централизованным и всемогущим государством... , политическая ассоциация, партия также станет формой “коалиции”, которую назовут губительной для индивидуальной свободы, как и для авторитета государства. Обостренный индивидуализм переходит в тоталитаризм, и демократия, как социальная, так и политическая, гибнет, так как будет игнорировать требования плюрализма¹⁶.

Однако в этой апокалиптической картине упадка западного либерального общества имеются некие элементы, которые при определенных обстоятельствах нужно сохранить и выдвинуть на первый план, что поможет избежать тоталитарного перерождения. П.-А. Симон пишет:

Действительно, политическая цивилизация Запада, которая определяется в течение XIX и первой трети XX в. через свое двойное демократическое и буржуазное измерение, цивилизация, которую мы считаем агонизирующей, начиная с великого кризиса, которая противостояла коммунизму и фашизму с 1935 г., и которую можно было бы считать завершенной с потрясениями второй мировой войны, еще содержит добро и предлагает силы, которые пробовали сопротивляться ей.

Он констатирует стабильность и крепость институтов этой цивилизации, равно как и ее основание на «психологических элементах».

Западный человек имеет личную собственность, инициативу, свободу, и он проявляет инстинктивное отвращение ко всему тому, что движется в направлении тоталитарного коллективизма. Между тем, западный человек, который воплощается не только в капитане промышленности или в буржуазии, дорожащем своей интеллектуальной независимостью, но и в человеке из народа и, в частности, рабочем, движим в XX в. императивом справедливости и достоинства, толкающим его к отвержению своего отчуждения анонимной тиранией капитала и своего униженного положения в обществе. В этом состоит порыв моральной и духовной природы, недооценивать силу и универсальность которого невозможно...¹⁷

Если в случае с марксизмом отрицание является все же полным, то западное общество, по мнению народных республиканцев, еще можно

¹⁶ Le MRP, cet inconnu... P. 35.

¹⁷ Terre humaine. P. 11–12.

исправить и реформировать¹⁸. А. Гортэ считает, что «либеральная демократия, по существу, индивидуалистской основы, была искажена фундаментальной ошибкой, забыв живого человека за абстрактным индивидом, не сумев или не захотев вписать в институты экономические и социальные условия свободы и смешав свободу с эгоизмом». Поэтому экономические последствия либерализма несли в себе значительную угрозу, как и его политическое применение¹⁹.

Свобода богатых сводит на нет свободу бедных. Абсолютное право личной собственности становится не средством для всех обладать чем-либо, но средством для некоторых завладеть богатствами исключительным и решительным способом и лишать его других. Возводя в принцип, что личная выгода является единственным мотором деятельности, и предоставляя обществу соответственно организовываться, либерализм делает деньги арбитром общества. Обладание капиталом дает ему одному право командования над наемными рабочими предприятия. Деньги являются принципом социальной иерархии²⁰. По Гортэ, «одновременное пришествие политической демократии и либерального капитализма привело к очевидному противоречию в человеческом плане: гражданин в политическом плане, рабочий оставался в своей трудовой жизни простым предметом, подчиненным власти, в которой он совсем не принимал участия». Однако рабочий класс не захотел видеть в этом «фатальность исторической эволюции»²¹.

Народные республиканцы отвергали представление об обществе как о массе атомизированных индивидов, беспомощных перед лицом всемогущего государства. Такое положение наносит ущерб автономности и инициативе человека и, следовательно, пагубно для демократии.

Либеральная демократия XIX века рождена антихристианской индивидуалистской философией XVIII века. Она возводит в принцип признание политических прав, применение свободы мысли, но во имя той же свободы предоставляет экономическим силам развиваться согласно своим так называемым естественным механизмам. Свободная игра экономических сил позволяет сильным угнетать слабых, позволяет деньгам поработать труд, приводя к тому, что политические свободы становятся абстрактной вещью для широких слоев народа. Такая демократия... побуждает бедных, слабых и всех тех, существование которых подчинено внешней экономической силе, отвечать силой на силу, защищать или завоевывать свое право на жизнь через необходимое насилие.

Признается, что классический либерализм «создал» политическую демократию, но ему не удалось распространить ее на социальную и эко-

¹⁸ В этом народные республиканцы солидарны с Э. Мунье, для которого «капитализм нельзя заменить абсолютно новым строем», поэтому «грядущий социалистический мир вызревает в недрах капитализма». См.: Мунье. 1992. С. 123.

¹⁹ *Gortais*. 1947. P. 17–18.

²⁰ *Ibid*. P. 18.

²¹ *Ibid*. P. 13.

номическую жизнь²². В этом, по мнению современного политолога Ш. Мийон-Дельсоль, кроется различие христианской демократии и либерализма. «Либерализм по-своему решает проблему автономии индивидов, сжимая роль государства в тесные рамки. Христианская мысль пытается принять парадокс между необходимой автономией и необходимой гарантией общего блага, которые противоречат друг другу. Она воспринимает человека как парадоксальное существо, желающее одновременно автономии и социальной справедливости, как одновременно эгоистичное и солидарное. Ее видение вещей с опытом политики прошлых лет кажется не догматичным, а, напротив, более реалистичным. Она знает, что исключительная гарантия частной автономии будет создавать проявления невыносимого эгоизма не только тех, кто их испытывает, но и тех, кто их созерцает. Следовательно, не только этика, но и природа человека отвергают чистый либерализм»²³.

Что же предлагали народные республиканцы? Задачи были зафиксированы в манифесте партии. Отправной точкой должен стать «разрыв с капиталистическим режимом» и революция. Влияние персонализма здесь очевидно. Но революцию в доктрине народных республиканцев не следует рассматривать как синоним тотального разрушения. Сама формула «революции через закон», введенная ими, говорит о ее ограниченном характере. Партия МРП выступала за «революцию», которая будет способствовать «моральному и духовному возвышению людей», гарантирует «каждому право жить в безопасности и достоинстве», делает реальностью «политическую и социальную демократию», «даст Франции средства полностью реализовать свое предназначение»²⁴. Вот общие цели, которые формулировал манифест партии. В этом плане следует согласиться с мнением Л. Битона, который отметил, что, если

либералы рассматривали революцию как катастрофу, факт, находящийся в прошлом, в данном историческом периоде, а, следовательно, рассматривали ее как “завершенную”, то христианские демократы всегда рассматривали и принимали революционный феномен не только как факт, но главным образом как

²² Formation politique. – Cahier № 2. Ср. с высказыванием Э. Мунье: «С утверждением либеральной демократии человек начал обретать черты политического субъекта, в экономическом же плане он, по существу, остается объектом. Анонимная власть денег в современном мире, ее приоритет в распределении благ и прибылей ожесточают социальные классы в их отношении друг к другу и ведут к отчуждению человека. Человек должен вернуть себе право распоряжаться своей судьбой, вернуть принадлежащие ему ценности, подорванные тиранией производства и прибыли, свой облик, искаженный бесконечными спекуляциями». Мунье. 1992. С. 122.

²³ Les démocrates-chrétiens et l'économie sociale de marché... P. 77.

²⁴ Le manifeste du MRP...

“дух”. Для них революция является “идеей”, требованием, отныне закрепившемся в сердце человека. Следовательно, революция никогда не может быть закончена, так как она, прежде всего, является усилием, динамизмом, чтобы освободиться от всех тираний²⁵.

Осуществление революции предполагает построение модели общества, получившей у народных республиканцев наименование политической, экономической и социальной демократии. Эта демократия основана на утверждении свободы человека и нового типа общественных отношений, гарантии права собственности, изменении структуры социально-экономических отношений, утверждении республиканской формы и светского характера государственной власти.

Построение новой демократии основано прежде всего на концепции человека и мира. Человек как таковой «может рассматриваться не как инструмент, но как цель», и любой человек в силу того, что он имеет сознание и личное достоинство, «должен увидеть признание обществом своих неотъемлемых прав, которые должны быть гарантированы, уважаемы и протезируемы». Именно на основании этой концепции человека и мира «общество должно дать каждому свой шанс, а не сохранять за одними привилегии, а за другими рабство. Деньги должны быть поставлены на службу человеческому труду, а не наоборот. Производство должно быть поставлено на службу людям, а не наоборот. Право должно быть поставлено выше силы, а не наоборот»²⁶.

Абстрактному индивиду либералов народные республиканцы противопоставляют личность, наделенную свободой и ответственностью и включенную во множество сообществ, которые образуют общество. «Общество действует на человека, но также свободный человек способен и всегда будет способным действовать на социальные структуры, в которых он живет. Он может превышать приобретенные результаты, он может влиять на ход истории»²⁷. В трактовке народных республиканцев общество наделяется сложной структурой, сформированной естественными группами, автономными в своей собственной сфере. Государство выступает лишь как регулятор и защитник таких групп.

В отличие от либеральной трактовки человек, согласно народным республиканцам, является социально ответственным. С момента рождения до своей смерти он вступает во множество естественных социальных структур, вне которых он не смог бы достичь своего расцвета. Каждая такая структура обладает собственным органическим единством.

²⁵ *Biton*. 1955. P. 74.

²⁶ *Formation politique*. – Cahier № 1. P. 6.

²⁷ *Gortais*. 1947. P. 27.

Таковыми структурами являются семья, коммуна, различные политические и профессиональные ассоциации. Но человек не должен жить в этих группах, не делая для них ничего. «Такая позиция immoralна, – считает Э. Жильсон, – потому что она противоречит разуму и природе вещей». При этом «автономия естественных групп, координируемых с точки зрения общего блага, является единственной эффективной гарантией личных свобод от спонтанного тоталитаризма государства»²⁸.

У народных республиканцев свобода изначально присуща человеческой личности. Л. Битон делает важное заключение: «Свобода является присущей человеческой природе. От нее индивид не может отказаться, не разрушая самого себя как человека, следовательно, она является атрибутом личности». Свобода также связана и «с суверенитетом индивида, она неотчуждаема». «Но свобода является уважением этой автономии, будь она перед лицом государства или чего-то иного. Естественно, что свобода одних ограничивается там, где начинается автономия других. Следовательно, граница свободы – это равенство свободы, принимаемое каждым человеком, и равенство, следовательно, становится не противоречащим, а дополняющим идею свободы понятием». Стало быть, речь больше идет не о равенстве условий, а о «равенстве свобод», об отношении между двумя свободами, о равенстве автономии. «Свобода, следовательно, гарантируется в той мере, в какой она в равной степени уважается всеми»²⁹.

Но как примирить свободу, изначально присущую человеку, с его функцией как социально ответственного существа, с требованиями социальной справедливости? В идеях народных республиканцев происходит конвергенция этих двух требований, выражаемых либерализмом и социализмом. «Мы верим в реальность свободной воли, а также в ценность требования освобождения. Мы убеждены, что освобождают только свободных людей и что свободная воля без призвания к освобождению является горьким безумством, равно как и освобождение без свободной воли является лишь карикатурой тиранического освобождения». Для Э. Борна свобода без справедливости – это «одобрение рыночной экономики, анархичной конкуренции и пролетарского рабства»³⁰. Свободное и справедливое общество и есть демократическое общество.

Социальная справедливость выступает в этом плане не столько как социальный патернализм, сколько как стремление поднять суверенитет

²⁸ *Gilson*. 1948. 2–3 mai, 4 mai.

²⁹ *Biton*. 1955. P. 77–78.

³⁰ *Le MRP, cet inconnu*. P. 24, 32.

человеческой личности выше, чем он стоит при либеральном капитализме, устранив вражду интересов и обеспечив добровольное сотрудничество свободных личностей.

Справедливость в определенной мере может достигаться с помощью солидарности. В самом общем виде смысл солидарности в трактовке христианских демократов заключается в идее уважения интересов человека и интересов общества. Принцип солидарности подразумевает действия всех членов общества, направленные на достижение общих целей и на помощь более слабым. Этот принцип отражает отношение отдельного человека к обществу, его связь с ним и отношение общества к человеку³¹. Каждая социальная группа должна делать все необходимое для общего блага. Что касается равенства, то оно понимается, прежде всего, как равенство людей перед Богом. Общество обеспечивает лишь равные возможности для развития людей. Остальное зависит от их индивидуальных способностей. Таким образом, косвенно признается реальность существования естественного неравенства и невозможность разрешить его полностью с помощью общества. «Никакая политическая конституция не может иметь результатом упразднение естественных неравенств между людьми, еще меньше их личных различий, – писал Э. Жильсон, – но можно желать, чтобы социальные неравенства не добавлялись к естественным неравенствам»³².

Непреходящая ценность человеческой личности, его достоинство являются основой концепции человека.

Для христианина, очевидно, что человек, потому что он предвещает вечность и создается по образу Бога, чтобы познать его и жить вечно с ним, содержит в своем предназначении к вечности превосходящее достоинство. Для христианина, политические, экономические и социальные институты минуют, тогда, как человек останется. Государства умрут, нации исчезнут, анонимные общества, профсоюзы, группировки любого рода, семьи, все это исчезнет. Только человек будет продолжать жить вечно, одержит верх над временным... Наша концепция общества, потому что мы верим в выдающееся человеческое достоинство, является институционалистской и общностной. Мы не хотим экономического и политического общества, просто созданного всемогущим государством, царящего над пылью индивидов, фактически отданных на его милость. Мы мечтаем о структурированном обществе, создающим иерархию групп и институтов, в которых человек мог бы свободно развиваться и реализовываться таким образом, чтобы он всегда имел на своей стороне организации, социальные кадры, структуры, в которых он мог бы непосредственно брать инициативу, ответственность, действовать в свое время и для своей судьбы³³.

³¹ Амлеева. 2002. С. 19.

³² Gilson. 1948.

³³ Session nationale de formation politique...

Следовательно, в духе персонализма основная ответственность возлагается не на государство, а на различные ассоциации, семью, профессиональные организации. Человек обязан развивать свои таланты. Но поскольку человек может развиваться только в обществе, то общество должно создать для него соответствующие условия, но не нарушая его самостоятельности. Человек предстает не только как свободное, но и как ответственное существо: на нем лежит ответственность по отношению к близким, к своей среде, к обществу в целом. При этом народные республиканцы не обходят стороной проблему конфликта человека и свободы. По словам П.-А. Тейтжена, «конфликт находится в самом человеке». Отсюда следовало заключение:

Человек, когда он утверждает себя человеком, утверждает существование автономного бытия, хозяина его судьбы, намереваясь реализовать свою жизнь согласно своим желаниям, своей ответственности и полностью распоряжаться ею, и, следовательно, ставит в качестве принципа свободу. Но человек также является по природе социальным существом, так как он не может жить, как Робинзон среди книг... Мы готовим инструменты общества, чтобы гарантировать его старт и его личный уход. Человек является социальным существом, которому порядки были предписаны самим его существованием... надо положить конец этому конфликту, который находится не в социальных организациях, а между свободой и естественной необходимостью подчиняться дисциплине и своей принадлежности группам <...> Именно в той мере, в какой человек свободно соглашается с порядками различных человеческих групп, он обеспечивает расцвет своей личности и становится человеком. Его личный расцвет связан с мерой жертв, которые он приносит, и порядков, которые он принимает от разных групп³⁴.

Развитие человека в условиях свободы предписывает четкую градацию его абстрактных и реальных прав и свобод, иными словами, вопрос о том, что является первичным. Для народных республиканцев его решение очевидно. Прежде всего, необходимо создать условия для свободы вообще и только затем реализовать свободу как таковую. Одним из главных условий свободы является обладание собственностью. В этом народные республиканцы близки либералам, но в отличие от последних они стремятся придать праву собственности социальные функции.

Материальные богатства предназначены для удовлетворения нужд людей: частная собственность, сохранение индивидуальной свободы являются лишь средством достижения этой цели. Для защиты, гарантии и расцвета индивидуальной свободы, необходимо обеспечить доступ всех к личной и семейной собственности. Чтобы гарантировать, что употребление собственности соотносится с общим интересом, государство или уполномоченные им организации имеют право контролировать употребление, которое собственники находят их благам. В том, что касается инструментов производства, новое право собственности га-

³⁴ Séance du 14 mars 1947...

рантирует, что их эксплуатация эффективно будет поставлена на службу людям и специально тем, кто сотрудничает на предприятии, отвергая капитал в пользу права самим обладать ими за счет труда во всех его формах. Таким образом, труд должен будет быть ассоциированным с управлением и прибылью³⁵.

В этой цитате из манифеста «За освобождение», отмечает М. Лонэ, прослеживаются последующие идеологические основы МРП.

Индивидуализм, которым вдохновляется либерализм, не является злом сам по себе... Однако, когда интерес нации требует (восстановление страны на следующий день после разрушений), государство может подменять собой индивидуального собственника и побуждать функционировать предприятия, назначая в главе них кого-нибудь из своих «крупных чиновников». Вторая необходимость может добавляться к текущей необходимости. Может показаться необходимой национализация крупных компаний, чтобы лучше побудить участвовать рабочих в деятельности их предприятия³⁶.

Причем в последнем пункте речь больше идет о «классовом сотрудничестве», нежели о революции. Поэтому национализация призвана успокоить социальную напряженность, устанавливая структуры диалога.

В наиболее полном виде трактовка права собственности была представлена П.-А. Тейтженом, для которого: 1) «право собственности не является только узакониванием эгоистичного интереса собственника, оно имеет социальную функцию»; 2) «собственник не является реально, в полном смысле слова, собственником... если он не выполняет честно свои обязанности»; 3) «власть над людьми никогда не происходит от права собственности, оно является лишь социальной функцией»³⁷. Иными словами, обладание собственностью необходимо для реализации свободы человека и его социального призвания, но она может быть отчуждена, если таковое призвание не осуществляется или если она входит в противоречие с общим благом. Право собственности призвано способствовать более справедливому распределению продуктов труда, т.е. исправлению злоупотреблений либерального капитализма.

Все политические и социально-экономические структуры должны быть поставлены на службу человеку. Это предполагает их разнообразие, которое соответствовало бы свободе выбора.

Плюрализм социальных групп является практическим условием осуществления свободы человека. Один человек перед лицом одного государства обречен на подавление. Участвуя в различных коллективах экономического, социального, культурного или иного порядка, даруемых правосубъектностью, играя эффективную роль в самом широком обществе, которое включает их без их подавле-

³⁵ Pour Libération...

³⁶ *Launay*. 1987. P. 186.

³⁷ *Le MRP, cet inconnu...* P. 55–56.

ния, человек покровительствует своим свободам бок о бок со своими ближними и осуществляет свои ответственности³⁸, – пишет А. Гортэ.

Концепция человека, предлагаемая народными республиканцами, предполагает его активное участие в политической жизни и строительстве новой демократии. Идеал этой демократии в общих чертах обозначил А. Гортэ на II съезде МРП:

Мы являемся демократами, потому что мы верим в свободу. МРП не допустит никакой формы диктатуры, ни государственной, ни человеческой, ни силы, ни расы, ни класса, ни денег. Мы сражаемся за свободу, потому что без свободы человек является роботом или рабом. Мы являемся демократами, потому что мы верим в фундаментальное равенство между людьми. Мы хотим, чтобы общество, не допуская никакой привилегии касты или состояния, реализовало среди них равенство шансов в доступе всех к культуре и ответственностям в организации совместного труда, так, чтобы единственной иерархией была иерархия, которая имеет результатом личную ценность. Мы являемся демократами, потому что мы верим в братство... Но нельзя иметь ни мира, ни братства без справедливости...³⁹.

Таким образом, А. Гортэ апеллирует к либеральным ценностям Французской революции, к ее знаменитой триаде, добавляя при этом социалистическое по происхождению требование справедливости.

Выбор формы правления однозначен. Новая демократия должна быть республикой. В докладе на национальном комитете партии Гортэ подчеркивал: «МРП была введена волей защищать республику... Эта республика несовершенна. Она далека от того, чтобы отвечать нашей воле к социальной справедливости. Но поскольку она существует, социальная демократия имеет шансы. В день, когда республика будет уничтожена, шансы социальной демократии будут поставлены под угрозу»⁴⁰.

Важное отличие народных республиканцев от других течений христианской демократии – приверженность светскому государству:

Что касается Франции, где сосуществуют верующие и неверующие, где сотрудничество всех граждан доброй воли необходимо как никогда, мы соглашаемся с нейтральностью государства в светской школе и во всех официальных учреждениях. Государство как таковое не может становиться на сторону того или иного религиозного или философского учения. Но оно должно обеспечить каждому из них возможность действовать и развиваться в рамках общественного порядка, за который оно несет ответственность⁴¹.

Как считали персоналисты, демократия является сообществом свободных и ответственных людей. Три главные идеи Э. Мунье можно

³⁸ *Gortais*. 1947. P. 30–31.

³⁹ Séance du vendredi 14 décembre 1945...

⁴⁰ Comité national de 25 et 26 septembre 1948...

⁴¹ *Шуман*. 2002. С. 34–35.

встретить в доктрине МРП: создание плюралистичного сообщества («общностных институтов»), экономика на службе человека, общество на службе всеобщего блага («персоналистское сообщество»). Определение демократии было преимущественно основано на интерпретации религии (ценности человека, семьи, школы, помноженные на максимальное развитие его способностей) и истории (политическая и промышленная революции, открывшие путь реализации возможностей человека). Однако, политическая революция привела к централизованной, элитарной форме управления, а промышленная – к обогащению отдельных категорий и лиц. Отсюда необходимость и неизбежность исправления этих последствий в виде реализации «интегральной» демократии.

В доктрине партии МРП идея «интегральной демократии» условно разбивается на три составные части: политическая, экономическая и социальная демократия. «Поставить деньги на службу труду, обеспечить каждому право на жизнь, не отказываясь от свободы мнения и ответственностей граждан» – таковы цели, которые ставят народные республиканцы. Но чтобы отвечать надеждам людей и их ожиданиям, нельзя только «продолжать» и «защищать». Необходимо трансформировать и создавать. Именно в этом моменте МРП придает христианской демократии актуальное и в некотором роде революционное звучание. Речь идет именно о строительстве экономической, социальной и политической демократии. Природа демократии, то есть потребность дать человеку самое большой объем свободы и справедливости, постоянно меняется. Революция поэтому является постоянной (противопоставление марксистскому понятию конечной революции).

Согласно манифесту МРП, осуществление революции предполагало создание «экономики, управляемой государством, свободным от власти денег, а также национализацию ключевых отраслей промышленности, частных монополий и кредитной сферы». Революция, кроме того, означала «участие различных свободно организованных профсоюзов в управлении экономикой и предприятиями», а в сельском хозяйстве развитие кооперации и профсоюзную свободу⁴². В манифесте были поставлены новые для французской христианской демократии проблемы: как перераспределить производимые блага, как усилить эффективность экономики и ее социальную ориентированность. И был дан ответ – посредством активной государственной политики.

Выступая на заседании национального совета МРП 25–26 августа 1945 г. Ф. де Мантон подчеркивал, что главной целью экономической

⁴² Le manifeste du MRP.

политики МРП остается «максимальное освобождение человека от экономических принуждений».

Экономическая демократия характеризуется эффективным участием всех в управлении экономическими делами, более справедливым распределении доходов, уважении прав каждого. Она противопоставляется капитализму, который сохраняет экономическое руководство только за владельцами капитала, обеспечивает в распределении доходов преобладание собственников капитала и регулирует отношения между людьми в зависимости от собственности капитала. Она противопоставляется также тоталитарному этатизму, в котором экономические отношения регулируются чисто и просто как отношения публичного права, управляющего и управляемого, администрации и администрируемого, в котором царит смешение между государственным политическим аппаратом и экономической организацией нации. Чтобы исключить подобные эксцессы, государство должно быть независимым от финансового и экономического феодализма, чтобы не рисковать быть атакованным частными интересами⁴³.

Новое перераспределение продуктов труда должно быть дополнено интеграцией профессиональных групп, отражающих социальные интересы различных категорий трудящихся, в государственные механизмы. «Продвижение ценностей солидарности, сохранение частной инициативы, развитие организации групп стоят у истоков новой экономики, идет ли речь о промышленности или сельском хозяйстве. Таким образом, проявится социальная демократия, основанная на договорном планировании и эффективном участии профсоюзов и профессий в ориентации экономики»⁴⁴, — отмечал Ж. Леканюэ.

В идеях народных республиканцев отчетливо присутствует персоналистская концепция примата труда над капиталом, а именно: 1) капитал не производит благо; 2) капитал не имеет права на продукт труда, в создании которого он участвовал. Иными словами, сам по себе капитал ничего не производит. Именно труд заставляет его приносить доход. Труд, следовательно, не может быть прислужником капитала, наоборот, капитал должен находиться на службе у производительного труда.

В дальнейшем положения экономической и социальной демократии конкретизировались в многочисленных дискуссиях, выступлениях, резолюциях руководящих органов партии МРП. Можно выделить ряд общих моментов, характеризующих развитие доктринальных тезисов на практике: переоценка роли государства в социально-экономической жизни, трактовка национализаций, реформа предприятия.

Политическая демократия должна быть создана на основе экономической демократии. Согласно Гортэ, «политическая демократия име-

⁴³ L'Aube. 1945. 28 août.

⁴⁴ Séance du samedi 9 mai 1964 (après-midi)...

ет два существенных и неразделимых фундамента: гарантию прав человека и эффективное участие граждан в управлении нацией». В этом плане «государство выступает гарантом прав граждан, но в то же время оно должно располагаться как бы над партиями и частными интересами, обеспечивая при этом и уважение меньшинства»⁴⁵. Гортэ провозглашает необходимость участия граждан в управлении нацией. Для него не существует демократии без политической свободы. Необходим авторитет и эффективность демократического государства, тесный союз между народом и властью. Государство должно представлять всю нацию, быть светским, но не атеистичным. «Любой гражданин свободен верить или не верить, и государство должно полностью уважать эту свободу»⁴⁶.

Демократия требует наличия политических партий, поскольку они необходимы для «информирования и политического воспитания общественного мнения», то есть для функционирования демократии. Они способствуют диалогу с правительством, формируют оппозицию, анализируют пути решения общественных проблем⁴⁷. С этим связано формулирование требования «плюралистичной демократии», смысл которой заключается в обосновании существования между человеком и государством различных форм общественных объединений. Такая демократия допускает борьбу мнений между различными социальными слоями, сохраняя тем самым широкую свободу выражения.

В идеях народных республиканцев реализация политической демократии рассматривалась в нескольких аспектах: разработка новой конституции и административная реформа (прообраз будущей политики децентрализации).

В целом, доктрина партии МРП представляла собой попытку объединить идеи и принципы французской христианской демократии с требованиями текущей политической ситуации. Доктринальными истоками выступали наследие социального католицизма, отчасти идеи персонализма и идеи движения Сопrotивления. Идеи, представленные партией МРП в 1940–60-е гг., отражают процесс эволюции французской христианской демократии, ее приспособления к меняющимся условиям.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Амлеева А. А.* Христианско-демократическое движение в Западной Европе и России. М.: ИНИОН, 2002. 92 с.
Мунье Э. Персонализм. М.: Искусство, 1992. 143 с.

⁴⁵ *Gortais.* 1947. P. 29–30.

⁴⁶ *Ibid.* P. 33–34, 37.

⁴⁷ *Le MRP, cet inconnu...* P. 90.

- Мунье Э.* Что такое персонализм? М.: Изд. гуманитарной литературы, 1994. 128 с.
- Мунье Э.* Манифест персонализма. М.: Республика, 1999. 559 с.
- Шуман Р.* За Европу. М.: Московская школа политич. исследований, 2002. 96 с.
- L'Aube. 1945. 28 août.
- Biton L.* La démocratie chrétienne dans la politique française, sa grandeur, ses servitudes. Angers: Siraudeau, 1955. 170 p.
- Borne E.* Primauté de la doctrine // L'Aube. 1948. 20–21 juil.
- Comité national de 25 et 26 septembre 1948. Séance de 25 septembre 1948 // A.N. 350 AP 58 / 2 MRP 3. Dr. 13. Comité national, 1948.
- Les démocrates-chrétiens et l'économie sociale de marché. P.: *Économica*, 1988. 235 p.
- Durand J.-D.* L'Europe de la Démocratie chrétienne. Bruxelles: Éditions Complexes, 1995. 382 p.
- Formation politique. – Cahier № 1. Pourquoi la formation politique est-elle indispensable? // Supplément à «MRP à l'action». № 67. P. 7-8 // A.N. 350 AP 1 / 1 MRP 2. Dr. 1. Doctrine.
- Formation politique. – Cahier № 2. Borne E. MRP et les courants permanents de la pensée française // Supplément à «MRP à l'action». № 68 // A.N. 350 AP 1 / 1 MRP 2. Dr. 1. Doctrine.
- Gilson E.* Notre Démocratie // L'Aube. 1948. 2–3 mai, 4 mai.
- Gortais A.* Démocratie et Libération. P.: SERP, 1947. 64 p.
- Gortais A., Madaule J., Scherer M.* L'Homme nouveau sera-t-il marxiste ou spiritualiste? P.: SERP, 1948. 47 p.
- Launay M.* Le MRP // Les nationalisations de la Libération: De l'utopie au compromis. P.: Presses de la FNSP, 1987. P. 185–191.
- Le manifeste du MRP // A.N. 350 AP 12 / 2 MRP 1. Dr. 1. I^{er} congrès national.
- Le MRP cet inconnu. P.: Éditions polyglottes, 1961. 127 p.
- Les origines du MRP et sa mission dans la vie politique française // A.N. 350 AP 1 / 1 MRP 2. Dr. 1. Doctrine.
- Pour Libération // A.N. 350 AP 1 / 1 MRP 1. Dr. 2. Naissance du MRP.
- Séance du vendredi 14 décembre 1945 // A.N. 350 AP 13 / 2 MRP 1. Dr. 6. 2^e Congrès national.
- Séance du 14 mars 1947 // A.N. 350 AP 14 / 2 MRP 1. Dr. 8. 3^e Congrès national.
- Séance du jeudi 10 mai 1956 (matinée). P. C/13-C/15, D/5 // A.N. 350 AP 30 / 2 MRP 1. Dr. 51. XII^{ème} congrès national, Montrouge, 10–13 mai 1956.
- Séance du samedi 9 mai 1964 (après-midi). P. F/4 // A.N. 350 AP 43 / 2 MRP 1. Dr. 85. XXI congrès national, Le Touquet, 7–9 mai 1965.
- Session nationale de formation politique. 8–13 octobre 1960 // A.N. 350 AP 2 / 1 MRP 2. Dr. 3. Sessions de formation.
- Simon P.-H.* La France à la fièvre. P.: Seuil, 1958. 206 p.
- Teitgen P.-H.* «Faites entrer le témoin suivant»: 1940–1958, de la Résistance à la V^{ème} République. Rennes: Ouest-France, 1988. 583 p.
- Terre humaine. № 19–20. 1952. Juil.–août. P. 11–12.

Шмелев Дмитрий Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и связей с общественностью Казанского государственного технического университета; DmitryShmelev@mail.ru

ИСТОРИЯ ЧЕРЕЗ ЛИЧНОСТЬ

Л. В. СОФРОНОВА

«КЛИРИК ИЗ ЛОНДОНСКОЙ ЕПАРХИИ»

К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХРИСТИАНСКОГО МЫСЛИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

В статье представлена модель самоидентификации английского мыслителя ренессансной эпохи Дж. Колета, сделана попытка новой интерпретации образа Колета и верификации имеющихся в историографии идентификаций его личности.

Ключевые слова: Дж. Колет, клир, самоидентификация, ренессансный гуманизм, католическая церковь, протестантизм.

В свое время Л. П. Карсавин говорил, что «...предметом истории является изучение социально-психического процесса»¹. Эти слова особенно актуальны для персональной истории, в фокусе которой находится познание внутреннего мира человека: духовных и интеллектуальных исканий, пристрастий и предпочтений, мотивации отдельных поступков и конструирования жизненных проектов. Для решения подобных проблем необходимы, как минимум, два условия. Первое – наличие особого рода источников – психологически ориентированных персональных текстов – исповедей, дневников, мемуаров, автобиографий, писем, где «легче всего искать смысл человеческого поведения»². Второе – использование в историко-биографическом исследовании интегративных усилий других гуманитарных дисциплин, их научных методов, категорий и т.д.³ Очевидно, что возможность всестороннего познания человеческой личности прошлого как целостной системы во всей ее уникальности и полноте может быть реализована только в рамках междисциплинарного синтеза. Для работающих в биографическом жанре медиэвистов в силу малого числа сохранившихся эгодокументов особенно важно попытаться

¹ Карсавин. 1920. С. 33.

² Гуревич. 1993. С. 20. Отсутствие эгодокументов объективно ограничивает возможность исторической биографии, какую бы гносеологическую стратегию — экзистенциальную или более традиционную социально ориентированную — ни избрал автор жизнеописания: Ретина. 2005. С. 12–16; Ретина. 2001 (Казань). С. 345.

³ Ср.: Февр. 1991. С. 97: «... крупные открытия чаще всего совершаются на стыке наук. А раз так, то нет нужды долго доказывать, что психология (...) непременно должна вступить в тесную связь с (...) рядом трудно определенных дисциплин, чья совокупность традиционно именуется историей».

ся, с одной стороны, отследить и актуализировать даже малейшие из них, и, с другой, задать новые вопросы уже известным источникам, не имеющим явного психологического измерения⁴. Именно такая стратегия выбрана нами для настоящего исследования, не претендующего на жанр психобиографии в традиционном понимании этого слова⁵, но представляющего собой попытку анализа самоидентификации одного из представителей ренессансной культуры – Джона Колета (1467–1519)⁶.

Первым биографом Колета был Эразм, создавший весьма специфический портрет (*vitae exemplum*) своего английского патрона в религиозных спорах со сторонниками Лютера⁷. В последующих жизнеописаниях был выработан целый спектр многообразных и зачастую противоречивых интерпретаций образа Колета. Конфессионально ангажированные биографы видели в нем либо протестанта до Реформации, либо последовательного сторонника католицизма. Либерально настроенные историки рисовали образ прогрессивного богослова-экзегета, индифферентного к догматическим вопросам и обрядам, сторонника свободы мысли, толерантности, образования. Сторонники гуманистической трактовки интеллектуального наследия и деятельности Колета приложили немало усилий для сопряжения их с традициями либо чисто итальянского гуманизма, либо полусредневекового религиозного северного гуманизма, либо христианского гуманизма эразмианского толка («философии Христа»), либо флорентийского неоплатонизма⁸. Наконец, в недавней биографии Колет предстал прагматически мыслящим церковным политиком, богатым плюралистом, лицемерно призывавшим других следовать аскетическим нормам, малообразованным, но тщеславным патроном Эразма и других гуманистов⁹. Приведенный перечень подтверждает, что «в биографии, как ни в каком ином жанре, автор

⁴ Ср. довольно резкое выражение Ю. М. Лотмана в его размышлениях о литературной биографии (*Лотман*. 1985. № 2. С. 228): «за словами “отсутствие источников” часто кроется наше неумение их искать, лень ума и приверженность к привычному кругу текстов».

⁵ Классический пример психобиографического исследования см.: *Эриксон*. 1996.

⁶ Подробнее см.: *Софронова*. 2009.

⁷ Латинский текст см.: *Erasmus Desiderius. Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami / Rec. per P.S. et H.M. Allen. Oxonii. 1906–1958. 12 t. T. IV. 1922. P. 507-527. Ep. 1211* (далее – *Vita*, номер страницы, номер строки); русский перевод см.: *Софронова*. 2009. С. 388–423. Об особом характере биографии см.: *Софронова*. 2010.

⁸ *Knight*. 1823; *Seebohm*. 1869; *Lupton*. 1887; *Нума*. 1932; *Marriott*. 1933; *Miles*. 1951; 1962; *Hunt*. 1956; *Jayne*. 1963; *Kristeller*. 1964; *Mc Conica*. 1965; *Осиновский*. 1978; *Arnold*. 2007.

⁹ *Gleason*. 1989.

выражает самого себя через того героя, которому посвящено его исследование, а через себя — и особенности, и требования, и сущность своего времени»¹⁰. Это серьезная методологическая проблема биографии как жанра исторического исследования — проблема взаимодействия героя и автора биографии, каждый из которых вписан в контекст собственной эпохи. Поиск путей преодоления данной коллизии и побудил нас обратиться к вопросу о самоидентификации Колета, которая может послужить надежным критерием для адекватного понимания его внутреннего мира, опыта и деятельности, а, следовательно, и для проверки представленных в историографии идентификаций его личности¹¹.

Непосредственным поводом для данного исследования послужила фраза, включенная в его название — 3.5.1493. *John Colett, Cleric, London diocese*. Она представляет собой запись в регистрационном журнале английского приюта Пресвятой Троицы и св. Томаса Кентерберийского на виа ди Монсеррато в Риме (осн. в 1362 г.), где по традиции останавливались английские путешественники¹². Ежегодно в начале мая в приюте проходила церемония принятия ряда постояльцев в число братьев (*confratres*), из числа которых избиралось правление приюта (смотритель и два казначея). За принятие следовало заплатить определенную сумму. Документ, включающий заинтересовавшую нас фразу, является списком новопринятых братьев за 1475–1504 и 1510–1511 гг. и, в свою очередь, составляет часть книги *Firma Angliae*, где зафиксированы данные о пожертвованиях англичан на нужды госпиталя и об иных поступлениях в его казну¹³. Итак, Джон Колет, назвавший себя клириком из лондонского диоцеза, весной 1493 г. находился в Риме, жил в английском приюте; 3 мая 1493 г. на общем собрании принят в число братьев и заплатил за принятие назначенную Уставом сумму в 2 дуката. Архивы приюта были опубликованы к 600-летию этого учреждения¹⁴ в 1962 г. Их данные не были учтены биографами Колета, так как к тому

¹⁰ Репина. 2001. С. 9.

¹¹ О ключевом значении проблемы самоидентификации личности в персональной истории см.: Репина. 2001. С. 10–11.

¹² Подробное описание истории приюта см.: *The English Hospice in Rome...* P. 15–189; *Harvey*. 1999. P. 55–76; *Park*. 1954. P. 358–376.

¹³ *The English Hospice in Rome...* Appendix 25. Liber XVII. *The Firma Angliae*. P. 176–192; P. 191 – о Колете. Название книги – связано с наименованием ежегодного сбора в пользу приюта, проводимого в Англии со времен правления Ричарда II.

¹⁴ *The English Hospice in Rome...* Приют Пресвятой Троицы и св. Томаса Кентерберийского (*Hospital Sanctissimae Trinitatis et Sancti Thomae Martyris Anglorum*) был основан в 1362 г.; после разрыва Англии с папством преобразован (1579) в английскую католическую семинарию (*Venerable English College*), подробнее см.: *Gasquet*. 1920.

времени фундаментальные жизнеописания английского мыслителя уже были написаны. Если рассматривать эту запись с точки зрения чистой фактологии, то она незначительна. Задолго до ее обнаружения ученым было известно, что Джон Колет, известный английский богослов, в будущем – настоятель кафедрального собора в Лондоне, основатель гуманистической школы св. Павла, друг и наставник Эразма и Мора, в 1492–1495 гг. совершил традиционное для выпускников английских университетов образовательное путешествие на континент¹⁵. Маршрут его известен лишь приблизительно, но факт пребывания в Риме достоверно установлен по другим источникам¹⁶. Следовательно, запись из архива приюта не добавляет новых данных к «фактологическому каркасу» биографии Дж. Колета, тем самым объясняя невнимание к ней авторов новейших исследований, посвященных английскому мыслителю¹⁷. Однако она весьма примечательна в силу двух обстоятельств: во-первых, клириком Лондонской епархии назвал себя человек, который не был церковнослужителем¹⁸; во-вторых, другие английские путешественники, близкие ему в интеллектуальном отношении, будучи возводимы в число собратьев приюта, позиционировали себя как обладателей научной степени. Так, 3 мая 1490 г. выдающийся знаток классического наследия, врач Т. Линакр (1460–1524) и блестящий филолог-классик, будущий главный учитель школы св. Павла У. Лили (1468–1522) обозначили себя магистрами искусств, будущий архиепископ Кентерберийский У. Уорем (1450–1532) – доктором обоих прав, в 1511 г. ученый-грецист и церковный деятель У. Латимер (1467–1545) также назвался магистром искусств¹⁹. Колет, получивший ко времени путешествия степени бакалавра (1485 г.) и магистра искусств (1488 г.) Кембриджского универси-

¹⁵ Vita. 515:269–270: «Потом [по окончании университета – Л. С.] словно торговец, жадный до хороших товаров, посетил Галлию, а затем Италию». Подробнее см.: Софронова. 2009. С. 70–99.

¹⁶ См. письмо Колета от 1 апреля 1493 г., отправленное из Рима в Йорк Кристоферу Урвику, настоятелю кафедрального собора: Ferguson. 1934. P. 696–699.

¹⁷ См., например, недавние биографии Дж. Колета: Arnold. 2007. P. 22; Gleason. 1989. P. 45. Первое упоминание о пребывании Колета в английском приюте в Риме со ссылкой на неопубликованные на тот момент архивы см.: Park. 1954. P. 365.

¹⁸ Рукоположение Колета в диакона состоялось в 17 декабря 1497 г., в сан священника – 25 марта 1498 г. Косвенным поводом к подобной саморепрезентации могло послужить держание Колетом должности приходского священника в церкви св. Дунстана и Всех святых в приходе Степни Лондонской епархии. Однако авторы биографий либо считают дату передачи ему этого бенефиция неустановленной (Lupton. 1887. P. 118), либо (Arnold. 2007. P. 21) указывают на 1499 г. Точно известна дата его отставки — 21 сентября 1505 г.

¹⁹ The English Hospice in Rome... P. 190, 192.

тета²⁰, мог поступить так же. Однако он предпочел назвать себя клириком, *de iure* и *de facto* не будучи таковым. Почему?

Попытка объяснить данный казус наталкивает на мысль о проявлении здесь того, что в социологии и социальной психологии называют *самоидентификацией личности*²¹. Под самоидентификацией мы понимаем процесс и результат²² эмоционального и иного отождествления индивидом себя с другим человеком, определенной социальной группой, образом, архетипом, происходящего в ходе социализации, посредством которой приобретаются и воспринимаются как собственные нормы, ценности, социальные роли, моральные качества представителей тех социальных групп, к которым принадлежит или стремится принадлежать индивид. Учитывая множественность объектов, на которые направлен этот процесс, самоидентификация имеет сложную иерархическую структуру, включающую социально-профессиональный, семейно-клановый, национально-территориальный, религиозно-идеологический, эволюционно-видовой, половой, духовный уровни²³. Рациональнее других осознается социально-профессиональный уровень самоидентификации, поэтому его влияние на поведение человека прослеживается в первую очередь. С другой стороны, на этом уровне сильнее всего проявляется детерминирующее воздействие внешних факторов (социальная нестабильность, размывание традиционной структуры социума, анония). Деформация или разрушение одного из слоев самоидентификации ведет к дестабилизации всей системы, приводя к кризису идентичности.

Итак, в 1493 г. – почти за пять лет до начала духовной карьеры – Колет идентифицировал себя клириком. Этот факт упреждающего при-

²⁰ См.: *Alumni Cantabrigiensis*... P. 371.

²¹ Этимология и дефиниции этого понятия, всевозможные подходы к его интерпретации, ставшие предметом осмысления специалистами разных гуманитарных дисциплин, естественно, остались за пределами нашего внимания. Подробнее см.: *Эрикссон*. 1996; *Tajfel*. 1982; Московичи. 1996; *Hogg, Abrams*. 1988; Социальная идентификация личности. 1993; *Ядов*. 1994. *Микляева, Румянцева*. 2008.

²² Осознавая проводимые специалистами разграничения между *идентификацией как процессом* самоотождествления и *идентичностью как результатом* этого процесса, как *состоянием*, мы условно позволяем себе использовать данные понятия, в качестве синонимов. Семантически они близки друг другу, а обозначаемые ими психологические реальности в опыте конкретной личности не всегда поддаются дифференциации. Сходной позиции придерживаются и некоторые психологи: *Асмолов*. 1986; *Микляева, Румянцева*. 2008. С. 4–7.

²³ *Щербаков*. Модель уровней самоидентификации... Основой для данной модели послужила разработанная автором кластерная теория интеграции, которая позволила интегрировать данные психологии, психотерапии, биологии, эволюционной теории, физиологии мозга и физики в целостную модель сознания. *Щербаков*. 1998.

числения себя к духовенству имеет первостепенную значимость. Видимо, в механизме социально-профессиональной самоидентификации реальное овладение профессией (рукоположение, получение пребанды или деятельность в той или иной церковной должности) имело минимальное значение в глазах Колета²⁴. Априори отождествляя себя с клиром, Колет, несомненно, стремился приобрести и разделял нормы, ценности, социальные роли, нравственные качества, характеризовавшие эту сословную группу, пока они, в конечном итоге, не стали регулятором его поведения. Каков же механизм выбора Колетом данной группы в качестве объекта идентификации? К сожалению, до нас не дошли какие-либо сочинения Колета, относящиеся к началу 1490-х гг. Он не оставил воспоминаний об этом и предшествующем периодах. По этой причине наше представление о корнях подобной ориентации Колета имеет только гипотетический характер, основываясь на отдельных фактах биографии и отрывках из других источников, которые поддаются психологическому измерению. Первым фактором, повлиявшим на процесс его самоопределения, был личный детский опыт, о значении которого в жизни человека метафорично высказался сам Колет: «Какова плантация, таково и дерево»²⁵. Родители Колета были известны своей глубокой верой и благочестием²⁶. В доме была выстроена домовая церковь с алтарем, где капеллан ежедневно служил мессу и совершал другие богослужения, в которых, несомненно, юный Джон принимал участие²⁷. Достаточно поздний 35-летний возраст вступления в брак Генри Колета свидетельствует о том, что убедительные примеры обуздания чувственности и самоконтроля Дж. Колет получил именно в семье. По словам хорошо знавшего его Эразма, Колет «вплоть до смерти сохранил цветок целомудрия»²⁸.

²⁴ Среди отечественных социопсихологов доминирует точка зрения, согласно которой профессиональная самоидентификация может быть сформирована до этапа полного овладения профессией: Микляева, Румянцева. 2008. С. 8–47. Напротив, Ермолаева Е. П. (см.: Ермолаева. 2001) полагает, что содержанием профессиональной идентичности является устойчивое и согласованное взаимодействие основных элементов профессионального процесса, отождествляя, на наш взгляд, профессиональную идентичность и профессионализм.

²⁵ Colet. 1869. P. 272.

²⁶ Vergil Polidore. P. 146: “Henricus Coletus...civis summa modestia et gravitate”. Кстати, слово *modestia* может переводиться как «умеренность, соблюдение меры, самоограничение, скромность, дисциплина, благопристойность». Любое из этих значений подтверждает приведенную здесь характеристику.

²⁷ Отец первым из мерсеров получил на это специальную королевскую лицензию: Sutton. P. 171.

²⁸ Vita. 519: 396–398.

Мы не знаем, каковы были отношения Джона с отцом. Учитывая активную предпринимательскую и административную деятельность, а, следовательно, занятость последнего и традиции семейного воспитания того времени, логично предположить, что отец не уделял большого внимания подрастающему сыну. Об отсутствии прочных эмоциональных связей между ними может свидетельствовать высказанное вскользь в парафразе Псевдо-Дионисия мнение Колета о роли отца и крестного в жизни мальчика. Колет отдает предпочтение духовному отцовству:

С точки зрения истинного отцовства – во Христе, очевидно, что для воспитанника является большим и настоящим отцом тот, кто рожденного человека приводит к Христу, чем родитель, который дает ему плоть. Впрочем, сын должен обоих родителей почитать, и первым – того, кто сделал его сыном человеческим, а вторым – сделавшего его сыном Божиим, хотя второму он обязан, конечно, больше и его должен прежде всего ставить на место отца. Ибо важнее быть привитым Христу, чем порожденным от человека. Вот почему восприимчив дороже и должен стоять на высшем месте, по сравнению с отцом; его обязанности и труды намного важнее и похвальнее, и более желанны как Богу, так и ребенку, нежели все то, что сделано отцом для его зачатия. Ибо отец сделал дело плоти, причем больше для собственного удовольствия, чем для пользы дитя. Восприимчив же без удовольствия, более того, со скорбью приводит воспитанника к Христу, движимый любовью к Богу во спасение человека²⁹.

Возможно, это заключение Колета о минимальной роли отца в жизни ребенка могло быть сделано на основе собственного детского опыта. Скорее всего, мальчик больше общался с матерью, чем с отцом, вероятно, отложившим свое участие в воспитании сына до той поры, когда отрока нужно будет обучать искусству торговли и политики. К сожалению, неизвестно имя его крестного отца, который, как свидетельствовал повзрослевший Колет, мог сыграть определяющую роль в его воспитании.

Еще одним – драматическим – компонентом детского опыта была смерть всех братьев и сестер Колета. Из двадцати двух детей, родившихся у Генри и Кристиан Колетов, выжил только один первенец

²⁹ Colet. 1869. P. 270. Попутно заметим, что Дж. Глизон (*Gleason*. P. 345) увидел в этих рассуждениях о «собственном удовольствии» родителя плохо скрытое проявление зависти человека, живущего в celibate. На наш взгляд, в этой ситуации современное секуляризованное сознание заставляет американского историка приписывать Колету несвойственные ему побуждения. Заметим, что Колет, принимая духовный сан, был далеко не юным человеком – в момент рукоположения ему было тридцать лет. В отличие от многих представителей духовного сословия, например Эразма, это был его осознанный выбор. В любом случае, без дополнительных аргументов подобные выводы из области психоанализа не имеют научного значения. В подобных ситуациях исследователь обязан осознавать опасность увлечения психоанализом и, как тонко заметил Жак ле Гофф (*Ле Гофф*. 2000. С. 17), «подавить в себе желание восстановить то, что скрывается за молчанием героя или источников».

Джон³⁰. Высокая детская смертность была обыденным явлением в средневековье, но, похоже, смертность в семье Колетов даже современниками воспринималась как неординарный факт³¹. В источниках не сохранилось свидетельств отношения Колета и его родителей к этим утратам. Эразм вспоминал о госпоже Кристиан спустя годы в письме к одному из своих молодых друзей, скорбевшему об утрате дочери³², и Роттердамец привел ему в пример английскую леди как образец мужества, терпения и примирения с судьбой. Такая сила духа, по словам гуманиста, была результатом смиренной веры и доверия Богу³³. В любом случае, печальные впечатления детства, прошедшего «среди люлек и гробов», могли побудить Колета задуматься о бренности всего земного и обратиться к более совершенной форме христианской жизни, ведущей к жизни вечной. По крайней мере, такое пессимистическое мировосприятие явилось бы естественной психологической реакцией на те многочисленные смерти близких, свидетелем которых был Колет³⁴. К тому же, вполне вероятно, что смерть детей была воспринята родителями

³⁰ Vergil Polidore. P. 146.

³¹ Тем более что она противоречила общей демографической тенденции к увеличению числа выживших детей в конце XIV–XV вв. Подробнее см.: *Shahar*. 1990; *Бессмертный*. 1991; *Orme*. 2001.

³² Бонифаций Амербах (1495–1562) – известный немецкий гуманист-реформатор. Жил в Базеле в одно время с Эразмом. Из пятерых детей он особенно был привязан к старшей дочери – Урсуле (1528–1532), чью смерть в четырехлетнем возрасте остро переживал. Скорбь отца по поводу этой утраты и дружеское утешение Эразма стали темой письма. Подробнее о Бонифации Амербахе и его семье см.: *Contemporaries of Erasmus*. Vol. I. P. 42–46, 48.

³³ OE. X. P. 59. Ep. 2684: «Я знал в Англии мать Джона Колета, женщину исключительной добродетели; она имела от своего мужа 11 сыновей и столько же дочерей; и все покинули ее, за исключением старшего сына. Она потеряла и своего мужа, много старше ее. Она, когда ей шел уже девяностый год, выглядела столь спокойной и была столь веселой, что ты мог бы подумать, будто она никогда не лила слез и никогда не приносила детей в этот мир. Если я не ошибаюсь, она пережила и своего сына – декана Колета. Такую силу духа дала женщине не ученость, а любовь к Богу».

³⁴ Но не единственно возможной. Для позднесредневекового общества были характерны две противоположные реакции на смерть и страх смерти, обуславливавшие соответствующие модели поведения. Рост пессимизма, отчаяния, трагического переосмысления земного бытия, как показал Й. Хейзинга (см. первую и вторую главы «Осени Средневековья»), сосуществовали с «опьяняющей тягой» ко всему земному, «жадностью к жизни», горению «алчной страсти» вкушать ее наиболее «сочные» плоды. О неразрывной связи этих умонастроений и поведенческих стереотипов с усилившимся страхом смерти см.: *Voase*. 1972; *Бессмертный*. 1991. С. 169. Кстати, постоянно нуждавшийся в средствах Эразм, упоминая смерть братьев и сестер Колета, сделавшую его единственным наследником, оценил данное обстоятельство как один из «подарков фортуны».

Колета – набожными католиками – как знак воздаяния за некие грехи, требующие сугубой молитвы. Поэтому выбор Колета, принявшего сан и, следовательно, ставшего молитвенником за свой род (здесь проявляется семейно-родовой уровень самоидентификации), соответствовал благочестивым чаяниям его близких. Таким образом, есть основания заключить, что воздействие детского опыта на процесс самоидентификации Колета было комплексным – как на уровне подражания, так и вербального программирования. На наш взгляд, именно в атмосфере родительской семьи коренятся истоки его аскетизма, негативного отношения к институту брака и причины избрания духовной карьеры.

Еще одним фактором социального самоопределения личности является общественный статус группы, выступающей объектом самоидентификации. Нет нужды говорить, что принадлежность к клиру, высшему сословию «молящихся», гарантировала индивиду материальное благополучие и высокое положение в социуме. По этой причине многие гуманисты, современники Колета, становились церковнослужителями. Не следует пренебрегать прагматическими мотивами. Сын торговца-мерсера, самостоятельно заработавшего огромный капитал, Колет вырос в атмосфере бюргерской рачительности и бережливости. Он обладал присущей своему сословию деловой хваткой и рациональным отношением к богатству. Позже, унаследовав отцовское состояние, одно из крупнейших в истории Англии³⁵, даже в делах благотворительности Колет был осмотрителен и экономен³⁶. Он знал, каких усилий требовали от отца его предпринимательство и исполнение административных обязанностей в компании мерсеров. Церковная пребенда была выгодным источником дохода для Колета и его семьи³⁷. К тому же, вступление в духовное сословие при весьма влиятельных аристократических связях се-

³⁵ Недавно Дж. Колет был включен в число 250 богатейших в истории Англии людей: *Beresford, Rubinstein*. 2007. P. 308. По мнению авторов, доходы от его недвижимости составляли 15 000 ф.ст. в год (0,31% национального дохода), что в пересчете на сегодняшний курс составляет 3440 млрд ф.ст.

³⁶ Эразм в переписке упоминал о нравоучениях, которые Колет позволял себе, даже будучи благодетелем Роттердамца: ОЕ. I. P. 455–456. Ep. 225; P. 471. Ep. 231. Частичный перевод этих писем и их анализ см.: *Осиновский*. 2006. С. 30–31, 42. Уже после смерти Колета (ОЕ. V. P. 239. Ep. 1347) Эразм сообщал, что, несмотря на огромное состояние, тот имел тяжбы с дядей по поводу земельных владений, но в последний момент отказался от судебного разбирательства.

³⁷ Свою первую церковную пребенду – должность ректора в приходе Деннигтон (Суффолк) Колет получил от дяди по матери У. Невета и его второй жены Джован, дочери Хамфри Стаффорда, герцога Бекингема в 1485 г. Этот приход Колет держал всю жизнь. Список бенефициев Колета см.: *Emden*. 1963. P. 148.

мы обеспечивало Колету перспективу карьерного роста, как в государственных, так и церковных структурах.

Полагаем, клир явился объектом самоидентификации Колета также в силу высокого нравственного авторитета этой группы в обществе³⁸. К сожалению, мы не располагаем данными источников о восприятии им духовного сословия в 1493 г., но несколько лет спустя тема законности привилегированного положения клира, его духовных преимуществ перед мирянами приобретет значение центрального топоса его мысли. Колет, осмысливая свое место в структуре социума, идентифицировал себя именно с клиром, поскольку принадлежность к этой социальной группе отвечала его личным потребностям, предоставляя максимально широкие возможности для самореализации в русле исполняемой клиром миссии проводника и посредника между грешным человечеством и Богом.

Вернемся к самоидентификации Колета «я – клирик из Лондонской епархии» и попытаемся использовать ее в качестве ключа для интерпретации его мировоззрения. Прежде всего, утверждение «я – клирик» содержит в себе социально-профессиональную самоидентификацию. Кроме того, в нем присутствует явная сопряженность социально-профессионального, религиозно-идеологического и духовного уровней самоидентификации, которая ведет к их резонансному взаимоусилению. Эти три уровня самоидентификации действуют в унисон, определяя его мироощущение, формирование системы ценностей, сферу его научных интересов, расстановку приоритетов, его поведение и конструирование связей в обществе. Данное обстоятельство логически объясняет, почему все труды Колета имеют отчетливый экклесиологический ракурс. Он был комментатором, основная часть его творческого наследия представляет собой толкования других текстов. Только два трактата «О церковных таинствах» (*Opus De Sacramenti Ecclesiae*) и «О мистическом теле Христовом» (*De compositione Sancti Corporis Christi Mystici, que est Ecclesia*) составляют исключение, являясь изложением его собственных богословских идей. И оба сочинения посвящены церкви. На наш взгляд показательно, что в первом из них приоритетное положение в системе церковных таинств отводится таинству священства, которое Колет называет самым главным и наиболее древним. По его мнению, оно было учреждено первым, и через него впоследствии были установлены все другие таинства³⁹. Церковная иерархия есть продолжение ангельских чинов и отражение иерархического устройства всего мира. Данная тема

³⁸ Подробнее см.: *Scarisbrick. 1984. Marshall. 1994.*

³⁹ *Colet. 1989. P. 274–276.*

обусловила его интерес к наследию Псевдо-Дионисия Ареопагита. В отличие от других гуманистов, обращавшихся к творчеству христианского мыслителя-неоплатоника (У. Гроцина, Лефевра д'Этапля), Колет обошел вниманием проблему авторства и космологический аспект Ареопагитик. Из всего корпуса сочинений Псевдо-Дионисия Колет составил парафраз только трактатов «О небесной иерархии» (*Opus de Caelesti Dionysii Hierarchia*), «О церковной иерархии» (*Opus de Ecclesiastica Dionysii Hierarchia*)⁴⁰. Другой излюбленной темой в богословии Колета является тема церкви как мистического Тела Христова. Ей посвящен второй из упомянутых трактатов, а также ряд разделов в его толкованиях Посланий апостола Павла. Опять же показательно, что эти разделы по объему превышают другие части комментариев. Таким образом, учение о церкви составляет интегральную ось и основной компонент его мысли, что указывает на принципиальное отличие Колета от движения «нового благочестия», от «философии Христа» Эразма. При выраженном стремлении к личному благочестию он не мыслил духовной жизни вне лона церкви. Его личный духовный опыт – выражение духовного уровня самоидентификации – тесно переплетен с церковной практикой.

Утверждение «я – клирик» является инверсной самоидентификацией, поскольку подразумевает не только позитивное, но и негативное утверждение: «я – не мирянин». В «Соборной проповеди» он констатировал: «Мы сейчас осознаем наше отличие от мирян»⁴¹. Тема высшего, по сравнению с мирянами, духовного и социального статуса клира была настолько важна для него, что обнаруживается во многих его сочинениях. В парафразе «Церковной иерархии» Псевдо-Дионисия Колет объяснял привилегированное положение духовенства в обществе онтологически: в чувственном мире священство является высшей ступенью земной иерархии, непосредственно примыкает к горним ангельским чинам. Следовательно, клир получает наибольшую меру эмануруемой божественной благодати⁴². Поэтому достоинство духовенства «выше достоинства короля или императора; оно равно достоинству ангелов». В «Соборной проповеди» Колет говорит о «сиянии этого великого звания»⁴³. Графическая визуализация данной темы, выполненная его собственной рукой, обнаруживается на полях рукописи толкования Послания к Коринфянам, где Колет начертил контур высокой горы, в основании кото-

⁴⁰ *Colet*. 1869.

⁴¹ *Colet*. 1823. P. 243; *Colet*. 2005. С. 115.

⁴² *Colet*. 1869. P. 198.

⁴³ *Colet*. 1823. P. 243; *Colet*. 2005. С. 115.

рой написал *Mundus*, а на вершине – *Ecclesia*. В комментарии к рисунку он написал, что «церковь возвышается (<...> над исполненной тягот долиной земного мира, (<...> между небом и землей на вершине скалы, которая есть сам высочайший Христос)⁴⁴. Срединное положение церкви в универсуме определяет, по мысли Колета, главное предназначение духовенства: «Мы посредники и путь к Богу для людей». Отсюда – законное право клира на привилегии, на обоснованность которых он указывал неоднократно⁴⁵. Для нас важен не только факт поддержки им этого ортодоксального положения, благодаря которому снимается вопрос о его протестантизме, но и форма, в которую он облек свою мысль. Использование местоимения «мы» еще раз свидетельствует о рационально осознаваемом восприятии Колетом своей социальной самоидентификации. Он настаивал на необходимости сохранить границу, отделяющую духовенство от мирян. Ее обязаны соблюдать обе стороны. Как священники не должны жить, «смешавшись, спутавшись с мирянами», так и светская власть не должна вмешиваться в церковные дела⁴⁶. Нарушение границы между церковью и миром, то есть *обмирщение* духовенства, является, по мысли Колета, главной причиной того кризиса, в котором оказалась современная ему церковь. Соответственно, в восстановлении данной границы он видел содержание и цель церковной реформы. Сам Колет, считая опасным влияние мира, по словам Эразма, «воздерживался от общения с мирянами, особенно от пиров». А если когда-либо его принуждали к этому, он стремился найти собеседника из духовенства, «чтобы, говоря по-латыни, избегать непристойных разговоров»⁴⁷.

Самоидентификация отчетливо проявляется в сфере морали. Именно сохранение своего идентификационного статуса является значимой и – что особенно важно – осознанной мотивацией выполнения моральных норм или соблюдения взятых на себя обязательств. Данное положение позволяет адекватно понять аскетизм Колета. Эразм писал, что «природа наделила его исключительно пылким характером, <...> он был удивительно склонен к любви, роскоши, сну, сверх меры расположен к шуткам и забавам <...> и совсем не чужд <...> сребролюбию»⁴⁸. В итоге напряженной и ревностной работы над собой Колет стал образцом благочестия для современников. Его аскетическая практика под-

⁴⁴ *Colet*. 1985. P. 240.

⁴⁵ *Ibid*. P. 249–250; *Колет*. 2005. С. 120–121.

⁴⁶ *Ibid*. P. 243; Там же. С.115.

⁴⁷ *Vita*. 519: 396–398

⁴⁸ *Ibid*. 519: 390–393.

робно описана тем же Эразмом: «Он вплоть до смерти сохранил цветок целомудрия. Богатство потратил на благотворительные нужды. Против высокомерия он боролся тем, что понуждал себя сносить [замечания] даже от слуги. Венеру, любовь ко сну и роскоши он сокрушил постоянным отказом от обеда, непрерывным воздержанием, неутомимым усердием в ученых занятиях и беседами о божественном»⁴⁹. Столь неуклонное следование высоким нравственным нормам являлось результатом сознательных волевых усилий по сохранению и демонстрации своей принадлежности к клиру. Цель аскезы Колета не ограничивается задачей личного совершенствования. У клира она служит необходимым условием выполнения пастырской миссии. Полагаем, именно по этой причине Колет, по словам Эразма, сохранял «постоянно контроль над самим собой, ...тщательно остерегался всего, что могло бы стать соблазном (ему и окружающим – Л. С.) Не забывал, что глаза всех прикованы к нему»⁵⁰. Социальная самоидентификация Колета обладала выраженной устойчивостью: по свидетельству современника, «ни милость фортуны, ни пылкость натуры, зовущей совсем к другому, не смогли отвлечь его от приверженности евангельской жизни»⁵¹.

Самоидентификация «я – клирик» означает как включение в свой внутренний мир ценностей клира – объекта идентификации, признание их лично значимыми, так и отказ от ценностей, свойственных чужим группам. Именно здесь следует искать причины избирательного подхода Колета к культурному наследию прошлого: специфики его интеллектуальных пристрастий, круга чтения, отношения к античной культуре. Приведем несколько примеров такой избирательности, обусловленной самоидентификацией «я – клирик». Прежде всего, она проявилась в необычном для гуманиста отношении к греческому языку. Ценность второго классического языка признавалась в среде гуманистической интеллигенции неоспоримой, ради овладения им европейские интеллектуалы приезжали на Апеннины, где изучали его под руководством итальянских и греческих ученых. Колет имел такую возможность, но пренебрег ею, видимо, приняв интерес к греческому всего лишь за интеллектуальную моду. Он не стал ей следовать, полагая владение одним латинским языком достаточным для духовной карьеры⁵².

⁴⁹ Ibid. 519: 396–411.

⁵⁰ Ibid. 519: 411.

⁵¹ Ibid. 526–7: 622–623.

⁵² В 1516 г. в одном из писем Эразма (ОЕ. II. P. 350. Ep. 471) в перечне английских сторонников И. Рейхлина он упомянут с пометкой: «Все они знают греческий, за исключением Колета».

Важные для него греческие тексты – сочинения восточных Отцов церкви – были доступны ему в латинских переводах⁵³. А имеющаяся греческая литература была представлена сочинениями светского характера⁵⁴ и не привлекла его внимания. Лишь за три года до смерти в 1516 г. Колет приступил к изучению греческого языка, стимулом к чему послужило издание Эразмом греческого текста Нового Завета и исправленного на его основе латинского перевода. Только увидев на этом примере, что истинное богословие, к которому он стремился, невозможно без знания второго древнего языка, Колет начал его учить⁵⁵.

Самоидентификация «я – клирик» проявилась также в своеобразном выборе Колетом познавательных приоритетов, определившим необычный для гуманиста круг чтения. Античная литература занимала в нем самое скромное место. Главным источником его мысли было Священное Писание, Евангелия он знал наизусть. Вторым наиболее востребованным и чаще всего цитируемым новозаветным источником были Послания апостола Павла. Проанализировав опыт чтения Колета другой литературы⁵⁶, можно заключить, что английский мыслитель отдавал явное предпочтение христианским авторам, особенно если их сочинения обладали риторическими достоинствами, сравнимыми с элоквенцией древних, и цитировал преимущественно их же. Этим условиям отвечали труды Отцов церкви – Августина, Оригена, Амвросия, Иеронима⁵⁷. В Уставе школы св. Павла Колет рекомендовал учителям «учить детей хорошей литературе, как на латинском, так и греческом языках, и читать хороших авторов, у которых истинно римское красноречие сочетается с мудростью»⁵⁸, Признавая риторическое совершенство латыни «Туллия, Саллюстия, Вергилия, Теренция», в список рекомендуемых

⁵³ *Geanakoplos*. 1976. P. 265 etc. Ch. 14: The Last Step: Western Recovery and Translation of the Greek Church Fathers and Their First Printed Editions in the Renaissance.

⁵⁴ Среди греческих текстов, изданных до середины 90-х гг. XV в. преобладали грамматики, литературные памятники, сочинения ораторов, философов, труды по медицине. Подробнее см.: *Wilson*. 1992. P. 127–162.

⁵⁵ В 1516 г. в Колет писал Эразму (ОЕ. II. P. 257, 258. Ep. 423): «Что до меня, то я так захвачен твоими штудиями и столь очарован твоим новым изданием, что оно вызвало во мне самые разные чувства. С одной стороны, я стал сожалеть, что не выучил греческий, без которого мы ничто. С другой — радуюсь тому свету, который несут лучи твоего гения.<...> Я целиком посвящаю себя и, если позволишь, присоединюсь к тебе и даже стану твоим учеником в изучении греческого языка, хоть я уже стар годами и почти старик; но я помню, что Катон уже старцем выучил греческий».

⁵⁶ Подробнее см.: *Софронова*. 2009. С. 117–223.

⁵⁷ Cf.: *Vita*. 515: 270–273.

⁵⁸ *Colet*. 1967. P. 1044.

авторов, «наиболее удобных и приемлемых для наилучшего овладения истинно латинской речью», он, тем не менее, включил имена Лактанция, Пруденция, Проба, Седулия, Ювенка, Баптисты Мантуана, т.е., за исключением последнего, христианских поэтов IV–V вв.⁵⁹ Не зная греческого, он мог читать лишь латинских авторов, но, в целом, идеи и образы античности не составили сколько-нибудь значительного компонента его мысли. Приведем лишь один пример. Колет и Эразм комментировали тот же раздел Нового Завета – Послание апостола Павла к Римлянам. Глубокие познания Эразма в античной литературе обусловили наличие в его тексте толкования более 200 античных ассоциаций (включая цитаты и аллюзии), что более чем в 10 раз превосходит число ссылок на классических авторов не только в Колетовом комментарии Послания к Римлянам, но и во всех его сочинениях вместе взятых⁶⁰. Причем, его ссылки на античных авторов в большинстве случаев носят характер аллюзий и либо не достаточно уверенно атрибутированы, либо представлены общими местами. Полагаем, он действительно не читал и не знал многое из того, что входило в традиционную программу гуманистической образованности. Он не обладал той широтой эрудиции, которая составляла гордость и славу многих современных ему гуманистов. У Колета отсутствовали типичные для гуманистов литературная «всеядность» и познавательный оптимизм, поскольку он имел другое устремление духа, определившее смысл его жизни. Слова Эразма о том, что Колет в своем образовательном путешествии читал только религиозную литературу, «готовя себя к проповеди Евангелия»⁶¹, свидетельствуют об осознании им своей миссии как миссии человека церкви, радующего за ее духовное возрождение на основе Евангелия. Главной, неоспоримой и абсолютной ценностью для него была христианская древность. Ориентируясь на пример св. Павла, назвавшего эллинскую

⁵⁹ Поставив в тупик исследователей, ожидавших от него традиционной программы *studia humanitatis*. Так, А. Лич утверждал (*Leach*. 1915. P. 280), что соответствующий раздел Устава демонстрирует «несостоятельность Колета как критика классической латыни», это «не прогресс, а, скорее, реакция, не поддержка гуманизма, а поворот к средневековой предвзятости»; *Lewis*. P. 160: «невозможно было выдвинуть более ужасной и более неразумной схемы!»; *Clarke*. 1959. P. 5: «Данное положение Устава курьезно и вызывает легкое замешательство <...> мы могли бы ожидать своего рода манифест гуманизма. То, что мы находим, — в некотором отношении не согласуется с тем, что традиционно включает в себя гуманизм».

⁶⁰ *Erasmus Roterodamus*. 1994. P. 455–456. См.: *Payne*. 1971. P. 1–35; *Rummel*. 1986. P. 35–42, 52–74. Список авторов, цитированных Колетом, см.: *Gleason*. 334–340.

⁶¹ *Vita*. 515: 280.

мудрость суемудрием и безумием (I Кор. III: 19–20), Колет, вероятно, счел ненужным ее изучение и применение, даже в части риторики, при проповеди и толковании Евангелия⁶². Об использовании последних в библейской герменевтике Колет высказывался крайне негативно:

Если кто-то скажет, как они это обычно делают, что чтение языческих книг помогает пониманию Священного Писания, пусть они сами увидят, что это чтение, на которое они уповают, более всего им помешает. Когда ты так поступаешь, ты не веришь, что только благодатью и молитвами можно постичь Священное Писание, с помощью Христа и веры, а не разумом и с помощью язычников <...> Не становитесь читателями философов, союзниками демонов»⁶³.

Пolemичность данного пассажа очевидна. На рубеже XV–XVI вв. библейские штудии составляли важнейшую часть гуманистической культуры. В этих условиях вечный со времен возникновения христианства вопрос о том, «что общего между Афинами и Иерусалимом», вновь приобрел особую актуальность. Будучи в Италии, Колет столкнулся с попытками видного гуманиста, главы Платоновской академии М. Фичиностроить христианство в некую единую религиозно-философскую традицию «всеобщей религии»⁶⁴. Труды Фичино по возрождению древнейшей «благочестивой философии», заключенной в «Герметическом корпусе», «Халдейских оракулах», «Гимнах Орфея», сочинениях Платона и неоплатоников, поднимали престиж языческой мудрости до уровня библейской и христианской и, *volens-nolens*, способствовали пропаганде язычества⁶⁵. Колет же оценивал достижения языческой философии в соответствии с мнением апостола Павла (Рим. III: 20) как результат неполного откровения и отдавал предпочтение апостольским сочинениям, чьи авторы получили от Христа знание во всей его полноте⁶⁶. На наш взгляд, высказывание Колета можно считать реакцией либо

⁶² См. низкую оценку Колетом античного искусства красноречия, как «пустых бредней человеческого ума»: *Colet*. 1985. P. 98.

⁶³ *Ibid*. P. 216, 218.

⁶⁴ См.: *Кудрявцев*. 2008.

⁶⁵ Именно в этом упрекал Фичино венгерский теолог Иоанн Панноний (Янош Вараци), который усомнился в предопределенности свыше Фичиновых переводов языческих философов. См. письмо Паннония Фичино: *Pannonius I. Dubitatio Utrum opera philosophica regantur fato an providential // Ficinus M.* 1495. Lib. VIII. Fol. CXXXVla): «...я не понимаю, каким образом возобновление древних может служить провидению. Эта теология древних даже не христианская». О склонности Фичино и членов его академии к паганизации христианства см.: *Лосев*. 1978. С. 317. Подробнее историографию вопроса см.: *Кудрявцев*. 2008. С. 100–101, 274–275, 320.

⁶⁶ *Colet*. 1873. P. 214: «Язычники имели философов, наученных людьми; иудеи – пророков, наученных ангелами; и только христиане – апостолов, выученных самим Иисусом, предвечным Богом».

на концепцию «всеобщей религии» М. Фичино⁶⁷, либо на некие споры о возможности использования языческого наследия в христианской экзегетике, вероятно, имевшие место в Оксфордском университете в конце 1490-х годов⁶⁸. Фраза «как они это обычно делают» — может быть в равной степени отнесена и к Фичино, и к оксфордским оппонентам Колета. В любом случае, он высказал однозначно негативное отношение и к памятникам языческой древности и к тем своим современникам, чьи стараниями возрождается языческая мудрость:

Мы должны трапезничать только с Христом, на отборном столе Писания, и пировать наименее приятнейшим образом с Ним в Новом Завете, где вода Моисея была обращена в вино самим Христом. На других столах и в других книгах, созданных язычниками, на которых нет ничего от вкуса Христова, и ничего, кроме вкуса демонов, — за теми столами, конечно, ни одному христианину сидеть не следует, если только он не решился стать сотрапезником демона, а не Господа. На каких пастбищах и с кем человек пасется, таким и вырастает. Если мы стремимся наслаждаться языческой мудростью, которая есть демоническая, а не Господня, мы теряем Его разум. На этих столах, то есть в книгах, берет пищу только тот, кто не доверяет Писанию или пренебрегает им... *Все, что есть истина, находится на роскошной и преизобильной трапезе Священного Писания... Истина постигается благодатью. Благодать приобретается услышанной молитвой. Молитва бывает услышана, если ее усилить благочестием и укрепить постом... Отсюда чеканное правило: только то позволено, что разрешено в церкви*⁶⁹.

Выделенный пассаж особенно значим: Колет отверг не только паганизирующую тенденцию ренессансного гуманизма, но и характерное для гуманистической интеллигенции увлечение научными занятиями. Любые интеллектуальные штудии эрудиция второстепенны по сравнению с духовным опытом в лоне христианской церкви. В лекциях Колет часто указывал на слабость и недостаточность человеческого разума — «замутненного», «помраченного» в результате первородного греха и утраты благодати⁷⁰. Он находил подтверждение этому в апостольских

⁶⁷ Подробнее см.: Софронова. 2009. С. 157–204.

⁶⁸ Свидетельство о чуть более позднем споре — знаменитое послание Т. Мора Оксфордскому университету (1518). Текст в русском переводе см.: Мор. 1978. С. 300–311. Подробнее см.: Осинковский. 1978. С. 79–80. В 1518 г. Колет жил в Лондоне и не мог принадлежать к высмеянной Мором партии «троянецв». Однако нельзя отрицать, что в оксфордский период (1496–1504) его позиция была иной. Возможно, она не совпадала со схоластическими воззрениями «троянецв», но не была тождественна и взглядам оксфордских эллинистов — У. Гроцина, Т. Линакра, Т. Мора.

⁶⁹ Colet. 1985. P. 216, 218. Курсив мой — Л. С.

⁷⁰ Colet. 1873. P. 259: «У человека нет цельной и чистой природы, незамутненного рассудка, независимой воли. ...Его воля искажена, разум затемнен, память ослаблена, его плотские желания возбуждены».

Посланиях (например, в I Кор. III: 19; V: 18) и часто цитировал их⁷¹. По его мнению, «человеческий разум враг и противник благодати», для понимания Писания «простая вера важнее разума»⁷². Среди подобных пассажей наиболее красноречив отрывок о необходимости «обрезания» человеческой души (*mens*): «Крайняя плоть души это плотское состояние, грубое воображение и разум — блуждающий и ненадежный <...> Следовательно, нужно освободить душу от этих покровов, пусть будет обрезана и отброшена всякая плотскость, всякое грубое воображение, всякое умствование – ненадежное и уклончивое»⁷³. Возможно, на основании этих пассажей и не следует делать вывод о склонности Колета к исключительно иррациональному постижению истин Св. Писания и усматривать родство с выступлениями М. Лютера против человеческого разума – «потаскухи дьявола». Но нельзя отрицать, что негативное отношение Колета к практике библейского гуманизма и защита авторитета церкви как неоспоримого и безусловного критерия истины в толковании Писания обозначены здесь со всей очевидностью. Похоже, он ставил под сомнение возможность индивидуального опыта изучения библейского источника. Будучи человеком церкви, он считал необходимым церковный контроль над интеллектуальной деятельностью.

При сопоставлении упомянутых комментариев Колета и Эразма явно прослеживается кардинальное различие их подходов к тексту. Эразмов труд представляет собой скрупулезное филологическое исследование каждой фразы, каждого слова на основе сличения нескольких рукописных вариантов источника на латинском и греческом языках и постоянной апелляции к мнениям раннехристианских экзегетов по данному поводу⁷⁴. В отличие от Эразма, стремившегося восстановить текст в его первоизданном виде и значении⁷⁵, Колет был удовлетворен Вульгатой. Он прямо заявлял, что «толкователю Писания не свойственно выполнять дело грамматика и скрупулезно выяснять значение слов».

⁷¹ См.: *Colet*. 1873. P. 163–165; *Colet*. 1985. P. 99, 106, особенно P. 273: «Как интеллект является жизнью речи, так и действие – жизнь интеллекта. Понимай, что говоришь, молись, чтобы понять, что понимаешь – делай».

⁷² *Colet*. 1873. P. 263: “Humana ratio inimical et adversaria est gratiae: legem suam constituents legi Dei non sunt subiecti”. P. 202: “...simplicis fidei longe supra omnem rationem”.

⁷³ *Colet*. 1873. P. 224–225.

⁷⁴ См.: *Erasmus Roterodamus*. 1994. P. 1–439. Подробнее см.: *Rummel*. 1986. P. 35–42, 52–74; *Bentley*. 1992. P. 124–137.

⁷⁵ В письме Антонио Пуччи от 26 августа 1518 г. (ОЕ. III. P. 381. Ep. 860) Эразм сообщал, что его перевод сделал ясными для понимания более шестисот мест Св. Писания, до этого считавшиеся большинством богословов «темными».

Только в некоторых случаях автор изъяснял готовность быть грамматиком: таких экскурсов в этимологию всего четыре⁷⁶, причем филологические изыскания не шли дальше лексикона латинского языка Перотти⁷⁷. Это не дает возможности говорить о применении Колетом к новозаветным текстам метода научной филологической критики. Его комментарий выполнен в ином стиле: он включает многочисленные отступления с критикой нравов, охлаждения веры, религиозного невежества народа, призывы к благочестию, в нем акцентируются проблемы сотериологии и экклесиологии. Перечисленные черты, характерные для гомилетического стиля, обличают в нем не ученого, каким был Эразм, а проповедника, который стремился не к научному (историко-филологическому) исследованию текста, а к практической реализации евангельских императивов в жизни каждого христианина⁷⁸. Перед нами – две различные модели восприятия текста. В Эразмовом восприятии доминирует когнитивная сторона, в Колетовом – конативная и аффективная⁷⁹.

Отождествление себя с клиром означало для Колета необходимость защиты христианской церкви как от пагубных внешних влияний, так и от внутренних расколов и ересей. Любая попытка посягательства на интересы церкви и христианское учение становилась тем внешним стимулом, который актуализировал его самоидентификацию «я — клирик». В частности, таким стимулом послужило распространение в английском обществе в первом десятилетии XVI в. идей лоллардов. В историографии имели место попытки сблизить его взгляды с учением ере-

⁷⁶ Colet. P. 222: *privaricaror*; P. 224: *mentula*; P. 243: *testamentum*; P. 266: *abolere*.

⁷⁷ Николай Перотти Сепонтинский (1429–1480) – популярный итальянский ученый-грамматик XV в., автор лексикона «Рог изобилия латинского языка» (*Comusoriae linguae latinae*, 1489), представлявшего собой грамматический комментарий к первой книге эпиграмм Марциала.

⁷⁸ В 1517 г. Колет писал (ОЕ. II. P. 599. Ep. 593) Эразму по поводу его изданий трудов Отцов церкви: «Эразм, книгам и знаниям нет конца. [Но] для этой краткой жизни нет ничего лучшего, чем жить свято и чисто и каждый день прилагать усилия для очищения, просвещения и совершенствования. (...) Нам не нужно следовать никакою иной дорогой кроме горячей любви и подражания Христу».

⁷⁹ Разработанная в психолингвистике модель восприятия текста включает три компонента: когнитивный, конативный, аффективный. В когнитивном компоненте восприятия текста реципиентом выявляется информационное поле содержания текста. Конативный компонент восприятия текста определяет возможность дальнейшего использования полученной информации и формирует поведенческие установки. Аффективный компонент восприятия текста показывает степень привлекательности текста для реципиента, его субъективное отношение к содержанию воспринимаемого текста. Подробнее см.: *Ширинкина*. 2004.

тиков и интерпретировать некоторые его поступки (например, Соборную проповедь) как стремление защитить гетеродоксию. На наш взгляд, и то и другое является некорректным, поскольку противоречит данным источников и общему мировосприятию Колета. В толковании Послания к Коринфянам он характеризовал ересь как смертельную пагубу для церкви⁸⁰; поврежденность одного, даже самого незначительного, члена церкви, утверждал он в трактате «О строении мистического Тела Христа, которое есть церковь», губительно сказывается на всем христианском обществе. Единство всех во Христе является защитой любого члена от любого ущерба⁸¹. Наконец, в толковании Послания к Римлянам он провозгласил, что только в учении, одобренном церковью, сосредоточена истина⁸². Негативное отношение Колета к ереси не осталось теоретическим рассуждением: в середине 1511 г. он принимал участие в процессах над лоллардами Кента. Этот факт был впервые засвидетельствован в мартирологе Дж. Фокса, включившего Колета в список судей и обвинителей⁸³, а недавно подтвержден данными судебных протоколов Кентских процессов 1511–1512 гг.⁸⁴ 8 мая 1511 г. декан вместе с другими судьями расследовал два дела, по которым подсудимые, отказавшиеся отречься от своих взглядов, были переданы светской власти и казнены⁸⁵. У нас нет оснований полагать, что именно участие Колета обусловило столь жесткий приговор в обоих упомянутых случаях. Однако нельзя игнорировать тот факт, что из пяти случаев вынесения смертных приговоров Кентским лоллардам, к двум он имел непосредственное отношение⁸⁶. Несомненно, учение Христа и Его церковь были для Колета теми экзистенциальными ценностями, которые он пытался защитить.

⁸⁰ *Colet.* 1985. P. 224.

⁸¹ *Colet.* 1876. P. 193–194. Под членами церкви Колет традиционно понимал духовное сословие, но в апостольском духе относил к этой категории и всех верных.

⁸² *Colet.* 1873. P. 192–193.

⁸³ *Foxe J.* 1877. Vol. V. Book VIII. P. 648.

⁸⁴ *Kent Heresy Proceeding.* 1997.

⁸⁵ Процессы против Джона Брауна, 8–19 мая 1511 г. и против Эдварда Уокера, 8 мая–3 октября 1511 г. В обоих случаях (*Kent Heresy Proceeding.* P. 43, 50) указано о слушании дела «в присутствии и соучастии почтенных мужей, магистров – Иоанна Колета, профессора священной теологии, декана кафедрального собора св. Павла в Лондоне, Томаса Уодингтона, доктора канонического права и т.д.» Cf.: *Foxe.* 1877. Vol. IV. Book VII. P. 181–182; Vol. V. Book VIII. P. 648.

⁸⁶ Всего было рассмотрено 53 дела. Большинство обвиняемых отрелись от своих взглядов, пятеро переданы светской власти для сожжения. См.: *Tanner.* 1997. P. 229–249 (об участии Колета см. P. 231).

Другим мощным фактором, актуализировавшим самоидентификацию Колета, было кризисное, на его взгляд, состояние современного духовенства. Порочная жизнь духовенства вызывала в нем желание защищать единство церкви в той же мере, как и ересь лоллардов. Многие страницы трудов Колета посвящены критике порочного клира. В феврале 1512 г. в «Соборной проповеди» он обстоятельно исследовал грехи духовного сословия, которые являлись, по его мнению, наиболее опасным видом ереси, и предложил конвокации проект церковной реформы⁸⁷. При этом, как показали исследования историков-ревизионистов, значительная часть английского общества, в отличие от декана, была удовлетворена своей церковью, которая в канун Тюдоровской Реформации сохраняла жизнеспособность и эффективность⁸⁸. Чем объяснить его чрезмерную пристрастность к клерикальным порокам? Полагаем, что причина коренится в несоответствии значительной части клира тому образу, который был сформирован Колетом на основе апостольских сочинений, трудов раннехристианских авторов, прежде всего, Псевдо-Дионисия⁸⁹. Священники должны вести апостольскую или подобную апостольской жизнь. По мнению Колета, только при условии нравственной чистоты и духовной жизни клир – «свет мира» – может достойно выполнять свою миссию спасения душ. Обмирщенное духовенство вновь должно стать *духовным* сословием не только по названию, но и по нравственному облику и образу жизни. Эти перфекционистские требования, которым сам Колет стремился соответствовать и которыми руководствовался в оценке современного священства, несомненно, имели идеализированный характер. Возможно, Колет не осознавал своего идеализма, поскольку данный образ служил ему своеобразным социальным стереотипом, сквозь призму которого он и воспринимал реальный клир. Как известно, стереотипное восприятие характеризуется иррационализмом, неадекватностью, ярко выраженными эмоциональностью и оценочностью, определяя программу действий индивида⁹⁰. На наш взгляд, именно здесь коренятся причины его болезненной чувствительности к недостаткам клира и побудительные мотивы реформаторской деятельности в качестве церковного администратора. Назначенный деканом собора св. Павла в Лондоне, Колет предпринял попытку ре-

⁸⁷ Подробнее см.: Софронова. 2010. С. 69.

⁸⁸ Duffy. 1992; The English Reformation revised... P. 22–23 etc.

⁸⁹ См.: Colet. 1823. P. 244: «Миряне не настолько противоположны нам, насколько мы – сами себе».

⁹⁰ Подробнее см.: Липман. 2004; Суходольская. 2007.

формы соборного капитула, укрепляя дисциплину. Введя с этой целью новую, более строгую редакцию Устава, Колет стремился вернуть каноникату – организации белого духовенства – утраченный с апостольских времен аскетический идеал.

Итак, самоидентификация Колета «я – клирик» стабильна, ее воздействие определяет его мысль и деяния. Исключение составляют последние шесть лет его жизни. После 1513 г. в его деятельности начинают доминировать иные приоритеты. До нас не дошло сведений о его участии в конвокациях и выступлениях, адресованных клиру, подобных «Соборной проповеди». Скорее всего, их не было. Однако *ad populum* он проповедовал в каждый воскресный и праздничный день, собирая, по словам Эразма, «многочисленную аудиторию, среди которой были и многие знатнейшие люди города и королевского двора»⁹¹. Кроме того, Колет был всецело занят организацией грамматической школы, которую он открыл при соборе св. Павла. Об этом бескорыстном служении Колета писал Эразм: «Ты отнимаешь у себя, чтобы обогатить других, ты разоружаешь себя, чтобы экипировать других, изнуряешь себя тяжелой работой, чтобы твое детище процветало во славу Христа, короче, ты отдаешь всего себя, чтобы детей привести к Христу»⁹². Он предпринял беспрецедентные меры (вплоть до обращения к папе), чтобы освободить школу от контроля церковных властей и передал управление ею «неким женатым горожанам хорошей репутации» – Совету попечителей из числа купцов-мерсеров⁹³. По словам Эразма, «когда Колета спросили о причине, он ответил, что хотя нет ничего надежного в делах человеческих, однако в этих [людях] он нашел меньше испорченности». Отдавая предпочтение людям «семейным и богатым детьми», Колет утверждал, что «нравы женатых людей менее испорчены, поскольку их естественные привязанности, забота о детях и о хозяйстве защищают их как бы некими оградками так, что они не в состоянии опуститься до всякого рода гнусностей». Примечательно и требование Устава о том, чтобы учителем был, «если это возможно, семейный человек»⁹⁴. Столь высокую оценку брака в устах клирика следует признать парадоксальной. Эта оценка и все связанные со школой действия декана диссонируют с прежней позицией Колета. В них можно разглядеть его разочарование в

⁹¹ Vita. 516: 305–306.

⁹² OE.I. P. 511. Ep. 260.

⁹³ См.: Acts of Courts of the Mercer's Company. P. 401–404.

⁹⁴ *Colet*. 1967. P. 1040.

нравственном облике и пастырских способностях современного духовенства, равно как и в возможности его исправления.

Полагаем, что причиной смены деятельностных приоритетов и мотивации поведения Колета стал целый ряд неблагоприятных жизненных обстоятельств, с которыми ему пришлось столкнуться в 1512–1513 гг. Его «Соборная проповедь» с фразой о том, что греховная жизнь духовенства опаснее, чем ересь лоллардов, была расценена Лондонским епископом Р. Фитц-Джеймсом как замаскированная защита лоллардизма. Несмотря на его искреннее стремление улучшить духовно-нравственное состояние клира, сохранить церковную иерархию и привилегии духовенства, епископ усмотрел в Колетовом проекте реформы опасный антиклерикализм и обвинил автора в ереси. В проповедях были обнаружены «еретические заблуждения». Декан был отстранен от кафедры, ему грозил суд и королевская опала. Проводимая им дисциплинарная реформа канониката собора св. Павла озлобила соборный клир, который нашел защиту в лице епископа Лондона. В итоге, новая редакция Устава не была утверждена церковными властями⁹⁵. Таким образом, призывы Колета к реформе и его старания осуществить ее в рамках капитула оказались безрезультатными. Ему пришлось признать, что его ексlesiологические взгляды и усилия по оздоровлению духовного сословия были отвергнуты его коллегами. Эти обстоятельства не могли не сказаться на его самоощущении. Полагаем, в данной ситуации в его идентификационной матрице социально-профессиональная составляющая (отождествление себя с клиром) перестала играть ключевую роль. Она сохранилась, но подверглась значительной деформации. Колет остался клириком, но без положительной оценки со стороны окружающих и без чувства ценности того, что он делал, в его структуре самоидентификации изменилась расстановка акцентов. Во-первых, в ней стала менее отчетливой граница между клиром и мирянами. Отношение Колета к мирской части христианского общества стало более позитивным. Его нельзя назвать сторонником всеобщего священства, но от прежнего резкого противопоставления клира и мира он перешел к выстраиванию более гармоничных отношений с мирянами. Во-вторых, организация школы в Лондоне потребовала от Колета тесного сотрудничества с компанией мерсеров, с которой были связаны многие члены его семьи, актуализировав семейно-клановый компонент самоидентификации. Прочная связь Колета со столицей (территориальный компонент самоидентификации)

⁹⁵ См.: *Colet*. 1873.

просматривается в его стремлении создать школу именно в Лондоне, несмотря на то, что изъятие школы из области церковной юрисдикции и передача под опеку светского органа требовали здесь больших усилий, чем в провинции⁹⁶. Наконец, о девальвации прежних идентификационных рамок говорит и его намерение уйти в монастырь. По свидетельству Эразма, «многие были поражены», узнав об этом, поскольку ранее Колет не скрывал, что ставит клир выше монашества, и критически отзывался о современных братствах⁹⁷. В этом парадоксальном намерении Колета можно обнаружить больше смысла, если увидеть в нем стремление изменить свой статус в условиях кризиса самоидентификации.

Настоящая попытка проникнуть во внутренний мир христианского мыслителя XVI в., вооружившись понятием самоидентификации, вероятно, имеет слабые места и досадные пробелы. Критики могут счесть некорректным выстраивание концепции на основе фразы из пяти слов. Однако, как удивительно точно отмечал Л. П. Карсавин⁹⁸, можно в деталях знать биографию человека, но так и не понять его. Полагаем, что модель самоидентификации, созданная нами на основе этой фразы, явилась той искомой «незначительной частностью», которая позволяет исследователю сразу охватить и подлинно понять человека прошлого.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Асмолов А. Г. Психология индивидуальности: методологические основы развития личности в историко-эволюционном процессе: М.: Изд-во МГУ, 1986. 96 с.
- Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в средние века. Очерки демографической истории Франции. М.: Наука, 1991. 280 с.
- Гуревич А. Я. От истории ментальностей к историческому синтезу // Споры о главном: дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов» / Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М.: Наука, 1993. С. 16–29.
- Ермолаева Е. П. Профессиональная идентичность и маргинализм: концепция и реальность // Психологический журнал. 2001. № 4. С. 51–59.
- Карсавин Л. П. Введение в историю (Теория истории). Пг.: Наука и школа, 1920, 78 с.
- Колет Дж. Соборная проповедь / Вступ. статья, пер. с лат. и комментариев Л. В. Софроновой // *Textum Historiae*: исследования по теоретическим и кон-

⁹⁶ См. комплекс документов, относящихся к основанию школы: *Archaeologia* or *Miscellaneous tracts, relating to antiquity*. P. 211–238.

⁹⁷ *Vita*. 521: 445–456.

⁹⁸ Карсавин. 1920. С. 25: «При понимании чужой душевной жизни как целого, при постижении чужой индивидуальности в ее единстве накопление наблюдений само по себе дает еще очень мало – можно знать о другом весьма большое количество фактов и все-таки его не понимать. Напротив, часто одна какая-нибудь черта, даже незначительная частность (...) позволяет сразу охватить и понять всю личность, всю индивидуальность этого человека, подлинно понять его».

- кретно-историческим проблемам всеобщей истории. Вып. 1. Н. Новгород: Изд-во НГПУ, 2005. С. 107–121.
- Кудрявцев О. Ф.* Флорентийская Платоновская академия. Очерк истории духовной жизни ренессансной Италии. М.: Наука, 2008. 478 с.
- Ле Гофф Ж.* Людовик IX Святой. М.: Ладомир, 2001. 800 с.
- Липпман У.* Общественное мнение. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с.
- Лосев А. Ф.* Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978. 624 с.
- Лотман Ю. М.* Биография – живое лицо // Новый мир. 1985. № 2. С. 228–236.
- Микляева А. В., Румянцева П. В.* Социальная идентичность личности: содержание, структура, механизмы формирования. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 118 с.: http://humanpsy.ru/miklyeva/soc_ident_01.
- Московичи С.* Век толп: Исторический трактат по психологии масс / Пер. с фр., предисл. А. В. Брушлинского. М.: Центр психологии и психотерапии, 1996. 480 с.
- Осиновский И. Н.* Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, Реформация. М.: Наука, 1978. 326 с.
- Осиновский И. Н.* Эразм Роттердамский и Томас Мор. Из истории ренессансного христианского гуманизма. М.: Изд-во МПГУ, 2006. 220 с.
- Ретина Л. П.* Персональные тексты и "новая биографическая история": от индивидуального опыта к социальной памяти // Сотворение Истории. Человек – Память – Текст. Казань: Изд-во КГУ, 2001. С. 344–360.
- Ретина Л. П.* Личность и общество, или история в биографиях // История через личность. Историческая биография сегодня. М.: Кругъ, 2005. С. 5–16.
- Ретина Л. П.* Историческая биография и «новая биографическая история» // Диалог со временем. 2001. Вып. 5. С. 5–12.
- Софронова Л. В.* «Соборная проповедь» Дж. Колета: реформа, Реформация, христианский ренессанс // Диалог со временем. 2010а. Вып. 30. С. 69–89.
- Софронова Л. В.* Джон Колет: опыт реставрации образа христианского мыслителя ренессансной эпохи. Н. Новгород: Изд-во НГПУ, 2009. 424 с.
- Софронова Л. В.* Эразм о Джоне Колете и Жане Витрие: собирательный образ «христианского гуманиста» // Средние века. Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. Вып. 71 (1-2). М.: Наука, 2010б. С. 242–266.
- Социальная идентификация личности / Отв. ред. В. А. Ядов. В 2 кн. М.: ИС РАН, 1993.
- Суходольская Н. П.* Социальный стереотип в жизнедеятельности людей // Философия и общество. № 3. 2007. С. 152–160.
- Мор Т.* Утопия. М.: Наука, 1978.
- Февр Л.* Бои за историю / Пер. с фр. М.: Наука, 1990. 627 с.
- Ширинкина Л. В.* Восприятие текста как психологический феномен: Дис. ... канд. психол. наук. Пермь, 2004. 235 с.: <http://diss.rsl.ru/diss/05/0036/050036028.pdf> (время доступа – октябрь 2011 г.).
- Щербаков М. А.* Модель уровней самоидентификации // http://www.ipd.ru/articles/ident_article.shtml (время доступа – октябрь 2011 г.).
- Эрикссон Э.* Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. М.: Флинта, 2006. Серия: Библиотека зарубежной психологии. 342 с.

- Эриксон Э. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование / Пер. с англ. и коммент. А.М. Каримского. М.: Медиум, 1996. 506 с.
- Ядов В. А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал. 1994. № 1. С. 35–52.
- Acts of Courts of the Mercer's Company (1453–1527) / Ed. L. Lyell and F.D. Watney. Cambridge: Cambridge University Press, 1936. 817 p.
- Alumni Cantabrigiensis. Part I (to 1751) / Ed. J. Venn and J.A. Venn. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1922. P. 371.
- Archaeologia or Miscellaneous tracts, relating to antiquity. Vol. 62. Part 2. L.: Society of Antiquaries of London, 1910.
- Arnold J. Dean Colet of St. Paul's. Humanism and Reform in Early Tudor England. L.: I. B. Tauris & Co Ltd, 2007. 260 p.
- Bentley J. H. Humanists and Holy Writ: New Testament Scholarship in the Renaissance. Princeton: Princeton University Press, 1992. 266 p.
- Beresford Ph., Rubinstein W. The Richest of the Rich: The Wealthiest 250 People in Britain Since 1066. L.: Harriman House, 2007. 308 p.
- Clarke M. L. Classical Education in Britain 1500–1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1959. 234 p.
- Colet J. De Ecclesiastica Hierarchia // Ioannes Coletus Super opera Dionysii: Two Treatises on the Hierarchies of Dionysius by John Colet, D.D., formerly Dean of St. Paul's / Ed. and trans. J. H. Lupton. L.: Bell & Daldy, 1869. 273 p. P. 197–271.
- Colet J. Joannis Coleti Enarratio in Epistolam Primam B. Pauli ad Corinthianos. Commentary on First Corinthians. A new Edition of the Latin Text / Trans. and introd B. O'Kelly and C.A.L. Jarrott. Binghampton (N.Y.): Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1985. 348 p. (в прим. – Ad Corinthianos).
- Colet J. Joannis Coleti Enarratio In Epistolam S. Pauli ad Romanos. An Exposition of St. Paul's Epistle to the Romans, delivered as Lectures in the University of Oxford about the year 1497 / Ed. and trans. J. H. Lupton. L.: Bell & Daldy, 1873. 235 p. (в прим. – Ad Romanos).
- Colet J. Joannis Coleti Opuscula Quaedam Theologia: Letters to Radulphus on the Mosaic Creation; On Christ's Mystical Body the Church; Exposition of St. Paul's Epistle to the Romans (Chap. I–V) / Ed. and trans. J. H. Lupton. L.: Bell & Daldy, 1876. 281 p.
- Colet J. Opus De Sacramenti Ecclesiae: A Treatise on the Sacraments by John Colet // Gleason J. B. John Colet. Berkeley: University of California Press, 1989. P. 270–333.
- Colet J. Oratio Habita a D. Joanne Coletto ad Clerum in Convocatione. Anno MDXI // Knight S. The Life of Dr. John Colet, Dean of St. Paul's. 2nd ed. Oxford, 1823. P. 239–250 (в прим. — Oratio ad Clerum).
- Colet J. Statuta Ecclesiae Cathedralis Sancti Pauli, 1505–1518 // Registrum Statutorum et Consuetudinum Ecclesiae Cathedralis Sancti Pauli Londiniensis / Ed. W. S. Simpson. L.: Nichols and Sons, 1873. P. 217–248.
- Colet J. Statuta Scholae Paulinae. Statutes of St. Paul's School // English Historical Documents. Vol. V. 1484–1558 / Ed. C. H. Williams. L.: Eyre & Spottiswoode, 1967. P. 1039–1045.
- Contemporaries of Erasmus: A Biographical Register of the Renaissance and Reformation. 3 Vols. Toronto: University of Toronto Press, 1985–1987.

- Death in the Middle Ages: Mortality, Judgment and Remembrance (Library of Mediaeval Civilization). N.-Y.: McGraw-Hill, 1992. 144 p.
- Duffy E. The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, 1400–1580. New Haven. Yale University. Press, 1992. 654 p.
- Emden A.B. A Biographical Register of the University of Cambridge to 1500. Cambridge: Cambridge University Press, 1963. 763 p.
- Erasmus Desiderius. Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami / Rec. per P.S. et H.M. Allen. Oxonii. 1906–1958. 12 t. (в прим. – OE; римские цифры – номер тома).
- Erasmus Roterodamus. Annotationes in Epistulam ad Romanos. Annotations on the Epistle to the Romans // The Collected Works of Erasmus / Trans. and ed. R. A. B. Mynors. Vol. 56. Toronto: University of Toronto Press, 1994. 480 p.
- Ferguson W. K. An Unpublished Letter of John Colet // The American Historical Review. Vol. 39. № 4. 1934. P. 696–699.
- Ficinus M. Epistolae Marsilii Ficini Florentini. Venetiis: Matteo Capcasa, 1495. CLXXXVII lvs.
- Foxe J. Actes and Monuments of Matters Happening in the Church / Ed. J. Pratt. 8 Vols. L.: Nichols and Sons, 1877.
- Gasquet F. A. A History of the Venerable English College, Rome: An Account of Its Origins and Work from the Earliest Times to the Present Day. Rome-London: Longmans, Green and co., 1920 (последнее репринтное издание: Nabu Press, 2010). 291 p.
- Geanakoplos D. J. Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance (330–1600). New Haven: Yale University Press, 1976. 654 p.
- Gleason J. B. John Colet. Berkeley: University of California Press, 1989. 418 p.
- Harvey M. M. The English in Rome, 1362–1420: Portrait of an Expatriate Community. Cambridge: The University Press, 1999. 278 p.
- Hogg M. A., Abrams D. Social Identifications. A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes. London: Routledge. 1988. 268 p.
- Hunt. E. W. Dean Colet and His Theology. L.: Society for the Promotion Christian Knowledge, 1956. 142 p.
- Hyma A. Erasmus and the Oxford Reformers (1493–1503) // Nederlansch Archief voor Kerkgeschiedenis. Vol. 25. 1932. P. 69–92, 97–134.
- Jayne S.R. John Colet and Marsilio Ficino. Oxford: Clarendon Press, 1963. 172 p.
- Kent Heresy Proceeding, 1511–1512 / Ed. N. Tanner. Kent Archaeological Society Records. Vol. 26. Maidstone (Kent): Kent Archaeological Society, 1997. 129 p.
- Knight S. The Life of Dr. John Colet, Dean of St. Paul’s. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1823. 437 p.
- Kristeller P. O. Philosophy of Marsilio Ficino / Trans. into English by V. Conant. N.-Y.: Peter Smith, 1964. 441 p.
- Leach A. The Schools of Medieval England. L.: George Philip, 1915. 483 p.
- Lewis C. S. English Literature in the Sixteenth Century Excluding Drama. Oxford History of English Literature, Vol. 3. Oxford: Clarendon Press, 1954. 567 p.
- Lupton J. H. A Life of John Colet, D.D., Dean of St. Paul’s, and Founder of St. Paul’s School. L.: Bell & Sons, 1887. 323 p.
- Marriott J. A. R. The Life of John Colet. L.: Arnold & Co, 1933. P. 283 p.

- Marshall P.* The Catholic Priesthood and the English Reformation. Oxford: Clarendon Press, 1994. 271 p.
- McConica J. B.* The English Humanists and Reformation Politics under Henry VIII and Edward VI. Oxford: University Press, 1965. 270 p.
- Miles L. W.* John Colet and Platonic Tradition. L.: George Allen, 1962. 237 p.
- Orme N.* Medieval Children. New Haven: Yale University Press, 2001. 400 p.
- Park G. B.* The English Traveler to Italy. Vol. I. The Middle Ages (to 1525). Roma: Di Storia e Letteratura, 1954. 467 p.
- Payne J. B.* Erasmus: Interpreter of Romans // The Sixteenth Century Journal. Vol. 2. 1971. P. 1–35.
- Rummel E.* Erasmus' Annotations on the New Testament: from Philologist to the Theologian. Toronto: The University of Toronto Press, 1986. 234 p.
- Scarlsbrick J. J.* The Reformation and the English people. Oxford: Blackwell, 1984. 203 p.
- Seebohm F.* The Oxford Reformers of 1498: A History of the Fellow-Work of John Colet, Erasmus and Thomas More. L.: Longman, 1867. 551 p.
- Shahar S.* Childhood in the Middle Ages. L.: Taylor & Francis, 1990. 349 p.
- Social Identity and Intergroup Relations / Ed. H. Tajfel. Cambridge: Cambridge University Press. 1982.
- Stow J.* Survey of London / Ed. H.B. Wheatley. L.: Dent, 1956. 533 p.
- Sutton A. F.* The Mercy of London: Trade, Goods and People, 1130–1578. Aldershot: Ashgate, 2005. 670 p.
- Tanner N.* Penances imposed on Kentish Lollards by archbishop Warham, 1511–1512 // Lollardy and the Gentry in the Late Middle Ages / Ed. M. Aston and C. Richmond. L.: Longman, 1997. P. 229–249.
- The English Hospice in Rome. The Venerable Sexcentenary Issue. Vol. XXI. May 1962. Exeter: Catholic Records Press, 1962. 306 p.
- The English Reformation revised / Ed. C. Haigh. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 229 p.
- The Firma Angliae // The English Hospice in Rome / Ed. J. Allen. Leominster (Herefordshire): Gracewing Publishing, 2005. P. 190–193.
- Vergil Polidore.* The Anglica Historia of Polydore Vergil. A. D. 1485–1537 / Ed. D. Hay. L.: The Royal History Society, 1950. 373 p.
- Wilson N. G.* From Byzantium to Italy: Greek Studies in the Italian Renaissance. L., 1992. P. 127–162.

Софронова Лидия Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и дисциплин классического цикла Нижегородского государственного педагогического университета; lidiasof@yandex.ru

О. А. ГОКОВ

ОТРАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТЕЙ ОФИЦЕРОВ В ИХ МЕМУАРАХ

НА ПРИМЕРЕ ВОСПОМИНАНИЙ
О РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1828–1829 гг.

В статье проведен сравнительный анализ воспоминаний А. И. Михайловского-Данилевского и Ф. Ф. Торнау о кампании 1829 г. в Европейской Турции, выявлены основные сходства и различия в мировоззренческих позициях офицеров, охарактеризованы их причины. Разница в статусе, возрасте и воспитании четко отразилась в мемуарах, что дает исследователю возможность отобразить личности офицеров, даже не прибегая к иным источникам.

Ключевые слова: мемуары, русско-турецкая война 1828–1829 гг., мировоззрение, офицеры, психология личности, николаевская эпоха.

Мемуарные источники¹ представляют собой кладезь информации, и от исследователя зависит степень ее раскрытия и реализации. До недавнего времени отечественные историки рассматривали мемуары преимущественно с фактографических позиций и одной из основных задач ставили выяснение «партийности»² их авторов. Параллельно указанный вид источников изучали литературоведы, культурологи и пр. Однако каждый специалист видел в нем лишь «свою» узкую часть, связанную с его отраслью знаний. С 1970-х гг. ситуация постепенно изменяется.

¹ Мемуары (франц. «*mémoires*» – «воспоминания») – записки современников, повествующие о событиях, в которых автор принимал участие или которые известны ему от очевидцев. Исходя из разного наполнения понятия (см., например: *Григорьева*. 1984. С. 271), под мемуарными источниками мы понимаем воспоминания, дневники и автобиографии. Зачастую их относят к источникам личного происхождения (о развитии содержания терминов «мемуары», «мемуаристика» и этапах изучения мемуарного наследия см.: *Блуднова*. 2007. С. 9–18; *Данилевский, Кабанов, Медушевская, Румянцева*. 1998. С. 466–488; *Словських*. (время доступа 24.01.11); *Любовец*. (время доступа 24.01.11); *Миц*. 1979. № 6. С. 55–70; *Ясь*. (время доступа 24.01.11). В тексте работы, во избежание тавтологий, мы (если это не оговорено) используем термины «мемуары» и «воспоминания» как синонимы.

² Идейная направленность философии, общественных наук, литературы и искусства, выражающая интересы определенных классов, социальных групп и проявляющаяся как в социальных тенденциях научного и художественного творчества, так и в личных позициях ученого, философа, писателя, художника. Также – принцип поведения людей в политической жизни.

Учеными начинает активно разрабатываться новый подход к мемуарам, который предполагал исследование их как «остатков» породившей их общественной среды, как памятников идейного движения и исторической мысли эпохи своего создания³. С 1980-х гг. мемуарные источники в СССР стали объектом исследования психологии, политологии, социологии. В практику их изучения все больше входит междисциплинарный подход, предполагающий использование при анализе методов различных наук и позволяющий раскрыть в них новые грани.

Долгое время считалось, что «слабой» стороной мемуаров является имманентно присущая им субъективность, так как изложение в них осуществляется под влиянием позиции автора и «провалов» в его памяти, что неизбежно приводит к искажению прошедшей реальности. Однако подобная «слабость» весьма относительна, так как именно на ее основе возможно исследование личности автора мемуаров, его идейно-политических пристрастий и интересов, причин его тенденциозности. Она открывает новые горизонты для исследования психологического климата эпохи, влияния различных факторов на формирование мировоззрения человека, его ценностных установок, особенностей восприятия им окружающей действительности как в статике, так и в динамике. По меткому замечанию Е. Ю. Блудновой, характерная для мемуаров субъективность лишь усиливает необходимость научно-критического подхода к ним, но не уменьшает возможность их использования в исторических исследованиях и не оправдывает скептической их оценки как недостоверных источников некоторыми историками⁴.

Цель нашего исследования заключается в попытке проследить, как в мемуарах проявляются личностные черты их авторов. В качестве источников нами взяты воспоминания о кампании 1829 г. в Европейской Турции генерал-майора А. И. Михайловского-Данилевского и прапорщика Ф. Ф. Горнау.

Вопросы межкультурного взаимодействия и взаимовосприятия русских и турок во время войны подняты Б. П. Миловидовым⁵. Это на данный момент единственное исследование по русско-турецкой войне 1828–1829 гг., в котором предметом изучения стали мемуарные источники. Правда, указанного автора занимал лишь один аспект: отображение взаимоотношений между воюющими народами. Анализируя рас-

³ *Гартаковский*. 1979. № 6. С. 71.

⁴ *Блуднова*. 2007.

⁵ *Миловидов*. 2009. С. 163–185.

сказы Ф. Ф. Торнау о турках, Б. П. Миловидов допустил некоторые неточности при характеристиках самого прапорщика и его взглядов.

В историческом контексте ценность мемуаров барона была затронута в работах С. Э. Макаровой и Г. А. Дзидзария⁶. Они интересовали их главным образом как биографов Ф. Ф. Торнау. Что до «Записок» А. И. Михайловского-Данилевского, то они были предметом глубокого анализа еще в меньшей степени. Пожалуй, лишь Л. Г. Бескровный обратил на них пристальное внимание⁷. Но он использовал только воспоминания, относившиеся к войне 1812 г. Информацию генерала широко привлекал в своей работе А. В. Фадеев⁸. Однако она служила лишь иллюстрацией к исследуемой им проблеме.

Воспоминания указанных авторов взяты неслучайно. Несмотря на их однородность в видовом отношении, внутренне они разнородны. Общим является то, что оба мемуариста были офицерами, представителями высшего сословия, оба участвовали только в кампании 1829 г. в Европейской Турции, оба писали мемуары на основе личных наблюдений и рассказов вторых лиц. В какой-то степени их объединяет и то, что оба офицера занимали штабные должности. Однако внутренне и даже внешне это равноуровневые источники, на которых лежит четкий отпечаток личностей авторов. Война стала своего рода знаковым событием, «спусковым механизмом», оставившим у мемуаристов яркие впечатления и «выпустившим наружу» их личностные характеристики. Поэтому, прежде чем переходить к анализу, необходимо сказать несколько слов о жизненном пути А. И. Михайловского-Данилевского и Ф. Ф. Торнау.

А. И. Михайловский-Данилевский родился в 1789 г. и получил чисто светское образование: он окончил училище Св. Петра в Санкт-Петербурге, пансионат у преподавателя Ж. Мореля, поклонника французских философов-просветителей (что отразилось на его мировоззрении), университет в Геттингене. Одновременно он проходил службу в банке и дослужился до чина коллежского секретаря. В 1812 г. он пошел в петербургское ополчение адъютантом возглавившего его М. И. Кутузова. Занимая штабные должности, Михайловский-Данилевский участвовал в Бородинском и Тарутинском сражениях, был тяжело ранен и уехал из армии. В 1813 г. он вернулся по приглашению Кутузова и состоял при нем, ведя штабную переписку и журнал военных действий. После смерти фельдмаршала его переводят в свиту Его Императорского

⁶ Дзидзария. 1976; Макарова (время доступа: 03.01.11); Макарова. 2000. С. 5–30.

⁷ Бескровный. 1957. С. 290, 307–309.

⁸ Фадеев. 1958.

Величества по квартирмейстерской части с переименованием из титулярных советников в штабс-капитаны. В августе 1814 г. он был причислен к созданному гвардейскому Генеральному штабу, а в 1815–1818 гг. сопровождал императора Александра I во всех его внешних и внутренних поездках, получив чин полковника и назначение флигель-адъютантом. В 1823 г. Михайловскому-Данилевскому был пожалован чин генерал-майора с назначением командиром 3-й бригады 7-й пехотной дивизии, квартировавшей в Полтавской губернии, а с 1826 г., по прошению в связи с болезнью, его назначили состоять по армии, т.е. без определенного места службы. Вне сомнения, это было связано с тем, что Михайловский-Данилевский был знаком со многими декабристами, выступления которых были недавно подавлены, и частично разделял их взгляды. В 1829 г. он был назначен в действующую армию, где занимал должность командира 2-й бригады 4-й пехотной дивизии, а затем дежурного генерала 2-й армии⁹. В дальнейшем, А. И. Михайловский-Данилевский участвовал в подавлении Польского восстания 1830–1831 гг., после чего активно занялся деятельностью мемуариста и историка, опубликовав свои воспоминания о кампаниях российской армии в 1812–1813 гг., а затем, по распоряжению Николая I, начал описание всех войн царствования Александра I, закончив исследование по семи из них¹⁰. Параллельно им было издано 6 томов биографических записок «Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах». Указанные исследования принесли ему славу придворного историографа, что в советское время сыграло с его наследием «злую шутку». Его жизненный путь практически не изучался, а мемуары (опубликованные после смерти в разных журналах отдельными частями) преподносились как источник, заслуживающий серьезной научной критики за субъективность именно из-за статуса «придворного историографа». Умер генерал в 1848 г., от холеры¹¹.

Ф. Ф. Торнау происходил из дворянства Померании, родился в 1810 г., т.е. был на 31 год младше А. И. Михайловского-Данилевского – разница в возрасте, которая нашла отражение в воспоминаниях, пусть и писали они их, находясь примерно в одних годах. Окончив Благородный пансион при Царскосельском лицее, Торнау молодым юношей без

⁹ Дежурный генерал – должностное лицо при штабе действующей армии, заведовавшее делопроизводством по личному составу, хозяйственной, санитарной и судной частями.

¹⁰ Подробнее о создании «Описаний» см.: *Малышкин*. 2000. С. 306–317.

¹¹ *Сапожников*. 1997. № 5. С. 45–48; URL: <http://ru.wikipedia.org/> (время доступа 03.01.11).

специальной военной подготовки, в звании прапорщика, попал на фронт русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Числясь в 33-м Егерском полку, он прошел кампанию 1829 г. в Маловалахском отряде Ф. К. Гейсмара офицером Генерального штаба, непосредственно участвуя в боевых действиях. После окончания войны он был причислен к Генеральному штабу, участвовал в подавлении Польского восстания 1830–1831 гг., служил на Кавказе, а с 1856 по 1873 гг. занимал должность военного атташе Российской империи в Австрии, куда затем переселился с женой на постоянное жительство. Умер он в 1890 г. в городе Эдлиц в Нижней Австрии, оставив после себя богатую литературу. В основном, это воспоминания и размышления о прожитой жизни¹², «Воспоминания барона Ф. Ф. Торнау» (о службе военным агентом в Австрийской империи)¹³.

Как видим, оба автора прожили богатую, но совсем разную жизнь, что не могло не отразиться на их мировоззрении и в анализируемых нами источниках. Их мемуары были созданы примерно в одном возрасте, хотя и в разное время. А. И. Михайловскому-Данилевскому было около 40 лет, когда он попал на войну и вел там свой дневник (журнал, как тогда именовали дневниковые записи), на основе которого впоследствии были написаны воспоминания. Сложно сказать, когда именно это произошло, поскольку опубликованы они были Н. К. Шильдером только в 1893 г. в «Русской старине»¹⁴. Но, учитывая, что умер их автор в возрасте 59 лет, нетрудно предположить, что случилось это в промежутке между 40 и 59 годами. Ф. Ф. Торнау попал на войну в возрасте 18 лет, но свои воспоминания писал во второй половине 1850-х гг. (на что есть косвенные ссылки в тексте), а закончил в 1866 г. (опубликованы они были в 1867 г.¹⁵), то есть в возрасте от 40 до 50 лет. Такое совпадение дает нам возможность лучше проанализировать личности самих авторов, поскольку показывает их способность к критическому восприятию прошлого, изменения их мировоззренческих установок на одном

¹² Указанные работы в начале XXI в. были изданы в двух книгах: *Торнау*. 2002. Мы будем использовать вариант воспоминаний о кампании 1829 г., размещенный на сайте: <http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/turk.htm> (время доступа: 03.01.11) (*Торнау*. 2002. С. 11–128).

¹³ *Торнау*. 1897.

¹⁴ Записки... 1893. Нами будет использоваться вариант, размещенный на сайте: <http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/turk.htm> (время доступа 03.01.11).

¹⁵ *Русский вестник*. 1867. Т. 69. № 6. С. 409–487; Т. 70. № 7. С. 5–64. В использованном нами тексте ошибочно указано, что впервые воспоминания были опубликованы в «Русском вестнике» в 1869 г. (С. 128). На самом деле в этом году в журнале были изданы записки Ф. Ф. Торнау о его службе на Кавказе – «Воспоминания о Кавказе и Грузии».

возрастном промежутке. Следует также заметить, что факт написания мемуаров офицерами в разное время позволяет исследователю проследить взгляды людей разных поколений как в возрастном (в войне, напомним, они принимали участие, имея разницу в 22 года), так и в историческом плане¹⁶. А. И. Михайловский-Данилевский был в основном человеком времени Александра I¹⁷, а Ф. Ф. Торнау начал жизнь в «николаевскую эпоху»¹⁸, а писал воспоминания, находясь уже под влиянием «эпохи реформ» Александра II¹⁹. Очевидно, что прапорщик был «результатом» николаевского правления в том смысле, что неприятие многого из происходившего тогда сформировало его умеренно-либеральные убеждения, которые в полной мере реализовались в годы царствования императора-реформатора Александра II. В 1829 г. судьбы этих двух людей разных поколений пересеклись одним большим событием. И тем интереснее становится их сравнительный анализ.

Из текстов видно, что Михайловский-Данилевский и Торнау представляли собой яркие противоположности. Сочинение Михайловского-Данилевского – это воспоминания, базирующиеся на дневниковых записях, которые автор вел в ходе кампании 1829 г. Работа же Торнау – это воспоминания в полном смысле слова²⁰, поскольку писались они по прошествии не одного десятка лет, автору свойственен критический подход к своим поступкам, анализ событий. Ни того, ни другого мемуары Михайловского-Данилевского не содержат.

Авторы попали на войну в разном чине и возрасте, что, естественно, наложило отпечаток не только на их личную судьбу, но и на восприятие войны. При этом следует помнить, что их воспоминания – это, прежде всего, воспоминания офицеров об офицерской жизни на войне

¹⁶ Детальнее тот жизненный (социально-экономический, политический, духовный) контекст, в котором жили и творили мемуаристы можно проследить в работе Н. А. Троицкого (*Троицкий*. 1999.)

¹⁷ Об этой эпохе см.: *Архангельский*. 2005; *Труайя*. 2003; *Цветков*. 2005.

¹⁸ О неоднозначности подходов к этому времени (1825–1855 гг.) могут свидетельствовать публикации последних лет (*Высочков*. 2006; Николай I и его время. 2000; *Тарасов*. 2006. С. 3–65). На наш взгляд, консерватизм правления Николая I (при всех достоинствах и недостатках его как человека и политика) очевиден. И именно неприятие этого консерватизма, в чем-то доходившего до косности, и породило его резко негативную оценку среди части российского общества еще в XIX в., которая была гипертрофирована в советской историографии.

¹⁹ О правлении Александра II см.: *Ляшенко*. 2002.

²⁰ И. В. Григорьева отмечала: «Для историка наибольшую ценность представляют именно такие воспоминания, где автор... сам четко разграничивает “былое”, каким оно виделось ему в момент совершения событий, и свои “думы” об этих событиях в свете нового жизненного и исторического опыта» (*Григорьева*. 1984. С. 283).

и, соответственно, офицерский взгляд на последнюю, с той лишь разницей, что мемуары Михайловского-Данилевского представляют взгляды части высшего командного звена, а Торнау – низшего, более многочисленного и несшего на себе основную нагрузку. Михайловский-Данилевский был к 1829 г. зрелым сорокалетним человеком, имевшим опыт участия в Отечественной войне 1812 г., заграничных походах 1813–1814 гг. и генеральский чин. Поэтому он был назначен командиром 2-й бригады 4-й пехотной дивизии во 2-ю армию, которая, собственно, и составляла действующую армию на Балканском театре, находившуюся в Валахии²¹. Большую часть времени он провел, участвуя в осаде турецкой крепости Журжа, в боевых действиях участия не принимал, лишь наблюдал одну небольшую стычку со стороны²². С августа 1829 г. Михайловский-Данилевский занимал должность дежурного генерала при штабе действующей армии. Торнау же попал на театр войны совсем юным 18-летним прапорщиком. Он принимал личное участие в боевых действиях, пережил все «прелести» войны, находясь на низших штабных должностях (что, кстати, расширило круг виденного им, поскольку в силу служебных обязанностей он находился не только в своем отряде). Поэтому его воспоминания более яркие, красочные, а война в них – не сплошной подвиг, а тяжелый и опасный труд.

В анализируемых мемуарах отчетливо проявилась индивидуальность авторов, которая наложила отпечаток на восприятие ими действительности и отразилась на ее отображении в произведениях.

А. И. Михайловский-Данилевский в своей работе предстает образчиком европейского аристократа-монархиста. В ней ярко проявилось то, что современный исследователь мемуарного жанра О. В. Мишуков охарактеризовал как слияние «русского классицизма и романтизма при общей реалистической ориентации произведений»²³. Его труд сплошь усеян высокопарными словами о долге, чести, отечестве, причем, как видно из текста, для него они не были пустым звуком. В понимании генерала главная цель жизни – служение царю и родине. При этом идеи личной славы также были ему не чужды. «С растерзанным сердцем я простился

²¹ Историческая область на юге современной Румынии. До создания в конце 1850-х – начале 1860-х гг. Румынского княжества (независимо от Османской империи с 1878 г., с 1881 г. – королевство) считалась самостоятельной историко-культурной единицей (Военный энциклопедический лексикон. 1839. Ч. 3. С. 28–30). Со второй половины XIX в. – юго-западная часть Румынского королевства, отделенная на востоке и юге Дунаем от Добруджи и Болгарии, на северо-западе Карпатами от Трансильвании, на севере – Карпатами и рекой Милков от Молдавии.

²² Записки... 1893. № 8. С. 362.

²³ Мишуков. 2007. С. 208.

с семейством, – писал он об отъезде на фронт, – и если что мне приносило отраду в горькую минуту разлуки, то это была чистейшая любовь к отечеству; я хотел исполнить долг мой с возможным рвением, надеялся, что отблеск дел моих осенит благотворною тенью детей моих, и что имя, которое я им передам, будет уважено»²⁴. Правда, он иногда недоговаривал. Например, свое назначение в действующую армию генерал описывал, как нечто неожиданное, нарушившее все его планы: «я... был твердо уверен, что проведу жизнь, как частный человек, посреди семейства и сельских занятий; успокоенный таким образом насчет будущего, я делал предположения, чтобы провести приятно лето, как вдруг 1-го мая получаю официальное известие, что меня назначили командиром 2-й бригады 4-й пехотной дивизии, и повеление немедленно отправиться в главную квартиру 2-й армии, действовавшей против турок и находившейся тогда в Валахии. Внезапность моего назначения сделала для меня еще труднее обыкновенного переход от сельской жизни к войне»²⁵. Однако сам же упоминал, что в 1828 г. просился в армию, но получил отказ²⁶. Михайловский-Данилевский искренне восхищался и благоговел перед императорской фамилией. Хотя очевидно, что отношение к Николаю I у него не было однозначным. Генерал не открытым текстом, но косвенно постоянно противопоставлял его Александру I, который приблизил его к себе и возле которого он провел много времени. Текст изобилует различными историями и анекдотами, связанными с покойным на тот момент монархом, не имеющими отношения к войне 1828–1829 гг. При всем этом, автор воспоминаний был достаточно откровенен, хотя резких оценок избегал, даже в чем-то осторожничал.

В мемуарах вырисовывается образ монархиста-консерватора²⁷, но с либеральным «оттенком». В этом контексте уместно привести замечание А. Г. Тартаковского, который исследовал мемуары генерала за период 1812–1815 гг. «В первые послевоенные годы, – писал историк, – он был близок к прогрессивной офицерской молодежи продекабристского толка, но по мере успешного совершения карьеры и “поправления” правительственного курса все более отходит от былых идеалов, а после 1825 г. отрекся от них вовсе»²⁸. Судя по тексту воспоминаний, Михай-

²⁴ Записки... 1893. № 7. С. 179.

²⁵ Там же.

²⁶ Там же. С. 180.

²⁷ Об особенностях консервативной идеологии рубежа XVIII–XIX см.: Гусев. 2001; Корендяева. 2005; Либеральный консерватизм... 2001; Рахмилер. 1990; Репников. (время доступа 11.01.11).

²⁸ Тартаковский. 1991. С. 200.

ловский-Данилевский больше относит себя к консерваторам английско-го типа, для которых было важно «изменять сохраняя», нежели к тем «охранителям», поклонникам «хваленой старины, дорогой одним отсталым умам, привыкшим в невежестве и в произволе видеть ограждение общественного порядка, не понимая, что ими только и посеяно все существующее зло»²⁹. При этом, автор не лишен предубеждений, характерных для высшего сословия России и Европы XIX в. Михайловский-Данилевский представляет нам образец имперского мировоззрения той эпохи, типичного носителя колониального менталитета³⁰. В этом смысле интересны его рассуждения относительно молдавских бояр, переходящие в более глобальные обобщения.

«Молдавские бояре вовсе не упражняются в оружии, – отмечал он. – Турки даже не берут из княжеств³¹ рекрут для своей армии, а потому молдаване, будучи народ совершенно мирный, должны беспрекословно повиноваться своим повелителям и надежду свою избавиться когда-либо от турецкого ига возлагать не на могущее случиться восстание народное, а на содействие России. Я полагаю, что в некотором отношении политика Порты³² не давать оружия побежденным народам достойна подражания, и нам не следовало бы поляков и литовцев приучать к военному ремеслу или позволить им участие в войнах, ведомых Россиею. Тогда бы мало-помалу и постепенно исчезал в сих народах воинский дух. Наполеон презрел сие правило и был жестоко наказан за то, что он обучал военному ремеслу земли, принадлежавшие к Рейнскому союзу, которые при первых его неудачах на него же восстали. Покоривши Германию, лучше бы ему было оставить немцев при мирных и ученых занятиях их, чем образовывать их по примеру французской армии. Ежели бы теперь мы нашли в Молдавии войско или людей, служивших в турецкой армии, то нам легко бы было употребить их против Порты, и мы нашли бы в них надежных союзников, но так как в княжествах никого нет кроме мирных жителей, то мы и не можем сделать из них никакого военного употребления»³³.

Здесь мы видим взгляд практичного военного-империалиста, представителя «цивилизованной нации» на политику в отношении мелких или покоренных народов, взгляд, воспринятый от европейской культуры

²⁹ Торнау. 2002. С. 18.

³⁰ Колониальный менталитет. (время доступа: 03.01.11).

³¹ Термином «Дунайские княжества» или просто «Княжества» в рассматриваемое время объединяли Валашское и Молдавское княжества, находившиеся в вассальной зависимости от Османской империи.

³² Порта (также Оттоманская Порта, Блистательная Порта, Высокая Порта) (от франц. «porte», итал. «porta» – «дверь», «врата») – принятое в истории дипломатии и международных отношений наименование правительства (канцелярии великого визиря и Дивана) Османской империи и самого государства. Термин происходит от названия ворот, ведущих во двор великого визиря (тур. «Bâb-ı Âli»).

³³ Записки... С. 184–185.

высшего света того времени. Мир, в его понимании, разделен на народы «цивилизованные»³⁴ и «варварские». «8-го июня я переправился близ Могилева через Днестр, который составляет настоящую границу между просвещенным миром и полудикими странами, лежащими на правом берегу оногo... – описывал Михайловский-Данилевский свои впечатления от пересечения границ империи. – Не успел я переехать сию реку, как представились мне люди полунагие, с зверскими лицами, праздные, говорящие языком еще чуждым для муз, и необозримые степи, которыми я ехал до самого Прута»³⁵. Текст сквозит пренебрежением к тем, кого он не понимал, кто отличался от него по воспитанию, положению, культуре. В оценках автора явно ощутимо влияние французских просветителей типа Ф.-М. Аруэ, больше известного, как Вольтер³⁶:

«17-го июня я приехал в Бухарест, где провел два дня. Это не европейский город, улицы узки и смрадны, и покрыты народом с азиатскими физиономиями и говорящим языком, для меня не понятным ... Истинною отрадою было для меня открытие книжной лавки, в которой я нашел большую часть сочинений, запрещенных в России, напр. “Memoires de Michel Oginski”, Las Cases: “Memorial de Sainte Helene”, “Memoires d'un homme d'Etat” и др. Увидя себя посреди книги, я начал дышать как будто знакомым воздухом. Казалось, что я переселился в Европу, ибо две недели странствовал по степям Бессарабии, Молдавии и Валахии и, видя повсюду непросвещение и варварство, я почитал себя вне Европы. Я встретил здесь несколько русских, которые все единогласно говорят, что нельзя себе вообразить, до какой степени развратны женщины; целомудрие есть добродетель неизвестная. Конечно, сему причиною не одни женщины, но и мужья их, проводящие жизнь в совершенной праздности и лени; они не занимаются ни службою, ни науками, а начинают и оканчивают жизнь на мягких диванах, окруженные табачною атмосферою; единообразию жизни их прерывается только по временам войнами, ведомыми между Россиею и Оттоманскою Портою»³⁷.

В отличие от Михайловского-Данилевского, Торнау придерживался умеренно-либеральных³⁸ и более реалистичных взглядов на жизнь, не скрывая, что «сам носился мыслями в одних сферах военной славы, наполнявшей мое воображение, не успевшее еще сковаться житейским опытом»³⁹. Т. Г. Шевченко в своем дневнике охарактеризовал Торнау после встречи с ним 8 октября 1857 г. как «либерала, прекрасно и не-

³⁴ О термине «цивилизация» и производных от него см.: *Февр.* 1991. С. 239–287.

³⁵ Записки... 1893. № 7. С. 182.

³⁶ О взглядах просветителей по этому вопросу см.: *Дюше.* 1970. С. 251–278.

³⁷ Записки... 1893. № 7. С. 190–191.

³⁸ О либерализме первой половины XIX в. см.: *Либерализм в России.* 1996; *Либерализм Запада...* 1995.

³⁹ *Торнау.* 2002. С. 18–19.

утомимо говорящего»⁴⁰. Будучи потомственным дворянином и военным, Торнау не был заражен болезнью «цивилизационного превосходства», характерной для многих представителей аристократии⁴¹. Именно в этой плоскости отчетливо проявилась разница поколений и личного опыта между Торнау и Михайловским-Данилевским. У последнего в отношении к неевропейцам ощутимо влияние французских просветителей, популярных в годы его молодости, а также отсутствие опыта контактов с азиатскими народами до 1829 г. Торнау же значительную часть жизни провел на Востоке и воспринимал местных жителей по-другому: он видел в них не «варваров», а людей с иными ценностями и стилем жизни. Интересно в этом отношении описание жителей Княжеств, навеянное знакомством с майором Соломоном, которое отличается от рассуждений Михайловского-Данилевского и даже противоречит им.

«Недалеко от сожженного Чернеца находился хутор майора Соломона, командовавшего валахскою милицией в последнюю войну. В народе он продолжал носить название служителя Соломона, принадлежавшее ему прежде достижения русского чина и крестов, которыми он был увешан: он начал свою карьеру простым арнаутом-служителем⁴², имевшим обязанность, стоя на запятках за коляской, возить чубук (длинная курительная трубка – О. Г.) боярина. Этот человек, с которым я встречался несколько раз в продолжение войны, всем русским был известен как непримиримый враг турок, человек энергический, храбрый до сумасшествия, жестокий и кровожадный в схватках с неприятелем, и хитрый на выдумку военных уловок. Прожив у него с Баумером (сослуживец Торнау – О. Г.) трое суток, мы узнали его совершенно с другой стороны. В домашней жизни он оказался самым мирным и добродушным человеком: был покорен жене, нежно любил детей и питал самую невинную страсть к птицам и к разного рода животным, которых он старался делать ручными. Эти противоположности нередко встречаются в характере старых вояков, испытывавших много опасностей и немало губивших людей: чем злее в драке, тем смиреннее они бывают в обыкновенном быту. Там, где не предстоит прямой опасности, нахальны лишь одни труссы. Соломон, румын чистого происхождения, доказывал собою, что мнение, будто все валахи неспособны к перенесению военных трудов и опасностей, довольно неосновательно. Жители нагорной Валахии не только хорошие стрелки, но и люди смелого характера. Неспособность к войне гнездилась не в народе, а в высшем классе румынов, деморализованных продолжительным угнетением со стороны турецкой власти и поверхностным, дурно направленным воспитанием, которое они получали в Вене и в Париже, знакомясь лишь с наружными формами европейской цивилизации»⁴³.

⁴⁰ Шевченко. 2003. Т. 5. С. 116.

⁴¹ О жизни и нравах российского дворянства первой половины XIX в. см.: Лотман. 2002; Яковкина. 2002.

⁴² «Арнаурами» турки именовали албанцев.

⁴³ Торнау. 2002. С. 123–124.

Хорошо характеризуют мировоззренческую позицию Торнау его зарисовки и размышления относительно турок⁴⁴. Разделяя их на «старых» и «новых», он с некоторой долей симпатии писал о первых, отзываясь о вторых с нескрываемым пренебрежением. Речь в данном случае шла об отношении к перманентным попыткам реформ по европейскому образцу в Османской империи на протяжении конца XVIII – первой половины XIX в.⁴⁵ Оценивая их уже с высоты прожитых лет, он писал:

«В то время не было, кажется, образованных турок, а были турки старого покроя, обладавшие многими хорошими качествами, несмотря на их невежество, религиозный фанатизм и глубокое презрение ко всему чужому. Гостеприимство, честность и соблюдение данного слова считались у них качествами, без которых не должен обходиться добрый мусульманин. Они притесняли христиан из чистого невежества, считая каждого гяура не выше собаки. Теперь, говорят, просвещение проникло и в Турцию, чему я не верю, потому что исламизм не допускает истинного просвещения, подавляя каждую разумную мысль. Положение христиан в турецкой империи не изменилось к лучшему. Прежде их угнетали открытой силой; теперь угнетают путем обмана и изворотов, чему научило турок полуобразование, заменив былой фанатизм тупым безверием. Правосудие исчезло совершенно, и все хваленые реформы – басни, изобретаемые для забавы европейских правительств, якобы принимающих живое участие в судьбе турецких христиан»⁴⁶.

Оценивая этот отрывок, российский исследователь Б. П. Миловидов отмечал, что «за рассуждениями Торнау видны раздумья по поводу реформ 1860-х гг. в России – сдержанное отношение к ним вело автора к идеализации дореформенного уклада Османской империи»⁴⁷. Но, как следует из текста мемуаров в целом (да и из биографии офицера), это совсем не так. Торнау осуждал прежде всего бездумное заимствование и поверхностное копирование частью турецкой верхушки европейских образцов без соответствующей перестройки сознания и образа жизни. Он противопоставлял бездуховности «новых османов», которые отреклись от своей культуры, но не прониклись чужой, «старых» турок с их устоявшимися традиционными религиозными нормами общечития. Однако эти нормы не являлись для него идеалом. Выделяя положительные составляющие в мировоззрении и быте людей традиционного общества⁴⁸, прапорщик при этом оценивал его как смесь «народного лег-

⁴⁴ См., напр.: С. 114–116.

⁴⁵ Подробно об этом см.: *Боджолян*. 1984; *Кинросс*. 1999. С. 449–489, 491–502; *Новичев*. 1968. Т. 2, 3; *Петросян*. 2003. С. 257–291.

⁴⁶ *Торнау*. 2002. С. 102.

⁴⁷ *Миловидов*. С. 178.

⁴⁸ Удачное определение «традиционного общества» предложил А. Д. Богатуров (*Современная мировая политика...* С. 48–49). Согласно ему, это общество, поведение

комыслия с турецким тупоумным деспотизмом»⁴⁹. По отношению к османскому дореформенному социуму он во многом солидаризировался с взглядами французских просветителей, видя в турках-мусульманах «старого покроя» непросвещенных фанатиков.

В противоположность генералу, Торнау в своих воспоминаниях предстает более серьезным и вдумчивым человеком, при этом честным и критичным по отношению к себе и окружающим. Если учесть, что оба офицера писали свои мемуары примерно в одном возрасте, то контраст в мировосприятии и мировоззрении еще более бросается в глаза. Хотя Михайловский-Данилевский был писателем, военным историком, его воспоминания тяжеловесны и «отдают» официозом. Язык Торнау более легкий для восприятия и лишен риторики и официозных клише. Реализм пронизывает всю его работу. Здесь содержится множество бытовых сцен и зарисовок, которые отражают восприятие мира человеком, писавшим их. Войну он изображал во всем ее многообразии. Здесь, наряду с ее ужасами, присутствуют чисто человеческие чувства – любовь, дружба, зависть. С одной стороны – идут боевые действия, людей убивают, они гибнут от чумы и лихорадки, повсюду разрушения, трупы людей и животных. А с другой стороны – веселые кутежи, ссоры между сослуживцами, примеры дружбы и товарищеских отношений, мимолетные романы, женская преданность и внутренний мир человека. Храбрость и трусость показаны не в романтическом цвете официальной пропаганды, а в их реальном воплощении. Контрастирующие их примеры – майор Соломон, о котором только что шла речь, и драгоман (переводчик) князь Судзо, «малорослый, горбатый, тонконогий, востроносый, умный, самолюбивый и прехитрый грек, говоривший на всех живых и мертвых языках, которому не доставало только футов двух лишнего роста да небольшого запаса храбрости, чтобы занять между нами очень видное место. Страх попасть туркам в руки и за службу у русских утратить еще верхнюю часть своего маленького роста, по шею, лишал его всех сладостей жизни. Поездка в темную ночь, без конвоя, по необо-

членов которого основано не на рациональном целеполагании, а на опыте, традиции, ритуале, воспроизводстве устойчивых форм мышления. «Основной мотив действия – следование уже известному образцу (“свой путь”), а не разуму (“умствование”). Модель поведения здесь задается культурным опытом, который выражается в изустной традиции, неписаных регламентах быта, религиозных катехизисах, сборниках изречений». В таком обществе «новации выступают в известном смысле “интуитивными прозрениями”, а не “интеллектуальными прорывами”. А сфера активности ограничивается контролем за соблюдением ранее определенных правил и норм».

⁴⁹ Торнау. 2002. С. 125.

зримым полям, на которых встревоженное воображение рисовало ему сонмы делибашей⁵⁰, алчущих его головы, вовсе не согласовалась с его животолубивыми расчетами»⁵¹.

В воспоминаниях Торнау отсутствуют упоминания о царственных особах, придворных и вообще «высшем свете» империи (возможно, потому, что автор с ним на тот момент не сталкивался). Его герои – сослуживцы-офицеры и непосредственные начальники, а также простые солдаты, местные жители, те люди, с которыми он постоянно контактировал или общался по роду службы. Мемуары Торнау – это эпизод из военного быта младшего офицерского состава русской армии в войне 1828–1829 гг., «пропущенный» через личное восприятие автора. Торнау писал воспоминания не по свежим следам, что удачно подметила С. Э. Макарова: «“Воспоминания” Ф. Ф. Торнау писал уже в преклонном возрасте, с учетом не только житейского опыта, но и с учетом Времени, которое многие спорные вопросы ставит на свое законное место в истинном виде. Эта “ретроспективность” воспоминаний придает им характер аналитического произведения, где каждое событие, лицо или эпизод рассмотрены писателем с разных сторон и снабжены основательными выводами»⁵². Трезво, с высоты прожитых лет он оценивал свою жизнь во время кампании 1829 г., не обходя «острых углов», не скрывая мотивов действий, да и самих поступков, какими бы они ни были. Например, он откровенно писал, что в молодости был несдержан, стремился удовлетворить «любопытства, возбуждающиеся новизной предметов, являвшихся моим глазам, глядевшим на свет еще сквозь радужную призму школьного неведения»⁵³.

«Военную историю пишут обыкновенно по прошествии многих лет люди, не участвовавшие в описываемых делах, не знакомые с местом и обстоятельствами, не испытывавшие иногда ни военных трудов, ни ощущений, волнующих душу на поле битвы, а почерпающие описание фактов из сухих официальных донесений, редко обнаруживающих нагую истину, – отмечал он. – Для них участники в былых победах и неудачах имеют значение мертвой цифры, которую искупались известные результаты. Если бы пишущие историю всегда знали, через какие обстоятельства прошли эти деятели былого времени, каким раздирающим впечатлениям они подвергались, какие душевные страдания,

⁵⁰ От турецких слов «deli» – «сумасшедший», и «baş» – «голова»; так называли отряд кавалеристов личной охраны султана. В данном случае, видимо, подразумеваются иррегулярные части османской армии, отличавшиеся особой жестокостью по отношению к более слабому противнику.

⁵¹ Торнау. 2002. С. 90–91.

⁵² Макарова (время доступа: 03.01.11). С. 6.

⁵³ Торнау. 2002. С. 18.

какие сверхъестественные труды они перенесли, добываясь нередко самых ничтожных результатов, как бы иначе судили они о фактах, как бы иначе ценили людей боровшихся с природой, со смертью, трудившихся всю жизнь и умиравших в каком-нибудь забытом уголку земли с одним помыслом, с одною надеждой – исполнить долг солдата и сберечь народную славу!»⁵⁴.

В отличие от Торнау, Михайловский-Данилевский не был склонен к анализу своих поступков и опыта. Последнее, впрочем, можно объяснить дневниковостью воспоминаний. Однако, на наш взгляд, человек с таким жизненным опытом и широким складом ума, которыми обладал генерал, должен был быть более многогранен в своих записях.

Разницу взглядов авторов определили воспитание и личный жизненный опыт. Хотя оба они воспитывались в единой культуре, прививавшейся в учебных заведениях для знати, Михайловский-Данилевский в дальнейшем постоянно «вращался» в «высших кругах» общества. Даже участвуя в военных кампаниях, он видел их не изнутри, а снаружи, взглядом высшего офицера-аристократа, поскольку не познал жизни простых солдат и командиров. В то же время Торнау, получив образование, сразу попал в армию и дальнейший свой опыт приобретал на полях сражений, непосредственно участвуя в них. Здесь, видимо, сыграли свою роль и стечение обстоятельств, и воинские традиции, присущие семье Торнау. Ведь в 1829 г. он вполне мог пойти по стопам многих знатных офицеров, использовавших протекцию, чтобы добывать чины и награды, не участвуя в сражениях. Дело в том, что главнокомандующий действующей армией И. И. Дибич был женат на родственнице Торнау⁵⁵. При встрече он «дал ему два рекомендательных письма – к полковому командиру Старову и генералу Гейсмару – и отеческое наставление: “служить честно, не пить, не играть, избегать дурных знакомств”». Письма эти на начальном этапе его жизненного пути помогли закрепиться на служебном поприще, ибо слабый здоровьем и “тщедушный” с виду Федор Федорович вряд ли смог бы остаться в полку и мог быть отчислен по негодности к строевой службе. А служба – была его постоянной и страстной мечтой с раннего детства»⁵⁶. Неудивительно, что первый порыв молодого офицера оказался не в штаб, а в бой: он самовольно принял участие в десантировании авангарда отряда на турецкую территорию во время переправы через Дунай, где получил боевое крещение. Правда, родство с фельдмаршалом сыграло злую шутку с Торнау. С одной стороны, его пытались приблизить, завести с ним знаком-

⁵⁴ Там же. С. 87–88.

⁵⁵ Там же. С. 19.

⁵⁶ Макарова. 2000. С. 11.

ство, а с другой стороны – обходили в чинах и наградах. «На представлении Гейсмара о переводе меня в Генеральный штаб, – писал он, – не получалось ответа; награды за труды, понесенные в задунайский поход нашего отряда, которой удостоились все мои штабные товарищи, я был лишен. По этой причине, не только в полку, но и в дивизионной канцелярии признали, что главнокомандующий о мне не заботится, ничего для меня не делает и знать меня не хочет, следственно я не заслуживаю никакого особенного внимания и годен только, как каждый прапорщик, нести за старших всякую нелегкую службу»⁵⁷. Лишь в начале 1830 г. выяснилась причина такого решения высшего командования: «В начале февраля 1830 года... генерал Гейсмар выразил мне письменно свое непритворное сожаление о том, что ему не удалось доставить мне повышение и перевод в Генеральный штаб, следовавшие мне, по его мнению, за наш задунайский поход. Главнокомандующий отказал по трем причинам: потому что я был молод летами, с небольшим год на службе и в родстве с его женой. Вторично испытал я, что не во всех случаях выгодно для молодого офицера находиться в близком свойстве с главнокомандующим армией, в которой ему суждено служить»⁵⁸.

С точки зрения сравнения личностей двух офицеров интересно, как они видели свое участие в войне. Так, Михайловский-Данилевский считал, что в кампанию 1829 г. может снискать себе лавры, хотя, конечно, не непосредственно в бою, а в качестве командующего. Поэтому, прибыв на театр военных действий, был разочарован: «Я в Яссах наверное узнал, что моя бригада расположена при блокаде Журжи и следовательно имеет не блистательное назначение, ибо я полагал справедливо, что главная армия на Дунае будет пожинать лавры, между тем как мне суждено стоять в бездействии и может быть изредка отбивать вылазки турецкого гарнизона. Я не роптал на сие назначение, будучи в полной уверенности, что в продолжение войны, конечно, представится обширнейшее поприще деятельности»⁵⁹. Вообще анализ текста свидетельствует, что подсознательно Михайловским-Данилевским двигало именно желание личной славы, хотя он и писал: «при миллионе моих занятий, меня одушевляет мысль, что труды мои полезны могут быть детям – чего мне для самого себя остается желать? Честолюбие удовлетворено, а Юрьево (его имение – *О. Г.*), прекрасное Юрьево, обеспечивает старость мою. Я молню только Бога о детях и труды мои им посвящаю»⁶⁰.

⁵⁷ *Торнау*. 2002. С. 122.

⁵⁸ Там же. С. 128.

⁵⁹ Записки... 1893. № 7. С. 185.

⁶⁰ Там же. № 8. С. 387.

«В то время я еще не мог равнодушно видеть беспорядок, насилия, несправедливость и плутовство», – писал Ф. Ф. Торна⁶¹. Он не скрывал, что в действующую армию «отправился с богатым запасом молодости и надежд, но с довольно тощим кошельком»⁶². Однако уже участие в первом бою изменило взгляды молодого офицера.

«Сильный переворот произошел в моих мыслях, – писал он, рассказывая о том, как простые солдаты-добровольцы готовились к неизбежной для большинства из них смерти перед переправой через Дунай. – В несколько минут я переродился из ребенка в зрелого человека и постиг высокую обязанность образованного военного человека уравнивать долг повиновения с чувством сострадания к бедному человечеству, искать в деле не самолюбивого средства отличиться, а способ приложить способности и познания к облегчению зла, вызываемого войной. Палач или разбойник, а не воин, тот, кто без нужды и пользы, из честолюбия или из корыстолюбивых видов, проливает кровь подчиненных ему солдат и губит самого неприятеля без определенной цели, для умножения так называемой славы»⁶³.

Наконец, внутренний мир авторов хорошо иллюстрируют их описания местностей и городов, которые они посетили по пути на фронт и в ходе кампании (правда, здесь необходимо сделать поправку на относительную комфортность условий, в которых находился Михайловский-Данилевский, что позволяло ему «наслаждаться природой и видами»). Его воспоминания в этом отношении – образец романтического восприятия мира. При общей реалистичности описаний, их пронизывает дух романтизма. Этот подход отражал происходившие в 1820-х гг. изменения в стиле мемуарных произведений, когда эстетика романтизма потеснила литературные эстетические принципы классицизма, сентиментализма и просвещенной сатиры⁶⁴. Вот, к примеру, одно из них.

«8-го июня я переправился близ Могилева через Днестр, который составляет настоящую границу между просвещенным миром и полудикими странами, лежащими на правом берегу оною. Крутые и излучистые берега Днестра дают ему некоторое сходство с Рейном только с тою разницею, что на Рейне нет ни аршина земли не возделанной, между тем как рука человеческая почти никогда еще не прикасалась до земель, вдоль Днестра лежащих ... На сем пространстве я не встретил ни одного дерева, ни одного порядочного домика, ниже проезжих. Вдали от дороги мелькали иногда бедные селения, имевшие вид унылый и пустынный, ибо около них не было посажено ни одного дерева. Взамен здесь изобильнейшие луга, испещренные цветами, какие у нас растут только в садах; я тут видел желтые лилии, гелиотропы и тюльпаны. Над сими

⁶¹ Торнау. 2002. С. 98.

⁶² Там же. С. 11–12.

⁶³ Там же. С. 52.

⁶⁴ Томіліна. 2004.

неизмеримыми пустынями носились хищные птицы, ястребы и орлы и, следуя за полетом их, я рассеивал грустные мысли мои»⁶⁵.

Или вот другая путевая заметка:

«Я в этот день оставил Молдавию и ехал по Валахии верст восемьдесят. Взору ничего не представляется кроме неизмеримых степей, которые, подобно пространному морю, кажутся беспредельными. Глубокое молчание в оных прерывается только жужжанием миллиона насекомых, обитающих на тучных сих равнинах, которые только ожидают руки пахаря, чтобы вознаградить его сторицею за труд его. Изредка встречал пасущиеся (?) (так в тексте – *О. Г.*) или проходящего валаха, и это производило во мне удовольствие, равное тому, которое ощущаем, когда во время продолжительного морского плавания видим вдальке белеющиеся паруса... Из Челабии я продолжал путь мой по большой Бухарестской дороге и по причине усталости лошадей остановился ранее обыкновенного для ночлега, недалеко от деревни Которки. В этот день однообразнейший вид степей начал прерываться большими из камня высеченными могильными крестами и курганами, которые, может быть, суть памятники обитавших здесь, вдревле народов, погибших во мраке веков»⁶⁶.

Наиболее яркая характеристика, раскрывающая влияние романтического стиля на психологию автора и изложение им материала, сделана Михайловским-Данилевским по пути в штаб действующей армии.

«С Камчика начинаются настоящие Балканы, которые оканчиваются при селении Келелер. Сие пространство, верст на сорок, вмещает в себе более или менее крутых и каменистых гор, покрытых почти повсеместно дубовым лесом. Долины, ими образуемые, уступают швейцарским по красоте своей и по обширности; в них также нет водопадов, но недостаток сей заменяется видами на Черное море, которые в некоторых местах открываются. В рассуждении высоты, Балканы нельзя сравнивать с Альпами, но переход сих последних для войск не столько затруднителен, потому что по ним проложены дороги, гораздо удобнейшие, нежели через Балканы, где существуют только узкие тропинки, покрытые камнем... Когда я поднялся на самую вершину Балкана, то влево открылось все пространство Черного моря, а вправо хребет гор, на которых расположена Шумла; над облаками носятся стаи орлов; я остановился у прозрачного ключа и выпил стакан хрустальной воды в честь нашего оружия; меня в эту минуту одушевляло чувство народной гордости. Так ровно за 20 лет, безвестный юноша, я стоял на высотах Сен-Готарда, мечтая о величии Суворова»⁶⁷.

Характерно и описание местности, сделанное им после первой рекогносцировки:

«На другой день после обеда, я осматривал неприятельскую крепость со стороны Дуная. Сперва я приехал на нашу передовую казачью цепь, а миновав оную, приближался на весьма недалекое расстояние к турецким ведетам (ближайшие к неприятелю часовые в передовой цепи – *О. Г.*)... Тут подъехал я к самому

⁶⁵ Записки... 1893. № 7. С. 182.

⁶⁶ Там же. С. 189.

⁶⁷ Там же. № 8. С. 367.

Дунаю и вышел на так называемый Маслов курган, откуда ясно видны Журжа, Рушук, острова, между семи крепостями лежащие, и турецкая флотилия, стоявшая подле Рушука. Дунай протекал медленно; на нем не было ни одной лодки, в окрестностях не видно было ни одного плуга, который бы возделывал землю, война разогнала мирных жителей; на Масловом кургане казаки варили кашу, а подле гласиса (пологая земляная насыпь перед наружным рвом крепости – *О. Г.*) крепости турки в разноцветных одеждах косили сено»⁶⁸.

Описания Торнау, в противоположность первым, лишены романтизма. Это связано с тем, что написаны его воспоминания в свободном мемуарном стиле, который утвердился с 1830-х гг. Для него нехарактерно наличие четких границ между стилевыми манерами⁶⁹. Прапорщик отображал, преимущественно, не красивые виды, смакуя темноту леса или свет луны, а бытовые сложности этих видов. Здесь, скорее всего, помимо внутренних предпочтений, сыграли свою роль сложные условия службы, не оставлявшие времени для особой романтики. Вот, например, как Торнау описывал реки Княжеств.

«Самые значительные из них: Серет, между местечком Текуч и Фокшанами, Рымник и Бузео около городков того же имени, Аржис за Букарештом, и возле Слатины река Ольта, отделяющая Большую Валахию от Малой⁷⁰. Кроме Серета и Ольты, на которых существовали мосты, переправа через прочие речки производилась вброд. Вытекая из хребта Карпатских гор, отделяющего Трансильванию от Княжеств, эти реки разливаются по Дунайской равнине широкими руслами, образующими бесчисленное множество рукавов. Летом они не представляют ни малейшего препятствия: через них можно переходить пешком, имея воды не выше колена. Зато в сильный дождь, или весной, когда снег тает в горах, они, подобно всем горным потокам, наполняются огромною массой воды, стремящуюся к устью с головокруглительною быстротой, ворочая камни, и унося с собой все что попадетя на пути. Я проезжал в середине марта, в самое полновожье, и поэтому нагляделся вдоволь на весенние переправы через валахские реки. В это время они принимают особый характер: с девяти или десяти часов утра начинают наполняться, после полудня достигают высшей меры полноводия, а в ночь теряют более половины своей глубины. Лучшее время для переправы, днем положительно невозможной, есть раннее утро. Но и тогда можно переправлять тяжелые экипажи и повозки только на волах и буйволах, лошадей же перегоняли не запряженными. Не имеющие собственного экипажа перевозятся на высоких, необыкновенно тяжелых карудзах (тип повозки – *О. Г.*), запряженных десятью или двенадцатью парами скотины. Передовые волны уже касаются противоположного берега, когда карудза не опустилась еще в воду, и длинный цуг их, уступая напору воды, образует живую дугу, медленно влекущую за собой громадную колесницу, нагруженную людьми и кладью. Чем более груза на ней, тем лучше. Замечательно также,

⁶⁸ Там же. № 7. С. 197.

⁶⁹ *Томіліна*. 2004.

⁷⁰ Река Олт (Олтул) делит территорию Валахии на две части – Мунтению (Великая Валахия с центром в Бухаресте) и Олтению (Малая Валахия с центром в Крайове).

что самые незначительные из этих речек в летнее время, Рымник и Бузео, тем опаснее бывают весной. Сын знаменитого Суворова потонул в Рымнике, о котором отец писал, что “его курица может перейти вброд, не замочив хвоста”. Дело в том, что полководец говорил о летнем Рымнике, а сын упорствовал применить слова отца к весеннему характеру реки, через которую стал переправляться под вечер, вопреки совету жителей, за что и заплатил жизнью. В рымникской церкви, видевшей славную победу отца над турками, поставлен скромный памятник преждевременно погибшему сыну⁷¹.

Или – характерное описание дороги, резко отличающееся от такового у А. И. Михайловского-Данилевского:

«Дорога от Силистрии к Шумле пролежала по холмистой местности самого цветущего вида, чрезвычайно богатой лесом, позволявшим большую половину пути ехать в “холодку”, как говорят казаки, но принуждавшим в то же время быть весьма осторожным, чтобы неожиданно не наткнуться на неприятельскую засаду. Вопреки ожиданию, наше путешествие совершилось без приключения, в пролесках показывались иногда конные турки на весьма дальнем расстоянии и потом исчезали при виде казаков, не упуская случая отправиться за ними в погоню. Кроме этих редких встреч вся страна казалась совершенно безлюдною и представляла картину самого жалкого разорения: в брошенных жителями, полусгоревших селениях ни следа жизни, одни многочисленные стаи голодных, уродливых собак встречали нас с воем и с злобным лаем»⁷².

А вот как описывал Ф. Ф. Торнау впечатления от рекогносцировки Врацы: «Довольно крепкая цитадель и низенький плетневый бруствер⁷³ около внутреннего города, окруженного обширными, густыми садами, облегчали его оборону»⁷⁴ – и никаких восхищений природой.

Таким образом, личностные качества авторов воспоминаний проявились особенно ярко в следующих составляющих: 1) в характеристиках населения Дунайских княжеств и Османской империи; 2) во взглядах на свое место в войне; 3) в наблюдениях и описаниях местностей.

В текстах четко прослеживаются психологические, мировоззренческие и профессиональные личностные черты авторов, двух совершенно разных людей, в первую очередь, по психологическим характеристикам, обусловленным личным жизненным опытом. Импульсивность прапорщика контрастирует с размеренностью генерала. Здесь мы сталкиваемся с двумя типами аристократического мировоззрения и мировосприятия, которые можно условно назвать «консервативным» (Михайловский-Данилевский) и «либеральным» (Ф. Ф. Торнау).

⁷¹ Торнау. 2002. С. 21–22.

⁷² Там же. С. 69.

⁷³ Насыпь, предназначенная для удобной стрельбы, укрытия от пуль и наблюдения противника.

⁷⁴ Там же. С. 99.

Романтизм А. И. Михайловского-Данилевского и реализм (со значительной долей практицизма) Ф. Ф. Торнау в восприятии и изложении очень ярко иллюстрируют личности обоих авторов. Являясь противоположностями, они как бы дополняют друг друга. Различия в сознании между офицерами четко оттеняет тот факт, что свои воспоминания они писали примерно в одном возрасте, хотя и в разное время. Сравнение мемуаров показывает наличие между ними своего рода «конфликта поколений»⁷⁵. Он проявляется в стилевых особенностях, в восприятии мира, в оценках. Это был взгляд на войну двух разных поколений разных эпох. А. И. Михайловский-Данилевский представляется ярким образчиком начала XIX века, «александровской эпохи» с ее классицизмом и нарождающимся романтизмом в литературе, возвеличиванием Российской империи, совмещением конституционалистских, либеральных концепций с консервативными монархическими идеями. Ф. Ф. Торнау же, с его здоровым критицизмом и стремлением к реформам, хотя он и прожил наиболее активные годы своей жизни при правлении Николая I, правильнее отнести к представителям следующего царствования – Александра II. «Николаевская эпоха» – та точка, которая в некотором роде объединила авторов исследуемых воспоминаний. Оба они критично настроены по отношению к времени, когда Российское государство возглавлял Николай I, и этот настрой прослеживается в мемуарах. Однако такое отношение обусловлено разными причинами. Для Михайловского-Данилевского идеалом правителя был Александр I, что бросается в глаза по всему тексту его произведения. Не высказываясь прямо против нового императора, генерал постоянно с большим пиететом вспоминал о его предшественнике, как бы заочно противопоставляя их. Он с прохладцей отзывался о приближенных очередного монарха, о мерах полицейского надзора в армии, о генералах, неспособных занимать свои должности и пр. Критичность же Торнау относительно указанной эпохи есть, на наш взгляд, «продукт» последней. В ней проявилось то, что И. Л. Сироткина охарактеризовала как «диалог менталитетов». «Автор... – отмечала она, – предстает в мемуарах сразу в двух (а то и более) временах: времени описываемых событий и времени повествования. Налицо диалог культур, диалог времен, диалог менталитетов и т.п.»⁷⁶. Формируясь в рамках царствования Николая I, прапорщик не принимал многое, что было для этого режима характерно:

⁷⁵ Очень содержательно, правда, в другом контексте, конфликт поколений первой трети XIX в. прослежен у Н. Я. Эйдельмана (*Эйдельман*. 1990. С. 256–264).

⁷⁶ *Сироткина*. 2001. С. 230.

мелочные ограничения во всех сферах жизни, застой в военном искусстве, господство посредственностей и пр. Воспоминания указывают на начало становления мировоззренческих установок Торнау именно в кампании 1829 г., хотя выражал он их, уже будучи зрелым человеком, преимущественно в обобщениях и размышлениях, сопровождавших фактический материал.

Отсутствие глубокого анализа, резкость в суждениях, затушевывание отдельных моментов своей биографии у А. И. Михайловского-Данилевского контрастируют с аналитичностью, критичностью и откровенностью Ф. Ф. Торнау. Хотя, справедливости ради, следует заметить, что записи генерала велись по свежим следам, а Ф. Ф. Торнау писал свои мемуары через десятилетия после описанных им событий, которые к тому времени устоялись, приобрели иной смысл.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Архангельский А.* Александр I. М.: Молодая гвардия, 2005. 444 с.
- Бескровный Л. И.* Очерки по источниковедению военной истории России. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 453 с.
- Блуднова Е. Ю.* Мемуары Н. П. Игнатъева как исторический источник: Дисс. ... канд. ист. наук. М., 2007. 216 с.
- Боджолян М. Т.* Реформы 20–30-х гг. XIX века в Османской империи. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1984. 155 с.
- Википедия [Электронный ресурс]. – URL: <http://ru.wikipedia.org>
- Военный энциклопедический лексикон: В 14 ч. / Под ред. Л. И. Зедделера. СПб.: Типография Н. Греча, 1839. Ч. 3. 639+10+9 с.
- Высочков Л. В.* Николай I. М.: Молодая гвардия, 2006. 693 с.
- Григорьева И. В.* Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М.: Высшая школа, 1984. 335 с.
- Гусев В. А.* Русский консерватизм: основные направления и этапы развития. Тверь: Тверской государственный ун-т, 2001. 235 с.
- Данилевский И. Н., Кабанов В. В., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф.* Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие. М.: Российский государственный гуманитарный ун-т, 1998. 702 с.
- Дзидзария Г. А.* Ф. Ф. Торнау и его кавказские материалы. М: Главная редакция восточной литературы, 1976. 130 с.
- Дюше М.* Мир цивилизации и мир дикарей в эпоху Просвещения. основы антропологии у философов // Век Просвещения. М.–Париж: Наука, 1970. С. 251–278.
- Єловських У.* Загальнотеоретичні питання вивчення мемуарів як історичного джерела: історіографія проблеми [Электронный ресурс]. – URL: www.history.org.ua/JournALL/sid/13/2/10.pdf
- Записки А. И. Михайловского-Данилевского* // Русская старина. 1893. № 7. С. 175–207; № 8. С. 356–387 // URL: <http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/turk.htm>
- Кинросс, лорд.* Расцвет и упадок Османской империи. М.: Крон-Пресс, 1999. 696 с.

- Колониальный менталитет [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.dorogadomoj.com/z41kol.html>
- Корендяева А. Н. История эволюции российского консерватизма в первой половине XIX в.: Дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2005. 228 с.
- Либерализм в России / Под ред. В. Ф. Пустарнакова, И. Ф. Худушиной. М.: ИФ РАН, 1996. 976 с.
- Либерализм Запада XVII–XX века / В. В. Согрин, А. И. Патрушев, В. С. Токарева, Т. М. Фадеева. М.: Ин-т всеобщей истории, 1995. 228 с.
- Либеральный консерватизм: История и современность: Материалы Всеросс. науч.-практ. конф., Ростов н/Д., 25–26 мая 2000 г. / Отв. ред. А. И. Нарезный и В. В. Шелохаев. Москва: РОССПЭН, 2001. 382 с.
- Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб.: Искусство-СПб, 2002. 413 с.
- Любовець Н. І. Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми [Электронный ресурс]. – URL: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ub/2010_7/p05.pdf
- Ляшенко Л. М. Александр II, или История трех одиночеств. М.: Молодая гвардия, 2002. 357 с.
- Макарова С. Э. Ф. Ф. Торнау. Воспоминания русского офицера [Электронный ресурс]. – URL: <http://fershal.narod.ru/Memories/Texts/Tornow/Makarova.htm>
- Макарова С. Э. Барон Торнау и его воспоминания: Вступ. ст. // Ф. Ф. Торнау. Воспоминания кавказского офицера. М.: АИРО-XX, 2000. С. 5–30.
- Мальшикин С. А. История создания А. И. Михайловским-Данилевским «Описаний» войн России конца XXIII – начала XIX вв. // Военно-исторические исследования в Поволжье. Сб. науч. трудов. Вып. 4. Саратов: Научная книга, 2000. С. 306–317.
- Миловидов Б. П. Русская армия и турки в 1828–1829 годах. Встречи после боя // Диалог со временем. 2008. Вып. 25/2: Мир и война: аспекты интеллектуальной истории. М.: КРАСАНД, 2009. С. 163–185.
- Минц С. С. Об особенностях эволюции источников мемуарного характера (К постановке проблемы) // История СССР. 1979. № 6. С. 55–70.
- Мишуков О. Русская мемуаристика первой половины XIX века: проблемы жанра и стиля. Лодзь: Ibidem, 2007. 247 с.
- Николай I и его время: В 2 т. / Сост., вступит. ст. и коммент. Б. Н. Тарасова. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. Т. 1. 894 с.; Т. 2. 448 с.
- Новичев А. Д. История Турции: В 4 т. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1968. Т. 2. 280 с., 1973. Т. 3. 205 с.
- Петросян Ю. А. Османская империя: могущество и гибель. Исторические очерки. М.: Эксмо, 2003. 416 с.
- Рахмиров П. Ю. Эволюция консерватизма в новое и новейшее время // Новая и новейшая история. 1990. № 1. С. 48–62.
- Репников А. В. Русский консерватизм: вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс]. – URL: http://conservatism.narod.ru/sb_cons1/sb_cons1.html
- Сапожников А. И. Генерал-лейтенант А. И. Михайловский-Данилевский: карьера военного историка // Новый часовой. 1997. № 5. С. 45–48.
- Сироткина И. Л. Культурологическое источниковедение: Проблема мемуаристики // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. К 80-летию про-

- фессора М. С. Кагана. Материалы международной научной конференции. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия «Symposium». Вып. № 12. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 226–232.
- Современная мировая политика: Прикладной анализ / Отв. ред. А. Д. Богатуров. М.: Аспект-Пресс, 2009. 588 с.
- Тарасов Б. Черты правления Николая I // Николай Первый. Рыцарь самодержавия: Сб. документов / Сост. Б. Тарасов. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. С. 3–65.
- Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика XX века // История СССР. 1979. № 6. С. 71–94.
- Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в.: От рукописи к книге. М.: Наука, 1991. 288 с.
- Томіліна Т. Ю. Російська воєнна мемуаристика першої третини XIX ст.: Автореферат дисертації ... кандидата філологічних наук. Херсон, 2004 [Электронный ресурс]. – URL: <http://librar.org.ua>
- Торнау Ф. Ф. Воспоминания барона Ф. Ф. Торнау // Исторический вестник. 1897. № 1. С. 50–82; № 2. С. 419–447.
- Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. М.: АИРО-XX, 2000. 368 с.
- Торнау Ф. Ф. Воспоминания о кампании 1829 года в европейской Турции // Торнау Ф. Ф. Воспоминания русского офицера. М.: АИРО-XX, 2002. С. 11–128 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/turk.htm>
- Торнау Ф. Ф. Воспоминания русского офицера. М.: АИРО-XX, 2002. 384 с.
- Троицкий Н. А. Россия в XIX веке: курс лекций. М.: Высшая школа, 1999. 431 с.
- Труайя А. Александр I. Северный Сфинкс. М.: Эксмо, 2003. 480 с.
- Фадеев А. В. Россия и Восточный кризис 20-х годов XIX века. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 396 с.
- Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей // Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991. С. 239–287.
- Цветков С. Александр I. М.: Центрполиграф, 2005. 211 с.
- Шевченко Т. Щоденник // Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. К.: Наукова думка, 2003. Т. 5 [Электронный ресурс]. – URL: <http://litopys.org.ua/shevchenko/shev501.htm>
- Эйдельман Н.Я. Быть может за хребтом Кавказа (Русская литература и общественная мысль первой половины XIX в. Кавказский контекст). М.: Наука, 1990. 319 с.
- Яковина Н. И. Русское дворянство первой половины XIX века: Быт и традиции. СПб.: Лань, 2002. 160 с.
- Ясь О. В. Мемуари // URL: <http://www.history.org.ua/?l=EHU&verbvar=Memuary&abcvar=16&bbcvar=6>
- Ясь О. В. Мемуаристика [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.history.org.ua/?l=EHU&verbvar=Memuarystyka&abcvar=16&bbcvar=6>
- Гоків Олег Александрович**, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды; gokov_oleg@mail.ru

А. В. ХРЯКОВ

Г. ГЕЙМПЕЛЬ

ЛИЧНОЕ ПОКАЯНИЕ И «ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОШЛОГО»

Немецкий медиевист Г. Геймпель (1901–1988), активно сотрудничавший в годы «третьего рейха» с нацистскими властями, после Второй мировой войны призвал немецкое общество признать собственную вину за преступления Гитлера. Используя категории «вины», «памяти», «ответственности», он предложил свой вариант взаимоотношений исторической науки и исторической памяти, который выражается в концепте «преодоления прошлого».

Ключевые слова: Г. Геймпель, немецкая историческая наука, память, вина, покаяние, «преодоление прошлого».

В одном из своих послевоенных интервью немецкий историк Петер Рассов заявил, что «вопросы вины – это не вопросы историков». По его мнению, вина (Schuld) – это понятие морали, религии, но никак не научной истории, которая в отличие от обыденной речи имеет дело с понятием причины¹. Для первых послевоенных лет в Германии такие слова, как вина и искупление, были редкими гостями в общественном дискурсе нации. За исключением философа Карла Ясперса практически нельзя встретить статусных интеллектуалов обращавшихся к этой проблеме². Напротив, преобладала тенденция рассматривать гитлеровский режим как природное бедствие, катаклизм, возникновение которого не зависит от воли и желания людей. По мнению большинства писавших о прошедших годах, Германия и ее интеллектуалы были «втянуты» (verstricken) и наглым образом «использованы» (mißbrauchen) нацистами. Странников Гитлера сравнивали с бандитской шайкой, совершенно чужеродным элементом, не имевшим корней в национальной истории. Исходя из этого, общество представлялось обманутой жертвой, ставшей добычей пришедших из ниоткуда насильников, а сама Германия объявлялась «оккупированной страной». Желание сделать акцент на непричастности к деятельности преступного режима, подчеркнуть собственное противостояние нацистским властям вполне понятны. Нежелание беречь прошлое, конечно же, проистекает как из стремления частных лиц предстать перед новыми властями в роли непричастных, так и из обще-

¹ Цит. по: Berg. 2003. S. 220.

² Jaspers. 1946. О позиции К. Ясперса более подробно см.: Борозняк. 2001.

го желания поскорее забыть собственный «сон разума» – слишком велика была плата за «очарование Гитлером».

Ситуация экономического чуда начала 1950-х гг. также не располагала к самобичеванию: на фоне колоссальных успехов в восстановлении экономики сомнений в целесообразности проделанного страной пути вообще не возникало. Тем интересней обращение к данной проблематике ровно через десять лет после поражения гитлеровской Германии. Нельзя не отметить, что споры по поводу метафоры вины, а также связанных с ней понятий искупления, исцеления, очищения и, кроме того, примирения и ответственности, обладали в Германии 50-х гг. чрезвычайной актуальностью и не только в историографии.

Одним из первых, кто способствовал включению в орбиту профессиональной историографии морально-нравственных категорий являлся медиевист Герман Геймпель (1901–1988). Он не только был единственным признанным историком Германии, призвавшим немецкую нацию покаяться в своем поведении при нацистах, но также предложил мыслительный концепт «преодоления прошлого» (*Vergangenheitsbewältigung*), позволивший связать негативное прошлое с настоящим³. Геймпель предпринял попытку так определить историческую науку и память, чтобы живая память и профессиональная наука снова смогли сойтись.

Видимо, впервые категорию «непреодоленного прошлого» употребил ученик Геймпеля, его ассистент по работе в университете Страсбурга историк Герман Мау (1913–1952), который в своей речи 1952 г. развернул критику произошедшего до сих пор в Германии «духовного преодоления недавнего прошлого»⁴. Трагическая гибель в автомобильной катастрофе не позволила ему наполнить яркое выражение научным содержанием. Понятие «преодоление прошлого» было открыто для научной историографии, что позволило ему стать важным связующим звеном между частной жизнью и общественно-политической сферой.

Геймпель, как и большинство его коллег-историков, сам долгое время уклонялся от того, чтобы обратиться к недавней истории своей страны. В письме первому председателю Союза немецких историков Г. Риттеру по поводу предстоящей поездки на международный съезд историков в Париже в 1950 г. и выработки общей стратегии поведения, он писал: «Я не готов позволить экзаменовать себя в Париже, ни из-за моего собственного характера, ни из-за моего отношения к национал-

³ О значении Геймпеля в становлении концепции «преодоления прошлого» см.: *Wenke*. 1960. S. 66–70; *Kohlstruck*. 1997. S. 13–20; *Борозняк*. 1999. С. 36.

⁴ Герман Мау – второй после Г. Кроля директор Института современной истории в Мюнхене. Об истории института см.: *60 Jahre Institut für Zeitgeschichte...*

социализму. Я видел бы в этом невыносимое фарисейство, тем более, когда в Париже мы встретимся с коллегами из народов, которые не имеют совершенно никаких причин нас в чем-то упрекать»⁵. Здесь немецкий историк выступает решительно против того, чтобы, как он пишет, «обсуждать личное». И в данном случае он имеет в виду не только себя, но и других представителей научного сообщества, в том числе своего кумира М. Хайдеггера, под руководством которого он работал во Фрайбургском университете в 1933 г. Геймпель неодобрительно отзывался о тех, кто стремился осудить великого философа, не понимая, что «высокоодаренный дух в переломную эпоху может ошибаться»⁶.

Вне всякого сомнения, первоначальное отторжение дискурса покаяния являлось защитной маской для наступившего внутреннего раскаяния. Начавшуюся у историка в 1945 г. и повторявшуюся в последующем неоднократно депрессию (о ней сообщают его ученики) можно рассматривать как симптом изменения личного отношения к случившемуся. Толчком к внутреннему раскаянию, по всей видимости, послужило известие о судьбе близких ему людей. Речь идет о его первом университетского профессоре Зигмунде Гелльмане (1872–1942), а также его студенческом друге Арнольде Бернее (1897–1943). И Гелльман, и Берней были евреями, что во многом и предопределило их трагическую судьбу в нацистской Германии. Неслучайно Г. Геймпель сделал этих некогда близких ему людей действующими лицами своего фантастического описания «пивного путча», свидетелем которого он был⁷.

Вплоть до 1933 г. Гелльман являлся профессором Лейпцигского университета, но в соответствии с параграфом 3 закона «О восстановлении профессионального чиновничества» от 7 апреля 1933 г. был уволен по расовым мотивам. В ситуации с Гелльманом поражает его удивительная пронизательность относительно своей судьбы и то спокойствие, с которым он эту судьбу встретил. В письме Геймпелю от 26 июля 1932 г. Гелльман профессор пишет: «В середине месяца (август) я думаю отправиться в Штарнберг (если конечно после 31 числа меня не ожидает концлагерь), возможно, мы могли бы тогда встретиться там или в Мюнхене»⁸. Письмо было написано за несколько дней до выборов 31 июля 1932 г. в Рейхстаг, в ходе которых нацистская партия одержала свою ошеломляющую победу, став самой крупной фракцией в парламенте. И даже несмотря на относительную неудачу нацистов на ноябрь-

⁵ Цит. по: Berg. Op. cit. S. 245.

⁶ Matthiesen. 1993. S. 1225.

⁷ Heimpel. 1981. S. 521–525.

⁸ Heimpel. 1995. S. 151.

ских выборах 1932 г. Гелльман прекрасно осознавал к чему все идет. Встречая вместе со своим учеником новый 1933 год, Гелльман в очередной раз выступил в качестве пророка: «Вы увидите, обратился он к Геймпелю, в начинающемся сегодня году, я больше не буду преподавать, и Вы бы тогда стали для меня лучшим преемником»⁹. К сожалению, пророчество уважаемого профессора исполнилось в полной мере: после отстранения Гелльмана от преподавания, его место занял Геймпель, отказавшийся от профессорской должности в родном Фрайбурге.

Жизнь Гелльмана стала для Г. Геймпеля, по словам одного из его учеников, «воплощением судьбы, набросившим свою тень на его собственную судьбу»¹⁰. В некрологе, составленном к десятой годовщине смерти учителя, Геймпель написал: «В ставшем самой ужасной реальностью кошмарном сне, который гуманисту и присниться никогда не мог, в лагере Терезиенштадт, 7 декабря 1942 г. умер Зигмунд Гелльман, покинутый всеми нами и совершенно одинокий в массовой судьбе»¹¹. В 1981 г. в день празднования своего восьмидесятилетия Геймпель в очередной раз коснулся судьбы трагически погибшего учителя. «Мой предшественник по кафедре в Лейпциге одиноко умер в Терезиенштадте среди массы измученных. В Мюнхене он был моим учителем, а я часто высказывал ему свое почтение, так долго, пока не было риска»¹².

С Арнольдом Бернеем Геймпель познакомился во Фрайбурге весной 1922 г. на одной из лекций Г. фон Белова. Их дружба продлилась около десяти лет. Берней был сыном зажиточного вино торговца «иудейской веры» и будучи на четыре года старше Геймпеля, как и многие евреи Германии (вспомним того же Канторовича), принимал участие в Первой мировой войне. Именно своему новому другу Геймпель впервые рассказал о «пивном путче» 8 ноября 1923 г. в знаменитой пивной Мюнхена Бюргербройкеллер. Письмо Геймпеля к Бернею с описанием случившегося, видимо, не сохранилось, но по ответу Бернея (он в этот момент находился во Фрайбурге для подготовки к докторским экзаменам) можно предположить, о чем шла речь в их взаимной переписке.

Именно на основе анализа этого письма современные биографы Бернея и Геймпеля делают вывод об одобрительном отношении Геймпеля к национал-социалистам задолго до их прихода к власти¹³. В своем письме старший товарищ в ответ на упрёки оправдывается перед Гейм-

⁹ Ibidem.

¹⁰ Fleckenstein. 1989. S. 28.

¹¹ Heimpel. 1995. S. 147.

¹² Heimpel. 1981. S. 42.

¹³ Oexle. 2000; Sommer. 2004.

пелем: «ты не можешь нас считать равнодушными, здесь также некоторые держат кулаки в кармане»¹⁴. Берней не только высказал свое отношение к идеологии «национального социализма», но сумел связать философско-исторический анализ гитлеровского движения со своей собственной судьбой, выступив фактически, как и Зигмунд Гелльман, в роли пророка, чье предсказание исполнилось в полной мере.

Главной цели национального социализма, а именно государственному подавлению капитализма, очищению хозяйственного этоса с помощью идеи действительно народного, сословно выстроенного государства, я не могу сказать ничего кроме своего фанатичного “Да” <...> Это “Да” настолько сильно, что оно заглушает боль от того, что это движение является антисемитским, должно быть антисемитским <...> и что оно хочет растоптать меня».

На следующий день Берней, дописывая свое письмо, сделал совершенно паразитическое замечание: «Совершенно наполненный тем самым “Да” я прожил эту ночь. Я видел новое, очень чистое, высшее немецкое будущее. Тут мне неожиданно пришло на ум, что я еврей. Я подумал, они же изгонят тебя, они лишат тебя твоей профессии. И это не вызвало ничего кроме улыбки. Они могут меня убить, и я должен это одобрять, когда я знаю, что они это делают с чистотой и невинностью. Если они благодаря этому уничтожению приобретут силу, то я хочу быть уничтоженным, потому что я их. Так я остался радостным и все еще остаюсь»¹⁵.

По всей видимости, А. Берней переживал те же чувства, что и большинство немецких интеллектуалов еврейского происхождения того времени. Несомненно, являясь патриотами своей страны, защищая ее на фронтах войны и отдавая ей весь свой литературный талант, они готовы были порвать со своей еврейской идентичностью, стремясь полностью раствориться среди других и стать «немцами». Геймпель вспоминал, как «однажды в своей комнате, он (Берней) умоляюще сказал мне, что ему нужно пройти всего один метр до полной немецкой сущности и этот метр якобы мог ему подарить только я, из-за нашей безусловной дружбы. Он лежал на своем диване, а я, от страха став циничным, разглядывал только дырки в его носках»¹⁶. Это горькое откровение, произнесенное много лет спустя, как нельзя лучше демонстрирует, что стремление таких людей, как Т. Манн, В. Клемперер, Э. Канторович и многих других еврейско-немецких мыслителей, быть полезными своей родине наталкивалось на непреодолимую стену страха немецкого общества.

Уже весной 1933 г. Берней был уволен из университета на основании все того же закона «О восстановлении профессионального чинов-

¹⁴ *Matthiesen*. 1998. S. 21.

¹⁵ *Ibid*. S. 21–23.

¹⁶ *Heimpel*. 1995. S. 157.

ничества», не помогло ни участие в мировой войне, ни заступничество профессора Г. Риттера. Геймпель не принял никакого участия в судьбе своего уже бывшего друга. В своих воспоминаниях о Бернее, Геймпель пишет: «для него речь больше не шла о последнем метре до совершенного немца, скорее о долгом и тяжелом возвращении в еврейство»¹⁷. Уехав из Фрайбурга А. Берней, преподавал в учебном заведении для евреев в Берлине, откуда в 1938 г., сразу после трагической «хрустальной ночи», эмигрировал в Палестину, где и умер через пять лет.

Впервые тема вины и стыда, а также истории и настоящего сошлись воедино в романе Г. Геймпеля «Скрипка 1/2», посвященном собственному детству, проведенному в Мюнхене¹⁸. Свои воспоминания немецкий историк стал писать зимой 1944–45 гг., в ночь на Рождество в геттингенском доме известного историка З. А. Келера, который приютил многочисленное семейство Геймпеля, срочно бежавшего из Страсбурга. Книга Геймпеля написана в традициях немецкого «романа воспитания» (*Bildungsroman*), чьи лучшие образцы связаны с эпохой Просвещения и «Вильгельмом Мейстером» Гете. Воспоминания обращаются к счастливым детским переживаниям героя (Эрхарда) накануне Первой мировой войны, историк демонстрирует мир семейного порядка, устойчивость и неизменность фамильных норм и ритуалов, в число которых входят посещения церкви и многочисленных мюнхенских картинных галерей, путешествия в горы и послеобеденные игры с друзьями и, конечно же, регулярные занятия скрипкой.

Но вся эта идиллия рушится в одночасье вместе с первыми залпами войны. Не имея возможности по возрасту попасть на фронт, Эрхард проходит все этапы не фронтовой военной жизни, вступая сперва в «Баварское общество обороны»¹⁹, затем в «Юношеский штурмовой отряд»²⁰, а уже после окончания войны – в «Баварский добровольческий корпус» (фрайкор) под командованием Эппа²¹. Роман Геймпеля, написанный сразу же после Второй мировой войны, отразил в себе переходный характер эпохи между двумя грандиозными мировыми конфликтами. Именно поэтому мир детских воспоминаний историк описывает

¹⁷ Ibid. S. 162.

¹⁸ *Heimpel*. 1965. Несмотря на многочисленные переиздания, в целом воспоминания немецкого историка так и остались невостребованными. К сожалению, если не принимать во внимание отдельные рецензии, книга не стала предметом пристального внимания немецких историков.

¹⁹ *Heimpel*. 1965. S. 209.

²⁰ Ibid. S. 259.

²¹ Ibid. S. 284–285.

как-то меланхолично, выражая его потерю одной емкой фразой «Мир утонул»²². Только помня об этом можно понять мотивы Геймпеля, обратившегося к своим детским и юношеским воспоминаниям. Главный герой «романа воспитания» выступает не просто как один из многочисленных свидетелей событий, он превращается в медиума, в котором пересекаются прошлое и будущее всего мира. По словам М. М. Бахтина, обращавшегося к жанровым особенностям подобных произведений, герой таких романов «<...> уже не внутри эпохи, а на рубеже двух эпох, в точке перехода от одной к другой. Этот переход совершается в нем и через него. Он принужден становиться новым, небывалым еще типом человека. Дело идет именно о становлении нового человека; организующая сила будущего здесь поэтому чрезвычайно велика, притом, конечно, не приватно-биографического, а исторического будущего. Меняются как раз *устои* мира, и человеку приходится меняться вместе с ними. Понятно, что в таком романе становления во весь рост встанут проблемы действительности и возможности человека, свободы и необходимости и проблема творческой инициативности»²³.

В мире стремительных перемен, техники и прогресса, живым воплощением которых в романе является отец главного героя – уважаемый железнодорожный инженер, единственным спасением становятся занятия историей. «Об истории в доме Штенгелей не говорили. Прошлого не существовало. Хорошо. Отец ненавидел акты и старые письма, слишком много воспоминаний, рухлядь и пыль <...> Поскольку прошлое не способствовало прогрессу, отец о нем думал легко и немного иронично»²⁴. Совершенно иное восторженное отношение к истории у Эрхарда, в образе которого предстает сам будущий историк, его интересует «собственное в другом, настоящее в прошлом, свое в чужом, история, время, примиряющее время»²⁵.

В романе Геймпель пытается найти свое истинное «Я», себя, еще не обремененного сотрудничеством с нацистами, забывшим, а где-то и предавшим близких людей. Таким он был в детстве и юности, в родительском доме в Мюнхене. Вернуться к своему незапятнанному прошлому может помочь только память. «Дух открывает дорогу домой благодаря памяти. Чем же является человек? Человек это сущность, обладающая памятью. Ангелы не имеют памяти, так как они видят Бога.

²² Ibid. S. 277.

²³ Бахтин. 1979. С. 214–215.

²⁴ Heimpel. 1965. S. 164–165.

²⁵ Ibid. S. 176.

У людей есть память, потому что они знают о Боге, но не видят Его, находясь на пути к нему. Их пути – это дороги к себе, а именно к своему происхождению, туда, где они действительно у себя, а именно к Богу»²⁶. Память дана потомкам Адама и Евы в качестве наказания за их отречение от Бога, чтобы они помнили о своей вине и смогли вернуться. Таким образом, человеческая память выступает в двоякой ипостаси: с одной стороны, она является вечным проклятием, с другой – это благо, выступающее залогом возвращения человека домой, к Богу. Память о потерянных друзьях это наказание, жить с которым категорически невозможно, и чтобы избавиться от собственных нравственных мучений, чтобы преодолеть собственное прошлое, Геймпель обращается к истокам, надеясь таким образом помириться с собственной совестью.

Как бы пытаясь ответить на вопросы «с чего же все началось?» и «как стала возможной нынешняя катастрофа?», историк воспроизводит события своей юности, когда он стал свидетелем гитлеровского «пивного путча» 1923 г. Написанная специально для романа воспоминаний глава «Сон в ноябре» должна была стать завершающей частью книги, но, по настоянию жены, была опубликована много позже отдельным изданием. Конечно, воспоминания Геймпеля мало что дают для реконструкции событий самого «пивного путча», да и не в этом их ценность и самое главное изначальное предназначение. Геймпель не столько пересказывает событийную канву произошедшего в Бюргербройкеллере, сколько описывает свои впечатления от увиденного.

Воспоминания о реальных событиях перемежаются здесь с фантастическими видениями. Инициатор посещения известной пивной, друг и коллега отца историка, относившийся к нему с симпатией, считал, что молодому человеку подобает интересоваться политикой, и как бывший офицер полагал, что политический интерес может быть «исключительно патриотическим и верноподданническим», имея ввиду, конечно же, не республиканское правительство Германии, а консервативное правительство Баварии во главе с Густавом фон Каром. Именно в момент выступления последнего «раздался пистолетный выстрел». «Всем сесть!!». «Голос поразил лучше, чем выстрел. Почти все тотчас сели <...> Пистолет был в руках бледного человека, которому было около тридцати лет. Он выглядел моложе, несмотря на свои усики»²⁷. Штурмовики выпустили посетителей пивной лишь после того, как Гитлер объявил состав нового национального правительства. «Полицайпрезидент – Зайссер. Военный

²⁶ Ibid. S. 155.

²⁷ *Heimpel*. 1981. S. 522–523.

министр – фон Лоссов. Министр внутренних дел – фон Кар. Генерал Людендорф (зал взорвался аплодисментами) – командующий новой немецкой армией. Эрхард почувствовал слабость в желудке. Диссертация должна быть готова прежде, чем он умрет». Историк выбрался на улицу, но и здесь было неспокойно.

«Бушевали старые и новые песни, развевались непривычные флаги. Маршировало СА. Яростные лица <...> Подле штурмовиков горели факелы. Они плясали над городом».

Эрхард взял факелы в свой сон. Они полыхали. Огонь нужно было бы лучше оберегать <...> За рабочим залом скрипела половица. Там находится каталог. Библиотекари разговаривали. Над ними висела надпись “Favete linguis” (помолчите). Вдруг появился Берней. Он кое-что понимает в жизни. Нужно его спросить. Ты знаешь как сгорает книга? Книги вообще не горят. Пока нет. Они тлеют. Конечно же, при сильном жаре они все же сгорят.

Становится все горячее. Там на столах лежат книги, раскрытые. Корпус латинских надписей. Сейчас взмывает вверх один лист. Он большой и черный. <...> Корпус горит. На той стороне, над фолио стоят Ежегодники немецкой истории. Огонь их не охватил, они дымятся. О Господи! Почему позволяешь Ты гореть книгам. Корпус горит. Моммзен горит. О Господи! Чем они провинились. Гизебрехт горит, все горят, старательные и уважаемые, они изумлены и страдают в огне. Падает полка. Она сгорает. Огонь получил пищу. Acta Sanctorum (Деяния Святых) высоко вверху на галерее, после месяцев систематизации. Тридцать восемь фолиантов падают подкошенными. Святые горят. О Господи! Ноябрь еще не кончился.

На другой стороне зала стоят журналы. Здесь протекает черновая работа науки, говорит Гелльман. Черновая работа горит. Зашатался Минь. Patrologia latina. Patrologia graeca (Писания учителей Церкви, латинских и греческих). Патрология грохнулась на Баварскую историю, где стоит Rieds Codex diplomaticus Ratisbonensis (Собрание документов основателя церкви в Регенсбурге). Искры льются, поднимаются как туман. Каталог дымится.

Галереи продолжали гореть. Отчаянно парил через огненный ветер белый лист. На них стоит «Lexica». Настольная лампа искривилась, лампочка лопнула. Каталог дымился. Эрхард стоял в центре рабочего зала. Он схватился за остаток Брентановых Регест императоров Салиев и Штауфенов. Это был единственный экземпляр. Слышишь, единственный! Там, справа от кафедры смотрящего, зал округлился <...> И теперь он вращался. Огненный зал вращался. Библиотека вращалась. Эрхард стоял с императорскими документами. Ему было холодно. Здесь ледяной воздух, нет крыши <...> Рухнула стена журналов. После тишина. Favete linguis²⁸.

Перед нами не что иное, как художественный образ конца света. Если вспомнить последнюю главу романа «Ослепление» нобелевского лауреата по литературе Элиаса Канетти, а также «Имя Розы» Умберто Эко, пожар в библиотеке является ярким символом уничтожения целого

²⁸ Heimpel. 1981. S. 524.

мира. Но здесь помимо основополагающих для любого медиевиста книг, представлены и дорогие историку люди: Гелльман и Берней. Факелы штурмовиков, из-за которых, в сущности, и возник пожар, были принесены из страшной ноябрьской реальности 1923 г. в собственный сон самим Эрхардом, самим будущим историком. Он собственноручно уничтожил свой прежний мир, а вместе с ним и своих друзей.

Раскаяние для Геймпеля не было одноактным действием, связанным, как считают критики, исключительно с его стремлением стать в 1950-е гг. президентом Федеративной республики. Одна из дочерей после похорон Геймпеля нашла на его рабочем столе «Малый катехизис Мартина Лютера», изданный в 1986 г., за три года до смерти историка.

Многочисленные подчеркивания, перечеркивания и пометки свидетельствуют как об интенсивности чтения, так и о спорах с текстом. Документ в целом подтверждает еще раз, каким мучительным образом Герман Геймпель в конце своей жизни занимался основополагающими религиозными вопросами. На титульном листе им было написано: “но имею ли я силу, полагаться на милость Господа?”. В молитве “Отче наш”, в свою очередь, единственным ярко выделенным предложением было место о прощении грехов (**Und vergib uns unsere Schuld**, – добавление мое *А. Х.*) В “Символе веры” рядом с предложением о Всемогущем Боге дважды написано слово “Auschwitz” (Освенцим)²⁹.

Конечно, столь личный документ, сохранивший к тому же совершенно частные раздумья, трудно оценивать. Мысли, даже не произнесенные вслух, не записанные, а всего лишь отмеченные незадолго до смерти в тексте религиозного документа, ничего не скажут с научно-исторической точки зрения. Но с точки зрения перспектив исторической памяти эти записи на полях Библии позволяют расшифровать смысл предложенного Геймпелем способа «преодоления прошлого», состоящего из религиозного осмысления и осознания вины. Геймпель с трудом выработал позицию христианского раскаяния, толчком к чему послужило уничтожение близких людей, что побудило его к ревизии собственной интеллектуальной позиции. И Геттинген, где после войны обосновался Геймпель, был предназначен для этого лучше, чем любой другой интеллектуальный центр Германии. Рассказывая о своих студенческих годах, историк Аннелизе Тимме вспоминала какой «новый и отличный шанс» здесь получило христианство, когда на послевоенные проповеди местных профессоров теологии стекались массы народу, «так что не всегда можно было занять место, если прийти не вовремя»³⁰.

²⁹ *Perlitt*. 1989. S. 59.

³⁰ *Thimme*. 1997. S. 191.

В одном из своих интервью, записанном 1 января 1956 г. и ставшем впоследствии основой для текста «Новый 1956 год» Геймпель задается вопросом «Чего мы ждем от нового года?»³¹. В небольшом по объему выступлении историк затронул наиболее актуальные для Германии того времени проблемы: взаимоотношения государства и гражданина, разделение Германии и надежда на ее воссоединение и, прежде всего, соотношение истории и памяти. «Без памяти, по мнению историка, а точнее без отчета, годы являются ничем, только лишь грудой отживших и поношенных календарей (Terminkalender), записи в которых мы очень скоро перестанем понимать. Новый год требует нашей памяти»³². Его слова обращены, прежде всего, к «чуждым истории людям» с их желанием забыть «трудности немецкой истории последних двадцати лет». Но как раз эти годы и должны, «просто обязаны» быть задачей нашей памяти. «Данная работа памяти преодолевает характерную для нашей современности очень сильно затененную опасность забывчивых вытеснений. Было бы хорошим занятием в новом году собрать воедино все глупости, соглашения с властью и кроткую реакцию на изменяющийся дух времени, все, что в последние двадцать лет говорили или печатали. Так как мы все, каждый по-своему, стали виновными и остались ими, поскольку смерть – господин последних десятилетий – нас пощадила». Воспоминания становятся формой покаяния, формой осознания вины. Только это одно сможет «исцелить болезнь нашего времени», поможет «преодолеть непреодоленное прошлое. Только так мы станем, наконец, свободными, мы, которые до самого конца так и не освободились от своего прошлого и от своих заблуждений»³³.

В своих работах Г. Геймпель не говорит о себе лично, собственные промахи так и остались не названными, на что многократно указывали его оппоненты, но, тем не менее, данная стратегия парадоксальным образом содействовала рождению темы личного стыда. И даже несмотря на то, что собственное поведение в те годы оставалось за рамками подобного осмысления, важным являлось персональное проговаривание отношения к произошедшему. Послевоенные тенденции демонизации нацизма вообще и Гитлера в частности, отвергавшие любые попытки осмыслить нацистское прошлое, впервые сменились размышлениями над ним. Конечно, признание личной вины и стыда ничего не давало для понимания конкретной истории «третьего рейха» и его преступле-

³¹ *Heimpel*. 1956. S. 86–91.

³² *Ibid.* S. 87.

³³ *Heimpel*. 1956. S. 87.

ний, оно вело, прежде всего, к осмыслению собственной персоны в очень широком нравственно-религиозном контексте.

Пожалуй, главную роль в преодолении прошлого, по мнению Геймпеля, играет историческая наука, именно она сегодня является главной хранительницей памяти, а значит единственной сохранившейся у человека гарантией возвращения к своим истокам: в детство, в родительский дом, наконец, к Богу. «Историческая наука, для немецкого историка, является научно дисциплинированной памятью человека»³⁴. Современный мир постоянных изменений радикально отличается от мира прошлого. Если в XIX в. Ницше страдал от избытка научно воспринимаемой истории, призывая к забвению, то XX веку, по мнению Геймпеля, угрожает недостаток прошлого. «Живем ли мы в историческое время? – задается вопросом историк»³⁵. Ответ неутешительный: современный человек склонен к забывчивости, он страдает от «паралича памяти». «Забывчивость – это цена, которую человек платит за то, что подчинил себе Землю. Забывчивость идет от скорости. Но не только скорость делает нас забывчивыми. Мы забываем историю, потому что слишком много пережили и должны пережить. Человек обладает склонностью и способностью, в смысле своего жизнеобеспечения, забывать. И особенно виновные – мы, виновные – не охотно вспоминают. Это барьер между нами и прошлым – барьер вины, не известный нашим либеральным предкам»³⁶. «Глобальный, планетарный характер всей новейшей и будущей истории» призывает сегодня мыслить исторически и дает шанс профессиональной науке стать памятью современного общества. Так история в концепции Геймпеля выполняет функцию «умиротворения настоящего», «она не только познающая, понимающая, но также примиряющая память человека»³⁷, с которой связано решение и чисто утилитарных проблем. «Только знание об ужасах прошлого поможет нам смотреть в глаза его страхам, чтобы их преодолеть»³⁸.

Задача современного исторического знания – не освобождение от тяжелого наследия прошлого, но напротив – замена потерянных неосознанных связей сознательной наукой³⁹. И Геймпель не понаслышке знал к чему приводит «паралич памяти», стремление поскорее забыть неудобное прошлое, подкорректировать его или создать взамен ему не-

³⁴ *Heimpel*. 1957. S. 211.

³⁵ *Heimpel*. 1959. S. 3.

³⁶ *Ibid.* S. 5.

³⁷ *Ibid.* S. 25.

³⁸ *Ibid.* S. 23.

³⁹ *Heimpel*. 1957. S. 218.

жизнеспособную химеру – через все это в 1930–40-е гг. прошел не только он сам, но и большинство членов исторического цеха Германии. «Немецкий историк ищет сегодня почву и реальность с особой самоотдачей, после того как его достаточно жестоко одурачила ужасающая связь романтики и реальной политики. Историк служит настоящему не романтически, но исторически понятой действительностью <...> Мы учитываем не только то, что прошлое обязано настоящему, настоящее также имеет долг в отношении прошлого, долг памяти, управляемой историком. Память делает людей гуманнее, история и историческая наука в этом смысле являются элементами гуманности»⁴⁰.

На съезде историков в Ульме в 1956 г. Г. Геймпель обратился к понятиям вины и причины в ремесле историков, но в отличие от П. Рассова выразил их соотношение совершенно противоположным образом, не разделяя их, а напротив – устанавливая между ними очень строгую корреляцию, имеющую к профессии историка самое прямое отношение. Говоря о произошедшей после Второй мировой войны «перемене значения фактов», он отмечает возникновение в исторической науке «совершенно закономерной трехходовки», когда историки должны исходить из «вопросов морали» и продвигаться через «вопросы причины» к «вопросам структуры»⁴¹. Геймпелю удалось сделать свои публично не проговариваемые внутренние переживания необходимым и общезначимым элементом трансформации национальной историографии, в которой морально-нравственные вопросы являются необходимым условием успешного функционирования. «Ведь в истории, по словам историка Рейнхарда Виттрама, речь всегда идет о вине, она является тайным мотором, поддерживающим механизм в рабочем состоянии, зачастую спрятанный, но всегда действующий, собственный *Perpetum mobile* мировой истории»⁴².

БИБЛИОГРАФИЯ

- Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советская Россия, 1979. 320 с.
- Борозняк А. И.* «Неудобный господин Ясперс», или О политической ответственности интеллигенции // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 5. М., 2001. С. 178–186.
- Борозняк А. И.* Искупление. Нужен ли России германский опыт преодоления тоталитарного прошлого? М.: Пик, 1999. 288 с.
- Berg N.* Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erinnerung. Göttingen: Wallstein, 2003. 766 s.

⁴⁰ *Heimpel.* 1959. S. 25.

⁴¹ *Heimpel.* 1957. S. 206.

⁴² *Wittram.* 1958. S. 17.

- Fleckenstein J.* Gedenkrede auf Hermann Heimpel // In memoriam Hermann Heimpel. Göttingen, 1989. (Göttinger Universitätsreden. H. 87.)
- Heimpel H.* Aspekte. Alte und neue Texte / Hrsg. von S. Krüger. Göttingen: Wallstein, 1995. 464 s.
- Heimpel H.* Die halbe Violine. Eine Jugend in der Haupt- und Residenzstadt München. München, Hamburg: Siebenstern-Taschenbuch, 1965. 302 s.
- Heimpel H.* Geschichte und Geschichtswissenschaft // *Heimpel H.* Der Mensch in seiner Gegenwart. 2. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1957. S. 196–220.
- Heimpel H.* Neujahr 1956 // *Heimpel H.* Kapitulation vor der Geschichte? Gedanken zur Zeit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1956. S. 86–91.
- Heimpel H.* Reden gehalten am 19. Oktober 1981 in der Aula der Georg-August-Universität in Göttingen zur Feier des 80. Geburtstags von Hermann Heimpel am 19. September 1981 / Hrsg. vom Max-Planck-Institut für Geschichte. Göttingen, 1981. S. 41–47.
- Heimpel H.* Traum im November // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. Bd. 32. 1981. S. 521–525.
- Heimpel H.* Über Geschichte und Geschichtswissenschaft in unserer Zeit. Vortrag, gehalten auf der 8. Vortragsveranstaltung der Niedersächsischen Landesregierung am 19. Februar 1959. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1959. 28 s.
- Jaspers K.* Die Schuldfrage. Heidelberg: Lambert Schneider, 1946. 106 s.
- Kohlstruck M.* Zwischen Erinnerung und Geschichte. Der Nationalsozialismus und die jungen Deutschen. Berlin: Metropol, 1997. 316 s.
- Matthiesen M.* Gerhard Ritter. Studien zu Leben und Werk bis 1933. Egelsbach, Köln, New York: Hänssel-Hohenhausen, 1993. 1310 s.
- Matthiesen M.* Verlorene Identität. Der Historiker Arnold Berney und seine Freiburger Kollegen 1923–1938. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. 131 s.
- Oexle O. G.* «Zusammenarbeit mit Baal». Über die Mentalitäten deutscher Geisteswissenschaftler 1933 – und nach 1945 // Historische Anthropologie. 2000. Heft. 1. S. 1–27.
- Perlitt L.* Ansprache zur Trauerfeier für Hermann Heimpel am 3. Januar 1989 in der Universitätskirche St Nikolai in Göttingen // In memoriam Hermann Heimpel. Göttingen, 1989. (Göttinger Universitätsreden. H. 87.)
- Sommer K. P.* Eine Frage der Perspektive? Hermann Heimpel und der Nationalsozialismus // Historisches Denken und gesellschaftlicher Wandel. Studien zur Geschichtswissenschaft zwischen Kaiserreich und deutscher Zweistaatlichkeit / Hrsg. von T. Kaiser, St. Kaudelka, M. Steinbach. Berlin: Metropol, 2004. S. 199–226.
- Thimme A.* Geprägt von Geschichte. Eine Außenseiterin // Erinnerungsstücke. Wege in die Vergangenheit. Rudolf Vierhaus zum 75. Geburtstag gewidmet / Hrsg. von H. Lehmann, O.G. Oexle. Wien, Köln, Weimar: Böhlau 1997. S. 153–223.
- Wenke H.* «Bewältigte Vergangenheit» und «Aufgearbeitete Geschichte» – zwei Schlagworte, kritisch beleuchtet // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. Bd. 11. 1960. S. 66–70.
- Wittram R.* Das Interesse an der Geschichte. Zwölf Vorlesungen über Fragen des zeitgenössischen Geschichtsverständnisses. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1958. 178 s.
- 60 Jahre Institut für Zeitgeschichte / H. Möller, U. Wengst. München: Oldenburg, 2009. 204 s.

Хряков Александр Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского; alexchryakov@yandex.ru

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

И. Ю. НИКОЛАЕВА, О. А. СЕРКОВА

ПОДЧИНЕНИЕ АВТОРИТЕТУ И СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЕ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ВОЕННЫХ СОСЛОВИЯХ ЯПОНИИ И ГЕРМАНИИ

В статье рассматриваются некоторые ценностные установки культуры военных сословий в средневековой Германии и Японии по наиболее ранним источникам, запечатлевшие появление рыцарского сословия в Европе и самурайского в Японии – «Песни о Нибелунгах» и «Повести о Доме Тайра». В качестве главных анализируемых категорий ментальности выделяются скромность, отношение к смерти и самоубийству. Выявляя различия, авторы делают предположение об их истоках, комплексно применяя различные методы исследования.

Ключевые слова: бусидо, рыцарский кодекс, скромность, сэппуку, сравнительно-исторический анализ.

Сравнительно-исторический анализ ценностных установок бусидо и рыцарского кодекса чести даёт информацию о соотношении социальных норм и индивидуального начала в менталитете средневековых военных сословий. О степени свободы личности, подчинения её авторитету и социальным морально-этическим и поведенческим нормам могут рассказать такие категории кодексов как верность, скромность (сразу же оговоримся, в европейском рыцарском менталитете эта категория отсутствует), отношение к смерти, к самоубийству, к верховной власти, к сюзерену, к женщине. В качестве примера сравнения отдельных ценностей бусидо и рыцарского кодекса здесь представлен анализ таких категорий как отношение к самоубийству и скромность. Основными источниками анализа стали «Повесть о доме Тайра» и «Песнь о Нибелунгах». Выбор не случаен – оба произведения отражают культуру ещё молодых, но уже сложившихся военных сословий, где ценности и поведение воинов, их традиции и обычаи видны в чистом виде, без вуали поздней ритуализации и романтизации художественной литературы. Сравнительно-исторический анализ данного источникового материала позволяет увидеть коренные, а не формальные различия в традициях, культуре и менталитете средневековых военных сословий Японии и Германии.

Ученые часто подчеркивают необходимость исследования человеческого отношения к смерти в разных культурах и трансформации этого отношения. Ведь «отношение к смерти – своего рода эталон, индикатор

характера цивилизации»¹. Изменения в отношении к смерти могут говорить о переменах в отношении к жизни и основным её ценностям.

Размышляя о культуре средневековых военных сословий, о понятиях чести и достоинства, о куртуазной литературе и культе прекрасной дамы мы порой забываем, что главным их профессиональным занятием было убийство людей, причём, связанное с риском самому быть раненым, покалеченным или убитым. Смерть, являясь неотъемлемой частью воинской деятельности, романтизировалась и ритуализировалась.

Особое значение смерти в рыцарской и самурайской среде уже обращало на себя внимание историков. Так, появление культа смерти в средневековой Японии комментирует Хироаки Сато: «Веками утверждённая вера, что честь – высшее достоинство самурая и что во имя ее сохранения он должен быть готов умереть, была романтизирована в период Эдо. Так родился постулат, провозглашенный устами Ямамото Цунэото (1659–1721): «Я постиг, что Путь самурая – это смерть»². Эта фраза, императивная по своей форме и содержанию, емко выражает отсутствие жизненных альтернатив для самурая. Особое восприятие смерти в средневековой европейской литературе подчёркивает и А. Я. Гуревич: «основная этическая ценность, если судить по героической и скальдической поэзии, – слава – окончательно вырисовывается именно в момент гибели героя, в обстоятельствах его смерти»³.

Одним из ярчайших обычаев, связанных с восприятием смерти, является ритуальное самоубийство японских самураев – сэппуку. Ничего подобного не встретим ни в «Песни о Нибелунгах», ни в другой западноевропейской средневековой литературе. Практически все исследователи, рассматривая эту японскую традицию, отмечают туманность её истоков. О происхождении данного ритуала Хироаки Сато пишет в книге «Самурай: история и легенды»: «Отдельные случаи этого зафиксированы в Китае и других странах. Любопытно, что самый ранний сохранившийся до нашего времени документ, описывающий вспарывание живота, приписывает его совершение женскому божеству. Объясняя название болота Харасаки («Разрывающая живот»), «Харима но куни фудоки» («Географическое описание провинции Харима»), составленное в начале VIII в., говорит, что «богиня Оми, преследуя своего мужа, добралась до этого места, но воспылила гневом и злостью, разрезала мечом живот и бросилась в болото». И заключает: «Знали самураи, что

¹ Гуревич. 1992. С. 6.

² Сато. 1999. С. 16–17.

³ Гуревич. 1989. С. 115–135.

первый подобный ритуал совершило женское божество, или нет, но к XI в. обычай уже вошел в практику и должен был служить либо способом проявления отваги, либо способом избегания бесчестья от рук врагов»⁴. А. А. Маслов в книге «Дзен самурая» даёт другой вариант происхождения ритуала: «сэппуку связано с древними шаманистскими верованиями айнов, которые, например, делали особый надрез или соструг с живота деревянной куклы, куда якобы переселялась душа человека»⁵. Такой вариант объяснения ритуала вполне вероятен, поскольку возникновение традиции в эпоху Хэйан (898-1185) хронологически совпадает с захватом земли айнов и формированием самурайского корпуса.

Так или иначе, к XIV в. вспарывание живота было уже широко распространено в Японии, а в XVII в. при Токугава стало возможным приговаривать самурая к вспарыванию живота. Однако, почему нельзя было просто казнить провинившегося самурая в поединке (как это происходило раньше)? К тому моменту самурайство уже осознало себя как особое профессиональное сословие с собственной культурой, морально-этическими нормами и традициями. Жизнь сословия всё больше и больше ритуализировалась, правила ужесточались для каждого из членов сословия, их ответственность за себя и за сословие, в целом, росла. Поэтому считалось что воин, совершивший позорный поступок, своим бесчестным поведением бросал тень на всё самурайство, и только через сэппуку он мог восстановить свою честь, а, следовательно, и честь всего сословия. Но почему же именно вспарывание живота? Отвечая на этот вопрос важно помнить, что на раннем этапе мы видим более простые, лишённые поздней ритуальности, варианты сэппуку. Так, в «Повести о доме Тайра» мы можем увидеть примеры того, как воины, пытаясь избежать плена, напарывались на мечи и иное оружие врага:

Когда же кончик его меча обломился на добрых три суна, он стал шарить рукой у бедра, стараясь нащупать висевший у пояса кинжал, чтобы вспороть себе живот, но в пылу схватки ножны отвязались, и кинжал потерялся. Делать нечего – широко раскинув руки, он хотел было выскочить через задние ворота, но в этот миг навстречу ему ринулся стражник с длинной алебардой наперевес. Нобуцура, подпрыгнув, бросился на него, стараясь оседлать алебарду, но оплошал, и алебарда насквозь пронзила ему бедро. И хоть сердце у него было храброе, но, окруженный многочисленными врагами, он попал в плен живым»⁶.

Есть в «Повести» примеры совсем нетрадиционных самоубийств:
– Никому ни слова об этом!

⁴ *Само*. 1999. С. 17.

⁵ *Маслов*. 2005. С. 238.

⁶ Повесть о доме Тайра. С. 194.

– Нет ничего постыднее недоверия! – сказал Тянь Гуан. – Если враги проведуют о ваших замыслах, вы, пожалуй, сочтете, что это я вас предал! – С этими словами он размоzzжил себе голову о дерево сливы, растущее у ворот, и скончался⁷.

Обращает на себя внимание то, что самураи практиковали самоубийство именно через вспарывание живота из-за чрезвычайной болезненности процедуры. Так, даже если самураю за всю жизнь не случилось поучаствовать в настоящем сражении, то именно тут он мог проявить все свои лучшие воинские качества: с чувством долга исполнить процедуру, мужественно выдержать невыносимую боль и умереть с честью, достойно гордого звания самурая. Х. Сато пишет: «Вскрытие живота не приводит к немедленной смерти, гибель может оказаться мучительной, грязной и долгой. Одно время существовало правило, предписывавшее вскрывать живот вначале горизонтально, затем вертикально, за чем должен был следовать смертельный удар – в спину или в шею. <...> Пройти все три этапа – это требует невероятной силы духа»⁸.

Ритуал сэппуку менялся со временем. Сначала болезненную смерть от вспарывания живота стали облегчать вышеупомянутым отрубанием головы, затем появилась другая вариация: «помощник, кайсяку или кайсякунин, который должен был отрубить голову в один из двух моментов. В первом случае кайсяку отрубал голову в тот момент, когда осужденный самурай, уже приготовившись к смерти, наклонился за коротким мечом или кинжалом, лежащим перед ним на церемониальном подносе»⁹, и вспарывание живота могло совсем не применяться. В период Токугава такой упрощённый вариант сэппуку «получил распространение в самой стилизованной форме, а вместо меча на подносе часто лежал верёв». Такая трансформация ритуала подчёркивает его важность и философскую осмысленность смерти. Ведь одно дело совершить самоубийство на поле боя, чтобы не попасть в плен к врагу и не испытать большие муки и унижение от рук врага. И совсем другое – у себя дома в спокойной обстановке совершить тщательно подготовленный, продуманный даже с точки зрения эстетики, ритуал по всем многочисленным канонам, чтобы искупить малейший проступок.

Кроме того, подобная значимость способа ухода из жизни объясняется ещё и тем, что в философии буддизма именно живот (*хара*) считаетсяместищем жизненной энергии *ки* (или *цы* в китайском прочтении). Разрезая себе живот, воин не просто лишал себя жизни, но

⁷ Там же. С. 242.

⁸ Сато. 1999. С. 17.

⁹ Там же. С. 18.

освобождал таким образом своё «внутреннее начало»¹⁰, свою «душу». В японской культуре именно *хара* противопоставлялась физическому, внешнему, искусственному. Поэтому для средневекового самурая вспарывание живота почти в буквальном смысле раскрывало его самые лучшие качества и «внутренние свойства»¹¹. А. А. Маслов пишет, что под харакири подразумевалось «выражение душевной искренности», а падение самурая на спину «символизировало искренность поступка»¹². Видится, что только сэппуку могло выразить всю искренность сожаления самурая о собственном недостойном поведении.

Но в тексте «Повести о доме Тайра» чаще встречается совершение сэппуку обречёнными на смерть самураями или в иных безвыходных ситуациях: «Самураи Тайра не жалели усилий, стараясь во что бы то ни стало схватить Киоу, взять его в плен живым. Понимая это, Киоу бился отчаянно, тяжело раненный, он сам покончил с собой, вспоров живот»¹³, «Томодате было шестнадцать лет; тяжело раненный, он сам лишил себя жизни. Тамэнори, его воспитатель, держа на коленях мертвое тело Томодады, обливал его горячими слезами, потом громко прочитал отходную молитву и, вспоров себе живот, умер. Сыновья Тамэнори, старший и младший, тоже приняли смерть друг подле друга. Из находившихся в крепости тридцати с лишним человек большинство погибло в бою, остальные подожгли дом и сами покончили с собой»¹⁴.

Есть в тексте и примеры совершения сэппуку с целью воодушевить и призвать к совершению долга других:

В свите Ёсиаки находился некий Иэмицу из Этиго, недавно поступивший к нему на службу.

– Как можете вы нежничать и любезничать в такой час? – обратился он к Ёсиаке, но тот все никак не мог покинуть жилище дамы. – Коли так, я первым отправлюсь в обитель смерти и буду там ожидать вас! – И с этими словами Иэмицу распорол себе живот и скончался.

– Он лишил себя жизни, чтобы пробудить во мне мужество! – воскликнул Ёсиака, покинул наконец дом и поспекал прочь¹⁵.

Почему же суицид принимался обществом в качестве нормы, воспринимался людьми как правильный и благородный поступок? И в чём можно увидеть предпосылки столь специфической традиции?

¹⁰ Маслов. 2005. С. 236.

¹¹ Там же. С. 237.

¹² Там же. С. 236.

¹³ Повесть о доме Тайра. С. 218.

¹⁴ Там же. С. 591.

¹⁵ Повесть о доме Тайра. С. 390.

Н. И. Конрад насчитал в «Повести о доме Тайра» 33 самоубийства, при этом оговорил, что это явление нельзя назвать массовым. Действительно, по сравнению с более поздней самурайской литературой, где счёт самоубийств уже идет на сотни и тысячи (в «Повести о Великом мире» их более 2,5 тыс.!), «Повесть о доме Тайра» предоставляет сравнительно скромный материал для изучения деталей сэппуку и прочих самоубийств. С другой стороны, сопоставляя цифру в 33 самоубийства с отсутствием оных в «Песни о Нибелунгах» мы видим, что для общества времён создания «Повести о доме Тайра» сэппуку является социальной нормой. Более того, наличие данной социальной нормы и составляет саму причину самоубийств: самурай совершает самоубийство тогда, когда он *должен* это сделать, поскольку в ином случае его ожидает пожизненный позор и социальный ostracism через лишение его и всей его семьи социального статуса и имущества. Видится, что в таком случае речь не идет о сугубо личном, внутреннем желании убить себя.

Различие внешне и внутренне осмысленных самоубийств описывает И. Л. Полотовская. Она разделяет понятия индивидуального и ритуального самоубийства: «суицид как следствие желания сохранить внутреннюю гармонию характерен для индивидуального суицида, тогда как при ритуальном – доминирует желание её сохранить как внешнюю, т.е. гармонию с окружающим миром»¹⁶. Ритуальное самоубийство не оставляет человеку выбора («уровень самовыражения личности в индивидуальном суициде максимальный, в ритуальном – минимальный»¹⁷), принуждая его к выполнению социальной нормы. Мы видим, что в средневековом японском обществе, в частности в сословии буси, эти социальные нормы довлеют. Подтверждение этому мы находим как в виде деталей традиции (тот факт, что сэппуку традиционно выполнялся прилюдно, говорит о жестком контроле со стороны общества), так и в законах, ведь, как известно, данный ритуал посмертно определял социальное положение семьи самоубийцы. У. Кинг пишет, что сэппуку смывало позор и со всей семьи самурая, «что позволяло сыновьям унаследовать имя, положение и имущество отца, ведь семья преступника лишалась и самурайского статуса и владений»¹⁸. Речь в данном случае идёт о преступлениях совершенных самураем в рамках кодекса бусидо.

С другой стороны, внутренняя острая необходимость соответствовать социальным нормам является одной из древнейших черт японской

¹⁶ Полотовская. 2010. С. 116.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Кинг. 2002. С. 89.

ментальности. Японец традиционно неотделим от общества. Оценка личности в Японии была и остается до сих пор неразрывно связанной с социальным поведением¹⁹. Высокая степень подчинения социальной нормы коррелирует, на наш взгляд, с высокой степенью подчинения власти (на всех ее ступенях) и говорит о наличии в средневековом японском обществе жесткой авторитарной нормы. Но остается открытым вопрос: зачем социуму одобрять самоубийство? В подавляющем большинстве культур самоубийство табуировано, ведь это ведет к их непосредственному вымиранию. Почему же японская культура воспринимала самоубийство как норму и даже одобряла его? Одну из причин мы видим в самих условиях жизни японского общества. Демографическая ёмкость ландшафта²⁰ японских островов крайне мала: 75% территории составляют горы, лишь 11% территории составляют почвы, причём их трудно назвать плодородными – они плохо пригодны для земледелия без предварительной обработки (на севере подзолистые и лугово-болотные почвы, на юге – бурые лесные почвы, в субтропиках и тропиках – желтоземы и красноземы, в горах почвы щебнистые, с включениями вулканических пеплов, и только на равнинах – окультуренные аллювиальные почвы²¹). Соответственно, население разместилось по территории островов крайне неравномерно. Наиболее густо оказались заселены долины рек, приморские районы и низменности на юге Японии, удобные для интенсивного заливного рисосеяния. Большая плотность населения в этих районах обусловлена трудоемкой культурой риса, дающего 2–3 урожая в год. Эти зоны и стали очагами интенсивного развития японского общества и культуры. Однако именно в них и возникла проблема существенного перенаселения – более половины всего населения (по некоторым данным, около 75%) Японии проживали на этих 11% территории. Думается, что ради выживания социум был вынужден выработать механизм избавления от слабых, ненужных элементов: это, прежде всего, старики, не способные работать в полную силу, и преступники, нарушавшие нормы социального поведения.

Прибавим сюда установку японского общества на осёдлость, причины возникновения которой указал А. Н. Мещеряков в книге «Японский император и русский царь»: «При господстве заливного рисосеяния как основного вида сельскохозяйственной деятельности и обилии изолирующих ландшафтов это способствовало выработке установки на

¹⁹ Введение к историко-философскому разделу. С. 15.

²⁰ Понятие подробно рассматривается в: *Долуханов*. 1979.

²¹ Япония // Большая Советская Энциклопедия [Электронный ресурс].

осёдлость и интенсивные методы хозяйствования»²². Вкупе с интровертивным характером средневекового японского общества (с IX в. практически отсутствовали международные отношения) и его демографическими проблемами, установка на осёдлость и других внутренних ментальных установок, таких как гипертрофированное чувство стыда, страх потери лица/чести, дополненных специфическим комплексом (так называемый «комплекс короля Лира»), вызванным утратой социального статуса, характерным для бывших военных, привели, по нашему мнению, к признанию японским обществом суицида в качестве нормы поведения. Позже множество факторов способствовали популяризации самоубийств в самурайской среде. Один из них – влияние литературы, описание самоубийств в которой способствовало упрочнению нормативного статуса суицида. В литературе японского средневековья с каждым следующим (в хронологическом порядке) произведением достаточно чётко прослеживается прогрессия в количестве и качестве (степени ритуализации, соблюдении деталей, выработке норм эстетики) самоубийств. Если в «Повести о доме Тайра» около 40 самоубийств и лишь в пяти из них совершают сэппуку, то в «Повести о Великом мире» XIV в. их уже 2640, причём 2159 случаев из них, по данным Н. И. Конрада²³, это сэппуку. Наверное, можно провести параллель между тем, как литература отражала моду на самоубийства и усиливала её в средневековой Японии и Европе конца XVIII в. (эффект Вертера) и эпохи романтизма (французский «Клуб самоубийц» 1830–40 гг. и литературное творчество целого ряда европейских писателей и поэтов XIX в.).

В случае с обычаем сэппуку, равно как и с ценностью для бусидо такого императива как скромность, становится очевидным преобладание социальных максим над личным выбором. В японском средневековом военном сословии давление авторитета и социальных норм было значительно больше, по сравнению с германским. Попробуем показать это с помощью анализа такой категории бусидо как скромность.

Категория скромности изучалась не одним поколением исследователей. Ещё Н. И. Конрад писал о появлении скромности в качестве нормы бусидо: «подчиненное положение рядовых воинов, невозможность для них подымать голову перед своим господином выдвинули принцип “скромности”»²⁴. Действительно, помимо других качеств, эпическому самураю свойственна скромность, которая совсем не свойственна эпи-

²² Мещеряков. 2004. С. 13.

²³ Конрад. 1974. С. 327.

²⁴ Там же. С. 340.

ческому рыцарю (если только не рассматривать скромность как проявление подчинения сюзерену). Любопытно, что скромность до сих пор – одна из черт, которая отличает японца и составляет его стереотипный образ: вежливого и кроткого в общении, собранного и трудолюбивого в делах. Является ли эта черта наследием бусидо или же сама норма скромности в бусидо возникла как следствие уже существующей черты менталитета японцев? Для ответа на этот вопрос требуется определить, в чем заключалось понятие скромности для средневекового самурая.

Скромность японского рыцаря заключается в его сдержанности (как в делах, так и в речах), в уничижительном тоне, которым он говорит о себе и своих успехах, в его самоуничижительной реакции даже на похвалу. Рассмотрим пример. Ёсинака – достойный, успешный, умелый воин говорит следующие слова: «Я, Ёсинака, рожденный в семье воинов, где почитают боевой лук и боевых коней, унаследовал, недостойный, от моих предков сие занятие»²⁵. И дальше он произносит парафраз китайской песни, смысл которой состоит, во-первых, в том, что сын естественно наследует профессию отца, во-вторых, подчеркивает свое якобы еще несовершенное мастерство, в духе преувеличенной скромности, характерной для стиля китайской и японской литературы. Маловероятно, чтобы европейский рыцарь повел себя сходным образом, притом, что в западной традиции было принято себя в прямом смысле хвалить, причем делать это обильно и красочно.

Часто скромность самурая в тексте не очевидна, а изящно завуалирована метафорами в стихах. Так, в «Повести о доме Тайра» есть рассказ о самурае Ёримаса, который убил из лука птицу-чудище Нуэ, нависавшую в виде черной тучи над дворцом и пугавшую самого императора до припадков²⁶. Государь дарит в благодарность Ёримаса меч «Царь Лев». Вручает этот меч Левый министр Ёринага. В этот миг в небе пролетела кукушка и несколько раз громко пропела. Министр комментирует это стихами:

Песня кукушки
до самых небес вознесла
имя героя.

Ёримаса опустился на одно колено и, расстелив по земле широкий рукав одежды, закончил:

...скрылся в тучах месяц лук,
но стрела нашла свой путь!

²⁵ Повесть о доме Тайра. 1982. С. 313.

²⁶ Там же. С. 223.

Хироаки Сато комментирует этот сюжет, раскрывая истинный, завуалированный метафорами, смысл стихов: «Сложенная двумя людьми, она (танка) превращается в рэнга, а игра слов, несомненно, украшает ее. <...> в полустигии Ёримаса юмихаридзуки, “луна, изогнутая подобно луку”, обозначает луну в любое время между новолунием и полнолунием, но особенно первую или последнюю четверть луны; это также перекликается с “натянутым луком”. Иру означает и “затемняться”, “исчезать”, и “стрелять”. Поэтому строка 7-7, кажущаяся отвлеченной, на самом деле несет в себе самоуничижительный смысл: “Я лишь натянул лук и выстрелил, ничего более”»²⁷.

Обратную ситуацию мы видим в англо-саксонском «Беовульфе» при «обмене речами с Унфертом» (так этот эпизод назвал А. Я. Гуревич), когда Беовульф во всех подробностях рассказывает людям Хродгара о том, как он сражался и победил пять гигантов и девять морских тварей, и планирует в единоборстве, кичась могучеством, не надев щита и без оружия, одолеть Гренделя²⁸. В «Песни о Нибелунгах» вспоминается эпизод приезда Зигфрида в Вормс, где он доказывает свою доблесть словесно, бросая вызов:

Спросил король немедля: «Узнать хотел бы я,
 Как и зачем попали вы в здешние края.
 Что нужно, смелый Зигфрид, на Рейне в Вормсе вам?»
 И гость сказал хозяину: «Ответ охотно дам.
 Слыхал в стране отцовской я от людей не раз,
 Что состоит немало лихих бойцов при вас.
 Любой король гордился б вассалами такими.
 И силами померяться мне захотелось с ними.
 Рассказывают также, что храбры вы и сами,
 Что равного в бесстрашье вам нет меж королями.
 По сопредельным странам гремит о вас молва,
 И жажду убедиться я, насколько она права.
 Как вы, я – тоже витязь, и ждет меня корона,
 Но доказать мне надо, что я достоин трона
 И что владеть по праву своей страной могу.
 Я ставлю честь и голову в залог, что вам не лгу.
 Коль впрямь бойца отважней, чем вы, не видел свет,
 Я спрашивать не стану, согласны вы или нет,
 А с вами бой затею и, если верх возьму,
 Все ваши земли с замками у вас поотниму»²⁹.

²⁷ Сато. 1999. С. 20.

²⁸ Беовульф [Электронный ресурс].

²⁹ Песнь о Нибелунгах, авантюра III.

Признавая благородное происхождение Зигфрида и его доблесть как воина, Гернот и Гунтер отвечают соответственно ситуации:

Сын Уты молвил снова: «Прошу вас гостем быть.
Здесь вам и вашим людям все рады угодить.
А я с родней своею всегда служить готов». —
И стал вином он потчевать могучих пришлецов.
Сказал державный Гунтер: «Попросите добром —
И никогда отказа не встретите ни в чем.
Все — жизнь и достоянье — мы отдадим за вас». —
Гнев господина Зигфрида от этих слов угас³⁰.

Мог ли Зигфрид повести себя иначе и не заявлять о своем происхождении и силе? Или в таком случае он бы нарушил своеобразный этикет и традиции? Думается, что подобный «обмен речами» представляет собой сложившуюся традицию — одно из проявлений такого явления как избыточное мужество, подробно описанного рядом исследователей средневековой европейской ментальности.

Доказательством «нескромности» средневекового европейского воина может послужить и его реакция на похвалу, столь отличная от его восточного «коллеги». Здесь мы уже не увидим ни отрицания этой похвалы, ни самоуничижительных стихов, ни даже словесно выраженной благодарности. Так, например, Зигфрид реагирует на похвалу:

Охотники взмолились: «Оставьте ради бога
На нашу долю, Зигфрид, добычи хоть немного,
Не то опустошите вы этот лес вконец». —
И улыбнулся шутке их польщенный удалец³¹.

А вот пример неумного агонального начала в рыцарском поведении. Здесь мы видим, как в ответ на похвалу рыцарь желает ее немедленно подтвердить и бросает новый вызов:

Пошли герои к липе, стоявшей над ручьем,
И тут промолвил Хаген: «Наслышан я о том,
Что в беге верх над всеми берет наш знатный гость.
Пусть скажет, правду или ложь мне слышать довелось». —
Ответил смелый Зигфрид: «Разумней в этом вам
Воочью убедиться, чем доверять словам:
Бежим наперегонки, коли желанье есть.
Кто первый будет у ручья, тому хвала и честь»³².

Открытую похвалу видим и в эпизоде сразу после убийства Зигфрида:

³⁰ Там же.

³¹ Там же, авентюра XVI.

³² Песнь о Нибелунгах, авентюра XVI.

Сказал жестокий Хаген: «Скорбеть и впрямь не след -
Ведь мы теперь свободны от всех забот и бед.
Отныне не опасен нам ни один боец.
Я рад, что вас от гордеца избавил наконец». —
«Легко теперь хвалиться! – чуть слышно Зигфрид рек. –
Когда б друзей в измене я заподозрить мог,
С лица земли давно бы вы были сметены»³³.

В чем же причина такого различия в литературных идеалах поведения средневековых воинов? Вероятно, свойственная самураям скромность с оттенком самоуничтожения (если не воспринимать ее как проявление прямого подчинения сюзерену) является лишь частью нормы, разделяемой всем японским обществом независимо от сословного деления. Самоуверенное и самонадеянное поведение отдельного человека не приветствовалось и отчасти не приветствуется даже сегодня. То, что европейцем воспринимается как проявление чувства собственного достоинства, японцем может быть расценено как высокомерие; высокая оценка и подчеркивание собственных достоинств могут быть восприняты как проявление заносчивости. Целый ряд широко известных японских поговорок осуждают излишнее проявление индивидуальности и открытую демонстрацию своих способностей. Сам факт того, что официальная («вежливая») форма японского языка (кэйго) предполагает активное использование гоноративов (форм вежливости) и оборотов с выражениями самоуничтожения (депрециативно-скромная речь) и самобичевания, говорит о гипертрофированном проявлении скромности в отношении собственной персоны и индивидуального начала как такового. В этой связи, истоки гипертрофированной японской скромности обычно видят в традиционной для японского общества жесткой иерархии по признакам социального и материального благополучия, возрасту и полу. Так, В. М. Алпатов отвечает на вопрос об истоках японской вежливости, ссылаясь на свою коллегу Идэ Сатико: «при разговоре сразу с несколькими собеседниками американец склонен ко всем обращаться одинаково, японец же будет дифференцировать свою речь. Для японского языкового поведения в отличие от американского характерна, по мнению специалистов, тенденция к закреплению социальных функций человека с двух точек зрения – иерархии и принадлежности к группам. Люди при этом оцениваются не как индивидуальность, а лишь с точки зрения их общественного положения [Mizutani, 1981, с. 106]. Принадлежность к фирме при обращении важнее, чем профессия и даже

³³ Там же.

имя и фамилия: японцев часто именуют по должности или степени родства, но редко по имени; японец часто может не знать, как звали его бабушку или дядю [Ibid., с. 106–107]. Таким образом, само существование социальных рангов и групповых различий стабилизируется и осознается через языковое поведение, особенно через употребление форм вежливости»³⁴. Жесткость корпоративной и государственной социальной иерархии дополняется широким использованием дихотомии сэмпай – кохай (начальник – подчиненный, старший – младший), пронизывающей все сферы жизни, начиная от семейной организации (патриархальной, по сути), продолжая учебными заведениями, заканчивая корпоративной этикой и другими социальными взаимодействиями.

Если взглянуть на феномен японской скромности с другой стороны, то можно рассмотреть в нем и проявление сдержанности, которая присутствует в японской культуре, как в нормах поведения (сдержанность в самовыражении и взаимодействии с другими людьми), так и в отношении к материальному миру: к потреблению пищи (малое количество пищи, которое раскладывается по крошечным предметам посуды), к жилому пространству (маленькие комнаты, минималистичный интерьер), к предметам искусства (каллиграфия и икебана, столь внимательные к самым мелким деталям) и даже к поэзии (популярные крошечные 17 и 31 слоговые японские стихи). Подобная сдержанность, и, в некотором смысле, табу на излишества могут брать свое начало из скудности, ограниченности ресурсов (земельных, в первую очередь) японских островов. Изящное же использование литературных самоуничтожительных конструкций через метафоры и символы в стихах «Песни о доме Тайра» можно признать продолжением аналогичной китайской литературной традиции, которая, в свою очередь, испытала влияние буддизма и конфуцианства.

Какую бы версию мы не выбрали, сравнительно-исторический анализ источникового материала по такой категории бусидо и рыцарского кодекса чести как скромность даёт нам информацию о соотношении социальных норм и индивидуального начала в менталитете средневековых военных сословий, степени свободы личности, подчинения её авторитету и социальным морально-этическим и поведенческим нормам. Сравнительно-исторический анализ данного источникового материала выявляет различия в традициях, культуре и менталитете средневековых военных сословиях Японии и Германии.

³⁴ *Ататов*. 2003 [Электронный ресурс].

БИБЛИОГРАФИЯ

- Алтаев В. М.* Япония: язык и общество. – М.: Институт востоковедения РАН: Муравей, 2003г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.shounen.ru/nihon/lang-soc.shtml>, свободный (дата обращения: 22.05.2011).
- Арьес Ф.* Человек перед лицом смерти. – М.: Прогресс, 1992г. – 562 с.
- Беовульф [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fbit.ru/free/myth/texty/beowulf/home.htm>, свободный (дата обращения: 21.05.2011).
- Большая Советская Энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Япония/>, свободный (дата обращения: 21.05.2011).
- Гуревич А. Я.* Смерть как проблема исторической антропологии // Одиссей: Человек в истории. – 1989. – М., 1989. – С. 115–135.
- Долуханов П. М.* География каменного века. – М.: Наука, 1979. – 450 с.
- Кинг, Уинстон Л.* Дзэн и путь меча. Опыт постижения психологии самурая: пер. с англ. Р. В. Котенко–СПб.: Евразия, 2002. – 320 с.
- Конрад Н. И.* Японская литература от «Кодзики» до Токутоми. – М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1974. – 568 с.
- Маслов А. А.* Дзэн самурая. – Ростов на-Дону: Феникс, 2005. – 329 с.
- Мещеряков А. Н.* Японский император и русский царь. – М.: Наталис, 2004. – 252 с.
- Песнь о Нибелунгах / Пер. со средневерхненемец. и примеч. Ю. Б. Корнеева [Электронный ресурс] / – Режим доступа: <http://www.fbit.ru/free/myth/texty/pnibelun/home.htm>, свободный (дата обращения: 12.11.2006).
- Повесть о доме Тайра: Эпос (XIII в.); пер. со старояп. И. Львовой; предисл. и коммент. И. Львовой; стихи в пер. А. Долина. – М.: Худож. лит., 1982. – 703 с.
- Полотовская И. Л.* Смерть и самоубийство: Россия и мир. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. – 327 с.
- Сато, Хироаки.* Самурай: история и легенды. – СПб.: Евразия, 1999. – 415 с.
- Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблемы самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах / Сост. А. Н. Моховиков. – М.: «Когито-Центр», 2001. – 569 с.
- Николаева Ирина Юрьевна***, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета Томского государственного педагогического университета; percka@mail.ru
- Серкова Ольга Александровна***, магистр истории, аспирантка кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета Томского государственного педагогического университета; serkova-olga@yandex.ru

Н. С. КРЕЛЕНКО

ДВА КИНОПОРТРЕТА АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОБРАЗ В ИСКУССТВЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДУХА ВРЕМЕНИ

В статье рассматривается взаимосвязь между историографическими исследованиями и восприятием исторических событий массовым сознанием. Проблема исследуется на материалах английской истории середины XVII в. и воспроизведения событий средствами киноискусства в последней трети XX – начале XXI в.

Ключевые слова: *Оливер Кромвель, Карл I, революция, мятеж, амбиции, личность в истории, духовная жизнь общества.*

Люди старшего поколения помнят время, когда фойе или зал каждого кинотеатра в стране украшала надпись «Из всех искусств для нас важнейшим является кино. В. И. Ленин». Роль кино в обществе была таким наглядным образом обозначена. Наши ближайшие и дальние соседи фактически придерживались того же взгляда на Десятую музу и ее плоды, но не столь откровенно этот подход демонстрировали.

В секуляризованном обществе кино неизбежно должно было принять на себя, частично или целиком, функции воспитательные и утешительные. «...Как только руководители общества осознали, какое влияние кино может оказывать на публику и какую роль оно может играть, они предприняли попытки его приручить, поставить его себе на службу – безразлично где, на Востоке или на Западе»¹. Достаточно вспомнить свидетельства о переполненных кинотеатрах США в период «великой депрессии», когда Голливуд обрел масштабы национального обезболивающего. Показательно, что наряду с музыкальными комедиями, именно тогда появилась историческая киноэпопея «Унесенные ветром».

По эту сторону Атлантики ситуация была не менее напряженной в плане социально-экономическом и взрывоопасной в плане политическом. В СССР наиболее показательным откликом кино на «дух времени» был «Александр Невский» С. Эйзенштейна. В цитадели старой демократии не менее выразительно выглядели «Тучи над Англией» (1936) У. Хаурда и «Леди Гамильтон» (1940) А. Корды. В обоих случаях в центре – любовная история. Вполне справедливо писать о «Тучах над Англией», как о «пышной романтической ленте»², но трогательная любов-

¹ Ферро. 1993. С. 49.

² Коттрел. 1985. С. 110.

ная история разворачивалась на фоне поворотных событий в английской истории – крушения Непобедимой Армады на подступах к Британским островам. Что касается «Леди Гамильтон», то в этой снятой английским режиссером в США ленте в то самое время, когда по другую сторону океана шла «битва за Англию» исторические параллели просматривались совершенно очевидно. Автор статьи не ставит своей задачей оценку художественных достоинств этих, несомненно, выдающихся фильмов, но считает важным отметить очевидную политическую злободневность тем и подчеркнутую патриотичность трактовок.

Главный потребитель кинопродукции – та категория, которую Х. Ортега-и-Гассет называл «человеком-массой»³, среднеобразованный представитель индустриального общества, знающий историю в пределах школьной программы. А школьный вариант истории – это пласт знаний о прошлом, которые являются «общепринятыми» на том или ином этапе жизни общества. Для середины XX века – это получившее распространение в западной историографии еще в XIX в. и сохранившее влияние на уровне школьного образования видение в истории «политики, перевернутой в прошлое». Английский вариант такого подхода называют «либерально-вигской интерпретацией истории»⁴.

В профессиональной исторической науке либерально-вигская история еще в 30-е гг. была потеснена марксизмом⁵, но для «рядового» потребителя она сохраняла свое обаяние и влияние⁶. «Хотя вигская интерпретация истории в наши дни вышла из моды, существует еще много историков, чей подход к истории семнадцатого века восходит к телеологической вигской структуре...»⁷. В этом проявились как тенденция к выявлению специфики истории-науки, так и задачи, поставленные эпохой перед историей как важной составляющей общественной идеологии. Мировые войны и революционные катаклизмы способствовали этому.

³ «Масса – это толпа людей, не имеющих особых отличий и качеств... Масса... это человек постольку, поскольку он не отличается от других, поскольку он повторяет себя в видовом типе людей... человек-масса... это тот, кто чувствует себя “таким, как все” и отнюдь не переживает из-за этого...». *Ортега-и-Гассет*. 1991. С. 42–43.

⁴ Один из самых известных критиков этого подхода определял его суть так: «писать историю..., подчеркивая развитие принципа прогресса в прошлом и создавая историю, которая служит подтверждением, если не прославлением настоящего». См.: *Butterfield*. 1951. P. V. Это название, относящееся формально к английскому варианту видения истории как «политики, обращенной в прошлое» может быть отнесено к разным национальным вариантам такого восприятия прошлого.

⁵ Наиболее очевидный пример такого рода: *Hill*. 1940. Рус. пер.: *Хилл*. 1947.

⁶ См., например, исторические сочинения У. Черчилля.

⁷ *Ashton*. 1978. P. 16.

Среди англоязычных историков послевоенных десятилетий имел место так называемый «спор из-за джентри» («шторм вокруг джентри»), связанный с объяснением причин и характера общественного конфликта в Англии середины XVII в., переросшего в гражданские войны и серию политических экспериментов по управлению страной. На первом этапе этого спора защитники идеи о «прогрессивных» джентри-предпринимателях, выступивших против «реакционных сил», сплотившихся вокруг династии Стюартов (Р. Тоуни, Л. Стоун⁸), столкнулись с утверждениями «ревизионистов» (Х. Тревор-Роупер, Д. Хекстер⁹), что джентри, т.е. основная часть средних землевладельцев, были силой тормозящей, а не способствующей развитию страны.

Многие британские историки-марксисты, расставшиеся в середине 50-х гг. с политическим марксизмом (коммунистическим движением), сохранили приверженность материалистическому видению истории (А. Мортон, К. Хилл), в частности в оценке английских событий середины XVII в. как буржуазной революции. На 60-е гг. приходится появление работы К. Хилла «Век революции. 1603–1714»¹⁰. С точки зрения автора, хронологические рамки не просто отмечают «век Стюартов», суть выделенного периода – в том, что за сто с небольшим лет страна пережила радикальные изменения во всех сферах жизни и благодаря этому обновлению началось возвышение Англии. Для историка-материалиста второй половины XX в. К. Хилла революция была буржуазной, для историка-позитивиста второй половины XIX в. С. Гардинера это была пуританская революция, но оба видели в событиях XVII в. основания последующего подъема страны. В оценке итогов движения «левые» трактовки совпадали с либерально-вигской интерпретацией – гражданские войны со всеми их кровавыми ужасами, крайностями пошли во благо стране, заложили основы последующего всестороннего расцвета Англии в XVIII–XIX вв. Именно эта оценка продолжала господствовать на уровне массового сознания в восприятии революции.

Фильм «Комвель» (1970) режиссера Кеннета Хьюза (он же написал сценарий) можно рассматривать как образцовое переложение на язык киноискусства вигской интерпретации истории. В центре внимания – Оливер Кромвель (1599–1658) и Карл I Стюарт (1600–1649), сыгранные Ричардом Харрисом и Алленом Гиннесом. Созданные актерами образы ярко отражают восприятие этих исторических фигур, сложившееся в

⁸ Tawney. 1941. V. VII. № 1; Stone. 1948. V. 18. № 1.

⁹ Trevor-Roper. 1951; Hexter. 1962.

¹⁰ Hill. 1961.

общественном сознании на протяжении трехсот лет, прошедших со времен изображенных событий. Кинофильм, представляющий революцию и ее главных героев в духе эпического, оставляет в памяти цельный образ эпохи. Но видимая достоверность событий, мотивов поведения их участников скрывает многочисленные неточности: факты подобраны и построены так, чтобы создать нужную авторам картину прошлого, все, что может помешать, опускается, некоторые факты «сдвинуты» во времени. Так, епископская война и ирландское восстание увязаны во времени, после разгона Охвостья Кромвель уходит в частную жизнь, а завоевания Ирландии и Шотландии просто опускаются. Эпизод, посвященный попытке ареста пяти членов парламента (он описан или упомянут в каждом сочинении об английской революции, в каждом учебном пособии, посвященном этому периоду), является одним из ключевых для развития сюжета, но состав «пяти членов» изменен¹¹.

В то время, когда король Карл рассчитывал обезглавить парламентскую оппозицию, арестовав ее лидеров, ни Кромвель, ни Айртон не были политически значимыми фигурами, и их в списке не было. Зато был там лорд Манчестер, в фильме выступающий чуть ли главным злодеем (огораживатель, с которым борется защитник простых йоменри сквайр Кромвель, трусоватый военачальник и т.д.), а ведь зимой 1641–42 гг. именно Манчестер был одной из самых авторитетных фигур среди «круглоголовых», тем более, что он был в сравнительно немногочисленной группе членов верхней палаты, противостоящей королевской политике «напролом». Что касается отношения к огораживателям, действительно в биографии сквайра Кромвеля был эпизод, когда он выступил на стороне деревенских йоменри в их противостоянии огораживателям, проводимым компанией осушителей болот в Или. Согласно киноверсии Корона последовательно и демонстративно поддерживала огораживателей, хотя на деле позиция Короны была сложна и противоречива.

Другой пример «сдвига во времени»: победоносному Кромвелю сообщают о смерти Джона Пима в конце гражданской войны, а ведь на самом деле это случилось несколькими годами раньше (в 1643 г.) и очень осложнило ситуацию в лагере сторонников парламента.

Стоит кратко рассмотреть, как представлен король Карл в фильме. Актера А. Гиннеса, игравшего короля сделали внешне очень похожим на того Карла I, который печально взирает на нас с многочисленных портретов кисти А. Ван Дейка, а особенно на тот портрет, где король

¹¹ В состав этой «пятерки» входили Д. Пим, А. Хезелриг, Д. Холлис, У. Струуд, Д. Хемпден из Палаты Общин и лорд Манчестер из верхней палаты.

представлен одновременно в трех ракурсах. Худощавый человек с выразительными глазами, горделиво закрученными усами и маленькой бородкой двигается так уверенно и спокойно, как, кажется обязательно должен был двигаться тот, кто с двадцатипятилетнего возраста привык подписываться «Я король». Он исполнен достоинства и благородного изящества в каждом жесте. Он сохраняет внешнее самообладание и проявляет внутреннюю неуверенность в каждом эпизоде, где присутствует. Он легко поддается влиянию окружения (более всего влиянию королевы) и меняет линию поведения с непоследовательностью обычной для мягких и упрямых людей, облеченных большой властью. Он демонстрирует царственное величие и силу духа в сцене казни. В этом эпизоде, не предусмотренным никаким этикетом он точно улавливает правильную интонацию: ни видимого трепета, ни вызывающей гордыни. В памяти всплывают строки поэта-современника Э. Марвелла:

*Но венценосный лицедей
Был тверд в час гибели своей.
Не зря вокруг эшафота
Рукоплексали роты...
Он в гневе не пенял богам,
Что гибнет без вины, и сам,
Как на постель, без страха
Возлег головой на плаху...¹²*

Позднее, но в том же ключе этому финалу и обстоятельствам, к нему приведшим, была дана такая оценка: «В жизни Карла ничто так не возвысило его, как его смерть. Он до того верил в правоту своего дела, что даже его подпольные интриги, бывшие причиной его гибели, казались ему только законными средствами для защиты нации, счастье которой в его глазах было неразрывно связано с его властью»¹³.

Карл в фильме таков, как его представляли и представляют многие поколения людей в Англии и за ее пределами. За кадром так и слышатся слова характеристики, данной несчастному королю знаменитым историком XIX в. Маколеем: «Нелепо было бы отвергать в нем ученого и джентльмена, человека с отличным вкусом по части изящных искусств и строгой нравственностью в частной жизни. Способности его к делам были весьма почтенны, осанка его была королевской. Но он был фальшивый, властолюбивый, упрямый, неразвитый, не знающий свойств своего народа, не замечающий признаков своего времени...»¹⁴.

¹² Английская лирика первой половины XVII века. 1989. С. 280.

¹³ Гардинер. 1896. С. 188.

¹⁴ Маколей. Т. II. 1861. С. 33.

Что касается Кромвеля, современные портреты которого также хорошо известны, тут авторы фильма позволили себе отступить от правды факта. Думается, сам Кромвель, требовавший, чтобы его изображали «со всеми бородавками» был бы этим недоволен. Ему приписываются такие слова, обращенные к художнику (предположительно Уокеру), готовившемуся работать над его портретом: «Я желаю, чтобы вы употребили все ваше умение, написав мое изображение абсолютно правдиво, без всякой лести, наоборот – отметили все эти шероховатости, прыщи, бородавки и все, что вы видите; в противном случае я никогда не заплачу ни фартинга за работу»¹⁵. Авторы фильма придали главному герою правильность черт лица (прежде всего наделив его не слишком мясистым носом), но сохранив «кромвелевский» тип внешности. Человек, «обладающий внутренним стержнем», – такие слова напрашиваются для характеристики киношного Кромвеля. Но, если искать внешний прототип образа, то это не живописные работы художников XVII в. (таких как Р. Уокер или П. Лели), не миниатюрный резной профиль на хранящейся в Эрмитаже камее¹⁶, а знаменитый памятник генералу, представленный в Лондоне в самом конце XIX века к 300-летию Кромвеля.

На протяжении всего фильма (от 1640 г. до 1653 г.) герой – истовый пуританин, следующий своему «мирскому призванию». Кромвель упорно, но безрезультатно старается избегать публичности, большой политики, борьбы за власть. Первый эпизод фильма: Д. Пим в сопровождении Г. Айртона (!?) приезжает к Кромвелю, чтобы уговорить его участвовать в выборах в парламент. Кромвель отказывается, объявляя о своем намерении уехать в Новый Свет, подальше от королевского произвола, царящего в Англии. Согласно свидетельству Э. Хайда (Кларендона) о своих планах покинуть «этот Вавилон» и отправиться за океан вместе с семьей Кромвель заявил в разговоре с лордом Фолклендом в дни обсуждения Долгим парламентом Великой Ремонстрации (в декабре 1641 г.). В своей «Истории» Э. Хайд прокомментировал это такими словами: «Как легко можно было спасти это несчастное королевство!»¹⁷.

В фильме следующий за разговором с Пимом эпизод продолжает сцена насильственного изгнания огораживателями соседних йоменов,

¹⁵ Цит. по: *Вержникова*. 2009. С. 80.

¹⁶ Крохотный портрет на сардониксе (1,8 на 1,4 см) явно предназначен был для себя и своих, но зато ставил бывшего небогатого джентри в один ряд с монаршими особами (известна камея с портретом Карла I). Профиль на камее подчеркнута негероичен – мясистость обрюзгшего лица, массивность утинового носа, второй подбородок, мощная шея. Только драпировку на плечах можно воспринять как нечто античное.

¹⁷ Цит. по: *The Evolution of British Historiography*... P. 133.

что заставляет Кромвеля изменить планы. Затем он демонстрирует немую энергию, силу духа и жесткость поведения, лидируя в парламенте, создавая армию «нового образца», побеждая армию короля, а после казни короля вновь пытается уйти от публичности в частную жизнь. И вновь сила обстоятельств и требование времени заставляет его вернуться и принять на себя бремя власти. Весьма показательна заключительная сцена, в которой после разгона Охвостья Кромвель, измученный, больной и усталый, произносит свои финальные реплики и бессильно падает в кресло. Человек, обреченный на власть, на то, чтобы исполнить свой долг, человек, тяготящийся этим бременем власти, но честно выполняющий свои обязанности.

Вот несколько отрывков из работ С. Гардинера, где даются оценки и объяснения характера Кромвеля. Историк предлагал видеть его «не вдохновенным Богом героем или многогрешным чудовищем, но отважным, честным человеком, борющимся согласно своему озарению и ведущего своих соотечественников божьим путем»¹⁸. «Как военный, как оратор, как политик Кромвель стоял в стороне от тех, чья деятельность была направлена на упорное осуществление последовательно намеченного плана. Внутренние сомнения и борьба, упорство с которым он искал Бога моля о божественном свете, который должен озарить путь во тьме, окружающей его, были истинным проявлением тех колебаний, с которыми он приближался к поворотному пункту на пути призвания»¹⁹. Позднее русский историк А. Н. Савин так оценил то, что было сделано Гардинером: «Гардинер свел пуританских героев на землю... английский читатель... почувствовал свое кровное родство с этими протагонистами семнадцатого века, ибо усмотрели в них вслед за Гардинером типичных или даже наиболее типичных англичан нового времени»²⁰.

В фильме голос за кадром сообщает зрителю, что следующие пять лет Кромвель, единолично (заметим, слова *диктатура*, *тирания* не употребляются²¹) правя Англией, вывел ее на путь процветания²² и заложил основы демократического общества²³.

¹⁸ Gardiner. 1914. P. X.

¹⁹ Gardiner. 1905. Vol. II. P. 80.

²⁰ Савин. 1937. С. 42.

²¹ В одной из биографий Кромвеля, опубликованных в первой половине 70-х XX в. написано так: «Фактически Оливер никогда не был диктатором в современном значении этого слова». – См.: Ashley. 1972. P. 114.

²² Оставим на совести переводчиков то, что срок жизни О. Кромвеля согласно этому тексту сокращен на восемь лет, до 1650 г.

²³ Весьма красноречиво название “Cromwell our chief of men”: Frasar. 1975.

Имена большинства персонажей «второго плана», появляющиеся на экране, известны всем, даже если этот персонаж на экране никак не проявляя свою индивидуальность, его имя должно подсказать зрителю: Д. Пим, Д. Хэмпден, лорд Страффорд, принц Руперт, Г. Айртон, Э. Хайд. Их внешний облик соответствует портретным прототипам, а их слова и действия – закрепившимся за ними характеристикам. В ряде эпизодов рядом с королем зритель видит юношу, который, судя по репликам действующих лиц, является принцем Уэльским (будущим Карлом II). Между тем в момент битвы при Эджхилле принцу Чарльзу было двенадцать лет, и хотя мальчиком был рослым, вряд ли выглядел таким взрослым, каким он предстает на экране. А в битве при Нэсби он не мог участвовать, поскольку находился в это время на континенте.

Довольно неожиданно изображен прославленный в будущем историкограф Эдуард Хайд (Гайд), вошедший в историю исторической науки как лорд Кларендон, автор «Истории Великого мятежа»²⁴, книги положившей начало консервативному толкованию событий XVII в. Исторический Э. Хайд был умеренным членом парламентской оппозиции, с конца 1641 г. перешел в лагерь кавалеров и приобрел влияние в эмигрантском окружении королевы Генриетты Марии и принца Чарльза. Находясь в эмиграции он начал писать в назидание принцам свои «воспоминания». Годы гражданских войн провел на континенте, стал лордом канцлером в начале Реставрации и оказался в изгнании в качестве «козла отпущения» неудач правительства на закате жизни. Его кинодвойник сначала находится при короле, а потом выступает на судебном процессе, фактически свидетельствуя против Карла Стюарта! Здесь нарушена не только «правда факта» (не был зимой 1649 г. Хайд в Лондоне), но и правда образа (Хайд преданно служил монархии, хотя не одобрял многое в действиях сначала старшего, а потом младшего Карла). Однако наличие такого формально нейтрального персонажа удобно при создании цельного исторического полотна киноверсии событий.

Пейзажи киноэпопеи создают впечатление бескрайности, но бескрайности обжитой человеком: спокойные водные просторы, зеленые дубравы, серый камень домов и церквей, неохватные небеса. Природа уютная, обустроенная, но лишенная тесноты. По извилистым дорогам

²⁴ «История Великого мятежа» («The history of the rebellion and the civil war in England, began in the year 1641») Кларендона, впервые изданная в 1704 г. периодически переиздается в полном и сокращенном виде. Это определение «мятеж» или «Великий мятеж» долго (вплоть до второй половины XIX в.) использовалось в английской традиции для обозначения событий 40–50-х гг. XVII в. и вновь стало использоваться историками довольно часто в последнюю четверть XX в.

скачут одинокие всадники и вооруженные отряды под голубыми небесами, затянутыми легкими облаками. А ведь первое крупное сражение между королевскими и парламентскими войсками состоялось 23 октября (1642 г.), и вряд ли погода была столь безмятежной, как это представлено в фильме. Батальные сцены (снимали их в Испании) с летящими навстречу друг другу, падающими конями и всадниками, даны в основном с высоты: панорамный взгляд на происходящее позволяет передать жесточенность схватки без кроваво-грязных подробностей. Это вполне соответствует тому, как было принято показывать военные стычки разного масштаба в изобразительном искусстве XVII в., когда батальные сцены напоминали сцены своеобразного конного балета с использованием дымовых эффектов.

В таком же ключе представлены сцены казни (их в фильме три: казнь Страффорда, казнь одного из армейских агитаторов и казнь короля Карла): в первом и третьем случае страшное действие дано через взмах топора. Во втором по времени фильма эпизоде такого рода зритель, вместе с внезапно прозревшим при известии о коварстве Карла Кромвелем, видит лицо несправедливо казненного левеллера. В скобках остается отметить, что в подобных ситуациях, когда в парламентской армии по жребию казнили одного из зачинщиков беспорядков, способ казни был другим: несчастных расстреливали их же товарищи, ведь считалось что расстрел, лишая солдата жизни, не позорит его чести.

Фильм создает яркий образ эпохи, но может поставить в неловкое положение студента, который попытается «выучить» английскую революцию по «Кромвелю».

Тот вариант видения революции и его знаковых персонажей отвечал не только доминировавшему тогда в исторической науке подходу, но и совпал с умонастроением бурных 1960-х гг. в Соединенном Королевстве, переживавшем утрату своего положения в мире. Остро стоял вопрос о необходимости реформ, но каких, точнее в каком направлении... Это в частности проявилось в регулярном чередовании двух политических партий у кормила власти. В конце 70-х колебание качелей надолго замерло – в 1979 г. премьером стала М. Тэтчер, последовательный консерватор. Тот факт, что консерваторы задержались у власти, свидетельствовал об определенных подвижках в умонастроениях общества, потребовавших поисков иных духовных ориентиров.

В те годы в историографии вырисовывались новые подходы и трактовки традиционных тем, в том числе темы английской революции. Последнее было связано с итогами «спора вокруг джентри» и с общими тенденциями в развитии исторической мысли.

На семидесятые годы приходится завершение формирования очередного «нового ревизионизма». Главный итог «спора вокруг джентри» состоял в том, что произошла «смена вех» для всех участников дискуссии, определился новый уровень изучения – локальная история, новый ракурс – социальная история и менталитет общества («с подвала на чердак»). Интерес историков сосредоточился на разных проявлениях социальной жизни: бытовая культура, гендерные отношения, интеллектуальная жизнь, поведение и настроение разных слоев общества на региональном уровне. Это позволило изменить угол зрения на ключевые сюжеты английской истории, в том числе на события XVII века.

Со временем изменился круг научных интересов основных участников «шторма вокруг джентри». Так, Лоренс Стоун в последний период своей научной деятельности сосредоточился на рассмотрении социальных проблем XVII в.²⁵ Представители «левого» крыла англоязычной историографии революции (в отечественной науке прошлого века их было принято называть «прогрессивным направлением») обратились к рассмотрению социального среза истории²⁶. Кристофер Хилл, признанный лидер «прогрессивного направления», в последние десятилетия занимался изучением духовного компонента общественной жизни²⁷.

Непосредственно интересующей нас теме посвящены многочисленные работы, частично написанные в традиционном «либерально-вигском» ключе, но с умеренно-консервативных позиций²⁸. Век революции рассматривается историками разных направлений как век кризиса и век эксперимента²⁹. Заметное внимание стало уделяться проблемам локальной истории, которые нашли отражение в целом ряде работ³⁰.

²⁵ Stone. 1965.

²⁶ Например: Manning. 1976.

²⁷ Hill. 1965; *Ibidem*. 1968; *Ibid.*, 1993.

²⁸ Например: «Те, кто начал войну против Карла I в 1642 году могли быть революционерами постольку, поскольку они подняли оружие против своего сюзерена; но совершенно справедливо то, что по их собственному убеждению они не вводили новый, но восстанавливали старый и лучший порядок, который был нарушен королевскими нововведениями». – См.: Ashton. 1978. С. 42; Bence-Jones. 1976. «Короля судил не народ, а правящая военная клика». – См.: Bence-Jones. 1976. С. 23; Bowle. 1975. «Отличие Карла I от Генриха VIII в том, что последний был оппортунист и умел приспособливаться ради своих интересов». – См.: Bowle. 1975. Р. XIII).

²⁹ Trevor-Roper. 1968; George. 1973.

³⁰ Blackwood. 1978. С. 159–160. По мнению этого автора, в плане социальном и экономическом заметных различий между сторонниками Короны и Парламента не было. Различие наблюдалось в том, что джентри, поддерживавшие парламент, имели лучшее образование, а среди их фермеров было много пуритан.

На новом этапе отношение к личности и деятельности О. Кромвеля и того исторического явления, с которым тесно связано его имя достаточно определенно обозначено в таких работах: «Оливер Кромвель и английская революция», «Свобода и английская революция»³¹. Изменилось название (в 1958 г. «Оливер Кромвель», в 1970 г. «Божий человек. Оливер Кромвель и английская революция») и содержательное наполнение биографий О. Кромвеля, изданных К. Хиллом³².

Работа, написанная преподавателем Кембриджского университета Д. С. Моррилом «Мятеж провинций. Консерваторы и радикалы в английской гражданской войне (1630–1650)»³³ представляет собой попытку обобщения многочисленных локальных исследований, появившихся по следам «спора вокруг джентри». Свою задачу автор видел в том, чтобы рассмотреть, как отражалось политическое противостояние в центре на уровне графств. Общенациональные политические проблемы в графствах приобретали местный колорит.

Новое поколение ревизионистов поставило под сомнение значимость переломных событий XVII в. Д. Кларк в монографии «Революция и восстание. Государство и общество в Англии в XVII–XVIII вв.» (1986)³⁴ обосновывает мысль, что английское общество сохраняло патриархальность вплоть до начала парламентских реформ XIX в., ничего эпохального в XVII–XVIII вв. для страны не произошло. Что касается смысла событий 40-х гг. XVII в., то, по мнению К. Рассела («Падение Британской монархии 1637–1642», 1991)³⁵, он заключался в том, что Стюарты, будучи правителями столь разных владений, как Шотландия, Англия и Ирландия, и стараясь подчинить их единому порядку (введение книги общих молитв в Шотландии), натолкнулись на мощное сопротивление. В работе Д. Моррилла «Характер английской революции» (1993)³⁶ гражданские войны именуются *религиозными войнами*, в религиозных спорах видится причина и смысл конфликта.

Казалось бы, ничего принципиально нового, а между тем новый взгляд на вечную проблему о роли пуританского начала в событиях середины XVII в. позволил автору отодвинуть революцию в прошлое. Ведь таким образом английская революция из события, открывающего

³¹ Oliver Cromwell and the English Revolution. 1990; Freedom and the English Revolution. 1986.

³² Hill. 1958; *Ibidem*. 1970.

³³ Morrill. 1976.

³⁴ Clark. 1986.

³⁵ Russel. 1990.

³⁶ Morrill. 1993.

Новое время, превращается в событие, завершающее раннее Новое время. В целом очевидна тенденция дегероизировать английскую революцию, преуменьшить ее значение для истории становления нового европейского общества. Кроме того, очевиден поворот к социокультурной проблематике в рамках изучения английской революции.

По сути «новый консенсус» между либералами и консерваторами означал уступку консервативным подходам. «В этом сближении позиций, однако, стороны прошли неравные части пути и встретились значительно ближе к консервативному «пункту отправления»³⁷.

Фильм «Убить короля» Марка Байкера (2003), посвященный событиям, связанным с процессом и казнью Карла I, представляет интерпретацию событий, которая по духу и приемам совпадает с историографией «нового консенсуса»³⁸. В английской кинематографии тема «частной жизни» выдающихся личностей имеет давнюю историю. Она идет от «Частной жизни Генриха VIII» А. Корды (1933). В ту пору такой срез темы позволял использовать «исторические события и персонажей как канву для создания красивого и занимательного зрелища»³⁹. Фильм Байкера несет иную смысловую нагрузку, представляет иной пласт восприятия прошлого. Зрелищно, археологически достоверно – несомненно, но за всем этим определенный взгляд на события и их участников, взгляд, условно говоря, брошенный частным лицом, взгляд, соответствующий жанрам очень распространенным в показываемую эпоху: дневник, воспоминание, переписка, в которой пишущий не просто констатирует события, но дает свои размышления, соображения по их поводу.

Сценарий фильма «Убить короля» написан Дженни Мейхью. Сценаристка представила феминизированную версию событий, поскольку роль эмоционального стержня всего сюжета отведена прелестной Энн Ферфакс, супруге генерала парламентской армии Томаса Ферфакса. Именно от лица сэра Томаса ведется рассказ, а сам он представлен знаковой фигурой армии «новой модели» парламентского лагеря.

Первый эпизод – грязь и кровь, горы трупов, открытые раны (все крупным планом) – страшные будни войны. Развитие событий начинается в 1645 г., надо полагать после битвы при Нэсби. Дата не обозначена, сражение не показано, показана «изнанка» вооруженного конфликта. Не

³⁷ Ретина. 1991. С. 69.

³⁸ Название перекликается с заглавием одной работы популярного характера («Смерть королю»), появившейся в 1973 г. – См.: Aldermen. 1973. По подбору материала, расстановке ключевых фигур и оценкам их действий работа выдержана в старых умеренно-консервативных традициях.

³⁹ Утилов. 1970. С. 91.

будет никаких других собственно батальных эпизодов. Дается непосредственный результат – погибшие, сваленные в кучи, и умирающие, которых, если им посчастливится подать заметные для проходящих признаки жизни, иногда из этих куч вытаскивают. Внимание перенесено на то, как армия славит победителя, каковым представлен молодой красавец генерал Ферфакс, сопровождает его и разделяет общий восторг некто Кромвель (его должность и политическая роль на данный момент не обозначены), хотя историческая традиция, восходящая как к парламентским, так и к роялистским авторам связывает победу при Нэсби с действиями Кромвеля, который был в ту пору заместителем командующего (Ферфакса) по кавалерии. Далее по ходу развития событий, когда Ферфакс откажется участвовать в шотландском походе, Кромвель сам наденет на себя генеральские регалии и станет командующим.

Стоит отметить, что практически все общие планы даны не с высоты «птичьего полета» (как в «Кромвеле»), а с точки зрения «шагающего человека», который пробирается между скачущих всадников, видит по аллее скачущую карету, бродит в рыночной толчее...

Внешнее сходство персонажей достаточно условное – типажи «кавалеров» и «круглоголовых». Король не слишком узнаваем внешне, а вот линия поведения выдержана в русле традиции, идущей от Д. Юма: обаятельный человек, слабый властитель. Обыгрывается то обстоятельство, что Ферфакс для него человек своего круга, молодой аристократ, которого он, Карл Стюарт некогда возвел в рыцари. А вот «мистер Кромвель» – не просто враг, он чужой, он из числа тех подданных, которых монарх не персонифицирует.

Главный герой генерал Томас Ферфакс, а точнее супружеская чета Ферфаксов, высокородные, молодые, красивые. Их поступки полны благородства и естественного достоинства. Ферфакс выступил против короля исключительно бескорыстно, он ничего не ищет в этой войне для себя лично. Ситуацию осложняет то, что отец его любимой супруги – роялист, и ставит выше всего вассальную преданность королю, а не интересы несправедливо обиженной королем Англии. Ферфакс своей взвешенной позицией противостоит крайностям любого рода – и по итогам выигрывает! А выигрыш его в том, что он сумел избежать искусов честолюбия и во время возвратился в благоустроенный уют частной жизни. Кстати, авторы фильма в этом следуют вполне достоверным фактам. Он действительно с завершением гражданских войн отказался возглавить поход сначала в Ирландию, потом в Шотландию, уединился в своем поместье, а после смерти жены занялся воспитанием дочери. Но логика кино требует обязательного противовеса такой линии поведения.

Фигурой, оттеняющей линию «золотой середины», которую представляет Т. Ферфакс, оказывается Кромвель, предстающий в фильме человеком без роду-племени, стесняющимся собственной семьи, стремящимся погреться у чужого огня. В первых эпизодах он охраняет покой командующего, к которому приехала красавица-жена. Ферфакс – его друг, этому чувству Кромвель останется верен на протяжении всего развития сюжета, но его взгляд, устремленный на леди Ферфакс, служит выразительной иллюстрацией к песенке «Ах, какая женщина, мне б такую...». Внешне этот персонаж ближе историческому Кромвелю – несколько нескладный и неуклюжий. Для усиления сходства он наделен большой бородавкой (над глазом). Он не просто некрасив, он не симпатичен. В противоположность спокойному, уверенному в себе Кромвелю Р. Харриса Кромвель Т. Рота кажется суетливым и мелочно амбициозным. Тот умел ждать своего мига, этот норовит высунуться, порой некстати. У того был любимый домашний очаг, этот чувствует «в чужом пиру похмелье», засыпая за письменным столом в богатом особняке Ферфаксов, не знает, что ответить на доброжелательно-снисходительный вопрос Ферфакса «У тебя ведь тоже где-то есть дом?».

Образ трактован неоднозначно: этот Кромвель способен на самоотверженные порывы, на привязанность и благодарность, притом, что он, по современной терминологии, страдает от многочисленных комплексов. Перед зрителем облеченный в художественную упаковку обедневший и обозленный джентри, представитель того самого социального слоя, который был представлен на страницах «Джентри» Х. Тревор-Ропера⁴⁰. Когда противостояние вылилось в открытое вооруженное столкновение, лидерство в революционном лагере сосредоточилось у наиболее энергичных представителей «простых джентри», объединившихся в группировку индипендентов. Испытываемое этой категорией людей чувство отчаяния радикализировало их требования (вплоть до ликвидации монархии и провозглашения республики).

Если перевести эти умонастроения на уровень житейски-бытовой, то можно сказать, главное, что управляло этими людьми – зависть. Та-

⁴⁰ По версии Тревор-Ропера, на протяжении первой половины XVII в. большинство джентри, страдая от постоянной инфляции, чувствовали себя несправедливо лишенными лакомых кусков правительственных поощрений в виде монополий. Именно из категории «обиженных» возник лагерь недовольных, выступивших против Короны. Возглавили этот лагерь первоначально аристократы, обойденные милостями двора. В ходе гражданских усобиц на первый план вырвались наиболее ретивые, энергичные из рядовых джентри. Эти люди обладали сильным «негативным потенциалом», но не очень представляли себе, что они собственно хотят изменить.

ков Кромвель в подаче Т. Рота. Его образ жизни, его окружение, его домашние проигрывают рядом с блестящим бытом аристократа Ферфакса. Кромвель из фильма «Убить короля» не просто честолюбив («хочу власти»), это было в духе старой традиции трактовки образа честолюбца-лицемера, возглавившего движение религиозных фанатиков⁴¹. Этот Кромвель – фанатик идеи, борец за духовное обновление людей, за построение нового мира в Англии и экспансию этого мира на весь мир. В его поведении подчеркивается нетерпимость и проявления произвола сильного. Характерен в этом отношении эпизод с мелочным торговцем, убитым Кромвелем мимоходом на городской улице выстрелом в упор. Трудно утверждать категорически, но примеров такого рода как-то не отмечено даже в той литературе, которая была недоброжелательна к лорду-протектору. Впрочем, это надо специально отследить.

В одном из заключительных эпизодов Кромвель призывает умеренного и здравомыслящего Ферфакса организовать экспансионистский поход, строить империю. Ферфакс покидает могущественного друга, уходит в покой частной жизни. Потом, когда отшумят события 1658–59 гг., совершится «Счастливая реставрация» и Ферфакс будет прощен Карлом II, а труп Кромвеля будет подвергнут поруганию и посмертной казни, Ферфакс покинет свою тихую гавань, приедет взглянуть на своего болтающегося в петле сподвижника. Так завершится фильм о больших политических событиях с точки зрения истории «малых форм». Истории, трактованной через призму социального микросреза.

«Фильм – это продукт культуры, связанный с обществом, которое его производит, с обществом, которое его получает и потребляет. Оно проявляет себя, прежде всего, в цензуре, во всех ее формах, не исключая самоцензуры: должна торжествовать мораль, определенная ее форма»⁴². Так, спустя тридцать лет и три года одни и те же события и персонажи воспринимаются и оцениваются совсем по-разному, а эта различие оценки в значительной степени объясняется доминирующими в обществе настроениями и изменением ракурса восприятия событий историками.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Английская лирика первой половины XVII века. М., Изд-во Московского ун-та, 1989.
Вержникова Т. Английская живопись. СПб., 2009.
Гардинер С. Пуритане и Стюарты. СПб., 1896.
Коттрел Д. Лоренс Оливье. М., 1985.
Маколей Гэмпден / Маколей. Собрание сочинений. Т. II, СПб., 1861.

⁴¹ См. работы Кларендона, Юма, Маколея, Гизо.

⁴² Ферро. 1993. С. 48.

- Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс // *Он же.* Дегуманизация искусства. М., 1991.
- Ретина Л. П.* От «спора о джентри» к «новому консенсусу»: неолиберальные и неоконсервативные концепции английской революции // *Английская революция середины XVII в. (К 350-летию).* Реферативный сборник. М., 1991.
- Савин А. Н.* Лекции по истории английской революции. М., 1937.
- Утилов В.* Режиссеры английского кино // *Кино Великобритании.* М., 1970.
- Ферро М.* Кино и история. Вопросы истории. 1993. № 2.
- Aldermen C. L.* Death to the king. L., 1973.
- Ashley M.* Oliver Cromwell and his world. L., 1972.
- Ashton R.* English civil war. Conservatism and Revolution. 1603–1649. L., 1978.
- Butterfield H.* The Whig interpretation of the history. L., 1951.
- Blackwood B. G.* The Lancashire gentry and the Great Rebellion. 1640–1660. Manchester, 1978.
- Manning B.* The English people and the English Revolution. 1640–1649. L., 1976.
- Clark J.* Revolution and Rebellion. State and Society in England in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Cambridge, 1986.
- Frasar A.* Cromwell our chief of men. Bungan, 1975.
- Freedom and the English Revolution / Ed. by R. S. Richardson and G. M. Ridden. Manchester, 1986.
- Gardiner S. R.* History of the Great Civil war. L., 1905, Vol. II.
- George C.* The Stuarts. A century of experiment. 1603–1714. Leicester, 1973.
- Hexter J. H.* Storm over the gentry / Reappraisals in history. Aberdeen: Northwestern univ. press, 1962.
- Hill C.* Intellectual origins of the English revolution. Oxford, 1965.
- Hill C.* God's Englishman. Oliver Cromwell and the English Revolution. L., 1970.
- Hill C.* Oliver Cromwell. 1599–1658. L., 1958.
- Hill C.* Reformation to industrial revolution. A social and economic history of Britain 1530–1789. L., 1968.
- Hill C.* The Century of Revolution. 1603–1714. Edinburgh, 1961.
- Hill C.* The English Bible and the Seventeen-Century Revolution. L., 1993.
- Hill C.* The English Revolution 1640: Three essays. L., 1940.
- Morrill J.* The Nature of the English Revolution. L., 1993.
- Morrill J. C.* The revolt of the provinces. Conservatives and radicals in the English Civil War, 1630–1650. L.-N.-Y., 1976.
- Oliver Cromwell and the English Revolution / Ed. by J. Morrill. Longman, 1990.
- Russel C.* The Causes of the English Civil War. L., 1990.
- Stone L.* The Anatomy of Elizabethan aristocracy // *Economic history rev.* 1948. V. 18. № 1.
- Stone L.* Social change and revolution in England 1540–1640. L., 1965.
- The Evolution of British Historiography from Bacon to Namier. Cleveland; N.Y., 1964.
- Tawney R. H.* The Rise of the Gentry 1558–1640 // *Economic History Review.* 1941.
- Trevor-Roper H.* The crises of seventeenth century // *Religion, the Reformation and Social change.* N.-Y., Evaston, 1968.
- Trevor-Roper H.* The Gentry 1540–1640. L., N.Y.: Cambridge univ. press, 1951.

Креленко Наталья Станиславовна, доктор исторических наук, зав. кафедрой истории нового и новейшего времени Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета; krelenkon@mail.ru

А. Р. КЛОЦ

“НЯНЬКАТЬСЯ БУДЕМ?” МЕМОРИАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ СОВЕТСКОГО ДЕТСТВА 1930 – 1950-х гг.

В статье делается попытка на основе устно-исторического метода и анализа сохранившихся письменных источников личного характера реконструировать образ няни, сложившийся у советских детей, выросших 1930-е – 1950-е гг.

Ключевые слова: образ няни, воспитание, феномен советского детства, воспоминания и интервью.

В июне 1929 г. на заседании коллегии Наркомпроса РСФСР был объявлен всесоюзный «дошкольный поход» с целью создания сети детских дошкольных учреждений, которая бы позволяла советским женщинам практически сразу после родов выходить на работу. Освобождение от необходимости оставаться дома с маленькими детьми было одним из важнейших условий реализации гендерного контракта «работающей матери», на котором основывалась гендерная политика эпохи сталинизма¹. Однако, детских яслей и садов было явно недостаточно. К началу индустриализации (1928/29 учебный год) в городе охват детей дошкольными учреждениями составлял 16,2%, в сельской местности – 1,25%². Несмотря на серию мероприятий по расширению сети яслей и детских садов, последовавших за принятием Постановления ЦИК и СНК СССР «О запрещении аборт, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многодетным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов...» от 27 июня 1936 г., многие семьи не могли получить места для своего ребенка в детских учреждениях и были вынуждены пользоваться услугами частных нянек.

Няни, в официальных бумагах эпохи именовавшиеся «домашними работницами», безусловно, сыграли определенную роль в формировании мировидения советских детей. Образ няни представлен во многих художественных текстах того времени. Няньки в эпоху сталинизма составляли заметную профессиональную и социальную группу (только по данным Всесоюзной переписи 1939 г., в РСФСР насчитывалось 372.488 домашних работниц³, а во всем Союзе – 534.812⁴, в реальности же их

¹ См.: Здравомыслова, Темкина. 2006. С. 64-69.

² Салова. 2009.

³ Всесоюзная перепись населения 1939 г. 1999. С. 174

⁴ Всесоюзная перепись населения 1939 г. 1992. С. 111.

было гораздо больше), однако на сегодняшний день не существует специальных исследований, посвященных данной проблематике.

Если социально-правовые аспекты жизни домашних работниц в конце 1920-х – 1950-е гг. реконструируются через законодательные и нормативные акты, материалы профсоюзов и прессы, то для социально-психологического анализа отношений няни и ребенка нужны источники личного характера, такие как дневники, воспоминания и материалы интервью. При работе со второй группой источников возникают определенные трудности. Сами няньки, будучи либо слишком юными, либо малообразованными, дневники и воспоминания писали редко. Их наниматели в своих записях могли фиксировать лишь взгляд со стороны. Сами же маленькие воспитанники зачастую слишком рано расставались со своими нянями, чтобы сохранить какие-то четкие воспоминания. Можно говорить лишь об образе няни, который формировался в раннем возрасте и претерпевал изменения на протяжении всей жизни.

В данной статье делается попытка на основе устно-исторического метода и анализа сохранившихся письменных источников личного характера реконструировать образ няни, сложившийся у советских детей, выросших 1930 – 1950-е гг., понять, какие объективные и субъективные факторы повлияли на его формирование, как он взаимосвязан с феноменом советского детства. Для этого были выбраны особые источники – отрывки из автобиографий и интервью с людьми, чье детство в основном прошло на годы сталинизма или начало хрущевских реформ. Хронологические рамки работы не совсем совпадают с одной исторической эпохой, так как повседневные практики менялись гораздо медленнее, чем политическая ситуация в стране. Перемены в жизни деревни (введение паспортов, повышение уровня жизни) и расширение сети детских садов и яслей в 1960-е годы привело к постепенному исчезновению практики найма нянек в советских семьях со средним достатком.

Работа с воспоминаниями и устными интервью имеет сходные черты: в обоих случаях мы имеем дело с автобиографической памятью – «субъективным отражением пройденного отрезка жизненного пути, состоящим в фиксации, сохранении, интерпретации и актуализации автобиографически значимых событий и состояний»⁵. Кроме очевидной субъективности, эти материалы чрезвычайно многослойны и образны, они позволяют проникнуть во внутренний мир автора, увидеть смыслы и связи, возможно недоступные самому повествователю. При этом «ценность автобиографических материалов по детству в их докумен-

⁵ Педагогическая антропология... С. 32.

тальности. Они неопровержимо свидетельствуют: вот что остается в памяти навсегда, вот что воскрешается в ней и через полвека, и спустя семьдесят лет! И это воскрешение есть сущностное»⁶. Таким образом, мы получаем источники, которые являются уникальными документальными свидетельствами личных и даже интимных сторон ушедшей эпохи, показывающие, что было действительно важно для людей того времени, при этом дающие простор для анализа глубинных процессов человеческого сознания и попыток пересмотреть устоявшиеся представления, основанные на данных более «традиционных» источников.

Однако существует и очевидная разница между письменной автобиографией и устным интервью. Автор автобиографии сам отбирает существенные, по его мнению, события и персонажи, тщательно продумывая повествование. В нашем случае это приводит к тому, что образ няни является проходящим, «одним из» персонажей детства. С другой стороны, раз автор считает нужным включить няню в свое жизнеописание, значит, ему кажется, что она сыграла какую-то роль в становлении его личности: ведь воспоминания о детстве – источник размышлений о том, почему повествователь стал таким, какой он есть.

Если в автобиографии автор полностью сам формирует текст, то интервью – это продукт общения интервьюера и респондента, причем первый задает как минимум тему беседы. «В интервью сочетается непреднамеренный непосредственный рассказ о событиях в индивидуальной жизни и рожденное опытом осмысление рассказчиком связи между этими событиями»⁷. Стоит отметить, что для многих респондентов просьба рассказать о своей няне была неожиданной и довольно часто казалось, что многие сюжеты очень давно не извлекались из памяти и их осмысление происходило прямо в момент интервью.

Существует несколько видов интервью⁸, но в данном случае был выбран проблемно-нарративный подход (single issue), так как нас интересовал конкретный сюжет. Было проведено 15 интервью с респондентами, воспитанием которых в течение какого-то времени занимались няни. Большинство опрошенных можно отнести к «советской интеллигенции» – это дети врачей, инженеров, преподавателей⁹.

Сначала респонденту предлагалось самому рассказать о своей няне (нянях), а затем задавались уточняющие вопросы с целью заставить об-

⁶ Природа ребенка в зеркале автобиографии... С. 11.

⁷ Педагогическая антропология... С. 48.

⁸ См.: Гринченко. С. 219.

⁹ Домашних работниц нанимали и представители других социальных групп, например рабочих: ГАПК. Ф. 470. Оп. 1. Д. 65. Лл. 21, 36.

ратиться к малозначительным для него/нее деталям и эпизодам. При этом какие-то моменты не только вспоминались, но, как кажется, и «додумывались». Однако такое «додумывание», как и «ложные воспоминания» (воспринятые со слов других, либо из художественных произведений) не искажает искомый «образ», а лишь дополняет его. В некоторых случаях респонденты, затрудняясь дать ответ на какой-то конкретный вопрос, пытались сами сделать предположения, которые были созвучны с их представлениями о самой няни или о членах семьи. Характерным в этом плане является ответ многих респондентов на вопрос о существовании трудового договора с домработницей и ее прописке, например:

«А вот договор – это я не знаю. Может что-то как-то и было, может быть и делали, потому что я вот знаю, что папа потом, да и не потом, это всегда так старался, уже если... столько сделал для столько людей... наверняка и там все сделал так, чтобы девочкам было нормально. Все, что нужно оформить, все, что нужно сделать, договориться и записать так, как надо. Потому что я не представляю себе, чтобы мои родители кого-то подвели. Все, что нужно было сделать, это было всегда сделано»¹⁰.

В отличие от дореволюционных нянь и кормилиц, которые жили в семье и воспитывали, как правило, нескольких детей, а то и несколько поколений, советские домработницы чаще всего не задерживались в одной семье. У многих респондентов сменилось по две-три и даже более нянь. При этом в большинстве случаев домработницы присматривали за детьми до трех лет, либо за дошколятами. С одной стороны, кратковременность отношений делает воспоминания более размытыми, но с другой – она дает возможность увидеть няню действительно «детскими глазами», а не через призму более поздних воспоминаний¹¹.

Какое место занимает няня в иерархии образов детства? В большей части воспоминаний и интервью няня – полноправный член семьи. Это следует из прямых высказываний респондентов и мемуаристов: «Она, собственно, была член семьи»¹², «все с нами, ну как член семьи»¹³, «поскольку своих бабушек у меня практически не было, поэтому она мне заменяла бабушку»¹⁴, «эта женщина (моя няня) была для меня еще одной матерью»¹⁵; а также из воспоминаний о повседневных практиках: няни чаще всего жили и ели вместе с нанимателями, многие эпизоды

¹⁰ Запись интервью от 24 января 2009 г. с А. Д. Энгаус, архив автора.

¹¹ Хотя, конечно, были и такие няни, которые десятилетиями работали в одной семье, а их наниматели и воспитанники становились самыми близкими людьми.

¹² Запись интервью от 2 декабря 2009 г. с А. В. Годинер, архив автора.

¹³ Запись интервью от 11 ноября 2009 г. с Ю. З. Цыловой, архив автора.

¹⁴ Запись интервью от 6 июня 2009 г. с Т. А. Костаревой, архив автора.

¹⁵ *Дамье*. http://zhurnal.lib.ru/d/damxe_w_w/karandashi.shtml.

воспоминаний говорят о действительно близких отношениях. Одна из респонденток вспоминает забавную выходку сестры:

Как-то приходят они (*родители*) из гостей – Тася плачет: “Ваша Лена меня обидела. Она сказала, что я скотина”. Родители кинулись к Лене, стали спрашивать: “Откуда ты знаешь такое нехорошее слово! Как тебе не стыдно! Ты зачем Тасю обидела!” А Ленка удивленно говорит: “Так вот в книжке написано: Как у нашего Трофима разыгралась вся скотина. Тася разыгралась, Тася – скотина”¹⁶.

Слезы няни и возмущенную реакцию родителей можно объяснить тем, что Тася была действительно близким человеком, которого может очень обидеть грубое слово со стороны кого-то из членов семьи.

Особенно близкие отношения между ребенком и няней складывались в тех семьях, где родители по каким-то причинам не могли уделять много времени ребенку: «Мама – врач, приходит затемно, а папа – лесной техник, пропадает в своем лесу. Зато Луша всегда со мной. Она – моя, больше ничья. С ней хоть на край света!»¹⁷, – так описывает свою семью пермская поэтесса Белла Зиф в автобиографической повести «Провинция». В устной беседе это настроение прозвучало еще сильнее:

У меня с ней, единственной, было какое-то, знаешь, пускай тавтология в каком-то смысле, духовное отдохновение, понимаешь? Мне с ней было хорошо. Мне с ней было бы вот так вот... чтобы я всю жизнь жила. Это какое-то... это было детское блаженство, единственное в своем роде¹⁸.

В отличие от образа няни «члена семьи», образ няни «преданной прислуги» практически не встречается, но некоторые черты взаимоотношений по типу «хозяева – прислуга» все-таки можно проследить. Например, характеризуя свою няню, одна из респонденток отмечает такие ее качества как незаметность, способность быть всегда под рукой, свои-ственные, скорее, хорошей прислуге, чем полноправному члену семьи:

У нас квартира была... там большой коридор и кухня – больше двадцати метров, наверно. И как-то она всегда находила дело. Ее никогда не было в комнатах. Приходила, что-то делала, прибирала, убирала, приносила и опять куда-то исчезала. Она всегда там себе находила работу, сидела иногда там вязала что-то или что-то еще. Какая-то вот совершенно ненавязчивая и незаметная, и в то же время всегда под руками, когда что-нибудь надо, она всегда поможет, все сделает¹⁹.

Воспоминания о няне могут отражать не только ее отношения с ребенком, но и отношения внутри семьи. Для Светланы Аллилуевой ее няня – это, прежде всего, связь с прошлым, с погибшей матерью: «В доме постепенно, не сразу, но примерно к 1938-му году не осталось, кроме

¹⁶ Запись интервью от 21 сентября 2009 с А. Г. Черных, архив автора.

¹⁷ Зиф. С. 9.

¹⁸ Запись интервью от 24 января 2010 с Б. Л. Зиф, архив автора.

¹⁹ Запись интервью от 2 октября 2009 с И. В. Кошелевой, архив автора.

моей няни, никого из тех людей, которых нашла в свое время мама, которые любили ее, уважали, не забывали и старались насколько возможно следовать установленному ею порядку»²⁰. Противостояние «старого», связанного с матерью, и «нового», представителей которого в своем доме Светлана называла «казенным людом», особенно ярко проявляется в истории о противостоянии старой няни и новой гувернантки:

С первого же дня она вступила в постоянный конфликт с моей няней. Не знаю, что у них там вышло, но я увидела, что няня, обидевшись, уходит из комнаты, а Лидия Георгиевна истерически кричит ей вслед: – “Товарищ Бычкова! Не забывайте! Вы не имеете права со мной так разговаривать!” Я посмотрела на нее и спокойно сказала: “А вы – дура! Не обижайте мою няню!” С ней сделалась истерика. Она рыдала и смеялась, – я никогда не видела подобных вещей, – ругала меня, “невоспитанную девочку”, и мою “некультурную” нянюку. Дело улеглось, но мы с ней навеки стали врагами... Пять лет она меня “воспитывала”, являясь каждый день, враждуя с моей невозмутимой нянюкой, мучая меня истериками, бесталанными уроками и бездарной своей педагогикой. Мы ведь привыкли к прекрасным педагогам, которых нам находила мама...²¹.

Так история, главные героини которой – няня и гувернантка, в итоге заканчивается образом матери – символом детского счастья для автора.

Безусловно, не всегда с нянями складывались теплые отношения. Так, очень любившая первую няню Лушу Б. Зиф, свою последнюю нянюку называет «кошмаром»: «Она была для меня очень неудобна. Она была какая-то балда... Она со мной не могла управиться вообще. То есть она была никакая не няня»²².

Если попытаться создать некую типологию образов няни, можно выделить три основных типа: «девочка из деревни», «добрая старушка» и «злая нянюка». Причем, так как у многих детей няни менялись, в воспоминаниях присутствуют два или даже все три образа. Самый распространенный тип – «девочка из деревни». Прежде всего, это отражает общую картину: большую часть домашних работниц составляли девушки из колхозов, стремившиеся закрепиться в городе²³. У нанимателей они задерживались ненадолго, чаще всего не более чем на несколько лет, так как находили более престижную работу на заводе или в сфере обслуживания. Эта ситуация отражена и в некоторых воспоминаниях:

²⁰ Аллилуева. <http://bibliotekar.ru/allilueva/12.htm>

²¹ Там же.

²² Запись интервью от 24 января 2010 с Б.Л. Зиф, архив автора.

²³ Большинство материалов личного происхождения и архивных данных свидетельствуют о том, что основную массу прислуги составляли женщины из сельской местности. При этом, согласно данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., более 40% домработниц были младше 20 лет, еще 20% попадали в категорию от 20 до 29 лет. См.: Всесоюзная перепись населения 1939 г. 1992. С.135.

Это были девочки, вот как бы сказали сейчас “старшеклассницы”, которые были из деревни. И там, практически, если оставаться там, что там дороги уже никуда нет. Они вырывались в город. И для того чтобы в городе все это как-то было по-человечески, устраивались в семьи... Если не уехать в город, то в деревне... там же ни паспорт, ничего.. Они же тут уже получили паспорт и они могли уже дальше жить. В деревне же паспортов не было. Считай, крепостное право. Это было просто ужасно²⁴.

Такие девочки не только присматривали за детьми, но и сами активно обучались жизни в городе. Прежде всего, это касалось ведения хозяйства, так как оно отличалось от того, к которому они привыкли в колхозе. Юные няньки становились как бы старшими дочерьми, которых «родители» обучали самым обычным бытовым навыкам:

Где-то вот так вот в глубине отложилось, что вот мама говорит: “Фая, вот смотри, вот это так, вот это готовится так”. Она ее еще и готовить учила. Ну, все как в любой нормальной семье²⁵.

Для адаптации в городской среде было важно выглядеть в соответствии с новыми стандартами. Одна из респонденток вспоминает вереницу домработниц, приходивших в дом, как девушек, озабоченных своей внешностью: «Они около зеркала крутились, там себе какие-то колечки завивали, еще что-то»²⁶. Для девочки, не имевшей друзей и родных в городе, и в этом вопросе нанимательницы были главными советчицами: «Тася, она, конечно, из деревни приехала, но она старалась как-то по-городскому (выглядеть). И с мамой, я думаю, они обсуждали, как одеваться». Научиться правильно говорить тоже помогала семья нанимателей: «Моя бабушка, в общем, она педагог такой была настоящий, и она в общем ей помогала очень, поправляла постоянно, как нужно говорить правильно»²⁷. Для ребенка такая няня – старшая сестра. От нее можно было узнать о жизни подростков. А. Д. Энгаус запомнился такой разговор: «Вот, так трудно, классное сочинение. – А что такое это классное сочинение? – Вот вырастешь – узнаешь»²⁸. У юной няньки был свой мир, мир девушки, который очаровывал и манил воспитанницу:

«Я помню, у нее была такая коробочка, в которой лежали какие-то кружева, нитки цветные... И такая она вот красивая, вся зеленым атласом обтянута, эту коробку ей, кстати, мама подарила. И вот мне тоже нравилась эта коробочка. Я так смотрела.... У нее так все там аккуратненько, эти нитки цветные»²⁹.

²⁴ Запись интервью от 24 января 2009 с А.Д. Энгаус, архив автора.

²⁵ Там же.

²⁶ Запись интервью от 2 октября 2009 с И.В. Кошелевой, архив автор.

²⁷ Запись интервью от 11 января 2010 с И. Б. Облизиной, архив автора.

²⁸ Запись интервью от 24 января 2009 с А.Д. Энгаус, архив автора.

²⁹ Запись интервью от 11 января 2010 с И. Б. Облизиной, архив автора.

О «родственности» отношений между нянями и нанимателями говорит и участие семей в личной жизни девушек. По словам одной из респонденток, ее мама собрала приданое для няни, полюбившей курсанта военного училища³⁰. Даже после ухода из семьи нанимателя некоторые девушки продолжали поддерживать отношения:

Что я лично помню, это когда она к нам приходила знакомить со своим будущим мужем... Пришла какая-то женщина к нам в гости с мужчиной... И помню, все разговоры были: о, Тася пришла, Тася пришла со своим, вроде, другом, выходит замуж, пришла к нам, познакомиться с нашей семьей, его познакомить с нашей семьей³¹.

Отношения с «девочкой из деревни» остаются в памяти ребенка как отношения с близким членом семьи. Такая няня не только воспитывает ребенка, но и сама учится жить новой, городской жизнью.

«Добрая старушка» – еще один образ няни, сформировавшийся у респондентов. В отличие от «девочек из деревни», старушек называли не просто по имени, а использовали обращение «тетя» или «бабушка». Эти женщины были не обязательно пожилыми, но с точки зрения совсем юных воспитанниц, даже няни средних лет были «старушками».

Такая няня – чаще всего, одинокая женщина, которая воспитывала чужих детей, не имея своих. Ребенок становился для нее самым близким человеком. «Туську она обожала. Обожала ребенка. Звала ее “дочунька”. И от всех она ее оберегала, и это, действительно, она была для нее второй матерью»³², – вспоминает Н. Д. Аленчикова няню своей сестры.

Если об отношениях молодых нянь с другими членами семьи респонденты много и подробно рассказывали, то о пожилых няньках подобных воспоминаний нет вообще. Создается впечатление, что полноценное общение у них было только с детьми. Судя по воспоминаниям, их единственной обязанностью было присматривать за ребенком:

Была старенькая старушка такая, тетя Поля ее звали, добрая, милая, ну, действительно очень старенькая уже, я думаю, что ей было за шестьдесят, наверно, к семидесяти. Она вот с нами сидела. В общем, ее обязанностью было просто за нами присматривать, потому что она была, действительно, очень пожилая³³.

Главная черта пожилых нянек, оставшаяся в воспоминаниях детей, это доброта: «Была очень приятная бабулечка. Ее звали Ирина, бабушка Ирина. ...она была нежная, ласковая, действительно как бабушка»³⁴. Часто используются уменьшительно-ласкательные слова: «старенькая»,

³⁰ Запись интервью от 6 июня 2009 с Т.А. Костаревой, архив автора.

³¹ Запись интервью от 21 сентября 2009 с А.Г. Черных, архив автора.

³² Запись интервью от 30 мая 2009 с Н.Д. Аленчиковой, архив автора.

³³ Запись интервью от 11 января 2010 с И. Б. Облизиной, архив автора.

³⁴ Запись интервью от 6 июня 2009 с Т.А. Костаревой, архив автора.

«бабулечка». В одном интервью возникает даже сравнение с самой знаменитой няней в российской культуре – Ариной Родионовной:

Тетя Поля была, знаете, такая старушка, ну просто типичная такая... ну вот как деревенские бабушки в то время ходили. У них были такие юбки темные и какие-то ситцевые кофты. И платок, конечно, обязательно. Вот такая вот старушечка. Вот как вот няня Арина Родионовна... можно представить, примерно то же самое³⁵.

«Добрая старушка» – близкий человек для ребенка, однако отношения с другими членами семьи не такие родственные, как у «девочки из деревни». Пожилая няня – бабушка или добрая тетя, образ которой вызывает самые приятные воспоминания.

Образ «злой няньки» встречается достаточно редко. Возможно, это объясняется тем, что для большинства респондентов детство – светлый период жизни, и воспоминания с негативной окраской вытесняются.

Среди устных воспоминаний, собранных в рамках данного проекта, самые яркие, эмоциональные и образные – воспоминания И. Б. Облизиной о репрессированной украинке – третьей по счету няней в ее семье:

Она была совсем не добрая, совсем не любила она детей, по-моему. Меня, во всяком случае, она не любила явно. А к сестре она получше относилась, потому что сестра маленькая была. Тут у меня остались какие-то жуткие вообще воспоминания: как она заставляла меня пить молоко и я не могла из-за стола выйти, пока это молоко не выпью. Или как она делала котлеты. Котлеты с чесноком, которые тоже невыносимы. Банка, наполненная такими кубиками сала. Из холодильника она ее доставала и вечером такой ритуал у нее был, это сало она ела, и я тоже до сих пор эту банку вижу. Тут, действительно, для детей больше отрицательных каких-то впечатлений, чем положительных. Мы просто плакали, говорили «мама, мы будем сидеть одни, мы все-все будем делать, только пусть она у нас больше не живет»³⁶.

Очень похожий образ «злой няньки» создает в своих воспоминаниях и известный рок-музыкант А. Макаревич:

Еще помню, как строгая Нина ставит передо мной миску с самой ненавистой моей едой — творогом, растертым в кефире, — и будильник. Чтобы через пять минут все было пусто! В кефире плавают комки от творога, и от них кого угодно может вырвать. Нина исчезает на кухне, и я в полном отчаянии перевожу стрелки аж на полчаса назад и сижу обреченно, не дыша и с творогом за щекой³⁷.

Основной мотив в обоих отрывках – принуждение, прежде всего принуждение к еде: молоко, «невыносимые» котлеты, кубики сала, растертый в кефире творог. При этом никаких других негативных момен-

³⁵ Запись интервью от 11 января 2010 с И. Б. Облизиной, архив автора. Стоит отметить, что именно в тридцатые годы начинается культивирование образа «няни поэта» как женщины, благодаря которой дворянин Пушкин узнает русский народ и проникается его культурой.

³⁶ Там же.

³⁷ Макаревич. 2008. С.38.

тов никто не вспоминает. Наоборот, нарисовав столь мрачную картину, респондентка добавляет: «Ну, не все так было плохо. Она с нами играла, она нас смешила»³⁸. Таким образом, можно сделать вывод, что негативный образ связан, прежде всего, с практикой насильственного кормления, которая чрезвычайно болезненно воспринимается детьми.

Безусловно, на восприятие ребенком няни влиял уже имевшийся опыт отношений. Если общение с первой няней Лушей для Б. Зиф было «душевным отдохновением», то со сменившей ее латышкой Алвиной не было никакого эмоционального контакта: «Я была отчуждена. Она мне мешала, раздражала»³⁹. О том, что девочка не чувствовала духовной близости, которая в ее понимании была обязательна в отношениях с няней, говорит и то, что в автобиографической повести Алвина ни разу не называется «няней», а только «домработницей». У маленькой Бэлы уже в детстве сложился идеальный образ няни, и человек, выполнявший эти функции, но не соответствовавший образу, «няней» быть не мог.

Воспоминания, которые основаны на рассказах взрослых, лишены какой-либо эмоциональной окраски, даже если повествуют о неприятных для ребенка эпизодах: «Я знаю, что одна няня, когда мы в летнее время снимали дачу в Верхней Курье, дернула меня сильно за руку – я засмотрелась на играющих ребят в волейбол, и оборвала мне связку. Мне оперировали руку. Ее уволили»⁴⁰. Вряд ли в данном случае можно говорить о сложившемся негативном образе, хотя порванная связка – более серьезный проступок, чем котлеты с чесноком. Та же респондентка вспоминает рассказы своих родителей о другой няньке:

Одна няня была девочка. Она... воровала. Я слышала, что была украдена золотая брошка, я слышала, что какую-то гипюровую сорочку... но на этом внимания не акцентировалось, это никому не приятно было, видимо, вспоминать. Просто это я случайно услышала из разговора, и они говорили, что она это передавала родителям.

От няни ребенок получал информацию и навыки, знакомился со взрослым миром. Няня – будь-то девочка из колхоза или женщина в возрасте, была человеком из другой социальной среды. Она не только сама приспособливалась к городской жизни, но и несла свои, деревенские бытовые практики⁴¹. Одна из респонденток отмечает, что главный

³⁸ Запись интервью от 11 января 2010 с И. Б. Облизиной, архив автора.

³⁹ Запись интервью от 24 января 2010 с Б.Л. Зиф, архив автора.

⁴⁰ Запись интервью от 21 сентября 2009 с А.Г. Черных, архив автора.

⁴¹ Как отмечает Р. Сартти, прислуга на протяжении многих веков была «каналом передачи культуры между различными социальными классами», при этом слуги выступали в качестве «учителей» для детей своих хозяев. См.: *Sarti*. 2007. P. 573.

след, который няни оставили в ее жизни – это знакомство с абсолютно новым для нее миром: «Мы тоже познакомились совсем с людьми другими, которых мы никогда бы не увидели, если бы не эти няни. Люди совсем из другой среды, ...ну вообще вот, из другой жизни»⁴². Для детей советской интеллигенции и управленческой элиты такая встреча была редкой возможностью что-то узнать о селе. Так, например, внучке академика Д. С. Лихачева хорошо запомнились рассказы няньки, жившей в их семье с 1937 года, о еще доколхозной жизни деревни:

Тамара Михайлова родилась в деревне под Смоленском в 1915 году, значит, когда началось уничтожение крестьянства, ей было 13-15 лет. Она рассказывала, как веселилась с подружками, как ходила по праздникам на базар и каталась на карусели, поворотный механизм которой был прост — после катания она увидела, как парни из ее же деревни вылезают усталые и взмыленные из-под навеса, закрывающего нижнюю часть карусели⁴³.

О том, что няньки являлись каналом передачи деревенской культуры, говорит и эпизод, рассказанный одной из респонденток:

Праздновала тут чей-то день рождения, и одна из нянечек решила, чтобы я поздравила гостью, у которой был день рождения. Собралась довольно высокопоставленная публика дома, я вышла и сказала: “Будь здорова, как корова, будь счастлива, как свинья”. За что мне очень досталось⁴⁴.

Няни старшего поколения приносили в дом советской элиты такой неотъемлемый элемент деревенской культуры как религиозность. Дочь известного физика А. В. Фока вспоминает: «на рождество (или пасху?) к нам пришли поп с дьяконом в облачении и кропили “святой” водой в детской. Устраивала все, несомненно, няня Муняя»⁴⁵. Сам факт говорит о привязанности няни к ребенку и стремлении защитить известными ей способами. Однако желание няньки приобщить ребенка к религии далеко не всегда встречало поддержку у родителей, особенно если те были убежденными партийцами или людьми, для которых это могло создать проблемы с властью, как, например, родителей Б. Зиф: «О церкви она много говорила со мной. Водила меня. Родители были недовольны». В автобиографическую повесть поэтесса включила эпизод о крещении, которого, как выяснилось на интервью, на самом деле не было. Несмотря на то, что Зиф выросла в еврейской семье и в определенной мере ощу-

⁴² Запись интервью от 11 января 2010 с И. Б. Облизиной, архив автора.

⁴³ Курбатова. 2006.

⁴⁴ Запись интервью от 6 июня 2009 г. с Т. А. Костаревой, архив автора. Очевидно, няня научила воспитанницу деревенской присказке, восходящей к традиционному крестьянскому приветствию «Будь здорова, как корова, плодovitа, как свинья». См.: Даль. 1987. С.322

⁴⁵ Фок. 1993. С.136.

щает себя членом еврейской общины сегодня, любовь к атмосфере православного храма, привитая ей русской няней, осталась: «А мне нравилось в церкви. Мне и сейчас там нравится. Мне и сейчас там хорошо»⁴⁶.

При общении няни и ребенка возникали и другие нежелательные темы. Истории из нелегкой колхозной жизни, неосторожные высказывания и даже антисоветские частушки оставляли след в памяти ребенка. В своих воспоминаниях З. Курбатова описывает следующий эпизод:

Однажды я сидела на кухне, глядя на то, как тетя Тамара лепит пирожки, и тут-то она спела при мне частушки, каждый раз варьируя слова.

Пароход идет мимо пристани,

Будем рыбу кормить коммунистами.

Пароход идет – Волга кольцами,

Будем рыбу кормить комсомольцами.

Я тут же начинаю распевать новую песню, смутно догадываясь, что в ней есть какое-то хулиганство, если не больше — смелость. Я прекрасно помню, что няня меняется в лице от испуга и умоляет меня больше не повторять веселые куплеты⁴⁷.

Реакция няни вполне объяснима, ведь частушки были действительно крамольными и могли стать причиной неприятностей для семьи видного советского ученого. При этом ребенок не мог понять политического подтекста куплетов, так что вполне возможно, что их оценка как «хулиганских» и «смелых» – более поздний конструкт. И все же эта история говорит о том, что няни являлись важным источником информации, которой ребенок не получил бы от родителей.

Взрослые, окружающие ребенка и имеющие на него влияние, играют важную роль в выборе им жизненного пути, реализации его внутреннего потенциала. Таким взрослым могла являться и няня. Одна из респонденток, сожалея о том, что не смогла добиться успеха в музыке, возлагает вину на няnek: «Няnek раздражала игра на пианино и они отправляли меня вместо этого гулять. Я считаю, что они меня отвратили в какой-то мере...»⁴⁸. Если в случае с игрой на фортепиано роль няни не совсем очевидна, то в истории, рассказанной А. Годинер, вмешательство няни в судьбу «особого ребенка» действительно было решающим:

Она сыграла в судьбе моей сестры большую роль, потому что... сестра в два года заболела. Тогда это был такой прессинг, что надо отдать, все. И когда был семейный совет (я была не такая маленькая, чтобы не запомнить, и не такая большая, чтобы меня кто-то спрашивал о чем-то), там родственники настаива-

⁴⁶ Запись интервью от 24 января 2010 с Б. Л. Зиф, архив автора. В других воспоминаниях встречаются и реальные эпизоды. Так, в детстве няня крестила известного лингвиста Н. А. Бонк. См.: *Бонк*. <http://www.rulife.ru/mode/article/1159/>.

⁴⁷ *Курбатова*. 2006.

⁴⁸ Запись интервью от 6 июня 2009 с Т.А. Костаревой, архив автора.

ли, все. И понятно было, что мама одна не отстоит, а папа говорил, что “я не могу ухаживать, я могу только зарабатывать, как вы решите, так и будет”. И няня сказала тогда, что “лучше ты пойди и выкинь ее на помойку собакам!” И эта фраза решила все. Отступились. Решили, что на помойку собакам выбрасывать не будут, и сестра осталась в семье⁴⁹.

Само участие няни в семейной совете такой важности говорит о том, что она являлась полноценным членом семьи, причем ее мнение в вопросах, касающихся воспитания детей, имело ключевое значение. В этом эпизоде няня – самый мудрый и мужественный член семьи, символ гуманности и справедливости.

Образ няни у респондентов и авторов воспоминаний, рассматриваемых в данной работе, очень светлый. Негативные эпизоды вспоминаются крайне редко и без излишней драматизации. Отношения между няней и другими членами семьи характеризуются как дружественные, а часто даже родственные. Возможно, такая благостная картина объясняется тем, что в семьях интеллигенции, в которых выросли респонденты, обстановка была достаточно демократична, а от конфликтов детей старались оберегать. Об этом напрямую говорят и некоторые респонденты:

У меня очень неконфликтная была семья. В том плане, что родители были достаточно интеллигентны, чтобы, если что-то и происходило, то ушей ребенка это не достигало. Я вообще не помню каких-то конфликтов у меня дома между родителями, абсолютно, это было за пределами моей слышимости и видимости⁵⁰.

При этом постоянный мотив «обучения» домашних работниц, их «облагораживания» не может не создавать ощущения некоего превосходства семьи нанимателей. Сложно сказать, связано ли это с тем, что большинство няnek были очень юными, или все-таки с разницей в социальном положении. Так или иначе, респонденты оценивают пребывание няни в своей семье как благо для женщины из сельской местности, идет ли речь о «девочке из деревни» или о «доброй старушке». Очевидно, что само наличие домашней работницы в семье не создавало у респондентов ощущения принадлежности к привилегированной группе. Ни в детском возрасте, ни на момент проведения интервью они не видели диссонанса между наличием прислуги и существовавшей системой социальных отношений. Лишь в одном интервью упоминается факт насмешек со стороны подружек: «Среди всех, среди всех моих детских друзей, я единственная, которая имела няню, за что меня высмеивали. Мои же подружки. Потому что никаких няnek у них не было. Вот. У них сидели мамы. И они меня... укоряли, что ли, в то время. Что как это так,

⁴⁹ Запись интервью от 2 декабря 2009 с А.В. Годинер, архив автора.

⁵⁰ Запись интервью от 6 июня 2009 с Т.А. Костаревой, архив автора.

не как у всех. Вот. Мне это не нравилось»⁵¹. При этом причиной насмешек было не то, что респондентка не ходила в детский сад, как все советские дети, а то, что за ней присматривала нянька, а не мама. Это еще раз говорит о том, что домашняя работница, присматривающая за детьми, была не столько статусным атрибутом, «бытовым признаком власти»⁵², сколько вынужденной мерой для работающих матерей.

Обращение к образу няни позволяет нам по-новому взглянуть на сам феномен советского детства. Обычно в работах по этой проблеме упор делается на методы коллективного воспитания в яслях и детских садах, на то, как в дошкольных учреждениях реализовывались идеологические установки большевиков, как воспитывали будущих советских граждан⁵³. Эта сторона воспитания детей эпохи сталинизма широко отражена в традиционных исторических источниках: материалах прессы, архивных документах, в многотиражной дидактической литературе. При этом очень мало внимания уделяется альтернативным каналам информации, из которых советские дошколята черпали знания об окружающей действительности. Именно таким каналом были няни – деревенские женщины, которые приносили в дома советской интеллигенции не только крестьянскую бытовую культуру, но и проблемные для публичного обсуждения темы коллективизации, раскулачивания, религии.

Воспоминания о нянях позволяют глубже понять процесс формирования советской интеллигенции эпохи «оттепели», по-новому увидеть некоторые его стороны. Один из таких аспектов – широко обсуждаемый в заинтересованных кругах, но не в полной мере изученный историками феномен достаточно массового принятия христианства молодыми советскими интеллигентами еврейского происхождения в 1960–70-х гг. Безусловно, большую роль в этом процессе сыграло практически полное отсутствие иудейской религиозной инфраструктуры и связанной с ней общины на фоне возрождения интереса к вере и религии в советском обществе в целом⁵⁴. Однако, воспоминания о нянях в семьях сталинской интеллигенции говорят о том, что знакомство с православием происходило на гораздо более раннем жизненном этапе и было овеяно ореолом любви к близкому человеку – няне.

Таким образом, картина советского детства и системы культурных связей эпохи сталинизма без понимания той роли, которую в них играли няни, остается неполной и упрощенной.

⁵¹ Там же.

⁵² Измозик, Лебина. 2001. С. 109.

⁵³ См., например, Kelly. 2007.

⁵⁴ Занемонец. 2004.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Аллилуева С. Двадцать писем к другу // <http://bibliotekar.ru/allilueva/12.htm>
- Бонк Н. А. Взяла с собой вышивание. Наталья Александровна Бонк о родных местах, людях и иностранных языках. <http://www.rulife.ru/mode/article/1159/>.
- Здравомыслова Е., Темкина А. История и современность: Гендерный порядок в России // Гендер для «чайников». М., 2006.
- Всесоюзная перепись населения 1939 г.: основные итоги России / Сост. В. Б. Жиромская. СПб.: Рус.-балт. информ. центр, 1999. 207 с.
- Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги / Под ред. Ю. А. Полякова. М.: Наука, 1992. 256 с.
- ГАПК. Ф. 470. Оп. 1. Д. 65. Лл. 21, 36.
- Гринченко Г. «Устные истории» и проблемы их интерпретации (на примере устных интервью с бывшими оstarбайтерами Харьковской области) // Век памяти, память века. Челябинск, 2004. С. 215-227.
- Даль В. Пословицы русского народа. Том II. СПб.; М., 1987. 638 с.
- Фок М. В. Воспоминания. <http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/1993/2/132-138.pdf>
- Дамье В. В. Карандаши. // http://zhurnal.lib.ru/d/damxe_w_w/karandashi.shtml.
- Занемонец А. Я. Русско-еврейская молодежь в поисках религиозной идентичности. Доклад на конф. «Русскоязычное еврейство в современном мире: ассимиляция, интеграция и общинная жизнь», 14-16 июня 2004, ун-т. Бар Илан, Израиль. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Iudaizm/Article/Zanem_RussEvrMol.php
- Зиф Б. Л. Провинция: Повесть. Из воспоминаний. Пермь: Издательско-полиграфический комплекс «Звезда», 2004. 208 с.
- Измозик В. С., Лебина Н. Б. Жилищный вопрос в быту ленинградской партийно-советской номенклатуры 1920-1930-х гг. // Вопросы истории. 2001. № 4. С. 98-110.
- Курбатова З. Жили-были // Наше наследие. 2006. №79-80 // <http://www.nasledierus.ru/podshivka/7908.php>
- Макаревич А. «Сам овца». М.: Захаров. 2008. 272 с.
- Педагогическая антропология: феномен детства в воспоминаниях / Безрогов, О.Е. Кошелева, Е.Ю. Мещеркина, В.В. Нуркова. М.: УРАО, 2001. 192 с.
- Природа ребенка в зеркале автобиографии / Ред. Б. М. Бим-Бад, О. Е. Кошелева и др. М.: УРАО, 1998. 431 с.
- Салова Ю. Г. Семейное и общественное воспитание детей дошкольного возраста в Советской России в 1920-е годы. Стендовый доклад // Международная научная конференция «История детства как предмет исследования: наследие Ф. Арьеса в Европе и России», Москва, РГГУ, 1-2 октября 2009 г.
- Kelly C. Children's World: Growing up in Russia in 1890-1991. Yale University Press, 2007. 719 p.
- Sarti, Raffaella. Dangerous Liaisons: Servants as 'Children' Taught by Their Masters and as 'Teachers' of Their Masters' Children (Italy and France, Sixteenth to Twenty-First Centuries). Paedagogica historica. 2007. Vol. 43. № 4. Pp. 565-587.
- Клоц Алиса Ростиславовна**, соискатель кафедры новейшей истории России Пермского государственного университета; alissaklots@yandex.ru

М. В. КОРОТКОВА

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ РЕГИОНА В АМЕРИКАНСКИХ БАЛТИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 1990-х – НАЧАЛА 2000-х гг.

В статье рассматриваются наработки Ассоциации по содействию прогрессу балтийских исследований, организации-координатора изучения балтийского побережья не только в Соединенных Штатах, но и в целом на Западе. Ориентируясь на потребности американских внешнеполитических ведомств, научная структура сосредоточила свои усилия не столько на анализе современных процессов, сколько на разработке проектной базы дальнейшего развития региона. Ассоциация исследовала географические категории, применимые в отношении комплекса балтийских территорий, с целью найти приемлемые варианты для обозначения будущего региона, которые были бы современны и вместе с тем придавали бы проектируемому объекту «историческую укорененность».

Ключевые слова: балтийские исследования, научная база американской внешней политики, регионализм, исторические регионы, Северо-Восточная Европа.

Ассоциация по содействию прогрессу балтийских исследований (далее – АСПБИ), во-первых, является координатором балтийских исследований не только в Соединенных Штатах, но и в целом на Западе, ее труды отражают широкий спектр мнений ученых по вопросам истории и современности края; во-вторых, наработки этой структуры представляют интерес в плане изучения внешнеполитических приоритетов США в отношении Прибалтики, так как данная организация с момента своего создания в 1968 г. обеспечивает научную базу американской внешней политики в отношении региона и является своеобразным каналом политико-идеологического влияния Соединенных Штатов.

В конце 1960-х – 1980-е гг. Ассоциация, именуя исследуемый регион «Балтикой», ограничивала его тремя прибалтийскими советскими республиками. Хотя изначально был поставлен вопрос о соотношении общего и особенного, тем не менее, основная ставка была сделана на изучение исторических и современных фактов, подтверждавших общность и единство трех наций. В своих исследованиях члены АСПБИ выделяли в качестве главного сплачивающего элемента «прибалтийский дух». Активно разрабатывая вопрос прибалтийской идентичности, ученые, фактически, приравнивали его к проблеме прибалтийского регионализма. Такой подход вызывал одобрение американской стороны, поскольку, с одной стороны, позволял внешнеполитическим ведомствам

США проводить единую политику в отношении Прибалтики, с другой – содействовал росту оппозиционных настроений в регионе.

Изменявшаяся с распадом СССР геополитическая ситуация актуализировала для американской администрации проблему балтийского регионализма. Дело в том, что образование на месте бывших советских республик Прибалтики суверенных государств усложнило для США разработку и осуществление курса региональной политики. Соединенные Штаты были заинтересованы в том, чтобы независимые Латвия, Литва и Эстония присоединились к западным интеграционным структурам как континентального, так и локального масштаба. Поэтому в повестку дня американских балтийских исследований был поставлен вопрос о пересмотре подходов к проблеме регионализма. Предполагалось, что основной упор ученые сделают на выявление связующих элементов в более широких географических рамках. Новации коснулись как геополитических, так и исторических разработок.

Прикладной характер исследований по проблеме стал очевидным с самого начала повторного обращения к теме. В 1994 г. в «Журнале балтийских исследований», печатном органе Ассоциации, была опубликована статья эстонского историка Питера Вареса «Эстония возвращается в международное сообщество: история повторяется». Автор перечислил основные внешнеполитические ориентации Эстонского государства и кратко проанализировал перспективы действий по каждому направлению. Примечательны первые три позиции из девяти, названных исследователем: 1) прибалтийско-скандинавские отношения; 2) связи прибалтийских государств в зоне Балтийского моря; 3) прибалтийские государства и проект «Новая Ганза»¹. Тем самым Варес обозначил контакты с ближайшими соседями (за исключением России) как приоритетные. Во всех трех случаях в качестве интегрирующего звена выступает Балтийское море. В этом случае было бы оправданным привести одну ориентацию, которая вместила бы две другие. Однако автор отождествлять их не стал. Показательно и то, что сотрудничество между Латвией, Литвой и Эстонией Варес указал в конце списка: «Хотя прибалтийцы осознают меняющуюся европейскую политику, в которой участие в субрегиональных группах открывает для интегрирующихся стран возможность присоединиться к новым инициативам по экономической и политической кооперации, они упорно пытаются избежать группировки, потому что, по их мнению, она ведет к минимизации значения их собственных проблем. Прибалтийские государства, получив

¹ *Vares*. 1994. P. 119.

шанс восстановить свою независимость, пока не готовы уступить незначительную часть ее кому бы то ни было»².

Исследовательскую тенденцию по обособлению Латвии, Литвы и Эстонии и поиску новых рамок для объединения можно проследить и в статье старшего научного сотрудника Тартуского университета Питера Вихалемма «Меняющееся балтийское пространство: Эстония и ее соседи». Социолог рассматривает пространственные отношения постсоветской республики с другими странами (ориентации, конструирование связей и дистанций), формирующие ее «международное социальное пространство». Определяя место Латвии и Литвы в социальном пространстве Эстонии, он констатирует утрату тремя государствами единства в различных сферах. Относительную сплоченность автор статьи прослеживает только в политической области³, и хотя прямо об этом не говорит, из приведенного им анализа видно, что она представляет собой тождественность внешнеполитических интересов⁴, не более.

Поскольку три республики стремятся к интеграции в западный мир, Вихалемм намечает путь движения к этой цели. По его мнению, государства смогут добиться желаемого результата, используя пространственную реструктуризацию Европы, которая означает для них, прежде всего, формирование региональной идентичности в масштабах Балтийского моря. При этом автор статьи замечает, что предположение о кристаллизации общебалтийской идентичности в ближайшем будущем не подтверждается исследованиями специалистов⁵. Значит, странам-участницам планируемого процесса следует предпринять целенаправленные действия. Принимая во внимание то, насколько четко Вихалемм определяет цель прибалтийских республик и, вместе с тем, насколько мало соотносит процесс ее достижения с ситуацией, сложившейся в регионе, рассуждения социолога следует рассматривать не как прогнозирование, а как проектирование.

Итак, Вихалемм считает весьма перспективным формирование общности государств всего балтийского побережья. Интерес вызывает его видение потенциальной региональной идентичности. Ученый заканчивает статью следующим суждением: «В долгосрочной перспективе расширяющееся и углубляющееся сотрудничество в экономической, экологической, политической и культурной сферах может внести значи-

² Ibid. P. 121.

³ Vihalemm. 1999. P. 267.

⁴ См.: Ibid. P. 252.

⁵ Ibid. P. 267–268.

тельный вклад в утверждение чувства совместной принадлежности к Северному региону новой Европы»⁶. Данная цитата отражает два важных момента в позиции автора. Во-первых, Вихалемм раздвигает узкие рамки подхода Ассоциации к проблеме регионализма. Признание того, что связи, кооперация между государствами способствуют культивированию региональной общности, является принципиальным новшеством для наработок АСПБИ. Прежде организация категорически отвергала такой тезис и сводила регионализм к одной из его составляющих – идентичности. Во-вторых, социолог пытается по-иному обозначить изучаемую территорию в географическом плане: термин «Северный регион Европы» он использует как синонимичный термину «регион Балтийского моря». Таким образом, статья ученого свидетельствует о серьезных изменениях во взглядах Ассоциации на проблему балтийского регионализма, наметившихся после распада Советского Союза.

Благодаря социологическому исследованию Вихалемма, АСПБИ получила первое представление о ситуации с идентичностью в прибалтийских республиках в постсоветский период. Как уже отмечалось, ученый утверждал, что на формирование новой общности в балтийском регионе потребуются значительное время. Чтобы ускорить процесс, научная структура пыталась его проектировать. В связи с этим руководство АСПБИ стимулировало обращение исследователей к проблеме изменения значения границ в современном мире, изучение которой способствовало решению поставленной задачи. В 2002 г. в «Журнале балтийских исследований» были опубликованы материалы V международной научной конференции «Пограничные регионы в переходный период», организованной Тартуским университетом и Центром содействия трансграничному сотрудничеству в июне 2001 года.

Во вводной статье сформулирована цель конференции, определена актуальность обсуждавшихся проблем, отмечены достигнутые результаты. Ее авторы – Еики Берг (политолог, доцент Тартуского университета) и Метте Сикард Филтенборг (политолог, докторант университета Южной Дании). В ходе конференции представители разных дисциплин вели дискуссии по трем основным темам, связанным с развитием кроссграничной кооперации в регионе Балтийского моря:

1) границы и территориальность (изучение меняющихся отношений между политическим суверенитетом, территориальной идентичностью, гражданством и государственными границами);

⁶ Ibid. P. 268.

2) границы и их дискурсивные конструкции (рассмотрение того, как вопросы, связанные с границами, понимаются и обсуждаются, как дискурсы создают специфические политические контексты, которые воздействуют на функциональность и значение границ);

3) границы и их социально-политическая реконфигурация (анализ того, как взаимодействие через границы либо в форме «транснациональных регионов» и спонсируемых ЕС проектов, либо в рамках неформальных отношений между пограничными общностями, влияет на проницаемость национальных границ)⁷.

Обосновывая актуальность данной проблематики в балтийском контексте, Берг и Филтенборг замечают: «В настоящее время регион Балтийского моря действительно обсуждается как зарождающийся, сегодня он мысленно визуализируется»⁸. Как видно из цитаты, исследователи акцентируют внимание не на изучении реальной ситуации и ее развития, а на создании образа будущего региона. Размышления над несоответствием между реальным и желательным позволяют определить способ его устранения, следовательно, являются неотъемлемым этапом проектирования. Образ будущего региона соткан участниками конференции из нескольких значимых элементов. Вводные заметки Берга и Филтенборг позволяют выделить и оценить последние.

Авторы утверждают, что концепции национальности, государственности и идентичности часто создают коммуникативные трудности для субъектов в постмодернистских структурах, которые рассматриваются как открытые и базирующиеся на городах, течениях и информации⁹. В тех уголках региона, где процветает традиционное понимание суверенитета, многие действующие лица, не будучи связанными сетью или иным способом с игроками из других мест, недоумевают, когда слышат о региональном союзе, частью которого они якобы являются¹⁰. То есть доминирование национального препятствует сотрудничеству (поскольку под связью исследователи подразумевают именно его). Следовательно, Берг и Филтенборг, вслед за Вихалеммом, настаивают на том, что кооперация – это та основа, на которой формируется чувство принадлежности к региону. Опираясь на приведенные выше суждения

⁷ Berg, Filtenborg. 2002. P. 129.

⁸ Ibid. P. 132.

⁹ Мысль принадлежит О. Веверу, на статью которого Берг и Филтенборг ссылаются: *Waever O. The Baltic sea: a region after post-modernity? // Neo-nationalism or regionality. The restructuring of political space around the Baltic rim / Ed. P. Joenniemi. Stockholm, 1997. P. 293–342. Цит. по: Berg, Filtenborg. 2002. P. 132.*

¹⁰ Berg, Filtenborg. 2002. P. 132.

политологов, можно сделать вывод о том, что они лишают «балтийский дух» статуса главной характеристики балтийского регионализма.

Среди различных форм сотрудничества авторы статьи особо выделяют трансграничные сети. Ученые рассматривают их одновременно и как горизонтальные, и как вертикальные, поскольку под границами они подразумевают не только территориальные рубежи, но и разграничители в иерархии «субнациональное–национальное–наднациональное». Исследовательский интерес к кроссграничным сетям в балтийском регионе нельзя считать случайным. С одной стороны, сети к тому времени были признаны одной из наиболее перспективных форм общеевропейской кооперации, а значит, должны были быть востребованы прибалтийскими республиками, стремившимися интегрироваться в европейское сообщество. С другой стороны, сети привлекательны тем, что являются весьма гибкими структурами, охватывают большое число участников, преодолевают государственные границы. Вертикальные и горизонтальные политические сети, вдобавок, обеспечивают регулирование и управление социальными процессами.

Важным элементом проекта Берг и Филтенборг считают управление и для определения его формы рассматривают ситуацию в Европе:

<...> соединение “отрицательной интеграции” Европейского Союза, то есть устранения институциональных преград для взаимодействия через национально-государственные границы¹¹, с движением геополитических, институциональных/правовых, деловых и культурных границ Союза к рубежам широкой европейской арены¹² содействовало созданию добровольных вертикальных и горизонтальных структур управления. Как результат, более зыбкие границы возникли между национальным и международным, между политическим и административным, между общественным и частным и между членами ЕС и сторонними государствами. Таким образом, особая форма территориальности – расчлененная, фиксированная и исключая совместимость – больше не является базисом политической жизни <...> Союз трансформирует политику и правительства и на европейском, и на национальном уровнях в систему многоуровневого, неиерархического, совещательного и аполитичного управления¹³.

¹¹ Авторы статьи ссылаются на работу Ф. Шарпфа: *Scharpf F. W. Negative and positive integration in the political economy of European welfare states // Governance in the European Union / Eds. by G. Marks et al. L.–Beverly Hills, 1996. P. 15–39.*

¹² Берг и Филтенборг ссылаются на статью М. Смита: *Smith M. The European Union and a changing Europe: establishing the boundaries of order // Journal of Common Market Studies. 1999. Vol. 34(1). P. 5–28.*

¹³ Данная мысль принадлежит Дж. Зиелонке: *Zielonka J. Enlargement and the finality of European integration // What kind of constitution for what kind of polity. Responses to Joschka Fischer / Eds. by Ch. Joerges, Y. Meny, J. H. H. Weiler. European university institute, 2000. P. 151–162. См.: Berg, Filtenborg. Op. cit. P. 130.*

Эту схему политологи проецируют на Балтику. Иными словами, со временем в регионе должно утвердиться многоуровневое управление.

Формируя образ нового региона, ученые пересматривают унифицирующий фактор. Об этом свидетельствует следующее их замечание:

<...> когда говорим ‘Балтика’, что мы имеем в виду: место, пространство, территорию с разными нациями-государствами, пучок сетей?” Это тот вопрос, который Оле Вевер риторически поставил несколько лет назад. Частично на него ответил Йусси Йаухиаинен, который полагал, что “регион Балтийского моря” можно понимать как европейский мегарегион, включающий несколько стран, как европейский субрегион, состоящий из регионов и частей государств, как сеть различных групп интересов или как воображаемую общность, создаваемую строителями региона. Действительно, бытуют различные представления и стратегии, имеющие отношение к вопросам: чем является регион Балтийского моря, и как та или иная геополитика способствует созданию унифицированного региона. Пока одна из них доказывает, что унифицированный регион Балтийского моря не существует, поскольку социокультурные корни его жителей различны, границы между разными этническими, лингвистическими или культурными группами становится труднее провести¹⁴.

Пересказав заочный исследовательский диалог и добавив к нему свои рассуждения, Берг и Филтенборг показали многообразие современных образов балтийского региона и варьирование в них унифицирующего элемента. Из этого следует, что в балтийских исследованиях море не стало единственным (или хотя бы основным) унифицирующим фактором, несмотря на попытки сделать его таковым, предпринимавшиеся в 1990-е гг. Кроме того, суждения авторов статьи, позволяют составить представление о таком элементе проектируемого объекта, как территориальность. Политологи утверждают:

<...> процесс конструирования территориальности идет рука об руку с аналогичными процессами в отношении границ, поскольку последние не только разделяют группы и социальные общности, но и опосредуют необходимые контакты между ними. Границы связывают воедино национальное прошлое, настоящее и будущее и имеют атрибуты, способные сделать связи между ними самими, проектами строительства региона и разными идентичностями особенно крепкими. Вопреки современным тенденциям “отказа от территориальности”, там, где территория, базирующаяся на принуждении и контроле, сейчас сосуществует со способами организации, включающими сети прямых коммуникаций с охватом больших пространств¹⁵, вопросы границ, территориальности и идентичности все еще имеют значение. Действительно, границы есть нечто большее, чем “линии

¹⁴ Berg, Filtenborg. Op. cit. P. 132. Рассуждения Й. Йаухиаинена см.: *Jauhiai-nen J. A Geopolitical view of the Baltic sea region // Dynamic aspects of the northern dimension / Ed. by H. Naukkala. Turku, 1999. P. 47–68.*

¹⁵ Авторы ссылаются на статью Дж. Агню, см.: *Agnew J. Classics in human geography revisited // Progress in Human Geography. 2000. Vol. 24. № 1. P. 91–99.*

на карте” и имеют решающие связи с идентичностью, действием, мобильностью и властью. Территориальные деления, таким образом, могут рассматриваться как инструменты контроля или стратегии для реализации организационных целей (определения членства, сохранения идеологической ортодоксальности, оптимизации выгод, содействия прохождению директив в рамках социальной иерархии) <...> Территориальность является, как ее определяет Р.Д. Сэк¹⁶, пространственной стратегией, которая может быть использована в целях воздействия, влияния или контроля над ресурсами и людьми. Очевидно, территориальная стратегия еще используется в “мире течений”, но формы такого использования значительно более сложные и вариативные, чем применявшиеся прежде¹⁷.

Представленный набросок образа проектируемого региона не исчерпывает всех его характеристик. Технических деталей, связанных с этапом конструирования объекта, добавляет статья Дж. У. Скотта «Регионализм Балтийского моря, геополитика ЕС и символическая география сотрудничества». Автор – географ, доцент Свободного университета в Берлине – тоже принимал участие в конференции.

Ученый исследует зарождающийся регионализм Балтийского моря в контексте интеграции и расширения Евросоюза и фокусирует внимание на роли пространственного планирования в соответствующих геополитических дискурсах. На балтийском примере автор статьи рассматривает, как различные многосторонние и многоуровневые инициативы по конструированию символической географии транснационального сотрудничества способствуют разработке политически действенного понятия регионализма¹⁸. Анализируемый Скоттом вопрос является одним из аспектов проблемы связи между балтийским регионализмом и европейской интеграцией, на которую в свое время указал Вихалемм.

Географ трактует политику интеграции и расширения ЕС как стратегию формирования европейского макрорегиона. При этом он замечает, что конструирование Евросоюза концептуально выражается в новых формах геополитики, в которых присутствуют символические элементы интеграции. «Символическое планирование» генерирует видение результата, которого можно достичь, а значит, позволяет сформировать эффективную повестку дня. Новые европейские геополитические дискурсы активно продвигают региональное кроссграницное сотрудничество, и в символической географии, соответственно, акцент делается на пространственные метафоры, создающие чувство стратегической взаимосвязи: сети, узлы, цепочки, ворота¹⁹. Разъясняя концептуальную

¹⁶ См.: Sack R. D. Human territoriality: its theory and history. Cambridge, 1986.

¹⁷ Berg, Filtenborg. Op. cit. P. 132–133.

¹⁸ Scott. 2002. P. 137–138.

¹⁹ Ibid. P. 137, 140.

сторону вопроса и анализируя европейские программы пространственного развития, автор статьи показывает, что те формы сотрудничества, которые предлагаются учеными государствам балтийского региона, уже используются в интеграционном процессе ЕС. Следовательно, балтийским странам необходимо воспользоваться ими, чтобы ускорить процесс интеграции в Европу. С целью подчеркнуть своевременность таких действий, Скотт замечает: «Со вступлением Финляндии и Швеции в Евросоюз и процессом расширения, который постепенно распространится на Польшу и прибалтийские государства (так же как на Норвегию?), регион Балтийского моря уже стал центральным геополитическим фокусом ЕС»²⁰. Однако следует заметить, что география европейской интеграции 1990-х – начала 2000-х гг. не давала оснований для такого суждения. Оценочная формулировка позволяет автору замаскировать свое стремление повлиять на процессы в регионе. Кроме того, беспочвенное утверждение Скотта является очередной попыткой западного исследователя региона хотя бы временно наделить предмет изучения такой «конструируемой» чертой, как «избранность».

Сосредоточив внимание на изучении европейской интеграционной риторики и выделении в ней пространственного планирования как символического элемента кооперации, Скотт не задумывается над практической стороной вопроса: насколько эффективна политика регионального развития. К тому времени, когда Скотт приступил к исследованию, интересующие его программы ЕС в отношении региона Балтийского моря уже реализовывались. Представляется, что анализ первых результатов существенно обогатил бы статью. Но ученый его не проводит. Следовательно, субъекты балтийского региона, которым была адресована статья, могли найти в ней только аналитический обзор европейских проектов.

«Проектное» звучание имеет и определение понятия «регионализм», которое приводит Скотт: «<...> новый регионализм подразумевает эволюцию самоопределяющейся общности интересов, которая поощряет открытое обсуждение при решении сложных региональных проблем»²¹. Для балтийского побережья такая трактовка понятия – не

²⁰ Ibid. P. 143.

²¹ Ibid. P. 141. Скотт формулирует определение, опираясь на работы скандинавских обозревателей, см.: *Hettne B.* The new regionalism. Implications for global development and international security. Helsinki, 1994; *Joenniemi P.* Regionality and the modernist script: tuning into the unexpected in international politics // Occasional papers of the Tampere peace research institute. 1994. Vol. 57; *Idem.* Interregional cooperation and a new regionalist paradigm // Border regions in functional transition – European and North American perspectives / Eds. by J. Scott et al. Vol. 9. 1996. P. 53-61.

более чем видение регионализма будущего. В рассматриваемый период интересы государств региона частично совпадают, но не составляют «общности». Главным противодействующим фактором в этой ситуации является «реконструкция наций-государств» на восточном берегу моря.

Чтобы несколько сгладить впечатление «проекта», которое производит статья, исследователь приводит доказательства наличия регионализма на Балтике. Некоторые из них, однако, уязвимы для критики. Так, географ упоминает региональный список из почти шестисот субъектов, «способных или нацеленных действовать через границы»²², то есть в очередной раз говорит о потенциале. Кроме того, он неоднократно констатирует зарождение в 1990 г. нового балтийского регионализма в контексте европейской интеграции²³, но процесс при этом не характеризует.

С другой стороны, отсутствие анализа процесса не свидетельствует об иллюзорности последнего. Безусловно, кооперация в балтийском регионе в рассматриваемый период расширялась. Две черты современного регионализма на Балтике среди прочих, отмеченных Скоттом, заслуживают особого внимания, поскольку действительно дают возможность реализовать проект в будущем и именно в контексте европейской интеграции. Первая состоит в том, что сотрудничество на формальном и неформальном уровнях придает балтийскому регионализму «гибридный» характер. Вторая заключается в том, что регионализм развивается из нескольких субрегиональных ядер кооперации²⁴.

Очевидно, что данная публикация, в которой изложение проектов преобладало над доказательствами наличия интеграции в регионе, могла послужить ознакомительным материалом, свидетельствующим о планах европейских структур в отношении балтийского побережья.

АСПБИ опубликовала в своем журнале и работы других участников конференции, но они сконцентрировали внимание на изучении узких вопросов, связанных с перспективами пограничного сотрудничества в регионе, и потому остались за рамками настоящего исследования.

Кратко характеризуя материалы, можно отметить, что сделанные в них выводы подтверждают противоречивый характер взаимоотношений между позициями, указанными в тематике конференции.

Как показано выше, геополитические исследования Ассоциации 1990-х – начала 2000-х гг. были ориентированы не столько на анализ

²² Scott. Op. cit. P. 142. По словам Скотта, перечень доступен на Интернет-форуме, см: Ballad [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ballad.org/actors>.

²³ Ibid. P. 137, 140, 141, 143, 152.

²⁴ Ibid. P. 142-143.

современных процессов, сколько на создание проектной базы для дальнейшего развития региона. Исторические наработки АСПБИ должны были способствовать укреплению новых региональных связей.

С этой целью организация инициировала возобновление дискуссии по проблеме регионализма в масштабах всего балтийского побережья, которая имела место в западной историографии в конце 1970-х гг. В то время предметом обсуждения историков стали понятия, применимые для обозначения комплекса изучаемых территорий, которые позволяли интерпретировать регион в качестве исторического. Начало дискуссии положил немецкий исследователь Клаус Зернак, предложив новый концепт «Северо-Восточная Европа». С иной позиции выступил финский ученый Матти Мянникко. Он посчитал, что атрибуты, присущие историческому региону, отражает понятие, которое стало привычным для сферы географии, – «зона Балтийского моря». АСПБИ, настаивая на том, что балтийский регион составляют только три прибалтийские республики, от участия в полемике отказалась.

Изменив свою позицию в 1990-е гг., АСПБИ придала академической дискуссии политическую актуальность. Первым из ее членов к изучению проблемы в рамках нового подхода приступил Дэвид Кирби, сотрудник Школы славянских и восточноевропейских исследований при Лондонском университете. В 1990 и 1995 гг. ученый опубликовал две монографии по истории региона – «Северная Европа в раннее новое время: балтийский мир 1492–1772 гг.» и «Балтийский мир 1772–1993 гг.: северная периферия Европы в эпоху перемен». Он писал:

<...> старая терминология – “восточная” и “западная” Европа – больше не адекватна ситуации и может помешать новым попыткам придать форму или определить широкую европейскую общность. <...> я надеюсь рассмотреть более сбалансированную региональную перспективу, обращая внимание на сходства, совместный опыт, очевидные различия и связи с внешним окружением, которыми обладает ущербно определяемая “периферия”, или – в более общем плане – разрушить политические категории эпохи холодной войны: “восток” и “запад”²⁵.

Указав таким образом на несостоятельность прежних концептов в современных условиях, Кирби предложил консолидирующее по характеру понятие «балтийский мир».

Адаптированное к балтийской специфике переложение идеи Фернана Броделя отражает размышления Кирби над взаимоотношениями цивилизаций и наднациональных регионов, контактами между различными культурами, а также контрастами между империей и периферией, побережьем и внутренними территориями, городами и сельскими рай-

²⁵ Kirby. 1995. P. 1–2.

онами. Поскольку исследователь привлекает инструментарий Броделя, кажется, что он создает задел для теоретических рассуждений. Однако канву его трудов составляет описание событийной стороны. Кирби не дает определения вводимому концепту. Он относит формирование «балтийского мира» к средним векам и прослеживает его историю до современности. Характеристика географических рамок весьма противоречива. Кирби описывает балтийский регион как периферию Европы с суровым климатом. По его словам, эта территория является «получателем, а не создателем цивилизации». Большую часть истории побережья составляет адаптация импульсов и давлений, исходящих от более энергичного внешнего мира²⁶. Характеризуя балтийскую зону как сцену для исторического нарратива, Кирби в качестве синонимов к этому наименованию использует термины «Северная Европа» и «европейская северная периферия». Из этого следует, что борьба между Востоком и Западом доминирует в регионе. Получается, исследователь, сам того не желая, культивирует взгляды эпохи «холодной войны»²⁷.

Кирби не присоединился к дискуссии о роли исторических регионов²⁸. Однако его работы представляют интерес с точки зрения изучения «проектной» деятельности Ассоциации. Дело в том, что ученый проследил эволюцию географических категорий, в отличие от «балтийского мира» утвердившихся в исторической науке, и на этом основании изложил свое видение будущей региональной идентичности. По Кирби, наименование «Северная Европа» (Northern Europe), известное с античных времен, охватывало европейские земли к северу от 55° с.ш. между 21° и 90° в.д. Российские территориальные приращения 1721–1809 гг. положили начало обособлению Северной Европы, в значении «скандинавской» (Nordic), и Восточной Европы. Рост политического национализма в дальнейшем упрочил это разделение. С восстановлением независимости трех прибалтийских республик Кирби связывал надежды на создание новой региональной идентичности в рамках Северо-Восточной Европы²⁹. Эта перспектива была, по его мнению, «северной», «скандинавской» (Nordic), поскольку прибалтийцы стремились отождествить себя со своими северными соседями, несмотря на глубину различий между ними³⁰. Таким образом, Кирби локализовал «балтий-

²⁶ Kirby. 1990. P. ix.

²⁷ Lehti. 2002. P. 434–435.

²⁸ Lehti. 2002. P. 434.

²⁹ Kirby. 1995. P. 2–6.

³⁰ Ibid. P. 381.

ский мир» в географическом плане посредством понятия «Северо-Восточная Европа», вложив в него «скандинавское» содержание.

Следует заметить, что в 1990-е гг. понятие, предложенное Зернаком, было востребовано западными исследователями балтийского региона. Итоги десятилетия интенсивного изучения были подведены на III международном симпозиуме «Северо-Восточная Европа как исторический регион», организованном Таллинским городским архивом, фондом Ау (Хельсинки), университетом Грейфсвальда при поддержке фонда Ф. Тиссена (Кельн) в 2001 г. В 2002 г. АСПБИ опубликовала материалы встречи в «Журнале балтийских исследований». Эта подборка стала хорошим дополнением к наработкам конференции по проблемам кросс-пограничного сотрудничества в регионе, изданным незадолго до этого.

Вводная статья позволяет оценить современную интерпретацию концепта «Северо-Восточная Европа». Ее авторы — Ёрг Хэкманн, историк, доцент университета Грейфсвальда, и Роберт Швейцер, доктор философии, директор по науке фонда Ау. По их словам, участники симпозиума признавали неоднозначность обсуждаемого понятия. При этом подчеркивались два важных момента: во-первых, рассматриваемый подход разрушает прежний образ, четко обозначающий границы региона; во-вторых, акцент на частичное совпадение Северо-Восточной Европы с другими историческими регионами (особенно в пограничных зонах) показывает, что она включает не только территории Латвии, Литвы и Эстонии³¹. Последнее замечание имеет особое значение, поскольку статья, которая была подготовлена Хэкманном самостоятельно (она будет проанализирована ниже), могла быть истолкована как призыв остаться в рамках прежнего узкого подхода Ассоциации.

Очевидно, что данная конференция стала попыткой изучить современную проблему балтийского регионализма через призму истории. В связи с этим целесообразно рассмотреть позиции исследователей по актуальному вопросу будущей региональной идентичности. Хэкманн и Швейцер утверждали, что привлекательность региона Балтийского моря можно описать, используя европейскую северо-восточную перспективу: сказать о том, как сильные традиции демократии и общественного благосостояния привлекают территории, находящиеся на переходном этапе, не забывая при этом о развитии системы безопасности³². Следовательно, в дальнейшем доминанта в европейском северо-восточном регионе будет принадлежать скандинавским странам. По сути, то же

³¹ Hackmann, Schweitzer. 2002. P. 367.

³² Ibidem.

самое имел в виду Кирби, когда рассуждал о «начинке» будущей Северо-Восточной Европы.

Существенной переоценке рассматриваемое понятие подвергается в статье Хэкманна «От “объекта” к “субъекту”»: вклад малых наций в строительство региона Северо-Восточной Европы». Если Зернак, предложив концепт, проследил существование Северо-Восточной Европы как исторического региона от эпохи викингов до XIX в., то Хэкманн отодвинул верхнюю хронологическую рамку до современности. Свою точку зрения он обосновал тем, что в начале XIX в. вследствие укрепления позиций России и Пруссии, разделов Речи Посполитой, ослабления Швеции и Дании и сопровождавшего эти процессы перераспределения территорий появилось наименование «Северная Европа» (Northern Europe), которое означало обособление скандинавских земель от региона Балтийского моря³³. В 1920-е гг., после провала идеи Балтийской лиги, «балтийский» вопрос «сжался» до трех прибалтийских государств, и роль строителей региона перешла к малым нациям. Превратившись из объектов региональной истории в ее субъектов, Латвия, Литва и Эстония сохранили те же социальные ценности, что и скандинавские страны³⁴. Последний тезис свидетельствует об уверенности автора в том, что балтийский регион станет базой нового объединения. Однако в своей статье ученый не размышляет над вопросом: какую роль прибалтийские нации будут играть в будущем. В прошлом же, по его словам, в сферах политики и культуры «они больше получали, чем отдавали»³⁵.

Следует заметить, что в своих рассуждениях Хэкманн практически не использует понятие «Северо-Восточная Европа», которое он вынес в название статьи, однако активно применяет концепт «балтийский регион», который сам же признал «двусмысленным» в историческом и политическом отношении³⁶.

Марко Лехти, доцент университета Турку, в статье «Картографирование зоны Балтийского моря: от националистической к многонациональной истории» анализирует влияние дискуссий в сфере географии на отражение пространственности в исторических исследованиях. По его мнению, гнетущее воздействие на сферу балтийских исследований оказал фундаментальный труд Броделя с его жесткими и неподвижными географическими рамками³⁷. Хотя французский историк пи-

³³ Hackmann. 2002. P. 415–416.

³⁴ Ibid. P. 412.

³⁵ Ibid. P. 425.

³⁶ Ibid. P. 412.

³⁷ Lehti. 2002. P. 437.

сал о воздействии человека на природу, тем не менее, географический фактор он оценивал как почти постоянную величину. Лехти никоим образом не ставит под сомнение значение книги классика для исторической науки, но замечает, что современные географы воспринимают географию не как пассивную установку, а как социальный конструкт³⁸.

В поле зрения исследователя оказались концепты, наиболее востребованные в современных балтийских исследованиях: зона Балтийского моря, Северо-Восточная Европа и Северная Европа (Northern Europe). Первые два рассматриваются как приемлемые для обозначения региона в качестве исторического. Для определения исторического региона старая историографическая традиция выявляла унифицирующие структуры. Дискуссии последнего времени выделяют море как объединяющий элемент или территорию как контактную зону. В этой связи Лехти обозначает три пути для определения зоны Балтийского моря, Северо-Восточной Европы и Северной Европы в историческом плане: первый опирается на метафору сети, второй ведет поиск пространства смешанных идентичностей, третий анализирует язык современников изучаемой эпохи и их пространственное воображение³⁹. При этом следует подчеркнуть, что предложенные способы применимы в отношении всех трех образов региона. Другими словами, порядок их указания не находится в соответствии с порядком перечисления образов.

Обозначив способы изучения, Лехти намечает направление развития исследований. По его словам, в настоящее время в балтийском регионе доминируют национальные истории. В будущем должны действовать те исследователи, которые смогут дистанцироваться от прежних схем. «Зона Балтийского моря», «Северо-Восточная Европа» и «Северная Европа» могут и должны быть использованы для создания транснациональных нарративов, которые будут «смирительной рубашкой» для националистических историй⁴⁰. Тем самым автор статьи указал, каким образом историки могут содействовать строительству нового региона.

Однако, как показывает анализ наработок Ассоциации, ученые уже активно участвуют в процессе, размышляя над будущей идентичностью и подбирая понятия для обозначения региона. Лехти тоже высказался по данному вопросу. Он считает, что термин, предложенный Зернаком, остается академическим. Широкое использование данного наименования проблематично: оно включает «Восток», а в настоящее время мало

³⁸ Ibid. P. 438.

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Ibid. P. 444.

тех, кто хочет быть «восточным». Вместе с тем получает распространение термин «Северный» (North), который может обеспечить новые возможности для широкого употребления «Северо-Восточной Европы»⁴¹. Следовательно, Лехти, как и его коллеги, считает предпочтительным для обозначения балтийских территорий понятие «Северо-Восточная Европа» с добавлением концептуальных элементов «Северной Европы». Представляется, что такая позиция историков обусловлена стремлением не только отказаться от терминологии «холодной войны», но и обозначить доминанту в проекте будущего региона.

Любопытно, что все ученые (за исключением Кирби), чьи наработки проанализированы в данной статье, являются представителями изучаемого региона. Привлечение таких специалистов позволяло американской научной структуре отслеживать и влиять на исследовательские тенденции непосредственно в регионе.

Можно констатировать, что будущий «балтийский регион» «в задумке» исследователей существенно отличается от своего предшественника, который под тем же названием пропагандировался Ассоциацией в конце 1960-х – 1980-е гг. Дело не только в том, что АСПБИ расширила территориальные границы и, соответственно, вложила новый смысл в прежнее наименование, но и в том, что предлагаемый регион не столь жестко унифицирован. Ранее культивировавшийся Ассоциацией такой унифицирующий элемент, как общность исторического развития трех прибалтийских республик, в новых политических условиях был отброшен за ненадобностью. Балтийское море, заявленное в 1990-е гг. как возможный унификатор, не закрепилось на этой позиции. АСПБИ предложила рассматривать в таком качестве трансграничные сети (одну из форм сотрудничества, которую ранее сама же отвергала в ранге оценочного критерия). Кардинально поменяв взгляд на проблему балтийского регионализма, Ассоциация не только признала важность кооперации, но фактически сделала ее (в форме международных сетей) унифицирующим фактором. Поскольку сети являются весьма гибким и подвижным инструментом в деле формирования региона, то и его унифицированность становится относительной.

Принимая во внимание все элементы проекта, можно сказать, что будущий балтийский регион, по сравнению со своим предшественником, представляется АСПБИ как менее унифицированный, но вместе с тем и менее дискретный.

⁴¹ Ibid. P. 442–443.

Исторические исследования Ассоциации были посвящены изучению географических категорий, применимых в отношении комплексов балтийских территорий, с целью найти приемлемый вариант для наименования будущего региона, который был бы современен и вместе с тем придавал бы проектируемому объекту «историческую укорененность». В результате АСПБИ остановила свой выбор на концепте «Северо-Восточная Европа», но со «скандинавским» содержанием, обозначив таким образом доминанту в проекте будущего региона.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Berg E., Filtenborg M. S.* Introduction: territoriality, multilevel governance and cross-border networks in the Baltic sea region // Journal of Baltic studies. 2002. Vol. XXXIII. № 2. P. 129–136.
- Hackmann J.* From «object» to «subject»: the contribution of small nations to region-building in North Eastern Europe // Journal of Baltic studies. 2002. Vol. XXXIII. № 4. P. 412–430.
- Hackmann J., Schweitzer R.* Introduction: North Eastern Europe as a historical region // Journal of Baltic studies. 2002. Vol. XXXIII. № 4. P. 361–368.
- Kirby D.* The Baltic world 1772–1993: Europe's Northern periphery in an age of change. L.–N.Y.: Longman, 1995. 472 p.
- Kirby D.* Northern Europe in the early modern period. The Baltic world 1492–1772. L.–N.Y.: Longman, 1990. 443 p.
- Lehti M.* Mapping the study of the Baltic sea area: from nation-centric to multinational history // Journal of Baltic studies. 2002. Vol. XXXIII. № 4. P. 431–446.
- Scott J. W.* Baltic sea regionalism, EU geopolitics and symbolic geographies of cooperation // Journal of Baltic studies. 2002. Vol. XXXIII. № 2. P. 137–155.
- Vares P.* Estonia returns to the international community: history repeats itself // Journal of Baltic studies. 1994. Vol. XXV. № 2. P. 118–122.
- Vihalemm P.* Changing Baltic space: Estonia and its neighbors // Journal of Baltic studies. 1999. Vol. XXX. № 3. P. 250–269.

Короткова Милена Валерьевна, ассистент кафедры истории зарубежных стран Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского; kortkova_milena@mail.ru

Н. Г. САМАРИНА

РОСТОВ И ЯРОСЛАВЛЬ

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ ИЛИ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ?

Обращение к городскому тексту диктуется стремлением осмыслить город как целостное символическое пространство. В исследованиях В. Н. Топорова и Ю. М. Лотмана понятие городского текста подразумевает две сферы городской семиотики: пространство и имя. В современных исследованиях текста Ростова и Ярославля обнаруживаются сферы памяти и времени. Методология, позволяющая проследить событийность и эволюцию города в контексте прошлого, настоящего и будущего как целостный процесс, диктует проективный подход.

Ключевые слова: *городской текст, имя, пространство, время, память, проект.*

Одним из приоритетных направлений современных наук о культуре является изучение гипертекстов, в том числе так называемых городских текстов. Обращение к проблеме диктуется изменениями в национальном самосознании, приведшими к желанию осмыслить город как категорию культуры, как целостное символическое пространство. Начало изучению городского текста было положено работами Н. П. Анциферова¹, посвященными исследованию образа Петербурга. Анциферов был последователем экскурсионного метода в изучении истории городов, предложенного И. М. Гревсом. Увидевшие свет около 80 лет назад работы Н. П. Анциферова положили начало изучению города как живого организма. Постигая «душу» города, ученый изучал воздействие города на судьбы людей. Составляя своеобразные экскурсии-очерки, Анциферов разработал научно-поэтический творческий метод. Исходной парадигмой стал Петербургский текст как сложное многоуровневое построение, имеющее провиденциальный смысл для всей русской культуры. В Петербургском тексте выделены под-тексты «Петроградский» и «Ленинградский», в качестве объектов анализа которых выступают явления принципиально различного порядка (контексты эпохи, индивидуальные картины мира; культуротворческие течения и др.). Современная российская культурология идет по пути преимущественно экстенсивной (горизонтальной) текстовой экспансии: вслед за «Петербургским» – «Московский текст», «Северный текст», «Пермь как текст», «Самара как текст», «Венеция как текст», «Лондонский текст» и т.д.

¹ Анциферов. 1991; Анциферов. 2009.

Наиболее полно проблема исследования структуры «городского текста» как явления вербальной культуры была поставлена в статьях В. Н. Топорова и Ю. М. Лотмана². Понятие городской текст было введено в научный оборот и теоретически обосновано академиком Топоровым в 1973 г. в работе «О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами мифологического мышления».

Городской текст – это то, «что город говорит сам о себе – неофициально, негромко, не ради каких-либо амбиций, а просто в силу того, что город и люди города считали естественным выразить в слове свои мысли и чувства, свою память и желания, свои нужды и свои оценки. Эти тексты составляют особый круг. Они самодостаточны: их составители знают, что нужное им не может быть передоверено официальным текстам “высокой” культуры. <...> Срок жизни этих текстов короток, и время поглощает их – сразу же, если сказанное не услышано и не запомнено. <...> Лишь немногие классы этих текстов могут рассчитывать на годы, десятилетия или даже столетия существования. <...> Но скоротечность жизни подобных текстов в значительной степени уравнивается тем, что время не только стирает тексты, но и создает и репродуцирует новые, так или иначе восстанавливающие учитываемые образцы, или же если эти тексты, хотя бы и не вполне адекватно, успевают быть схвачены на лету литературой»³.

Исследователи выделяют две конститутивные сферы городской семиотики: *город как пространство* и *город как имя*. Понятие городского текста возникло на стыке таких взаимосвязанных понятий, как текст и пространство⁴. Будучи замкнутым пространством, город выступает в двояком отношении к окружающему его миру. Говоря о городе как о пространстве, современные исследователи дифференцируют два типа: концентрический город и эксцентрический. Город, занимающий концентрическое пространство, – это город на горе, город, не имеющий конца, – «вечный»⁵. Это своеобразная модель вселенной, прообраз небесного града. Эксцентрическое положение города характеризуется его расположением на краю культурного пространства. В основание такого города заложено противостояние природы и человеческих деяний, что вызывает к жизни цикл городской мифологии, в центре которой лежит идея обреченности города. Здесь культурная сфера и стихия находятся в вечном противоречии. «...Концентрические структуры тяготеют к замкнутости, выделению из окружения, которое оценивается как враждебное, а эксцентрические – к разомкнутости, открытости, культурным контак-

² Топоров. 1984. С. 3–29. Лотман. 1984. С. 30–45.

³ Топоров. 1995. С. 368.

⁴ «Концепт – это не объект, а территория. Именно в этом качестве он обладает прошлой, настоящей, а возможно, и будущей формой». Делез, Гваттари. 1998. С. 131.

⁵ Лотман. 1992. С. 9.

там»⁶. В русской литературоведческой традиции Москва отнесена к городам концентрического типа, а Санкт-Петербург – к городам эксцентрического типа. Существуют также города, сочетающие в себе два архетипа: они характеризуются двойной трактовкой, двойной перспективой, рассматриваются как вечные и в то же время обреченные, для таких городов «наличие истории является непрямым условием работающей системы. В этом отношении город, созданный “вдруг”, мановением руки демиурга, не имеющий истории и подчиненный единому плану, в принципе не реализуем»⁷.

«...реализуя стыковку различных национальных, социальных, стилевых кодов и текстов, город осуществляет разнообразные гибридизации, перекодировки, семиотические переводы, которые превращают его в генератор новой информации. Источником таких семиотических коллизий является не только синхронное соположение разнородных семиотических образований, но и диахрония: архитектурные сооружения, городские обряды и церемонии, самый план города, наименования улиц и тысячи других реликтов прошедших эпох выступают как кодовые программы, постоянно заново генерирующие тексты исторического прошлого. Город – механизм, постоянно заново рождающий свое прошлое, которое получает возможность соплагаться с настоящим как бы синхронно»⁸.

На основе исследовательского опыта можно сформировать структуру городского текста⁹, которая включает: расположение города в пространстве; городскую топонимику; городскую инфраструктуру; промышленность и торговлю; транспортную систему; архитектурные сооружения; локусы (структурные части города); достопримечательные и памятные места и события; городское население; замечательных горожан; городскую мифологию; городской фольклор.

К сожалению, невозможно назвать работы, в которых были бы представлены все структурные части городского текста, но анализ публикаций продолжающихся музейных изданий древнейших русских городов позволяет не только представить итоги изучения текста города, но и сформулировать новые теоретические подходы к его интерпретации. Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль» с начала 1991 г. издает сборники «История и культура Ростовской земли» (по 2010 г. включительно увидело свет 19 сборников), представляющие материалы одноименной конференции. Начиная с публикации материалов конференции 2003 г., в сборниках появляется рубрикация. К числу постоянных рубрик принадлежат: История музея. Музейные коллекции;

⁶ *Топоров*. 1995. С. 271.

⁷ *Лотман*. 1992. С. 13.

⁸ Там же. С. 13–14.

⁹ *Самарина*. 2010. С. 82.

Письменность; История. Этнология; Искусство. Архитектура; Археология. Непостоянные рубрики: Сохранение культурного наследия; Источниковедение¹⁰; Краеведение; К 160-летию со дня рождения А. А. Титова.

В анализируемом продолжающемся издании нами было выявлено 113 статей (18% общего количества публикаций), посвященных культурному тексту Ростова и Ярославля. Общая постановка проблемы – «*город как память*». Преобладает традиционный подход к материалу, ориентированный на изучение истории и топографии города, городских архитектурных памятников и декоративно-прикладного наследия.

А. Л. Каретников рассматривает две гипотезы происхождения названия Ростова, финно-угорскую и славянскую, отдавая предпочтение последней¹¹. Вл. В. Седов¹², А. Е. Леонтьев¹³, Т. Ю. Субботина¹⁴ и другие создают полноценную реконструкцию процессов строительства земляной крепости XVII в. Яном Корнилием ван Роденбургом, хозяйственного освоения и сохранности укреплений под влиянием хозяйственных и антропогенных факторов, формирования планировки города в XVII-XVIII вв. по документам писцовых описаний, делопроизводства воеводской канцелярии, Генерального межевания, этимологии топографии Ростова по материалам археологических и сравнительных исследований, эволюции ростовской архитектурной школы. Традиционно, в русле искусствоведческого подхода, рассматривает проблему текста ростовской иконописи и ее историко-художественного контекста В. Г. Пуцко¹⁵. Он считает, что назрел вопрос о европейском контексте русской иконописи, имеющий прямое отношение к памятникам, происходящим с обширной некогда Ростовской земли. Речь идет вовсе не о прямых контактах русских мастеров с Западом, но об усвоении ими того течения, которое возникло в искусстве Византии в результате крестовых походов. Византийский опыт не пустил глубоких корней, и занесенные образцы подверглись самой радикальной адаптации. Автор отмечает тенденцию к пересмотру установившихся суждений, к расширению охвата памятников на основе их исторического бытования в пре-

¹⁰ Рубрика «Источниковедение» может объединяться с рубрикой «Письменность» или содержать статьи, посвященные анализу только письменных источников, что не соответствует современному пониманию предмета как музейного источниковедения, так и источниковедения культуры.

¹¹ Каретников. 2007. С. 60–69.

¹² Седов. 1991. С. 17–20; 1993. С. 198–203; 2001. С. 114–119.

¹³ Леонтьев. 1995. С. 36–41; Леонтьев, Самойлович, Черных. 1996. С. 3–7.

¹⁴ Субботина. 2005. С. 176–182; 2006. С. 436–442; 2007. С. 5–14; 2008. С. 43–51; 2009. С. 98–105.

¹⁵ Пуцко. 2005. С. 257–270; 2007. С. 238–245.

делах Северо-Восточной Руси, с включением новых открытий. Убедительность достигается не только умением построить типологический ряд, но и вписать его в общую схему развития.

В сборнике «История и культура Ростовской земли» ставится проблема идентификации и самоидентификации горожан. Е. И. Сазонова¹⁶ исследует мир вещей ростовского обывателя первой половины XIX в. (домашний скарб, носильную одежду, иконы), погружается в сложный мир повседневности доходного дома и его обитателей. «Начиная с середины XIX столетия и вплоть до 1917 г. доходный дом становится определяющим для культурно-бытового облика города. Он влияет не только на его внешнее лицо, но и на содержание внутренней жизни горожан. Изучение городского быта этого отрезка времени во всем его многообразии невозможно без исследования доходного дома как особого типа городского жилища и особого образа жизни его обитателей»¹⁷. Изучив 28 домов Ростова, владельцами которых являлись ростовские мещане, автор показывает, что доходный дом был зеркалом городской жизни: каждый доходный дом жил своей особенной жизнью, он не был настолько велик, чтобы его жители не знали друг друга, они были связаны не только общим двором, но и общими коридором, террасой, кухней, туалетом, между ними складывались определенные взаимоотношения.

Е. И. Крестьянинова¹⁸, долго накапливавшая источники по генеалогии ростовского купечества, рассматривает купечество XIX в. как городскую субкультуру со сложившейся ценностной, психологической и поведенческой структурой. Автор приходит к выводу, что наиболее распространенной была большая составная семья, строившаяся на патриархально-авторитарных отношениях, предусматривающая иерархию и строгое разделение ролей по половозрастному признаку; существовал приоритет общих семейных интересов над индивидуальными; воспитание и образование было исключительно домашним, а включение детей в коммерцию – ранним; отмечаются разнообразные интересы и культурные потребности, не связанные с торговым делом.

Системное исследование антропогенного фактора в сохранении и актуализации архитектурно-градостроительного наследия Ростова провел А. В. Иванов¹⁹. Автор считает, что Ростов Великий является показательным примером отечественной ситуации с участием жителей в со-

¹⁶ Сазонова. 1993. С. 153–162; 1994. С. 130–138; 1996. С. 185–193; 1997. С. 127–136.

¹⁷ Сазонова. 1997. С. 136.

¹⁸ Крестьянинова. 2001. С. 177–185; 2004. С. 281–291; 2005. С. 191–204 и др.

¹⁹ Иванов. 2000. С. 87–93; 2001. С. 237–242.

хранении наследия и развитии городской среды. «Предпринимаются разнообразные попытки привлечь внимание государственных и международных инстанций к проблемах их сохранения и спасения (включение в престижные списки памятников мирового значения, разработка инновационных градостроительных документов и т.д.). здесь имеется достаточно мощный интеллектуальный потенциал – художники, сотрудники музея, священство возрожденных монастырей и т.д. Однако выйти из глубокого кризиса, в который город попал в начале 1990-х гг. вместе с большинством малых исторических поселений России, Ростову пока не удается. Продолжается, в частности, деградация обширного комплекса градостроительного наследия (упадок рядовой исторической застройки, разрушение многих памятников архитектуры, опасное подтопление территории и т.д.). Почему так происходит?»²⁰. Причины автор видит в экономической слабости города и большинства горожан, в нехватке специалистов, способных работать на современном уровне городского менеджмента, неготовности социума к активным действиям, пассивности по отношению к процессам формирования городской среды.

На развитие города направлены два проекта: традиционно исходящая из центра, ориентированная на сохранение наследия и подъем экономики Федеральная целевая программа «Возрождение и развитие Ростова Великого» и курируемый Комитетом культурного наследия Совета Европы, привлекательный по социальной и локальной нацеленности «Пилотный проект для г. Ростова Великого». А. В. Иванов предлагает пути вовлечения ростовцев в деятельность по возрождению города, организующим центром которых мог бы стать Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»: просвещение публики по разным аспектам культурного наследия (*heritage education*), разработка специальных карт, путеводителей, общедоступных баз данных по наследию, комплексного муниципального атласа (*cultural mapping*), создание информационного центра, аккумулирующего и распространяющего сведения о наследии Ростова, и городской Интернет-страницы, приобщение граждан к созданию краеведческой экспозиции филиала ГМЗРК в бывшей усадьбе Кекиных на улице Покровской. Важно пробудить и усилить «чувство места», закрепить историю города в человеческих судьбах и в личностном восприятии городской среды.

В 2000 г. А. В. Иванов обратился к участникам конференции «История и культура Ростовской земли» (ростовцам) с просьбой заполнить анкету «Мой Ростов», задуманную как продолжение ростовского цикла

²⁰ Иванов. 2001. С. 237.

социолого-градостроительных исследований. Существенно методологическое обоснование программы опроса. Во-первых, Иванов формирует понимание городской среды как многослойное и многопоколенческое, включая в него не только застройку и памятники, но и людей – живых и ушедших субъектов этой среды. Во-вторых, ставится проблема городской идентичности как необходимости формирования собственных культурных смыслов города. В-третьих, обозначается проблема градостроительного аутизма как отсутствие прямого контакта и обратной связи с горожанами в процессе разработки, утверждения и реализации градостроительных проектов. И наконец, проблема «спящего» социума, пассивности людей по отношению к жизненной среде.

Понимание культурной памяти как живой связи между поколениями, трактовка городского текста в динамике подводят нас к теоретическому пониманию семиотики города не только как имени и пространства, но как *памяти и времени*. Такое содержательное наполнение мы усматриваем в публикациях, посвященных Ярославскому тексту.

О. И. Добрякова и Д. Ф. Полознев ставят проблему «событийности» в культуре русского средневекового города, делая акцент на источниковедческом аспекте. Под фактом социокультурной хроники они понимают «то, что было зафиксировано и отразилось в памятниках эпохи и в местной традиции как событие, достойное сохранения в памяти, имевшее смысл для современников и оказавшее влияние на их сознание, определившее культурный и духовный облик города»²¹. Авторы выделяют три типа фактов: события, отрефлексированные современниками, как факты, достойные внимания и фиксации; события, зафиксированные в источниках без указания на то, что таковыми их воспринимали и оценивали современники; события, хотя и зафиксированные в источниках, но оцениваемые и описываемые как события историографом. С точки зрения полноты исторической картины признается значение всех трех типов фактов. Уровнем обобщения фактов может быть картина мира горожанина, которая, по материалам ярославского городского прихода XVII в., включает такие элементы, как: пространство и время в представлениях ярославцев, в том числе сакральную топографию города; представления о прошлом, настоящем и будущем; веру, отношение к жизни и смерти; отношение к церкви, высшему и приходскому духовенству; представления о власти, ее институтах и о соотношении духовной и светской власти; пребывание горожанина в микросоциумах (семья, приход, город); отношение к книге и грамоте и т.п.

²¹ Добрякова, Полознев. 2004. С. 260–267. (С. 262).

Наиболее выпукло проблема времени как характеристики городского текста поставлена в статье Д. Ф. Полозневым²². Анализируя проект празднования 1000-летия Ярославля под девизом «Древний город, устремленный в будущее», он призывает обратиться к осмыслению человеком пребывания в пространстве культуры, т.е. к проблематике *genies loci* и метафизики города, считает, что Ярославль в контексте современных социокультурных практик следует интерпретировать как проект, включающий такие характеристики: наличие замысла, целенаправленность, целостность, ограниченность во времени, инновационность и неповторимость, коммуникативность, адаптивность к внешним условиям. Современное проективное мышление требует видение будущего, в связи с чем, применительно к связи времен в городском тексте, возникают вопросы: Инструментом решения каких задач был город на протяжении своей истории? В чем был смысл его существования как человеческого сообщества, как локального социума? Что особенное и неповторимое дал Ярославль мировой и отечественной культуре? Была ли его миссия предначертана в изначальной истории города? Отвечая на эти вопросы и призывая к осторожности в оценке потенциала и «продуктивной силы» ярославского «культурного слоя», Полознев формулирует несколько социокультурных оснований, которые позволяют рассматривать Ярославль как проект. Во-первых, город был основан ростовским князем Ярославом, который имел в виду будущее назначение города как крепости для защиты подступов к столице Ростову и оплота христианизации края. Во-вторых, основание города обращено к традиции основания городов как знаков власти и имени. В-третьих, правление первого ярославского губернатора А. П. Мельгунова вызвало к жизни проективную трактовку истории основания и дальнейшего развития города (при нем было записано сказание о построении града Ярославля, проведена перепланировка с ведущим мотивом перспективы улицы). В-четвертых, включение центра города как памятника культуры в список всемирного наследия ЮНЕСКО ставит Ярославль в ряд выдающихся городов-символов мировой цивилизации. И наконец, «Ярославль – первый по-настоящему **провинциальный** город в образе страны: он и находится внутри, в освоенном ядре территории <...>, и по своему ландшафту – провинция в терминологическом смысле»²³.

Анализ публикаций продолжающего издания Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» позволяет сделать выводы,

²² Полознев. 2006. С. 410–423.

²³ Каганский. 2001. С. 472–473. Цит. по: ИИКРЗ. Ростов, 2006. С. 416.

обогащающие сложившееся в исследовательской литературе представление о городе как тексте культуры. Отчетливо прослеживаются характеристики города не только как имени и пространства, но как памяти и времени. Музейные исследования выходят за рамки вербальной источниковой базы, порожденной филологическим подходом к городским текстам, и позволяют получить представление обо всех его структурных элементах. В качестве методологии, позволяющей проследить событийность и эволюцию города в контексте прошлого, настоящего и будущего как целостный процесс, может рассматриваться проективный подход.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Анциферов Н. П.* Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Быль и миф Петербурга [Репринтное воспроизведение изданий 1922, 1923, 1924 гг.]. М.: Книга, 1991. 328 с.; 104 с.
- Анциферов Н. П.* Проблемы урбанизма в русской художественной литературе: Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на основе анализа литературных традиций / Предисл. Н. В. Корниенко; сост., послесл. Д. С. Москвоской. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 584 с.
- Делез Ж., Гваттари Ф.* Что такое философия. М.-СПб.: Алетейя, 1998. 288 с.
- Добрякова О. И., Полознев Д. Ф.* «Событийность» в культуре русского средневекового города: источниковедческий аспект (по материалам историко-культурной хроники Ярославля XVII в.) // История и культура Ростовской земли (далее – ИИКРЗ). Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2004. С. 26-267.
- Иванов А. В.* Ростовский кремль в системе представлений жителей Ростова Великого о городском центре (по результатам социолого-градостроительного исследования) // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2000. С. 87-93.
- Иванов А. В.* Ростов Великий: возможности участия населения в сохранении архитектурно-градостроительного наследия // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2001. С. 237-242.
- Каганский В. Л.* Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001. С. 472-473.
- Каретников А. Л.* Ростов – название славянского поселения X в. // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2007. С. 60-69.
- Крестьянинова Е. И.* К вопросу о традициях и особенностях субкультуры ростовской купеческой среды в 60-х годах XIX в. (по письмам С. А. Кекиной) // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2001. С. 177-185.
- Крестьянинова Е. И.* К вопросу об особенностях и традициях субкультуры ростовского купечества в 50-е гг. XIX в. (по дневнику Анны Маракуюевой) // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2004. С. 281-291.
- Крестьянинова Е. И.* К вопросу о традициях и особенностях субкультуры ростовской купеческой среды в 1840-е годы (по «Записям» А. Л. Кекина) // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2005. С. 191-204.
- Леонтьев А. Е.* Некоторые данные о топографии Ростова X-XIV вв. (по материалам археологических исследований) // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 1995. С. 36-41.

- Леонтьев А. Е., Самойлович Н. Г., Черных Н. В. Частные аспекты хронологии Ростова (по результатам дендрохронологического анализа материалов археологических раскопок) // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 1996. С. 3-7.
- Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Труды по знаковым системам. Тарту: изд-во Тартуского ун-та, 1984. Вып. 18. С. 30-45.
- Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллин: Александра, 1992. Т. 2. 478 с.
- Пуцко В. Г. Иконы XIII-XV вв. из Ростовской земли: проблема историко-художественного контекста // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2005. С. 257-270.
- Пуцко В. Г. Ростов в истории русской культуры // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2007. С. 238-245.
- Сазонова Е. И. Мир вещей ростовского обывателя I пол. XIX в.: «домашний скарб и носильная одежда» // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 1993. С. 153-162.
- Сазонова Е. И. Ростовские каменщики и кирпичники в XVII-XVIII вв. // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 1994. С. 130-138.
- Сазонова Е. И. Мир вещей ростовского обывателя XIX века: домашние иконы // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 1996. С. 185-193.
- Сазонова Е. И. Доходный дом и его обитатели (по материалам города Ростова) // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 1997. С. 127-136.
- Самарина Н. Г. Науки о культуре. М.: МГПИ, 2010. 132 с.
- Седов Вл. В. К вопросу о ростовской архитектурной школе XV-XVI вв. // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 1991. С. 17-20.
- Седов Вл. В. К вопросу об одной типологической группе в архитектуре середины XVI в. // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 1993. С. 198-203.
- Седов Вл. В. Земляная крепость в Ростове // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2001. С. 114-119.
- Субботина Т. Ю. Выпись по посадским землям Ростова из собрания А. А. Титова // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2005. С. 176-182.
- Субботина Т. Ю. Планировка «города» в Ростове середины – второй половины XVIII в. // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2006. С. 436-442.
- Субботина Т. Ю. Писцовая книга города Ростова 132 (1623/24) г. // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2007. С. 5-14.
- Субботина Т. Ю. Приходно-расходная книга Ростовской воеводской канцелярии за 1761 г. // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2008. С. 43-51.
- Субботина Т. Ю. Окладная книга Ростовской воеводской канцелярии 1761 г. // ИИКРЗ. Ростов: ГМЗ «Ростовский кремль», 2009. С. 98-105.
- Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» // Труды по знаковым системам. Тарту: изд-во Тартуского ун-та, 1984. Вып. 18. С. 3-29.
- Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс-Культура, 1995. 623 с.

Самарина Наталья Гурьевна, кандидат исторических наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин Московского гуманитарного педагогического института; samarina_n.g@mail.ru

ИНТЕРВЬЮ

Г. Н. КАНИНСКАЯ

ФРАНЦУЗСКИЕ ИСТОРИКИ О ПРОСТРАНСТВЕ «НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ» ОТ СТАНОВЛЕНИЯ ДО ИСПЫТАНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ*

В статье приводятся размышления французских историков, выпускников и ведущих профессоров Института политических наук Парижа, а также редакторов издательств «Файяр», «Галлимар» и «Новый мир», о тенденциях во французской историографии последних 30-ти лет, на примере политической истории.

Ключевые слова: *политическая история, школа «Анналов», междисциплинарность, культурная история, универсализация исторического знания.*

Причин, послуживших побудительными мотивами для написания этой статьи, несколько. Во-первых, непреходящий интерес представляет тематика журнала «Диалог со временем», погружающая заинтересованных читателей в «мир истории» с его проблемами и инновациями. Во-вторых, не будет преувеличением сказать, что своим появлением «новая политическая история» в немалой степени обязана французской историографии, престиж которой в глобализирующемся историческом пространстве по-прежнему довольно высок. В-третьих, автору статьи неоднократно представлялась возможность проходить научные стажировки и работать приглашенным профессором в Институте политических наук Парижа (широко известен под кратким названием Сьянс-по) и в результате – непосредственно познакомиться с теми, кто создавал и продолжает развивать «новую политическую историю» во Франции, а кроме того, взять у некоторых из них интервью и таким образом дополнить новыми сведениями наше знание об исследовательском поле политической истории во французской историографии. В-четвертых, являясь уже второй авторской публикацией, обобщающей интервью французских историков, настоящая статья в известной мере призвана послужить продолжением начатого (Диалог со временем. 2010. Вып. 30). Наконец, в-пятых, небезынтересно, осмыслив суждения французских историков о влиянии на их национальную историческую науку стремительно развивающейся универсализация исторического знания, подумать, какой посыл этот процесс может передать российской исторической науке.

* Статья выполнена при поддержке Дома наук о человеке г. Парижа.

Интервью, о которых пойдет речь, состоялись в мае 2009 и мае 2010 гг. Часть их проходила в стенах Сьянс-по, часть – в пользующихся мировой известностью издательствах «Файяр» и «Галлимар», а также в издательстве «Новый мир», тоже довольно успешно действующем на книжном рынке. Получилось так, что среди тех, кто любезно согласился побеседовать с автором данной статьи, оказались историки трех поколений. Из старшего поколения, тех, кто приближается или перешел рубеж 70 лет, это были маститые историки С. Берстайн, П. Нора и Э. Роули; среднее, подходящее к 60-ти годам, представил М. Лазар; наконец, от «молодых» (40–50 лет), выступил Я. Дез. Среди перечисленных имен российскому читателю хорошо знакомо и не требует особых комментариев лишь имя П. Нора, снискавшего признание мировом историческом сообществе благодаря тому, что первым предложил новое направление – изучение «мест памяти»¹. Между тем, не ошибемся, если скажем, что в Европе и нашей стране исследователи-франковеды весьма почитают авторитетного специалиста по социально-политической истории Франции XX века С. Берстайна. Э. Роули представляет собой замечательный пример «прикипевшего» к французской истории англичанина, который постоянно и успешно вносит свой вклад в дело ее развития и вместе с тем активно содействует знакомству с ней англо-американской историографии². Двое последних – М. Лазар и Я. Дез – бывшие ученики, а ныне продолжатели дела трех первых, но в то же время переосмысливающие их наследие и заявляющие о себе как о новаторах. Добавим, что регулярные посещения Сьянс-по, начиная с 1995 г., позволили нам непосредственно познакомиться с Я. Дез с момента его пребывания в, говоря по-нашему, докторантуре, а с М. Лазаром – со времени прихода его профессором в Сьянс-по.

Всем интервьюированным перед началом бесед в письменном виде были предложены шесть вопросов:

1. Что побудило Вас стать историком? Каков был Ваш профессиональный путь, и какое влияние оказала Ваша семья на выбор профессии?
2. Назовите ученых, наиболее сильно повлиявших на Ваше профессиональное становление.
3. Как Вы оцениваете эволюцию французской историографии на протяжении последних 30 лет?

¹ П. Нора – единственный из вышеназванных историков, кто неоднократно посещал нашу страну, выступал на собраниях разного уровня; его труды переведены на русский язык. Самый известный из них – книга, написанная под его руководством: Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюанже, М. Винок. СПб., 1999.

² К сожалению, в начале ноября 2011 г. Э. Роули скоропостижно скончался.

4. Какие новые тенденции Вам хотелось бы в ней выделить, и какие из них наиболее Вас привлекают?

5. На Ваш взгляд, существуют ли сегодня национальные исторические школы, например, французская, американская, немецкая и др.?

6. Чего, на Ваш взгляд, сегодня не хватает французской историографии, и какие новые подходы Вам хотелось бы в ней развивать?

Из текстов видно, что наши собеседники, как правило, начинали интервью, повторяя первый вопрос, а затем вели разговор, не делая специальных переходов от вопроса к вопросу, а иногда вкрапляли ответ на один вопрос в рассуждения на тему другого, а на некоторые вопросы, например, о влиянии семьи на выбор профессии, ответили не все. Автор статьи сочла своим долгом не перебивать собеседников, не настаивать на обязательности ответов по каждому вопросу, поэтому посчитала целесообразным опубликовать содержание бесед сплошным текстом.

Интервью с Пьером Нора от 19 мая 2010 г.

Итак, каков мой путь? Я начал одновременно с историей изучать литературу и философию, а потом, в 1958 г., сдал агрегационные экзамены³ по истории в Сорбонне. Затем меня призвали на военную службу в Алжир. К тому времени, благодаря успеху «школы Анналов», история начала занимать гораздо более важное место, чем философия и литература. Все, что я постиг в то время из истории – это благодаря «Анналам», хотя это не была ни новейшая история, ни национальная, ни тем более, политическая история. А меня всегда, еще со школьной скамьи, интересовала национальная новейшая история. Через алжирскую войну у меня, как и у всего моего поколения, возник интерес не только к проблемам колониализма, но в целом к проблемам коммунизма, голлизма, холодной войны. Эти проблемы будоражили наше сознание. Так что долгое время в профессиональном плане я витал между моим особым интересом к новейшей политической национальной истории и интересом к «школе Анналов». А потом я пришел в издательский дом «Галлимар». Тогдашний главный редактор сказал мне, что Дом очень преуспел в публикации литературных произведений, плодотворно печатая книги А. Мальро, А. Жида, но существует лакуна в выпуске литературы интеллектуального жанра, ибо до сих пор издательство не напечатало труды ни К. Леви-Строса, ни Ж. Лакана, ни Ф. Броделя. Я же к тому времени уже имел некоторый опыт в этом деле, работая в издательстве

³ Агрегационные экзамены во Франции – это двух уровневые экзамены, дающие право на преподавание в лицеях и в высшей школе.

«Жюльяр» и начав там публикацию книг карманного формата под общим серийным названием «Архивы». Книги для этой серии писали лучшие в то время историки, посвящая их разным новым, подчас острым историческим сюжетам, и потому эти книги имели большой успех у читателей. Среди авторов назову Ж. Озуфа, опубликовавшего из архивов директивы Коминтерна, послылавшиеся во Францию в 1920-х гг. Также появились первые книги об «Аушвице» и так далее. Собственно, благодаря этому моему успеху «Галлимар» и обратился ко мне. Так я возглавил в издательстве отдел «общественные науки» и сразу начал публиковать труды М. Фуко, Р. Арона, Ж. Ле Гоффа. Опять дело пошло успешно, и, если честно, мне доставляло гораздо больше удовольствия править их тексты, чем тексты студентов. Хотя я долго преподавал в Сьянс-по новейшую историю, потом меня избрали в Высшую школу социальных наук, где я смог полностью раскрыть мой научный потенциал. Тогда я начал работать над изучением национальных чувств. И начал с изучения личности и творчества Э. Лависса, маститого ученого XIX века, создавшего новую Сорбонну и написавшего для средней школы учебник по истории, на котором воспитывалось целое поколение французов с 1900 до 1914 гг. Это был очень националистический и республиканский учебник, так что можно сказать, что это Э. Лависс выиграл Верденское сражение. Более того, из-под его пера вышел огромный 27-томный труд по истории Франции, вобравший в себя все достижения исторической науки за первые 20 лет XX века и публиковавшийся на протяжении 1902–1922 гг. Этот труд долгое время оставался главным мерилом, которому надо было следовать, освещая историю Франции, и нельзя было оспаривать его оценочную часть. Надо сказать, что влияние этого труда не изжило себя в нашей стране до сих пор. Таким образом, интерес к национальным чувствам пробудился во мне именно благодаря Э. Лависсу. Однако, как только я начал трудиться в Высшей школе, я подумал, что важнее изучать национальные чувства не посредством изучения идей, а попытаться подойти к их пониманию и объяснению, изучая те места, в которых концентрируется национальная идея. Начал я с простого – с изучения имен улиц в Париже, памятников, ассоциаций ветеранов. Ведь все эти объекты являются, по сути, инструментами передачи национальной идеи, особенно наглядно проявляющимися во время празднований. И тут я заметил, что такие символы, как Марсельеза, французский флаг, день 14 июля (особенно два первых символа), никогда специально не изучались историками. О Марсельезе писали лишь музыковеды, о флаге – несколько вышедших на пенсию генералов времен Первой мировой войны, тогда как историки – специалисты по

новой истории обо всем этом не писали. Тогда я и начал свой эксперимент, попытавшись сконцентрировать внимание на всех интересующих меня проблемах в годы III и IV Республик, поскольку специализировался на их истории. Начал с необычных сюжетов, например, с изучения девиза: «Свобода, Равенство, Братство». Привлек мое внимание как исследователя и Пантеон. А логическую цепочку моих рассуждений хочу раскрыть на банальном примере – гонке велосипедистов «Тур де Франс». Как связать ее с историей? Во-первых, примечательно само время ее становления – 1903 г. В этот же год Э. Лависс начал издавать свою «Историю Франции», попросив крупного географа П. Видаля де ла Бланша написать для книги часть по географии Франции. Само по себе это уже имело огромное значение, ибо заказ был не на простое географическое описание страны, как это делалось раньше. По настоянию Э. Лависса, во главу угла была поставлена Франция, такая разная страна в региональном, этнографическом плане. И «Тур де Франс» предоставил блестящую возможность через популяризацию поездок по стране объединить народ. Таким образом, гонка оживила не только спорт, но и историческую память. Известно, что де Голль знал наизусть труд П. Видаля де ля Бланша. Во-вторых, с «Тур де Франс» можно связать еще одно историческое явление. В Средние века, примерно с XIV века, ремесленники, чтобы узнать, что происходит в других ремесленных цехах, засылали туда своих «агентов», порой нелегально, и таких агентов называли «Компаньоны де тур де Франс». Получается, что традиция «разузнавания» через поездки уходит своими корнями в более глубокое прошлое. Нельзя не обратить внимание на еще один интересный исторический факт. Велосипед представляет собой вид транспорта народного, а для знати предпочтительней было передвигаться на лошадях. Следовательно, появление в нашей жизни «Тур де Франс» означало конец аристократической и начало народной Франции. В итоге мы можем проследить в «Тур де Франс» сплетение народной Франции, Франции рабочих и, в известной мере, тайной, нелегальной. В наши дни к этим характеристикам следует добавить еще «эффект масс-медиа». Так, мы можем обнаружить очень много интересного вокруг этого «Тура» с точки зрения исторической памяти. Существует масса других примеров подобного рода, ставших частью символической истории. Вот таким образом через 10 лет я послужил обновлению подходов к изучению истории, о чем Ж. Ле Гофф в «Ле Монд» написал, что это та история, в которой сегодня нуждается Франция. Этот новый подход получил название «культурная история». Причем, с одной стороны, он вовсе не был связан с историей культуры, а с другой – такой подход означал

полный разрыв с «Анналами». Для меня мой подход был связан со стремлением придать историческую глубину новейшей истории. Правда, порвав с тотальной историей «Анналов», я позаимствовал у нее ее исследовательский метод. Поэтому, если говорить о разрыве с «Анналами», то можно сказать, что он был, и не был. Зависит от того, что понимать под этой школой. Если ее взять за годы 1950-е, т.е. когда она была исключительно историей экономической и социальной, то это был полный разрыв. Если говорить, что «Анналы» в 1950–1960-е гг. были под влиянием марксизма и приоритет отдавался истории экономической и социальной, то тоже можно говорить о разрыве. Но, если, напротив, считать, что дух Анналов 1930–1940 гг. отражала история антропологическая и при этом гораздо более тесно связанная с новейшим периодом, то разрыва вовсе и не было, так как для меня этот дух школы был очень значителен. Это с Ф. Броделя начали пренебрежительно относиться к новейшей истории. Он ее не любил. Так что мой вклад в историографию – это и обновление «Анналов». «Места памяти» – это авантюра моей жизни. Сначала у меня и программы не было, возникла лишь идея: осмыслить триптих – Республика, нация, Франция. И тут я сделал два важных открытия. Первое заключалось в том, что, в отличие от Э. Лависса, представлявшего этот триптих всегда в единстве, я обнаружил и доказал, что в действительности все эти элементы отнюдь не всегда были неразрывно слиты. Республика, например, во Франции утверждалась с трудом. Таким образом, я подверг деконструкции Э. Лависса. И с этой деконструкцией было связано второе мое открытие. Я пришел к выводу о том, что история истории – или историография – это важнейшая область знания, которую надо не повторять речитативом, а именно деконструировать ее элементы для того, чтобы ее понять. Эта моя новая история имела успех. Учителя в школах получили новые методы, а ученикам нравилось, что им стали говорить об истории иначе, не как «Анналы». А я продолжил совершенствовать методику и в 1993–95 гг., опубликовал свое многотомное исследование. Работая, я осознал, что все другие страны тоже имеют свои места памяти и что само это понятие универсально, проблема эта касается всех стран: коммунистических, бывших колониальных, наших индустриальных. Историкам, занимающимся новейшей историей, нужны свидетельства и очевидцы для того, чтобы объяснять с помощью такой истории происходящие сейчас события. Произошло, таким образом, возвращение к современной истории, ведь в начале моей карьеры история останавливалась на 1914 г., а по новейшей истории в университетах не давали тем для диссертаций. Поэтому такие люди, как я, и шли работать в Сьянс-по. Сего-

дня, наоборот, интерес к новейшей истории очень велик, особенно к теме Второй мировой войны, послевоенному времени. Вес ее настолько ощутим, что под ее влиянием трансформировалось много других дисциплин. В то же время сама новейшая история превратилась в историю культурную. Она доминирует даже при изучении экономической истории, так как теперь, например, пишут про «память о предприятиях». Хотя мне кажется, что слово «память» больше относится все же к политической истории, чем к культурной. Обращение к памяти позволяет обогатить политическую историю, понять ее проблемы. Теперь у историков принято говорить скорее об «истории политики», а не о «политической истории». Или об «истории власти». Среди тех историков, кто способствовал глубокому обновлению истории политики, следует прежде всего назвать Р. Ремона в Сьянс-по, Ф. Фюре – в Высшей школе социальных наук, Ж. Жюльяра, ведущего исторического обозревателя в журнале «Нувель Обсерватер» и др. Они привлекли внимание к изучению не только истории власти и способов ее действия, но наряду с этим еще и к анализу коллективов и всего социального, к тому, что способствует объединению коллектива, совместному сосуществованию. «Новая политическая история» послужила образцом для новых подходов во всей истории. С ней связана история крупных событий и выдающихся деятелей. Нельзя забывать и о необыкновенной трансформации роли средств массовой информации в жизни современного общества. СМИ глубоко проникли в повседневное сознание граждан, их оценки и восприятие происходящих событий. Масс-медиа также меняют историческое знание. Когда в 1870–1890-е гг. в Европе родилась пресса, все же только историки объясняли прошлое. Теперь дело обстоит иначе. Телевидение демократизировало историческое сознание, широко популяризировало его. На мой взгляд, между национальными школами существует разница. Например, невозможно создать европейскую историю, не поняв национальной истории, то есть сначала надо осознать, что значит быть немцем, французом или итальянцем. К сожалению, современная французская историография испытывает немалые трудности, она вдруг оказалась малоизвестной мировому историческому сообществу, оттого, что французы не публикуются на английском языке, что просто необходимо в современных условиях.

Интервью с С. Берстайном от 5 мая 2009 г.

Почему стал историком? Из интереса к истории и потому, что к науке этой обратился во время Второй мировой войны, события которой разворачивались вокруг меня. Мне было 6 лет в 1940 г., и все происходящее настолько меня захватило, что я не думал ни о чем, кроме

истории. Особенно, когда я читал учебники по истории, представлявшие историю нашей страны, как сплошь героическую. Чего стоило, например, описание знаменитого полета Гамбетты на шаре во время франко-прусской войны. Но на деле-то я видел совсем другое. Поэтому в школе я начал усиленно штудировать историю, много трудился в этой области. Хотя об университетской карьере поначалу не думал, ибо семейное положение обязывало меня сразу после бакалавриата⁴ начать работать. В 1954 г., в возрасте 20 лет я стал учителем. Но ради удовольствия и отнюдь не ради университетской карьеры тогда же я начал изучать историю в Сорбонне. Двигался медленно, сначала получил диплом лицензиата, потом – диплом о высшем образовании, что тогда называли «мэтриз»⁵, и для получения которого надо было проделать первое научное исследование. Так как все это у меня очень хорошо прошло, я начал готовиться к агрегационному экзамену. Думал, что процесс этот тоже будет медленно идти, но оказалось, что сдал экзамен с первого раза и стал профессором лицея сначала в Гавре, а потом трудился в разных лицеях Парижа. Однажды я встретил своего друга по агрегационным экзаменам, специалиста по новой истории Даниэля Роша, который тогда был доцентом в Высшей нормальной школе Сен-Клу, а впоследствии завершил свою научную карьеру в Коллеж де Франс⁷. Он мне сказал, что должен читать в этой школе курс по истории Франции в 1914–1945 гг., но это не его период, отнимет на подготовку много времени, к тому же не очень лично его интересует. Одним словом, Д. Рош предложил мне прочитать курс по этому периоду. Я согласился, и это продлилось в этой школе 15 лет. Тогда я заинтересовался межвоенным периодом и особенно для себя отметил, что все историки писали о том, какую в это время важную роль в политической жизни играли радикалы, причем добивались власти, как левые, потом, будучи в правительствах, смещались к правому центру, меняя при этом правящее большинство. Эту тенденцию политолог Ф. Гогель назвал «законом двух лет». И я задался вопросом о том, кто же были эти люди, какими мотивами руководствовались, проделывая подобный вираж? В то же время форму-

⁴ Экзамен бакалавриата во Франции сдают выпускники лицеев. Успешно его прошедшие имеют право поступать в высшие учебные заведения.

⁵ Диплом лицензиата студенты получают после трех лет обучения.

⁶ Диплом «мемуар де мэтриз» студенты получали после четвертого курса, что означало завершение высшего образования.

⁷ Высшая нормальная школа Сен-Клу входит в число элитных высших учебных заведений страны. Коллеж де Франс – высшее учебно-исследовательское заведение Франции, звание профессора в нем считается одним из самых престижных.

лировка «закон двух лет» показалась мне не совсем точной. Вот тогда я и подумал, почему бы не изучать партию радикалов, учитывая, что до той поры никто из предшественников не объяснял причины действия этого «закона» в поведении партии. С этой целью я попросил одного из известных специалистов Рене Ремона, единственного в то время профессора, предлагавшего молодым исследователям темы по истории после 1914 г., стать моим научным руководителем. Другие профессора считали, что, поскольку архивы по этому периоду откроются лишь к 1960-м гг., то давать такие сюжеты для исследования рано. Р. Ремон очень заинтересовался предложенной мной темой. Он вообще сыграл большую роль в моей жизни, и это ответ на второй вопрос. Итак, я выбрал сюжет о радикалах между двумя мировыми войнами. В 1967 г. Ремон спросил меня, хотел бы я читать лекции в Сьянс-по. Я согласился и тружусь в этих стенах с тех пор. А в 1968 г. он попросил меня стать его ассистентом в университете Нантер. Так началась моя настоящая университетская карьера. Но я хочу подчеркнуть, что стал я историком не только из интереса, но и благодаря серии встреч с коллегами. Моя семья никакой роли не играла в моем профессиональном выборе, потому что, во-первых, я потерял родителей во время войны, воспитывался дядей, который немного помогал мне в финансовом плане, ибо сам был стеснен в средствах. Я ведь и в учительский институт поступил потому, что там давали стипендию с 15 лет. Таким образом, в отличие от многих моих коллег, большинство которых было «нормальянцами»⁸, у меня сначала не было систематического исторического образования. Я редко посещал университет, так как все время работал. Одним словом, постигал знания я в основном по книгам. И мне посчастливилось узнать некоторых крупных историков, быть их ассистентом. Кроме Р. Ремона, назову еще Рауля Жерарде, у которого я начал работать ассистентом в Сьянс-по, а потом занял его пост руководителя Высшего цикла социальной истории XX века. А у Р. Ремона меня очень впечатлила его книга о «правой» во Франции. Я ее прочел в 1965 или 1966 г., незадолго до того, как сам обратился к нему. Что меня особо у Р. Ремона поразило, так это то, как он разобрал книги, которые я до этого прочитал. Это были книги по политической истории, авторы которых излагали события, без особого труда объяснять, почему они произошли. Авторами их были, с одной стороны, академики-монархисты и националисты, доминировавшие в то время в Академии наук, труды которых имели большой успех, а с другой – историки-политики, произведения которых были

⁸ Так во Франции называют выпускников Высшей нормальной школы.

очень сильно политизированы. А книга Р. Ремона мне показалась лишенной каких-либо пристрастий. В условиях, когда «правая» была сильно дискредитирована поддержкой Виши, Р. Ремон показал, что она никогда не была единой, что в ней были страты и что, по сути, во Франции существовало три «правых». Такой важный анализ исторической традиции был очень своевременным, так как в 1950-е гг. правые политические силы в стране начали возрождаться. Еще одна заслуга Р. Ремона заключается в том, что в книге он объяснил, почему «правая» не была едина. К тому же его книга помогла понять, что во Франции существует прочная правая традиция, поэтому партии и возрождаются, что и случилось к 1950-м гг. Р. Ремон не только описал, но и многое объяснил с точки зрения социальной и интеллектуальной перспективы развития. Я не случайно обратился к нему по поводу своей диссертации о радикалах. Практически я всегда работал рядом с Ремоном, как в Сьянс-по, так и в Нантере. Это человек, к которому я искренне испытываю глубочайшее уважение. Он чрезвычайно открыт и в то же время очень скромнен. Несмотря на свой огромный интеллектуальный потенциал, многочисленные приглашения на крупные дебаты на телевидение, радио, в прессе, Р. Ремон никогда не пытался создать вокруг себя кружок верных учеников-последователей, как это делают многие историки. Всем, кто работал рядом с ним, он предоставлял полную свободу творчества, в том числе и право на собственную, может, даже и другую интерпретацию истории, нежели у него. Он позволял приходиться к другим выводам, чем у него, и всегда весьма уважал тех, кто рядом с ним трудился. Иными словами, вокруг Р. Ремона существовало некое сообщество, но это было объединение добровольцев. Единственное, чего не принимал Р. Ремон – это когда в угоду идеологическим соображениям историю искажали. Исследователей подобного рода он подвергал безжалостной критике. Вклад Р. Ремона в развитие французской историографии фундаментален. Он пришел в историческую науку, когда в ней доминировало несколько тенденций. Первая – исключительно университетская – базировалась на историческом позитивизме. Суть ее – работа с архивами, сравнение разных архивных данных, а затем – исторические выводы, которые не подвергались сомнению. Причем эти выводы излагались в соответствии с определенной логической схемой. Это была очень серьезная, солидная университетская история. Не все преподаватели этой когорты были сильны в научном плане, но зато все они были преподавали в Сорбонне. В качестве примера среди них можно назвать Шарля Путасса, занимавшегося новейшей историей, или специалиста по XIX веку Луи Жерара, который не искал новых подходов в истории,

но писал фундаментальные труды. Вторая тенденция, которая с этой академической средой порвала – это была «школа Анналов», которая с 1950-х по 1980-е гг. занимала ведущее место во французской историографии. Это бесспорный факт, потому что ее создатели совершили коперникианскую революцию в историческом исследовании, выдвинув идеи о структуре, глубинных корнях истории, стали заниматься периодом длительной исторической эволюции, превратив процесс исторического познания в процесс многосторонний с точки зрения подходов. Но представители «Анналов» очень много нового привнесли в изучение средневековой и новой истории и совсем не интересовались современной историей, которая не имела длительности. Тем более, они абсолютно не занимались политической историей, мало внимания уделяли истории отдельных личностей, обратив свои взоры на историю больших сообществ. Хотя и для тех историков, кто непосредственно специализировался на новейшей истории, влияние «школы Анналов» тоже было очень значительным. Ведь ее новые исследовательские подходы и методы натолкнули их на мысль обратиться к глубинным причинам событий, происходящих в современной истории. Третья тенденция, которая была в то время очень влиятельной во французской историографии – марксистская. Причем писавшие в этом ключе не обязательно были связаны с коммунистической партией, они разделяли в принципе марксистские идеи. Вдохновляясь этими идеями, поколение таких историков особенно сильно нападало на две другие тенденции в 1950–1960-е гг., а по большому счету, марксистские историки вплоть до 1980-х гг. создавали фундаментальные труды. Они, как и К. Маркс, объясняли, что только социальные и экономические факторы влияют на развитие истории, поэтому, вторя ему, считали политическую историю чем-то второстепенным и искусственным. Р. Ремон ни к одной из перечисленных тенденций не принадлежал. Но в 1960–1970-е гг. вокруг него сложилось своеобразное направление, под влиянием которого начали выходить труды по политической истории. Тут особо важную роль сыграла его книга 1980-го года⁹. А представители этого направления, в числе которых имею честь быть и я, продолжили дело, начатое Р. Ремоном, писали очень значительные работы, развивая в них новые подходы к изучению политических идей. Среди представителей этого направления - сверстников Р. Ремона, з – д назову П. Марала, Ж-М. Майера, особенно замет-

⁹ Речь идет о не утратившей своего исторического значения книге «Les droites en France», вышедшей в свет в 1982 г. как дополненное третье издание его первой книги о правых, опубликованной в 1954 г. (второе издание появилось в 1963 г.)

ный след оставившего в изучении истории религии, из людей моего поколения отмечу Пьера Мильзу, Жан-Жака Беккера, Жана-Франсуа Синрелли, Рене Жирарже и др. Подчеркну также, что это направление не стало строго оформленным, в него свободно входило более молодое поколение. В частности, очень много было сделано в деле изучения парламентской системы (Ж. Гарриг). Словом, нашим детищем была живая история, которую мы очень активно развивали. Сегодня во Франции сложилось коллективное историческое сообщество, в котором каждый историк заимствует что-то от другого, исследователи работают сообща. Я, например, много лет возглавлял секцию новой и новейшей истории при Министерстве образования и был очень поражен и обрадован размахом исторических работ. То есть, можно сказать, что историческое сообщество современной Франции очень активно. Вместе с тем я думаю, что в мировом масштабе до сих пор сохраняются черты национальных историографий. Специфика французской историографии в том, что она все еще сильно ориентирована на привлечение архивных материалов. Это как верность традиции, заложенной в 1960-е гг. Еще одной ее особенностью остается появление «скандальных» книг, базирующихся на неоспоримых источниках и специально нацеленных на вызов полемики, переоценку прежних взглядов. В качестве национальной черты французской исторической школы стоит отметить также, что наиболее серьезные работы вышли из-под пера исторических демографов, изучивших немалое количество различных документов, чтобы объяснить прошлое. И тем не менее, сегодня ситуация с положением французской историографии в мире сильно изменилась, потому что на «глобальном историческом рынке» котируются произведения, написанные на английском языке. И, чтобы получить мировое признание, теперь надо публиковаться на английском. Таким образом, сегодня французская историография оказалась несколько маргинальной. К тому же англоязычная историография – это историография синтеза, она меньше задействована на архивах. Во французской же еще ощущается влияние той эпохи, когда надо было защищать докторскую диссертацию, для чего требовалось проделать глубокое исследование. Хотя сейчас, когда и во Франции защищают лишь одну диссертацию, появилась тенденция писать большие работы обобщающего характера, где представлены взгляды и предложены перспективы авторского коллектива. Но пока университетская наука такие работы-амальгамы все же считает не совсем научными. Еще одна черта современной французской историографии заключается в том, что ученые сосредотачивают внимание на исследованиях отдельных и узких сюжетов, поэтому ей недостает работ, где при-

существуют глобальные выводы, что присуще англосаксонской историографии. Понятно, что исторические работы нуждаются в ссылках на архивные документы, но в то же время для объяснения читателям в них надо стремиться приходить к выводам более широкого плана. Я, например, всегда на заседаниях абилитационных комиссий¹⁰ просил расширить область исследования, открыть некоторую перспективу, предложить глобальное видение проблемы. Немножко жалко, что пока работ такого плана маловато во французской историографии.

Интервью с Энтони Роули от 12 мая 2010

Я историк по профессии, сдал агрегационные экзамены, защитил диссертацию по экономической истории, учился все время в Сьянс-по и в 1981 г. я был избран в Сьянс-по постоянным преподавателем. Я там работаю всегда, и у меня имидж историка. Хотя на деле я скорее специалист по экономической истории и написал в этой области много книг, в том числе по истории XX века. Например, о Европе в соавторстве с Ж-М. Гайяром, об экономической истории России с 1850 по 1914 гг. Многие мои работы опубликованы издательством «Сей», половина из них – заграничными издательствами. Но мне не хотелось все время преподавать и писать на один и тот же сюжет. Сейчас я уже лет 15 увлекаюсь изучением истории гастрономии и кухни, причем не только французской, но и европейской. Работая в Сьянс-по, я познакомился со многими историками, но особенно один из них – Мишель Винок – стал моим близким другом. Благодаря ему, в 1981 г. я вошел советником в издательство «Кальман Леви». А потом моя издательская карьера продолжилась в издательстве «Плон», где я постепенно перешел к публикации не только исторических работ, но и книг по антропологии. Я издал последние 4 книги К. Леви-Строса. Потом я стал директором «Перрен» – первого издательского дома трудов по истории во Франции. Там как раз публиковались многие преподаватели Сьянс-по и Сорбонны, отсюда появилась и коллекция «карманных книг». Потом Оливье Нора, который публиковал работы по истории в «Гайяр», мне предложил сделать то же самое в издательстве «Файяр», где я и продолжаю работать, не покидая, однако, стен Сьянс-по. Что касается историографической панорамы Франции, то сегодня, на мой взгляд, в ней наблюдаются новые повороты, по сравнению с «местами памяти» П. Нора.

¹⁰ Во Франции, чтобы после защиты докторской диссертации получить звание профессора, нужно пройти специальную абилитационную комиссию, рассматривающую кандидатуры по совокупности написанных ими после защиты трудов.

Например, раньше идеи К. Леви-Строса и Ж. Лакана считались неприемлемыми для общественных наук, особенно их избегали историки. Может быть, благодаря моему издательскому опыту, я начал понимать, что это ошибка, и считаю, что вопросы социологии, антропологии и психоанализа могут послужить историкам. Поэтому я и опубликовал труды Дени Крузе «Святой Варфоломей», Кристиана Инграо «Верить и разрушать. Интеллигенция в разведывательной деятельности СС»¹¹. Мне представляется, что подобные книги очень важны для того, чтобы понять настоящее. Через них явно видны параллели между резней гугенотов в средние века и той, что происходила в недавнее время в Боснии. Или нельзя просто сказать про эсэсовцев, что все они дураки. Среди них были образованнейшие люди, почти 80% защитили диссертации. И такая жестокость! Откуда? Или возьмем Карла Шмитта и Хайдеггера. Крупнейшие ученые, мыслившие глобально, и такие убежденные нацисты. Какая судьба! Почему? Это надо объяснять в истории с помощью приемов социологии, антропологии и психологии. Еще один повод для размышлений можно извлечь из книг, посвященных колониализму. Явно, что как явление колониализм осуждали и критиковали. Но если посмотреть теперь, спустя 50 лет после крушения колониализма, то мы увидим, что освободившиеся страны в большинстве своем испытывают экономические трудности, во многих из них обострились социальные конфликты. Почему? Это тоже историкам помогают понять новые приемы. Наконец, сейчас наибольший интерес вызывают политические биографии, которым посвящено немало работ. Причем пишут эти книги по-новому, с привлечением приемов и методов из названных выше наук. В результате получается не просто жизнеописание отдельной личности, в работы вносится большой фон исторических событий, объясняющих и понимающих мотивов. Главное – попытаться не только рассказать, но объяснить и понять. То есть, как в антропологии – от деконструкции – к конструкции, иными словами – дойти при объяснении до самых маленьких ячеек, а потом сконструировать историю. И это очень интересно получается через политические биографии. Я знаю, что С. Берстайн, например, как последний столп позитивизма во французской историографии, явно с таким подходом не согласится, считая его не историческим. Но когда я ратую за новые подходы, я не веду речь о вторжении в историческое познание этих наук в чистом виде, а всего лишь выступаю за применение их подходов для понимания истории.

¹¹ Во французском варианте: Crouzet D. La Saint-Barthélemy; Ingrao C. «Croire et détruire». Les intellectuels dans les renseignements de la SS.

Интервью с Марком Лазаром от 18 мая 2010

Что меня побудило стать историком? Думаю, что первое – это школа. Учился я в Париже, историю начал изучать с начальной школы, она сразу меня привлекла тем, как ее рассказывали. Это была история славная и романтическая, способная вызвать слезы. Говорили о Бонапарте, о революции. Я был очень впечатлен взятием Бастилии и считал себя в юности бонапартистом и наполеонистом. В моем детстве ведь не было телевидения (я родился в 1952 г.), поэтому историю воспринимали через повествовательные образы. У нас в доме было радио и много книг. Вторая линия влияния на мое историческое призвание – семья. У меня она была очень политизирована, крайне левая, «коммунизирующая», как бы я ее назвал. В семье много говорили о политике, особенно отец – «попутчик коммунистов»¹². Он был врачом, брал меня на праздники газеты «Юманите», которые меня сильно впечатляли. Во время праздников его многие узнавали, пожимали ему руки. Особо повлияла на меня алжирская война. В моей семье с самого начала выступали за независимость Алжира, однако на улице нельзя было говорить о том, что обсуждают в доме, потому что по стране прокатилась волна покушений и преследований. Тогда никому не доверяли. Когда в 1961 г. ультраколониалисты устроили военный заговор, мой отец – участник Сопротивления, взял свой пистолет времен войны с намерением сражаться с оасовцами¹³. Собственно, я и вырос под влиянием Сопротивления. К тому же мой дед во время войны подвергался преследованиям как еврей. Поэтому в семье моей царил еще и антифашистский и антинацистский дух. После семьи и школы на меня очень повлиял лицей. Это был лицей Бюффон, где царил левая атмосфера. Среди учеников лицей было 5 погибших участников Сопротивления, поэтому каждый год устраивались их чествования, что также не могло не оказать определенного влияния. Таким образом, с детства во мне очень сильна была левая политическая культура. А к 1960 г. мы были уже все политизированы, что и вызывало преклонение перед политикой и историей. Я участвовал в политической жизни в троцкистской организации. Троцкистская культура – это культура чтения. Они много читали, и я прочел «Русскую революцию» Троцкого. Сейчас я эти ценности нисколько не

¹² Так во время холодной войны называли представителей левой интеллигенции, не входившей в компартию, но симпатизирующих ее идеям.

¹³ ОАС – организация ультраколониалистов, выступавших против предоставления независимости Алжиру, устраивавшая не только военный заговор, но и покушение на де Голля.

разделяю, но тогда – да. Даже когда я стал студентом, сначала я тяготел к археологии, но интерес к политике все же скоро перевесил. Поэтому в 1960-е гг. я был очень плохим студентом, учебой не занимался, а делал политику. И для меня не существовало истории, кроме той, которую предлагал марксизм. То есть я был убежден в том, что классовая борьба существовала во все времена, начиная с Античности. Сейчас мне стыдно за мое поведение, потому что я на лекции не ходил или устраивал забастовки и объяснял крупным преподавателям истории Античности и Средневековья, что они ничего не понимают в истории, раз не говорят о классовой борьбе. Учиться я начал в 1976 г., в 24 года, оставил тогда политику и попытался восполнить упущенное. Тоже не без помощи отца, который однажды сказал мне, что хватит делать революции, пора подумать о профессии и работе, ибо революция во Франции не состоится. Тогда-то я серьезно обратился к истории, причем не коммунистической и не марксистской. Так как я не учился, я с трудом прошел агрегацию. Я ведь не знал, ни кто такой Ле Руа Ладюри, ни Жак Ле Гофф, ни Дюби, ни М. Блок. Я знал только Маркса, Ленина и Троцкого. Из тех ученых, кто повлиял на меня, назову, прежде всего, профессора философии Блондин Крижель, которая учила меня в последних классах лицея. Она была «коммунизирующая», поэтому в рамках учебной программы рекомендовала нам для чтения только «Капитал» Маркса и труды Спинозы. Но, изучая даже только эти работы, от нее я научился исследовательской строгости. Очень любила Б. Крижель и историю. Это она меня сориентировала в класс «ипокань», в который я поступил в лицей Севра¹⁴. В этом лицее я встретил еще одного, сильно на меня повлиявшего профессора – мадам Павар. Хотя, как я уже говорил, записавшись после «ипокань» в Сорбонну, я кинулся делать политику и на долгие годы прервал учебу. Я срывал курсы К. Николе, других маститых ученых, за что, повторяю, мне сейчас стыдно. Но когда я вернулся к учебе, я открыл для себя Ле Гоффа, Дюби, М. Блока, Ф. Броделя, Р. Ремона, Ф. Фюре. Их я открыл через книги, не зная лично, а лично на меня сильно повлиял Жак Жюльяр, под руководством которого я и защитил диссертацию в Высшей школе социальных наук. Несмотря на то, что позже он оставил Школу и стал журналистом, ему принадлежат серьезные работы по истории рабочего класса в XIX - начале XX в. Что в нем поражало, так это его свобода в творчестве. Он никогда не был историком-конформистом. Под его руководством я «демарксизировал-

¹⁴ Так во Франции называют специальные подготовительные классы для поступления в элитные высшие учебные заведения, а также учащихся в них.

ся» и узнал, что такое настоящий интеллеktуал. Узнал я также, что он был левым католиком. Для меня это было нечто! Ведь раньше я считал, что такое сочетание ненормально. Кроме Ж. Жюльера, на меня сильно повлияла в профессиональном плане Ани Крижель. Она меня образовывала по истории коммунизма. А. Крижель – лучший специалист по истории коммунизма в Европе и мире. Она была антикоммунисткой и в то же время крупным специалистом по истории коммунизма. Ее отличало то, что она ненавидела упрощенные подход и ответственно подходила к работе, требуя того же от других. Затем, постепенно я открыл Рене Редона, который был в жюри по моей диссертации. Назову еще Жана-Франсуа Сиринелли, Сержа Берстайна, Пьера Мильзу. Все они важны для меня как историки. Потом я на 1986–1987 учебный год уехал учиться во Флоренцию. Там я тоже повстречал крупных специалистов, в частности, Даниэля Роша, занимавшегося европейской политикой. Таким образом, я сформировался в профессиональном плане под влиянием двух тенденций – французской политической науки, а в Италии – европейской и американской. Потом М. Дюверже и Ж. Блондель пригласили меня на научно-исследовательскую работу в Сорбонну. Я как-то одновременно начал заниматься историей, политическими науками и социологией. Я немного знал лично Алена Турена, но с работами его ознакомился хорошо. Потом я встретил Ф. Фюре, к которому особенно проникся после появления его книги про коммунизм¹⁵. У меня есть разногласия концептуального плана с Сержем Берстайном. Он считает, что сначала надо работать с документами, а потом выдвигать гипотезу, а я, напротив, считаю, что сначала надо выдвинуть гипотезу, а потом, как учат социологи, искать документы, чтобы или ее подтвердить, или опровергнуть. Тем не менее, наши разногласия не помешали С. Берстайну поспособствовать моему вхождению в Сьянс-по, что лишний раз подтверждает его человечность. Я ему очень обязан. У него большая свобода мысли и творчества. Кроме того, я очень уважаю и сотрудничаю в докторантской школе с преподавателями Гарварда, крупными специалистами, в том числе и по французской истории. Еще меня очень вдохновляют труды Мориса Огюлона. Я его видел раза два-три. Он вообще был довольно скрытный, осторожный. В моей памяти навсегда сохранились субботние семинары в Нантере, которые проходили раз в месяц, длились весь день, и куда приходили историки-мэтры и мы – молодые – для обмена мнениями. Сейчас студентов не заставишь приходиться по

¹⁵ Имеется в виду книга «Потерянная иллюзия», переведенная в 1996 г. на русский язык.

субботам, а тогда эти семинары притягивали массу народа. Там я участвовал вместе с Ж-Ф. Сиринелли, П. Ори, мы там были самые молодые, хотя они и постарше меня. Из крупных историков в этих семинарах участвовали Р. Ремон, Ж-Ж. Беккер и др. Там и студенты делали презентации. Р. Ремон приходил, как правило, после обеда. И однажды я был шокирован тем, что, слушая студента, Р. Ремон писал письма министрам и другим важным чиновникам. Сначала я думал, что он ничего не слушает, но тот мог вдруг вставлять такие реплики или задавать такие вопросы, что я понял, что он делает оба дела сразу вполне ответственно и осознанно. Очень мне запомнился и семинар Ани Крижель по истории коммунизма, тоже в Нантере. Там много было свободы, туда приходили специалисты из CNRS¹⁶, нам посчастливилось услышать на них многих маститых ученых. Я думаю, что, начиная с 1980-х гг., французская историография слишком специализировалась и расплылась. Существуют еще дух «Анналов», Сьянс-по, институтов, Высшей школы, CNRS и т.д. Направление «Анналов» сохранилось, но оно сейчас не очень влиятельно. Развиваются направления по истории культурной, политической и пр. Но что меня больше всего поражает, так это чрезмерная специализация исследователей по определенным периодам, тогда как Р. Ремон, С. Берстайн и другие представители старой гвардии имели более широкий диапазон мышления и считаются мастерами синтеза и глобальных обобщений. Они могли охватить сразу XIX–XX вв., руководить семинарами, охватывающими длительный исторический период. Сегодня ситуация изменилась. В целом, так случилось по причине возникновения спроса на историческую продукцию такой-то специализации, таких-то сюжетов. Удовлетворить подобный заказ подчас доступно лишь коллективам исследователей. Я сожалею об этом, мне не хватает этой общей исторической культуры, и я думаю, что такое положение дел характерно не только для французской, но, как мне кажется, и мировой историографии. Теперь все коллективные проекты, контракты, деньги. Раньше историки были индивидуалистами. С другой стороны, хорошо, что история становится все более интернациональной. Наряду с этим во французской историографии обозначилась еще одна проблема. Дело в том, что многие наши историки интересовались только своей историей, «варились в собственном соку», и следствием этого стало то, что французская историография оказалась немного провинциальной. Мы теперь маленькая провинция большого мира, и французские историки только теперь начали это осознавать. Я же прочувствовал это раньше, потому

¹⁶ По-французски – CNRS – Национальный совет научных исследований.

что довольно рано побывал во Флоренции, в Европейском университете. Проблема эта усугубляется еще и тем, что историки наши писали только по-французски, а сейчас надо писать по-английски. Это когда все зачитывались «Анналами», тогда все и учили французский язык, но теперь эти времена прошли. Историческая наука сегодня более открытая и носит сравнительный характер. У нас в Сьянс-по молодежь двуязычная, все владеют английским языком, а иногда еще и каким-то другим. Итак, подчеркну еще раз, что нынешние исторические исследования требуют коллективных усилий, решают задачи сравнительного плана, зависят от финансирования. И вдобавок – сегодняшняя история междисциплинарная. Часть историков обратила свои взоры на антропологию, другая опирается на социальные науки, еще одна – на социологию, а некоторые – создают культурную историю. Я рад этому, потому что в новых подходах отнюдь не растворилась и история хронологическая и фактологическая. Касаясь имен, назову прежде всего Пьера Розанваллона и Франсуа Фюре, создавших концептуальную политическую историю, Рене Ремона, заложившего основы глобальной политической, культурной и социальной истории. Признанный специалист в области истории антропологической – Морис Огюлон. На мой взгляд, А. Крижель и Ф. Фюре вообще не поддаются классификации. Ф. Фюре ведь значительную часть своей жизни работал над созданием своей теории с философами. Теперь Ж-Ф. Сиринелли и я воплощаем идеи Р. Ремона по политической культуре. Я занимаюсь политической культурой левых. Сегодня многие политологи пришли работать в историю. Произошел исторический поворот в политической истории. Хотя нельзя не отметить, что на этом фоне как-то перестали уделять внимание истории государства и его институтов, конституционному устройству. Но в целом, историческая наука сегодня во Франции процветает. Стали, например, появляться интересные работы по истории Первой мировой войны, которые разорвали с прежней традицией описания войн. В этих работах авторы размышляют о насилии во времена войн, о социальных последствиях «выхода» из войн. Я сам представляю себя как историка, который занимается политической историей, опираясь на методы антропологии и социологии. Однако историки считают меня слишком политологом и социологом, а политологи и социологи – наоборот, слишком историком. Правда, что я никогда не забываю М. Блока и Л. Февра, всегда по программе рекомендую их читать студентам. Ценю также Ф. Броделя, М. Огюллона, Р. Ремона и П. Нора. Я слушал курс П. Нора в Сьянс-по, и это было великолепно. Он историк, обладающий экстраординарной элегантностью. А на работу в Сьянс-по вести курс «Исто-

рия и политическая социология Европы» меня сначала пригласил Д. Кола. До этого я выдвигался на пост доцента в Нантер и Париж-1. В Нантер не прошел, а в Париж-1 меня приняли, и там я проработал 4 года. Наконец, мою кандидатуру на должность руководителя школы докторантов в Сьянс-по поддержал С. Берстайн. Сьянс-по – это была моя мечта, потому что в Сьянс-по чрезвычайно развита междисциплинарная история, горячим сторонником которой я являюсь. В университетах этого нет. Словом, я всем обязан С. Берстайну. Я думаю, что больше не существует национальной историографии, чему рад. Не секрет, что много интересных работ по истории нашей страны написано иностранными специалистами. Например, очень интересно о нашем Старом режиме XVII-XVIII вв. написал американец Стивен Каплан. Зато остается национальная традиция в образовательной методике. Например, если на конференциях выступает француз, то он начнет с краткого вступления, потом изложит план, а потом приступит к содержанию доклада. Итальянец будет бесконечно читать свое вступление, объясняя, кто что написал. Учитывая то, что на доклад обычно отводится 30 мин., у него не останется времени на основную часть. А американец начнет с анекдота и вслед за тем из него будет развивать сюжет уже на основе источников. К тому же во Франции историю преподают в неразрывной связи с географией, чего нет в других странах. Зато наши историки не изучают антропологии, социологии, философии, права. А в Германии, например, совершенно невозможно проходить абилитацию по теме диссертации, как это делается у нас. Иными словами, налицо разница в процессе формирования историка. В качестве положительных сдвигов в этом процессе можно назвать то, что сегодня во Франции нельзя защищать диссертацию, не цитируя работ иностранных специалистов, равно как и то, что наши студенты, благодаря Интернету, свободно ориентируются в информационном пространстве. И все же теперь у истоков многих новейших исследовательских подходов стоят американские историки. Многие ведущие научные школы находятся в США. В них впервые начали изучать гендерную, сексуальную историю и тому подобное, тогда как во Францию все эти направления пришли запоздало. Мне жаль, но это так. Хотя постепенно и мы подключаемся к освоению новых тем, участию в крупномасштабных проектах по изучению войн, общественной политики, холодной войны. В нашей стране неплохо развиваются история культурная, репрезентативная, европейская. Интересно, например, понять, почему американская массовая культура победила советскую. Раньше все объясняли деньгами, военной мощью, богатством экономики, но очевидно, что такого объяснения не достаточно. Истори-

ческое пространство глобализируется, но в нем сохраняются различия в методике преподавания и требованиях к подготовке специалистов. Например, итальянские историки начинают учиться с усвоения того, кто что написал: Н. Макиавелли, Б. Кроче, А. Грамши. Причем читают они труды предшественников не критически, тогда как американские историки все прочитанное подвергают критике. В Германии истории обучают очень по-философски и по-социологически. А во Франции история идет рука об руку с географией. Отчасти поэтому в нашей стране крупные специалисты-новаторы, такие, как Ф. Бродель, не работают в университетах. Их быстренько отправляют в Высшую школу социальных наук, или в Коллеж де Франс, или в Сьянс-по. Сегодня французской историографии явно не хватает выхода на международный уровень и на другие дисциплины, в том числе на философию, антропологию, социологию, теоретические и политические науки. Подобную открытость можно наблюдать в Высшей школе, но в университетах, особенно в провинции, студенты изучают историю по прежней схеме: Античность, Средние века и так далее, география. И опираются там в основном на историографию французскую. Наряду с открытостью сегодня велика значимость трудов коллективных. Я много таких выпустил, но не все историки приветствуют их появление. Бесспорно, коллективные исследования должны совмещаться с индивидуальными. У меня проекты по сравнительной истории «левой» и государства в Европе: Франции, Италии, Германии и Англии. Есть и индивидуальный проект, посвященный изучению взаимоотношений левых и государства во Франции в XIX–XX вв. Задумал я также написать книгу по итальянской истории, опираясь на методы антропологии и социологии, посвятив ее «вульгаризму и рафинизму» в Италии, ибо представляется мне, что страна эта самая вульгарная и рафинированная в мире. Книга будет о С. Берлускони. На его примере я и попытаюсь рассмотреть этот феномен.

Интервью с Я. Деэ от 21 мая 2010 г.

Диссертацию на тему: «Политическая мифология во французском кино» я защитил в Сьянс-по под руководством Пьера Мильзы. В 2000 г. она была опубликована, а сейчас я уже сам редактор издательства «Новый мир». Годы моего профессионального формирования пришлись на 1980–90-е, которые по праву можно назвать «сильной эпохой». Тогда Высшим циклом социальной истории XX в. руководил С. Берстайн, после министерского поста туда вернулся Ж.-Н. Жаненэ, на долю которого, когда он был в правительстве Ф. Миттерана министром культуры и связи, выпала честь подготовить празднование 200-летия Французской

революции 1789 г. Преподавал в Цикле находившийся как бы между историей и журналистикой Алэн-Жерар Слама, известный также как автор передовиц в «Фигаро». Он вел очень интересный семинар на тему: «Политическая история и литература». Еще я посещал семинар под названием: «История, искусство и общество». Незабываемые впечатления остались от семинаров М. Винока и Р. Ремона. Мне повезло застать последний год семинаров Р. Ремона по правам и нации, а также поучиться у первого директора Цикла Рауля Жирарде, который оказал на меня особое влияние. Это ведь у него я, по сути, позаимствовал идейный замысел, приступая к работе над моей диссертацией, потому что именно он занимался тогда изучением политической мифологии. Теперь историки много говорят о влиянии политических мифов на политическую культуру рядовых граждан. Большое внимание, в частности, уделяется такому мифу, как сплочение, единение простых людей. Так я предстал структуралистом, изучавшим с помощью мифов и мифологии французское общество. В принципе, я не возражаю против того, что это мелкие элементы, своего рода полу-темы, но, тем не менее, они служат важными компонентами политической культуры общества. Когда мы обращаемся к кино, мы же изучаем не столько режиссеров, актеров и персонажи, сколько важные жизненные темы и проблемы. К примеру, на некоторые фильмы французы шли, чтобы увидеть «Вечный Монмартр» или национальные традиции и т.п. Или вспомню, как в 1983 г. нашумела комедия Ж-М. Пуаре «Мой папа был в Соппротивлении», жесткая и развеявшая миф о том, что все французы сразу были сопротивленцами. Фильм продемонстрировал их в большинстве своем коллаборационистами. Исследовательские сюжеты, подобные тому, который я выбрал для своей диссертации, представляют собой один из подходов к изучению политической культуры простых людей, а именно – через изучение мелких объектов, последующее затем облачение их в научную форму и придание им научной трактовки. Этот подход подтолкнул развитие культурной истории, составляющей одну из ярких страниц французской историографии. Например, несколько месяцев назад была блестяще защищена диссертация Клэр Секэ на тему «Преступления в кино», которую я издал в 2010 г. Прорыв культурной истории во Франции обеспечило несколько ключевых фигур из мира ученых: в Сьянс-по это Ж-Н. Жанненэ, в Высшей школе социальных наук М. Ферро, сейчас в Париже-1, а тогда в университете Версаля – П. Ори. Они специализировались по истории XX в., но можно вспомнить и несколько имен из тех, кто посвятил себя истории XIX в. Причем продвинуть ее на историческом пространстве они смогли благодаря своему

научному авторитету, завоеванному по «серьезным сюжетам»: М. Ферро по истории СССР, Ж-Н. Жаненэ по истории левых, П. Ори по культурной политике Народного фронта. Надо причислить к этой когорте еще Ж-Ф. Сиринелли, который пришел к культурной истории от истории интеллектуальной, и Роже Шартье, писавшего об интеллектуальной истории. Вообще все эти «отцы-основатели» защитили диссертации по классической истории и лишь потом занялись культурной историей. А сейчас сюжеты по культурной истории утвердились, их активно разрабатывают 30-50-летние исследователи. В университете Версаля на этом поприще эстафету от П. Ори принял К. Дельпорт. Под руководством П. Ори он защитил диссертацию на тему «Деньги и литература в XX веке» и возглавил Центр культурной истории после ухода своего шефа. В Институте Нового времени это направление развивает Ж. Нива. Теперь там проводятся семинары по истории телевидения, кино и т.д. Если для поколения М. Ферро сюжеты из культурной истории считались хобби, то молодые исследователи берутся за самые смелые сюжеты, такие, как история джаза, комиксов и др. Это исследователи без комплексов. Иными словами, культурная история легитимировалась. Теперь и в университетах создаются посты специально для тех, кто занимается культурной историей, хотя и не без дискуссий по поводу назначений. Наше издательство много публикует историков этого направления. Так, мы опубликовали книги Лорана Мартана, защитившего диссертацию на тему о «Канар аншене»¹⁷, Лидвин Бантини, защитившей диссертацию о французской молодежи в годы алжирской войны, в которой был поставлен вопрос о том, сложилась ли общая культура у призванных на эту войну. Вышли в нашем издательстве работы, посвященные культуре простой молодежи в 1960-е гг. Появляются совершенно новые исследовательские сюжеты (например, по истории разведок), которые раньше были засекречены и доступны лишь военным историкам, а теперь, как видите, диссертации о разведывательной деятельности свободно защищаются в гражданских вузах. То же можно сказать об истории спорта. В Сьянс-по, например, ведется семинар по истории спорта. Естественно, такие темы тоже нуждаются в источниках для интерпретации, цитирования, получения точных данных. Понятно, что тут нужны и новые технологии хранения источников. Но теперь есть такие технологии, каких не было 20 лет назад. К тому же, например, когда я начинал писать свою диссертацию, большим подспорьем служила ки-

¹⁷ «Le Canard enchaîné» - известная французская политическая сатирическая газета с почти столетней историей.

нокритика тех лет. Случались и интересные метаморфозы. Кристиан Ле Бек, например, от изучения дореволюционных и революционных карикатур превратился в историка кино. Так в наши дни оказалась возможной инверсия в исследовательских подходах. На мой взгляд, национальные исторические школы не исчезли, несмотря даже на то, что сейчас в мировом масштабе французская историография занимает весьма скромное место. Самый ее плодотворный период приходится на 1980-90-е гг., но тогда она была закрыта еще сильнее. Сегодня французская историография «открывается». Например, в Париж-3 на преподавание истории кино избрали немца. И на разных конференциях, особенно в США, совершенно неожиданно встречаются соотечественники. Иными словами, современные историки хотят путешествовать, тогда как прежде, на протяжении 50 последних лет, французская историография была, в известной мере, непроницаемой. Сегодня в США трудится больше французских профессоров, чем в самой Франции. По крайней мере, в математике – это факт. Вместе с тем французских историков мало еще переводят в США. Для более полного «открытия» французам не хватает денег, но я надеюсь, что это изменится. Мне, например, удивительным кажется почти отсутствие связей между историками Квебека и Франции. У нас ведь один язык. Что касается проблем сегодняшней французской историографии, то, на мой взгляд, их две. Проблема первая, с моей точки зрения как издателя, связана с умением писать. Дело в том, что молодых историков не научили писать исторические тексты. Это относится, например, к сюжетам по Средневековью, которые пестрят массой современных слов. Нужно учить студентов разным типам исторического языка. Сегодняшние тексты диссертаций по истории Средних веков сильно разнятся с теми, что писали в эпоху Ж. Дюби, сплошь состоят из жаргонной речи, отчего страдает качество. К тому же из-за широкого распространения Интернета издатели теперь должны строго проверять написанное. Существуют специальные курсы по обучению пользованию электронными ресурсами. На мой взгляд, не нужно и такое требование к диссертациям, как обширное цитирование. Зачем это? Для того лишь чтобы показать, что читал книги. В итоге тексты диссертаций огромные, и издатели не хотят их публиковать, ибо будут вынуждать соответственно больше платить читателей. Вторая проблема, типичная для французской историографии связана с ее чрезмерной специализацией, которой не существовало 20 лет назад. Поэтому сегодня затруднительно появление крупных историков, которых почитали бы все, как это было в мои годы. Нет общей исторической культуры. Сегодня среди поколения 40-летних историков есть хорошие специалисты, но все же

они не мэтры. Если в 1980-90 гг. можно было прочесть все исторические новинки, то теперь это физически невозможно. Р. Ремон, в конце 1980-х гг. сказал мне, что перестал читать, ибо это не реально. Над этой проблемой надо подумать. Конечно, есть исключения. Упомяну двух молодых исследователей. Один – медиевист и «нормальянец» Патрик Бушерон. Он сумел выйти за узкие рамки своей специализации. В прошлом году под его редакцией в издательстве «Файяр» вышел коллективный труд о средиземноморском мире в XV в., а два года назад в литературном издательстве он опубликовал исторический роман о Н. Макиавелли. Другой заметной фигурой среди молодых историков является Антуан Литии, возглавляющий редакцию «Анналов». Однако большинство 35–50-летних историков все же слишком зациклены на своей области исследования.

* * *

Думается, что, подытоживая размышления французских историков о пространстве политической истории в современном глобализирующемся мире, не стоит делать пространных выводов, ибо вдумчивый читатель сумеет самостоятельно выбрать то, что покажется ему необходимым для собственного творческого поиска. Очевидно одно: чтобы занять свою нишу в универсальном историческом мире, и французским, и российским историкам надлежит издавать свои труды на английском языке.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Бессмертный Ю. Л.* Как же писать историю? Методологические веяния во французской историографии 1994–1997 гг. // Новая и новейшая история. 1998. № 4.
Историография нового и новейшего времени стран Европы и Америки. М., 2000.
Канинская Г. Н. Историк об историческом знании и о себе. Интервью с директором центра истории Института политических наук Парижа профессором Ж.-Ф. Сиринелли // Диалог со временем. 2010. Вып. 30. С. 291–304.
Мозильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века. Вып. II. Томск, 2003.
Ревель Ж. История и социальные науки во Франции. На примере эволюции школы «Анналов» // Новая и новейшая история. 1998. № 5, 6.
Ретина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. Изд. 2-ое, исправленное и дополненное. М., 2009.
Jeanneney J.-N. Concordance des temps. P., 2005.
Rioux J.-F., Sirinelli J.-F. Histoire culturelle de la France. T. 4. Le temps des masses. P., 1998.
Sirinelli J.-F. Comprendre le XX-e siècle français. P., 2005.

Канинская Галина Николаевна, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова; kaninsk6@mail.ru

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

А. Б. СОКОЛОВ

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ И НЕРЕДКИЙ ПРИМЕР ЗАПУТАННОСТИ МЫСЛЕЙ»

О СТАТЬЕ М. И. БАЦЕРА «ДВЕ АНГЛИЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ
КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА»

В статье содержится критический анализ предлагаемых М. И. Бацером подходов к пересмотру сложившегося в советской историографии понимания преемственности между революцией 1640–60 гг. и Славной революции 1688 г. и оценок исторической роли последней. Автор указывает на избирательный характер работы Бацера с историографическими источниками, игнорирование им результатов исследований современных зарубежных историков, односторонние оценки трудов советских англоведов.

Ключевые слова: М. И. Бацер, Славная революция и ее последствия, революция 1640–60 гг., левеллеры, советская историография двух английских революций.

Опубликованная под рубрикой «Приглашение к дискуссии» в «Диалоге со временем» (2011, № 35) статья М. И. Бацера «Две английские революции как историографическая проблема» побудила к размышлениям не только об английских революциях XVII в., но и состоянии современной российской историографии. Идея автора заключается в привлечении внимания к Славной революции 1688–89 гг., которой и посвящена основная часть текста. Пожалуй, с М. И. Бацером можно согласиться только в том отношении, что это событие британской истории действительно остается в тени Великой английской революции, тогда как оно заслуживает большего внимания историков. Что касается всего остального, то возражений куда больше, чем хотелось бы.

Главный тезис автора состоит в утверждении, что «необходим полный пересмотр отношения к Славной революции – великому событию мировой истории» (с. 311). Принимая как аксиому утверждение, что любой историк имеет право на собственную точку зрения, я исхожу из того, что главной задачей историографии является оценка уровня ее аргументации. Совершенно очевидно, что костяком аргументации в рассматриваемой статье является опора на некоторых историков XIX в., прежде всего, на Ф. Гизо и Т. Маколея. Автор не приводит никаких иных аргументов, кроме тех, которые он черпает у них, и не случайно в подтверждение своих позиций приводит длинные цитаты из их работ.

Например, ключевой смысл несет отрывок из Гизо, который, по утверждению Бацера, «великолепно ответил» советским историкам за 100 с лишним лет до появления их работ: «Часто говорилось во Франции, и даже в Англии, что революция 1688 года была делом в сущности аристократическим, ненародным, совершившимся по соображениям высших сословий и в их пользу, а не вследствие побуждения целой нации и для ее блага. Замечательный и нередкий пример запутанности мыслей и забвения фактов, которыми так часто руководствуются при оценке великих событий! Революция 1688 г. сделала в области политики два самых популярных дела, какие только знает история. С одной стороны, она провозгласила и обеспечила личные и всеобщие права простых граждан, с другой – деятельное и решительное участие народа в своем правлении. С нравственной стороны революция 1688 г. имела еще более популярный характер: она была совершена во имя религиозных убеждений народа и их силою совершена для их обеспечения и господства. Никогда, ни в какой стране вера масс не оказывала такого влияния на судьбу их правления. Народная по принципам и результатам революция 1688 г. была аристократическою по исполнению» (с. 298–299). Фактически в аргументации великого исторического значения (так говорили в советское время о другой революции) Славной революции Бацер не идет дальше Гизо; он не привносит нового в наши знания о Славной революции (что отчасти простительно в связи с историографической постановкой вопроса). Как и Гизо, он фактически сводит свои рассуждения к последствиям Славной революции. Резюмируем, *что* по этому поводу сказано у Гизо: были обеспечены личные права граждан; было обеспечено право граждан участвовать в управлении; были обеспечены религиозные убеждения народа. К этим пунктам мы вернемся ниже.

Буду откровенен: написать эти строки меня побудил не столько интерес к Славной революции как таковой, а авторский стиль Бацера, способ, избранный им для аргументации своей позиции. Он дважды упоминает о том, *что* «каждому студенту-историку ныне должно быть известно», но и каждому историку-специалисту должно быть известно, что есть минимальные историографические требования, которые должны выполняться, тем более, если сделана заявка на переосмысление непростой исторической проблемы. И в этом отношении у меня есть три основных замечания, на которых я остановлюсь подробнее.

Во-первых, я утверждаю, что для автора характерен «избирательный» способ анализа источников (в данном случае историографических источников XIX в.): он «принимает» те из них, которые подтверждают его позицию, и отвергает те, которые его не устраивают. Пользуясь по-

нятием Р. Коллингвуда, это типичная «история ножниц и клея». У него есть свои «герои» (к их числу отнесены, прежде всего, Гизо и Маколей) и «антигерои», те, кто посмел сомневаться в величии Славной революции (Тьерри, Маркс со всеми его продолжателями, Мишле). Он вовсе не считает нужным упомянуть, что в этой последней группе «антигероев» именно те историки, для которых слово «народ» было не пустым звуком, которые потому и были несколько скептически к Славной революции, что видели в ней не народное, а верхушечное, «аристократическое» движение. Зато его «герои» – это «выдающиеся историки и политики». (И это сказано, в частности, о Гизо, своей непопулярной политикой приблизившем революцию 1848 года. Быть премьер-министром еще не значит быть выдающимся политиком). Гизо «великолепен» в своих ответах критикам, почти как герой Бельмондо в одноименном фильме. Маколей способен «вскрывать» историческую «механику» (с. 305), давать «подробнейшую характеристику» (с. 302), проводить «блестящее сопоставление революций в Англии и на континенте» (с. 304). Другой либеральный историк, Дж. М. Тревельян, способен «сделать компаративистское резюме» (с. 304). Не так плох и «прогрессивный» историк Дж. Р. Грин, которому в статье «предоставлено слово» (с. 305). Надо полагать, что Тьерри в глазах Бацера – автор глубоко реакционный.

«Героям» противостоят «антигерои», которых наш автор именует не иначе как «очернителями», что весьма экзотично звучит в устах человека, призывающего избавиться от «вульгарной социологии» и вредных стереотипов: «При внимательном анализе проблемы (где бы найти его в этой статье! – А. С.) фальсификаторами истории предстают не Маколей и Гизо, апологеты Славной революции, а те историки, которые выступали как ее очернители» (с. 297). Чего еще ожидать от очернителя Тьерри, кроме того, что он высказывается «в вопиющем противоречии с реальной логикой исторического процесса», а статьи его «содержат поразительную по нелепости и полной бездоказательности фальсификацию реального исторического значения событий» (с. 303). Он, видимо, человек нецивилизованный, ибо не признает, что цензуру отменила Славная революция, а «это давно признано всеми цивилизованными людьми» (с. 303). Чего ожидать от англофобов Стендаля и Мишле, «ненавидевших английские порядки» (с. 299)? Не знаю, есть ли смысл напомнить нашему автору то, что известно «всякому студенту-историку», изучавшему в университете курс историографии: как историк Огюстен Тьерри, по меньшей мере, равен Франсуа Гизо, и потому заслуживает не меньшего уважения, а его мнение не меньшего внимания. Для критики нужны весомые аргументы, а не навешивание ярлыков. Защищая Мако-

лея от обвинений в «фальсификации истории», М. И. Бацер сам так полюбил это словечко (таково, увы, влияние контекста времени и сила политики языка), что и сам охотно и часто к нему прибегает по отношению к тем, чья позиция его не устраивает: «Всякий образованный человек, читавший роман, может разоблачить эту наглую фальсификацию» (с. 303). Что в этом случае вызвало праведный гнев автора статьи? То, что в каком-то фильме по мотивам «Одиссеи капитана Блада» Р. Сабатини (в каком, остается в мыслях негодующего Бацера), авторы посмели вставить фразу по поводу Славной революции: «Опять толстосумы у власти!» Надо было, видимо, воскликнуть: «Ура, народ у власти!», благо, что речь идет о фильме, то есть о художественном произведении, что дает его создателям (напомним об этом нашему разоблачителю фальсификаций) право свободнее интерпретировать прошлое, чем это дозволительно историку.

Остается только сожалеть, что автор публикации мало что взял от той интеллектуальной свободы, которой (при всех *но*) российские историки пользуются в последнюю четверть века. Призывая преодолеть недостатки советской историографии, он не предлагает лишь смену знаков, не понимая, кажется, что от перемены мест результат не меняется. Вооруженный тем же арсеналом, который использовался в далеко не лучших работах советского времени, он также готов «навешивать ярлыки», шельмовать за отличное от собственного мнение, а главное быть твердо убежденным в своей исключительной правоте. Нет более ясного проявления примитивного позитивизма, чем рассуждения о положительном или отрицательном значении исторического события (а именно к этому Бацер в конечном счете сводит свои выводы). Прошлое неизмеримо сложнее, чем утверждение о способности историка предложить «истину, которая, как известно, познается в сравнении» (с. 304). Уверенность в опоре на «факты», частые заклинания об исторической «реальности», например, «ганноверской реальности», которую, как должен понять читатель, именно наш автор и сумел познать, не убеждают, а лишь свидетельствуют: методологической основой его рассуждений остается позитивистско-марксистская логика. Собственно, он сам «проговаривается»: «На наш взгляд, исторический материализм как раз требует высочайшей оценки характера и результатов Славной революции» (с. 299). Многократные напоминания об «элементарных фактах», «несомненных фактах» (напр., с. 300-301, 307), служат всего лишь доказательством того, что автор не различает факты и суждения. Вот лишь один пример «элементарного факта»: «После 1688 г. в Англии стало невозможным появление новых деспотов» (с. 300). Остается только

восхититься логикой автора! Кого он понимает под деспотами? Уж не Карла ли I? Или Якова II? А что не добавить Георга III или Георга IV, которых ряд современников был склонен обвинять в деспотизме? Обвинения Георга III в тирании (см. «Декларацию независимости») послужили поводом для его подданных, американцев, к восстанию. Однако Бацер, видно, не считает, и не без основания, этого короля деспотом и тираном. Другими словами, как можно выборочные оценочные суждения современников называть «фактами», подменять анализ точек зрения в контексте времени и интересов вовлеченных лиц идеологически зашоренными лозунгами? Это ли не «вульгарная социология», против которой автор выступил в крестовый поход! К сожалению, он далек от того, чтобы воспринимать историографию в контексте дискурсивности, для него она, как была, так и осталась местом идеологической схватки.

Во-вторых, материал статьи ни в малейшей мере не свидетельствует о том, что автор сколько-нибудь знаком с новейшей историографией проблем британской истории по теме английских революций, наоборот, он черпает свои аргументы из прошлой историографии, позиции которой многократно пересматривались историками. Любой исследователь вправе принимать одно и отвергать другое, но он не имеет права скрывать от читателя целый пласт аргументов, относящихся к обсуждаемому вопросу. Непонятно, как можно представлять читателю претендующую на проблемный характер статью, в которой вовсе отсутствует минимально необходимая информация о современном состоянии изучения темы. Обращение к новейшей исторической литературе доказывает: взгляды Гизо и Маколея, как, впрочем, Тьерри и Мишле, далеко не отражают современных представлений о Славной революции, о ее месте в истории Англии. И те аргументы, которые приводит Бацер, ссылаясь на Гизо и Маколея, выглядят архаично и неубедительно.

Не имея здесь возможности представить современную британскую историографию проблемы сколько-нибудь полно, ограничусь некоторыми примерами. Обратимся сначала к тому направлению в историографии, которое именуется неолиберальным, и которое, при всех *но*, развивает взгляд, любезный нашему автору – о важности Славной революции и ее последствий. Очевидно, что даже историки этого направления, однако, далеки от того, чтобы трактовать эти вопросы так, как это делали историки XIX века. Один из самых известных в британской историографии трудов – книга Б. Коварда «Век Стюартов. Англия 1603–1714» (впервые опубликована в 1980 г.)¹. Этот автор не отрицал значи-

¹ Coward. 1994.

тельных изменений, произошедших за сто с лишним лет, но полагал, что они происходили постепенно, эволюционно: «Славная революция 1688-9 гг., как и Английская революция и режим Реставрации, вызвали очень немного изменений долговременного характера в конституционном устройстве, и в финансовой и административной системе короны»². Ковард утверждал, что и после Славной революции корона вполне могла оставаться политически независимой от парламента. Если наметилась иная тенденция, то к самой Славной революции это имело только косвенное отношение. Катализатором конституционных изменений явилась не она, а войны, которые велись при Вильгельме III и королеве Анне и потребовали бюрократизации управления и улучшения королевских финансов. По мнению Коварда, Вильгельм III был вынужден вступить в диалог с парламентом по вопросам финансирования войны не раньше 1701 г. Что касается войн 1690-х гг., то их с полным основанием называют «войнами короля Вильгельма», о своих планах и действиях король не считал тогда нужным информировать не только парламент, но даже министров³. Ковард подчеркивал, что вывод о том, что к восшествию Ганноверов на английский престол в 1714 г. сложилась конституционная система, отличная от прежнего государственного устройства, ошибочен. Он писал: «Поздние Стюарты правили в той же мере, что и царствовали. Правительство в 1714 г. все еще было преимущественно личным управлением монарха. Вильгельм III и королева Анна (как и Георг I) сохраняли твердый контроль над процессом принятия правительственных решений. Центром политики оставался королевский двор. Министры должны были иметь поддержку в парламенте для предпринимаемых ими мер, но их главной заботой оставалась благосклонность короля, вместе с ее потерей рушилась их политическая fortuna. Персональные склонности и симпатии монарха по-прежнему имели главное политическое значение. Возникновение кабинета министров ни в каком смысле не разрушило личной власти монарха»⁴. Видимо, Ковард не читал советских учебников истории (в частности, не единожды цитируемого Баццером учебника под редакцией Е. Е. Юровской, М. А. Полтавского, Н. Е. Застенкера), а то он бы знал, что «каждому студенту-историку ныне должно быть известно, что власть первых Георгов была чисто формальной по сравнению с полным верховенством парламента». Таковы, по мнению Баццера, «реалии ганноверского пе-

² Ibid. P. 449.

³ Ibid. P. 457.

⁴ Ibid. P. 496.

риода» (с. 303–304). Впрочем, Ковард признавал, что королевское правительство в Англии к 1714 г., будучи столь же сильным, сколь и любое правительство на континенте, было менее свободным в проведении политики централизации и осуществлении авторитарных мер⁵.

Рассуждая о последствиях Славной революции, М. И. Бацер придает куда меньше значения, чем следовало бы, религиозным вопросам, и это, вероятно, тоже следствие стандартного набора утверждений из учебников советского времени, в которых значение религиозного фактора явно преуменьшалось. По сути, он ограничился высказыванием, что Карл II и Яков II «стремились полностью восстановить в Англии абсолютизм и католицизм, подчинить ее политическому диктату могущественного соседа Людовика XIV, претендовавшего на всеевропейскую гегемонию» (с. 297). Такие штампы непросто отыскать в современной зарубежной историографии. При этом Бацер не замечает, что подобные утверждения находятся, пользуясь его стилистикой, в вопиющем противоречии с его собственным выводом о том, что «следует восстановить в целом положительную оценку Реставрации Стюартов в 1660 г.» (с. 311). Надо ли понимать, что якобы имевшие место устремления монархов времен Реставрации к восстановлению абсолютизма и католицизма были делом сугубо «положительным»? Вообще, хотелось бы знать, когда абсолютизм в Англии существовал, если его желали восстановить. Если учитывать труды многих современных зарубежных историков, то никак не при Стюартах. Даже в советской историографии понятие «английский абсолютизм» использовалось с оговорками. Также неясно, то ли поздние Стюарты хотели восстановить абсолютизм, то ли «увековечить» (с. 298), что вообще-то не одно и то же.

Возвращаясь к религии, выделим приведенные в тексте высказывания Гизо о том, что Славная революция была совершена по религиозным убеждениям народа, и она же утвердила принцип религиозной свободы. Поскольку Бацер эти слова не комментирует, надо полагать, он их разделяет. Увы, действительный смысл религиозной проблемы остается нераскрытым. Современный британский историк Т. Харрис разъяснял: по недавним исследованиям в годы Реставрации приверженцы римско-католической церкви составляли в Англии ничтожную часть населения, всего 1,2%, и потому не могли нести угрозу, хоть сколько-нибудь сопоставимую с тем, как католическая опасность отражалась в пропаганде, какой страх она порождала. Обычно, еще с XIX в., это противоречие снималось утверждением, что угроза протестантскому обществу была

⁵ Ibid. P. 455.

реальной и политической по характеру, так как шла от собственного королевского двора и католической Франции (так считают, например, Гизо и Бацер). На самом деле «папистская угроза» была не «реальностью», а частью религиозного дискурса, в который были вовлечены разные фракции англиканской церкви, а также протестанты-диссентеры. Харрис писал: «Сила боязни папизма в то время может быть понята только в случае, если мы осознаем, что борьба по вопросам церковного устройства неизбежным образом артикулировалась посредством риторики антипапизма».⁶ Поэтому, говоря о последствиях Славной революции в сфере религии, Ковард делал вывод не о свободе вероисповедования, а об усилении разногласий в англиканской церкви, между высокоцерковниками и низкоцерковниками, и о переходе ведущей роли к последним. Относительно невелико было число диссентеров, т.е. приверженцев иных протестантских церквей: 4,3% по данным 1676 г., 6,21% населения Англии по данным 1715–1718 гг. Самой многочисленной группировкой были пресвитериане (3,3%), затем следовали индипенденты (1,1%), партикулярные баптисты (0,74%), квакеры (0,73%), генеральные баптисты (0,35%). Будучи исключенными из политики, что само по себе не позволяет говорить о формальном равенстве конфессий, многие диссентеры реализовывали себя в торгово-коммерческой деятельности. В этом отношении, как известно, особенно характерна история квакеров.⁷

Что касается гражданских прав, то в условиях сохранения полного неравенства в сфере избирательных прав (этой темой буквально переполнены источники XVIII–XIX вв.) говорить об этом в современном смысле слова вряд ли возможно. Как показывают исследования историков, региональная политическая элита была вынуждена искать поддержку тех, кто относился к категории «управляемых». Все же сдвиги, произошедшие после Славной революции нельзя преувеличивать: «Парламент стал заседать регулярно, сессии стали ежегодными, а срок действия парламента был ограничен Трехгодичным актом 1694 г. Однако корона имела право, и часто делала это, если хотела, приостановить деятельность парламента раньше. Нет оснований считать, что внутри парламента доминировала избранная палата общин. Историки все больше убеждаются, что жизненно важную роль в течение всего этого периода играла палата лордов. И в самом деле, многие из первых лидеров партий заседали в верхней палате»⁸. В то же время «возможность

⁶ Harris. 1993. P. 12–13.

⁷ См.: Coward. Op. cit. P. 461–465.

⁸ Harris. Op. cit. P. 14–15.

проголосовать стала шире при поздних Стюартах, чем она была раньше и позднее в течение довольно долгого времени. Прежняя практика, при которой местные элиты во избежание конкуренции договаривались о кандидатах, стала трудно реализуемой по мере того, как общество становилось больше политически поляризованным⁹. Еще один историк либерального направления, У. Спек, замечал: социальные, политические и даже религиозные тенденции в истории Англии XVIII в. неверно выводить только из «революционного устройства», многие из них прослеживаются задолго до 1688 г.¹⁰ В самом деле, положения, изложенные в «Билле о правах», несли мало нового. «Послереволуционное устройство» не шло дальше программных документов индипендентов времен революции середины XVII в. Именно индипендентов, а не левеллеров, как это можно понять из статьи М. И. Бацера.

Повторяю, что это суждения историков, в целом близких либеральной традиции. Что касается историков ревизионистского направления, труды которых приобрели в конце XX в. исключительную популярность, то они вовсе отвергают представление о Славной революции как о некоей границе, разделяющей старый порядок и современное общество. Если Ковард искал компромисс и называл концом английского средневековья 1714 год, то лидер ревизионистского направления Дж. Кларк полагал, что об этом не приходится говорить ранее парламентской реформы 1832 г. В его трудах, опубликованных в 1980-е гг., утверждалось, что английское общество после Славной революции продолжало оставаться глубоко консервативным в своих основах¹¹. По структуре и менталитету общество XVIII в. гораздо ближе к XVII в., чем к XIX. Для Англии XVIII в. были характерны сохранение огромного влияния церкви и веры в Бога, патриархальность, сильная монархическая власть, находившая широкую поддержку в обществе. Кларк считал, что в социальном плане значительно более показательным был не рост буржуазного среднего торгового класса, а сохранение доминирующих позиций за земельной аристократией. По его мнению, термин «старый порядок», обычно применяемый по отношению к странам континента, вполне пригоден и для Англии. «Старое общество» вплоть до 1832 г. определялось наличием в нем трех самых главных черт: оно было англиканским, аристократическим и монархическим. Джентльмены, англиканская церковь и корона осуществляли интеллектуальную и со-

⁹ Ibid. P. 18.

¹⁰ Speck. 1984. P. 3.

¹¹ Clark. 1985; Idem. 1986. См. подробнее: Соколов. 1997.

циальную гегемонию», – писал Кларк¹². Работы Кларка вызвали бурную дискуссию, о которой, к сожалению, почти неизвестно в нашей историографии. Острога этой дискуссии была в известной мере спровоцирована самим Кларком, тон работ которого, особенно в «Революции и восстании», один из его главных оппонентов Г. Т. Дискинсон назвал «агрессивным», а Дж. Блэк, отчасти его поддержавший, «задиристым». В самом деле, Кларк подчас очень ироничен по отношению к тем, чьи взгляды оспаривает. По его мнению, историография британской истории XVII–XVIII вв. всегда контролировалась «Старой Гвардией» и «Старыми Шляпами». «Старая Гвардия» – это марксистские и близкие к марксизму историки, среди которых он выделял К. Хилла и Л. Стоуна. Кларк замечал: если в работе Стоуна «Причины Английской революции» вместо слова «пуритане» вставить слово «нонконформисты», то весь текст можно без всяких изменений отнести не к 1640, а к 1740 г. «Старые Шляпы» – это неолиберальные историки. «Только после тщательного изучения, – иронизировал Кларк, – можно обнаружить, что Плам говорит нечто отличное от Кристофера Хилла»¹³.

В монографии В. В. Согрина, Г. И. Зверевой, Л. П. Репиной содержалась, по моему мнению, в известной мере, односторонняя оценка концепции Кларка: «В целом критический анализ выводов Кларка об эффективности монархии, аристократического режима, религии и однопартийного правления в 1688–1832 гг. показывает, что они получены в результате откровенных натяжек и подтасовок»¹⁴. Конечно, труды Кларка отражали контекст времени и усиление неоконсервативных тенденций. Недаром Л. Коллей отмечала в то же время тенденцию, затронувшую сначала тему революции середины XVII в.: «Ее суть в перестановке акцента с изменений на преемственность, с идеологии на религию, с плебейского протеста на силу патрициев»¹⁵. Разумеется, в мои намерения никоим образом не входит перетасовать М. И. Бацера на платформу скептиков. И сам Кларк позднее смягчил свой подход, и аргументы его противников не меньше достойны внимания историографа. Однако исчезновение из поля зрения целого историографического пласта недопустимо. Я бы согласился с мнением, высказанным когда-то британским историком Р. Портером: «Признавая или не признавая аргументы Кларка, любой исследователь стоит перед необходимостью

¹² Clark. 1985. P. 7.

¹³ Clark. 1986. P. 27.

¹⁴ Согрин, Зверева, Репина. 1991. С. 73.

¹⁵ Colley. 1986. P. 368.

определить соотношение между «преемственностью» и «новизной», между «традицией» и «изменениями» в ретроспективе европейской и собственно британской истории»¹⁶.

В-третьих, я вынужден подчеркнуть, что считаю неуместным тон, которым говорится в статье о советских историках. Не потому, что стою на марксистских позициях; наоборот, мне кажется, что я куда дальше ушел от марксизма, чем автор рецензируемой статьи. Дело в том, что и здесь явно прослеживается уверенность М. И. Бацера в том, что есть правильная точка зрения, которую он и выражает, а все остальное достойно поругания и осуждения. Он далек от понимания, в общем-то, азбучной истины: любой историк – человек своего времени, создающий свои труды по определенным неписаным правилам, и советская историография в этом отношении не исключение, а характерный пример. Поэтому ярлыки, наклеиваемые на советских историков, кажутся мне не только бестактными (особенно, если знаешь, что ответить они уже не могут), но и непродуктивными, так как они не помогают, а скорее препятствуют осмыслению феномена советской историографии. Какое впечатление остается после прочтения статьи о трудах советских историков, по крайней мере, тех, о которых ведется речь? Что это – «абсурд, причем именно с марксистской точки зрения» (с. 300); «яркое проявление метода вульгарной социологии» (с. 302); «вульгарно-социологическая недооценка политической стороны исторического процесса» (с. 308); «вопиющий пример двойного стандарта» (с. 309). Замечу, что речь идет о трудах советских англоведов, которые, с моей точки зрения, можно отнести к числу лучших, хотя с современных позиций во многих отношениях небесспорных. Впрочем, назвав книгу «вопиющим примером двойного стандарта», Бацер, ничтоже сумняшеся, тут же объявляет, что «факты, приводимые в книге Т. А. Павловой «Вторая английская республика», не говоря уже о традиционной позиции представителей английской исторической науки, свидетельствуют о том, что возможно более позитивное отношение к факту реставрации Стюартов (редкий случай, когда слово «факт» употреблено не всуе, такое событие действительно имело место – А. С.)» (с. 310). Я считаю книгу М. А. Барга «Народные низы в Английской буржуазной революции XVII века» одним из достижений советской историографии, хотя и не со всем в ней соглашусь, начиная с названия «буржуазная» в заглавии. И я убежден, что слово «вульгарный» ни под каким углом к ней не применимо. Я лично не был знаком с Баргом, но хорошо помню и Киру

¹⁶ British Politics and Society from Walpole to Pitt... P. 29.

Николаевну Татаринову, которую по праву называли одним из лучших знатоков английской истории, и Татьяну Александровну Павлову, мимо трудов которой, я уверен, не пройдет ни один англовед в течение многих десятилетий. Да, она писала с позиций марксизма, но с позиций нравственных. Будучи верующим человеком, она стремилась сеять добро и понимание, и, говоря откровенно, слова «двойной стандарт» по отношению к ней я воспринимаю как кощунство.

Таковы мои главные замечания, но есть и другие суждения автора, несколько отдаленные от темы Славной революции, мимо которых не считаю возможным пройти. Я полагаю: мнение Бацера, что «высказывания Маркса и Энгельса не всегда находились на уровне достижений исторической науки даже их времени» (с. 299) неправомерно и несправедливо. Следует ли понимать так, что классики марксизма просто обязаны были прочитать учебники истории по новому времени, неоднократно цитируемые в статье, чтобы быть в курсе достижений нашего сегодняшнего дня? Впрочем, за неимением физической возможности, это им, кажется, прощается. Я не считаю публичное заклятие Маркса и Энгельса необходимым ритуальным действием, подтверждающим переход историка от марксизма к либерализму. Заслуги и талант этих мыслителей вряд ли можно опровергнуть, что не означает, что их учение «верно», и надо принимать его, как говорили раньше, как руководство к действию. Маркс и Энгельс были «на уровне достижений исторической науки их времени», более того, они были оригинальными историками. Как доказывать очевидное? Не знаю: ну, возьмите классическую книгу Х. Уайта «Метаистория». Полагаю, что его, одного из основателей постмодернистской истории и лингвистического поворота, никто в приверженности к марксизму не обвинит. Но ведь в этой книге исследуются те, кого Уайт считал самыми великими историками XIX века: Мишле, Буркхардт, Гегель, Токвиль и другие. И среди них Маркс!

Небесспорны утверждения М. И. Бацера о революции середины XVII в. и связи между нею и Славной революцией. Начну с общей характеристики: «Английская революция 1640–1660 гг. представляет собой картину динамического взаимодействия тех социально-политических сил, которые во французской революции последовательно меняли одна другую на исторической сцене. Эти силы – легитимизм, радикализм и цезаризм» (с. 306). Оставлю в стороне не несущее никакого смысла «динамическое взаимодействие». Обратим внимание на сравнение английской и французской революций. Конечно, это идет от Гизо, первым представившего гражданскую войну и эпоху междоусобицы (именно так, а не «великим мятежом») чаще называли те события в

XVIII в.) как революцию. За его интерпретацией маячила тень Французской революции; именно Гизо рассматривал их как события одного порядка, две победы в долгой борьбе буржуазии за создание гражданского общества. Это представление унаследовали основатели марксизма, добавив в название революции слово «буржуазная». Так что в этом отношении неверно трактовать Гизо и Маркса как антиподов. Традицию сопоставления двух «революций» продолжили другие марксисты. В первой марксистской работе, специально посвященной Английской революции, «Общественное движение в Англии XVII века», Э. Бернштейн постоянно подчеркивал общность ее «динамики» с революцией во Франции. Он проводил прямые аналогии: «У английской революции есть свои жирондисты – пресвитериане, свои якобинцы или монтаньяры – индипенденты, свои эбертисты и бабувисты – левеллеры. Кромвель был ее Робеспьером и Бонапартом в одном лице, Маратом и Эбером был левеллер Джон Лильберн». По поводу Лильберна Бернштейн, правда, оговаривался, что у него не было «такого преувеличенно вульгарного характера словоизлияний». Акцентирование общих черт в развитии двух революций было свойственно советской марксистской историографии. Так что вопреки желанию порвать с ее недостатками автор на самом деле продолжает в этом отношении марксистскую традицию.

Остается неясным, каким образом Бацер трактует тезис о преемственности двух революций. То он заявляет, что Славная революция означала «победу дела Долгого парламента 1640 г.» (с. 299), то вдруг на последних страницах статьи начинает усиленно доказывать, что она была, ни много ни мало, продолжением дела левеллеров – тезис, способный вогнать в ступор тех, кто мало-мальски ориентируется в британской истории XVII века. Он пишет: «В некотором смысле можно утверждать, что без Лильберна не было бы Вильгельма III» (с. 306). Хотелось бы знать, в каком смысле? Во-первых, программа Долгого парламента, т.е. пресвитериан, и программа левеллеров – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Во-вторых, стоит напомнить уважаемому автору, в чем состояла программа левеллеров. Для этого достаточно открыть их главный программный документ «Народное соглашение». В любом учебнике истории, даже советском, написано, что они выступали за республику (хотя это слово и не употреблено в источнике), управляемую однопалатным парламентом, и, в идеале (смотри первую редакцию документа), за всеобщее избирательное право (для свободнорожденных англичан), равно как и за ряд других «естественных» прав и свобод, отказывая, например, всенародно избранному парламенту в разрешении законодательствовать в религиозной области. Что здесь есть

общего с «послереволюционным устройством», то есть с положением после 1688 г., остается только гадать. Единственный аргумент, который предлагает Бацер, состоит в том, после 1649 г. левеллеры не признали кромвелевский режим, а некоторые из них вовсе присоединились к роялистам. Поскольку позицию этих людей можно много чем объяснить, но только не их гениальным прозрением по поводу предстоящей лет через сорок Славной революции, автор вбрасывает козырную карту: ею становится судьба Уайлдмана, который приложил руку к созданию вигской идеологии, а при Вильгельме III «стал главным почтмейстером королевства. По сути это разведывательная должность, предусматривающая контроль за всей перепиской». Рискую быть заклеянным как «вульгарный социолог», замечу, что одна судьба никак не может быть основанием для обобщений. Но дело даже не в этом. Наш автор вообще не замечает, насколько двусмыслен его пример: бывший левеллер в роли главного соглядатая и перлюстратора королевства.

Бедный Уинстенли! Религиозный мечтатель! Мог ли он предполагать, что советские историки будут искать в нем и дигтерах предвестников социального переворота, а их критик (по существу, на свой лад, приняв созданный ими образ) назовет его (без всяких кавычек) «идеологом казарменного коммунизма» (с. 307). Непонятно, почему Бацер полагает, что демократизм левеллеров в советской историографии замалчивался. Достаточно вспомнить название книги Г. Р. Левина, о которой в статье и вовсе не упоминается. Главное здесь состоит в том, что описывая левеллеров как борцов с кромвелевским режимом, пролагавших дорогу к Славной революции, М. И. Бацер полностью упускает то, что и является основным предметом дискуссий об этой группировке в современной историографии. А вопрос ставится так: действительно ли левеллеры выступали за демократию и гражданское общество или их следует рассматривать как сугубо религиозное движение. Б. Гроб-Фитцгиббон утверждает: вопреки широко распространенному в историографии мнению о левеллерах как о светском движении, способствовавшем развитию в Англии идей демократии и даже социализма, в них надо видеть «прежде всего религиозных радикалов, а не политических агитаторов»¹⁷. Он подчеркивал, что сотрудничество, приведшее к возникновению левеллерского движения, возникло на основе общности религиозных взглядов, и эта черта оставалась ведущей и в дальнейшем: «Это правда, что Лильберн временами защищал псевдодемократию, но он делал это только потому, что верил: все человеческие существа созданы

¹⁷ *Grob-Fitzgibbon*. 2003. P. 905.

равными перед Богом... Если демократия не казалась ему подходящим средством для достижения его религиозных устремлений, он отказывался от нее»¹⁸. И заключал: не политика, а религия была первоначальным движущим фактором. Правда, и в этом отношении можно видеть у историков разные мнения: так, британский историк Дж Писи объясняет возникновение движения уравнителей совокупностью факторов, включая религиозный. Однако главную роль он отводит не политическому радикализму Лильберна, а характеру его связей с парламентариями в середине 1640-х гг., его «вовлеченности в тайную византийскую политику Вестминстера». Поэтому представление о Лильберне как о «“неуправляемом” и последовательном борце с “вышестоящими” – это миф, во многом им самим и созданный»¹⁹. На самом деле Лильберна «создали» и использовали в своей борьбе против пресвитериан индипенденты. Близкое мнение высказывает и другой историк М. Норрис: движение агитаторов, в ходе которого оформилась группировка левеллеров, лишь отчасти было «выражением латентного солдатского радикализма», оно фактически было организовано Кромвелем и Айртоном: «Какова бы ни была их роль в создании Комитета агитаторов, представляется очевидным, что им удавалось манипулировать этим органом»²⁰.

Признаюсь, что не являюсь апологетом или большим поклонником Кромвеля, однако оценка, данная ему в статье, представляется мне весьма субъективной. Трудно с уверенностью говорить, будто «протекторат нанес колоссальный урон экономическому потенциалу Англии» (с. 309). Тем более бездоказательными, а точнее нелепыми, выглядят утверждения, что Кромвель был тайным папистом (с. 310) или, что он организовал «психиатрический террор» (с. 308, 310). Надежным доказательством последнего служат автору слова из памфлета Лильберна: при упоминании имени Кромвеля мудрые люди впадают в безумие. Вкупе с такими утверждениями органично смотрелось бы напоминание, что в ночь после смерти Кромвеля за его душой явился сам дьявол, что сопровождалось страшной бурей - об этом тоже есть свидетельства в источниках. На самом деле, гораздо более здравыми и полезными были бы указания на аспекты истории протектората, которые действительно являются сегодня предметом интереса историков, в том числе о правомерности применения к протекторату понятия «военная диктатура»²¹.

¹⁸ Ibid. P. 929–930.

¹⁹ Peacey. 2000. P. 627.

²⁰ Norris. 2003. P. 45.

²¹ Woolrych. 1990.

Или публикации о кромвелевской пропаганде в контексте политической культуры²². Так, Дж. Писи пришел к выводу: хотя правительственный контроль над общественным мнением стал при протекторате эффективнее, а власть обнаружила стремление к тотальному контролю над прессой, этот режим все же не стал в полной мере «пропагандистским государством». Американский историк Л. Кнопперс в книге, получившей широкую известность, на основе анализа речей протектора и визуальных источников пришла к выводу, что Кромвель проявлял скромность, смирение и даже антимонархизм в процессе конструирования образа его власти²³. С таким мнением можно не соглашаться, однако, в любом случае, образ Кромвеля сложнее, чем представляет Бацер.

Обратим внимание и на другие сомнительные моменты. Для придания веса собственной апологетике Вильгельма III автор статьи утверждал: «В конце XVII – начале XVIII в. политический прогресс воплотился в двух исторических фигурах»: Вильгельма Оранского и Петра Великого (с. 302). Здесь не место вступать в дискуссию по поводу Петра, однако замечу: это утверждение, по меньшей мере, противоречиво. Разве что автор считает возможным видеть два одновременных, но разнонаправленных «прогресса». Если прогресс Англии, по утверждению самого Бацера, состоял в движении к «либеральному демократизму», конституционной монархии и правам личности, то Россия явно двигалась по иному пути: к усилению абсолютизма и самодержавия, дальнейшему ограничению прав представителей разных сословий. Естественно, что никаких доказательств, что Петр мечтал направить Россию по конституционному пути, просто не существует в природе, поэтому в качестве такового служит полу-мифическое высказывание царя, якобы изреченное после посещения парламента: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду; вот чему надо учиться англичан». «Слово и дело», а отнюдь не парламентские дебаты милы были российским самодержцам. Видимо, ощущая слабость своего доказательства, Бацер ссылается на авторитет одного из представителей столь часто ругаемой им советской историографии: «Советский историк Н. Н. Молчанов комментирует: «Если эти слова и действительно были сказаны, то они не противоречили склонностям самого Петра» (с. 303).

Что сказать, когда Петра превращают в едва ли не поборника конституционализма? Увы, такое происходит, когда историю натягивают наизнанку. На самом деле еще Иван Грозный, к которому Петр испыты-

²² Peacey. 2006.

²³ Knoppers. 2000.

вал немалый пиетет (см. упоминание об этом в статье О. Н. Мухина, опубликованной в том же номере «Диалога со временем»), высказывал удивление, как его современница Елизавета допускала существование парламента, в котором заседают «мужики торговые». Ближний боярин «тишайшего» царя Алексея, руководитель Посольского приказа А. Ордин-Нащокин разъяснял англичанину доктору Коллинсу: «Да что нам за дело до иноземных обычаев: их платье не по нас, а наше не по ним». Наконец, сам Петр вторил фавориту отца: «Говорят чужеземцы, что я повелеваю рабами, как невольниками. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. Сии указы содержат в себе добро, а не вред государству. Англинская вольность здесь не у места, как к стене горох (! – А. С.). Надлежит знать народ, как оным управлять... Недоброхоты и злодеи мои к отечеству не могут быть довольны, узда им – закон»²⁴. Ссылка на книгу Н. Молчанова «Дипломатия Петра I» неубедительна, поскольку эта книга – одна из самых ангажированных в «поздней» советской историографии; она является апологетикой царя²⁵. Для понимания степени ангажированности концепции Молчанова достаточно привести его слова: «Под покровом дипломатической благопристойности Англия вредила России везде, где только могла». Что касается посещения Петром парламента, то запись в «Юрнале» более чем лаконична: «Были в парламенте». Это событие явно не относится к числу сильных впечатлений Петра. В апрельском письме А. Виниусу он рассказывал о морских маневрах, но словом не обмолвился о визите в парламент. Прав академик М. Богословский, отмечавший, что Петру было трудно «усвоить все особенности столь разнообразной английской жизни»²⁶.

Назовем еще ряд суждений Бацера, преподносимых как истина, но, по меньшей мере, дискуссионных. 1) о том, что если бы не Славная революция, то Англия не избежала бы участи ряда других европейских стран, переживших революцию в 1848 г. (с. 304). Единственный аргумент в том – мнение Маколея. 2) О том, что после побед Мальборо над французскими войсками в войне за испанское наследство «неожиданно разразился кризис». Что под этим подразумевается, понять трудно. В приведенной цитате из Грина говорится о процессе Сатчеверелла, причем этот «прогрессивный историк» указывал, что «процесс показал, какую ненависть возбудили против себя виги и война». Тем не менее, из фразы Бацера («Кризис был успешно преодолен при первых ганновер-

²⁴ См. подробнее: *Соколов*. 1992. С. 5.

²⁵ Там же. С. 16–18.

²⁶ Там же. С. 145–155.

цах установлением прочного всевластия вигов») получается, что он-то кризисом называет приход к власти торийской партии, в конечном счете, заключившей Утрехтский мир. Довольно странное понимание демократии, когда поражение на выборах любезных вигов трактуется как политический кризис (с. 305). 3) Что Мальборо – «слава Англии», Болингброк – «государственный изменник», а Свифт, хоть и гений, но в политике якобит, следовательно, предатель английского народа. Аргумент в отношении последнего – фраза писателя Оруэлла. Из текста Бацера не вполне ясно, понимает ли он разницу между якобитами и тори. 4) Что власть первых Георгов была чисто формальной по сравнению с полным верховенством парламента (с. 303–304). Аргумент – «это известно ныне каждому студенту-историку». Поскольку моя кандидатская диссертация была посвящена борьбе тори и вигов именно в годы войны за испанское наследство, а в докторской диссертации рассматривался вопрос о прерогативах короны при королях Ганноверской династии, я мог бы привести многие аргументы против указанных суждений. Боюсь, однако, что это означало бы написание еще одной статьи, да и увело бы в сторону от обсуждаемого вопроса – Славной революции.

В завершении остается заметить следующее. Появление «концепции» Бацера, восхваляющего Славную революцию в духе историков XIX века, должно было состояться в наши дни. Весь ее смысл и пафос становится понятным, если «совместить» ее с правилами современного либерального дискурса, в котором кучка героев-модернизаторов (аристократов) ведет страну по пути прогресса и дарует блага модернизации, включая дозволенную долю прав политических, народу (еще именуемому иногда «овощем»). Ключом для понимания «механики» (слово Бацера) этого совмещения действительно могут служить слова Гизо: революция 1688 г. «была зачата, приготовлена и приведена к концу людьми знатными, верными представителями интересов и чувствований нации. Дело английского народа восторжествовало через английскую аристократию» (с. 299). У нас «люди знатные», узкая образованная элита, выражающая «чувствования нации», но справедливо народу не доверяющая, со временем благодетельствует его, неразумного. В этом, если хотите, политическая и идейная сущность предлагаемой «концепции». Хотя любое блюдо требует приправы, и потому в статье М. И. Бацера видны следы многого другого, что сегодня под видом истории преподносится читающей публике, будь то психиатрический террор или разоблачение фальсификаторов.

А так я согласен – Славную революцию надо изучать.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Согрин В. В., Зверева Г. И., Репина Л. П.* Современная историография Великобритании. М.: Наука, 1991.
- Соколов А. Б.* Навстречу друг другу. Россия и Англия в XVI–XVIII вв. Ярославль: ЯГПУ, 1992.
- Соколов А. Б.* XVIII век в Англии: споры историков // Вопросы всеобщей истории. Сборник научных статей / Отв. ред. Г. К. Селезнев. Рязань: РГПУ, 1997.
- British Politics and Society From Walpole to Pitt 1742–1789 / Ed. by J. Black.* L.: Macmillan, 1990.
- Clark J.* English Society 1688–1832. Cambridge: University Press, 1985.
- Clark J.* Revolution and Rebellion. State and Society in England in the Seventeenth and the Eighteenth Centuries. Cambridge: University Press, 1986.
- Colley L.* The Politics of the Eighteenth Century British History // Journal of British Studies. 1986. Vol. 25. N 4.
- Coward B.* The Stuart Age. England 1603–1714. L.-N.Y.: Longman, 1974.
- Grob-Fitzgibbon B.* “Whatsoever Yee Would that Men Should Doe unto You, Even so Doe You to Them”: An Analysis of the Effect of Religious Consciousness on the Origins of the Leveller Movement // The Historian. 2003. Vol. 65. N 4.
- Harris T.* Politics Under the Later Stuarts. Party Conflict in a Divided Society. L.-N.Y.: Longman, 1993.
- Knoppers L.* Constructing Cromwell. Ceremony, Portrait and Print 1645–1661. Cambridge: University Press, 2000.
- Norris M.* Edward Sexby, John Reynolds and Edmund Chillenden: Agitators, ‘sectarian grandees’ and the relations of the New Model Army with London in the Spring 1647 // Historical Research. 2003. Vol. 76. N 191. P. 30–53.
- Peacey J.* John Lilburne and the Long Parliament // The Historical Journal. 2000. Vol. 43. N 3.
- Peacey J.* Cromwellian England: A Propaganda State? // History. 2006. Vol. 91. Issue 2. N 302.
- Speck W.* Stability and Strife. England 1714–1760. L.: Arnold, 1984.
- Woolrych Au.* The Cromwellian Protectorate: A Military Dictatorship? // History. 1990. Vol. 75.

Соколов Андрей Борисович, доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; sokolov_1457@mail.ru

Д. М. Володихин

«ТЯЖЕЛОЕ ДЕЛО – ПИСАТЬ ЛЕГКО...»

АДРЕСАТ ВЫСКАЗЫВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ИСТОРИКА

Статья посвящена проблеме адресации текстов современного историка. Автор предлагает расширение поля адресации за счет установления полноценного диалога между современным академическим историком и заинтересованным в исторических знаниях интеллектуальным слоем страны.

Ключевые слова: философия истории, методология, академическая наука, социальный заказ, адресация, научное сообщество.

По стране рассеяны тысячи дипломированных историков, работающих по специальности. Это работники музеев, библиотек, архивов, всякого рода редакций, преподаватели вузов и – вершина пирамиды! – сотрудники академических институтов. Если добавить сюда школьных учителей, то счет пойдет на десятки тысяч. В подавляющем большинстве случаев их работу заказывает государство. И чем дальше, тем сильнее впечатление, что оно не очень понимает, для чего ему понадобились историки. Некоторые вещи престижны для державы с серьезными политическими амбициями. Надобно иметь не только армию и флот, герб и гимн, конституцию и парламент, но также собственную Академию наук с институтами исторической направленности, историческую энциклопедию, профессию, из года в год читающую лекции на исторические темы. Там – от Смоленска и дальше на запад – преподают историю в школах и университетах. Следовательно, и нам без нее не обойтись: положение обязывает выглядеть не хуже (или хотя бы не намного хуже), чем контрагенты российской политической элиты по экономическому и дипломатическому диалогу. Однако действительный смысл дорогостоящего содержания многолюдной армии историков от государства ускользает.

Разумеется, государство заинтересовано в том, чтобы преподавание истории велось в рамках господствующей идеологии и лояльного отношения к правительству. Что же касается содержательной стороны преподавания, то она вызывает у «верхов» значительно меньший интерес. Историк может делать свою работу великолепно, талантливо, крепко, посредственно, из рук вон плохо... во всех случаях это вряд ли как-то обеспокоит «генерального заказчика». Вот если историк совсем перестанет являться на работу, это, в конце концов, вызовет некоторые на-

реkania, поскольку вступает в противоречие с трудовой дисциплиной: на месте надо присутствовать, на то оно и присутственное место...

Государство не основывает какой-либо деятельности на статьях и монографических работах профессиональных историков. Оно не приглашает их в качестве консультантов для решения социальных и культурных вопросов, помимо обоснованности некоторых юбилеев. Изредка оно отправляет вниз по инстанциям запросы, на которые историкам приходится отвечать, составляя экспертные записки, которые подшиваются к делу, прибавив ему символическую научную обоснованность, но никак не используются. Если историк-профессионал является добрым знакомым крупного чиновника или политехнолога, то его иногда приглашают поучаствовать в идеологической и/или информационной кампании на эпизодической роли. Время от времени власть инициирует создание идеологически выверенного учебника или... осуждение учебника идеологически не выверенного. Тогда историки опять приглашаются для исполнения особого заказа сверх ординарной повседневной деятельности. Но правительство не будет использовать данные, полученные трудом профессиональных историков, для внесения каких-либо корректив в долгосрочные стратегии, идейное наполнение политического курса или работу административного аппарата. В научных статьях и монографиях оно несколько не нуждается.

Таким образом, современный историк принимает на себя роль живого элемента декораций. За это он получает прожиточный минимум и может удовлетворять личное любопытство и склонность к аналитической работе на средства, выделяемые из бюджета.

Кому же тогда адресуются научные работы? Если они не нужны государству, то, вероятно, в них есть иной смысл, никак не связанный с практическими надобностями правительства.

Весь строй, язык, композиция академических произведений и весь их полемический задор – если он есть, конечно, – свидетельствуют об одном: подобные тексты адресованы другим специалистам по теме, заявленной в заголовке. Только им, и никому, кроме них. Давно сложился академический этикет, позволяющий, при соблюдении определенных традиций, языковых норм и ритуалов, связанных с научно-справочным аппаратом, ввести текст в научный оборот. Порой – вне зависимости от его качества и от объема приращенных знаний.

Современный историк пишет для десяти серьезных специалистов по его теме, двадцати специалистов несерьезных, пятидесяти специалистов по смежным областям, а также сотни студентов и аспирантов, пишущих курсовые/дипломные/кандидатские. Удивительно то, что в научном сооб-

ществе до сих пор вызывают негодование низкие тиражи научных изданий. Правда состоит в том, что научное издание, если оно не принимает вид справочника, необходимо ограниченному списку людей – от ста до трехсот человек, очень большой успех – если для тысячи.

Каково академическое книгоиздание, таково и распространение научной книги. Те неказистые малотиражные книжечки, которые время от времени печатаются на скудные средства вузов, музеев, библиотек, либо на спонсорские деньги, не только лишены корректуры (а то и редактуры), они еще и лишены будущего. После того, как 16 обязательных экземпляров отправились в Книжную палату, авторы получили свои, авторские экземпляры, местная библиотека забрала еще несколько книжек, остается раздать остаток тем знакомым, которые оказались поближе, да еще, может быть, разослать несколько штук в крупные научные центры – если есть, кому заниматься этой технической работой. В продажу поступает ничтожная доля научной продукции, а действительно продается совсем уж смешной ее процент. Нормальное дело для какой-нибудь кафедры, музея, библиотеки, научного центра – годами хранить нераспакованные пачки, оставшиеся от сборника материалов давно прошедшей конференции. Когда-то она прогремела... в узких кругах. Ее запомнили как «серьезное достижение». И... думать забыли о том, что надо как-то распахивать те самые прогремевшие материалы.

Конечно, государство отпускает на солидное научное книгоиздание грантовые деньги. Нет смысла говорить о том, как их мало, подавно не стоит обсуждать механизм их раздачи. Эти вопросы столь долго и в столь плачевных тонах обсуждаются научным сообществом, что сейчас от них просто скулы сводит. Гораздо важнее то, что происходит со счастливо вышедшими на эти гранты статьями и монографиями. Казалось бы, они-то уж точно найдут своего читателя в научном сообществе. Но... надо назвать вещи своими именами: такие издания весьма дороги, они вдвое-втрое дороже, чем то, что выпускают коммерческие издательства; в итоге купить их труднее всего именно тем, для кого они и предназначаются – нищим профессиональным историкам.

Что же касается авторитетных сетевых порталов, связанных с исторической тематикой, то их до крайности мало и, кроме того, они не гарантируют профессионалу, решившему разместить там свой материал, какой-либо финансовой отдачи от его работы.

Остается резюмировать: *пока современный историк адресует свои труды одним только коллегам, работа по специальности дает ему весьма скромные возможности для творческой реализации. В то же*

время, между его работой и нуждами социума разверзается пропасть, становящаяся все шире и шире.

Не-специалист равнодушен к научным трудам и обращается к ним весьма редко. Точнее сказать, в исключительных случаях. А когда наступает подобный «исключительный случай», то интересующийся историческими знаниями человек-со-стороны, сталкиваясь с профессионально сделанной монографией, мало понимает в ней, да еще и дает ей порою самое превратное толкование. По страницам популярных журналов и газет, а еще того больше по блогосфере кочуют фразы известных исследователей, вырванные из контекста, искаженные сокращениями, пересказанные до неузнаваемости...

Самая большая проблема современного научного сообщества историков состоит не в том, что государство финансирует его нанопорциями, и не в том, что госструктуры не интересуются результатами научной работы. И даже, по большому счету, не в том, что академическое книгоиздание усохло до неприличия. Гораздо хуже другое: история, хотя и числится общественной наукой, с обществом встречается только на уроках в школе и на вузовских лекциях. В остальном между исторической наукой и социумом – непробиваемая стена. Между тем, возможности творчески реализоваться у профессионального историка многократно возрастают, если он оказывается способен переадресовать свои работы социуму. Во всяком случае, какому-то крупному его сегменту.

Это вовсе не значит, что история может прожить без чисто академических трудов. Утверждать подобное было бы сущей бессмыслицей. Приращение знаний о прошлом возможно только в этой форме, других инструментов его «добычи» не существует. А потому деятельность академического специалиста, на протяжении всей жизни адресующего свои труды узкому кругу знатоков, всегда будет иметь смысл. Другое дело, что этого уже недостаточно как для исторической науки в целом, поскольку за пределами лекционных залов, кафедр и научных центров она сейчас мало кому нужна, так и персонально для тех историков, которые желают, чтобы их слышали тысячи, а не десятки людей.

Что препятствует этой переадресации? Что не дает сделать дом истории удобным для общества? Как ни печально, прежде всего, – навыки научного академического письма. Карамзина, Соловьева, Ключевского могла читать вся образованная Россия. У Виппера, Платонова и Лаппо-Данилевского была гораздо более скромная аудитория. Но и они могли быть интересны публике, когда писали, примеряясь к ее вкусам. Например, монографии Виппера и Платонова, вышедшие в начале 1920-х и получившие одно название («Иван Грозный»), сделаны были так, что

читались русскими интеллектуалами с колоссальным вниманием. Ими интересовались люди, стоящие бесконечно далеко от проблем исторической науки. А потом – как отрезало. Язык омертвел, образность исчезла.

Советская эпоха нанесла гуманитарной сфере страшный вред. Историков, философов, филологов заставили говорить языком точных и естественных наук. Затем распространили «правила игры» этих наук на историю и принудили историков строить свои труды в полном с ними соответствии. Затем разработали единый «этикет» требований к монографиям. Стало необходимым подгонять под него результаты научной деятельности, излагать тему усредненным, обезличенным, тусклым языком, одним на всех. Распространение математических методов в исторических исследованиях дало серьезный положительный результат. С этим грешно спорить: сколько отличных работ вышло под сенью клиометрии! Но в то же самое время литературно-философский багаж историка резко сократился, а осведомленность в профессиональных вопросах вообще устремилась к ничтожно малым величинам. Специализация, безжалостным цепом раздроблявшая общегуманитарную сферу на ничтожные загончики, лишила его широты кругозора, умения мыслить масштабно, подниматься над уровнем фактографии и видеть исторический процесс с высоты птичьего полета.

А какой методологией пользуется большинство российских историков в постмарксистскую эру? Да никакой, если не даровать «ползучему позитивизму» гордый статус самостоятельной методологии.

Отсюда результат:

1. Современный историк плохо владеет литературным русским языком, а сухая, тяжелая, затерминизированная «академщина» за пределами научного сообщества выглядит отвратительно.

2. Современный историк не умеет построить в своем сознании образ собеседника, с которым он ведет диалог через свою статью или книгу.

3. Современный историк не очень интересуется тем, насколько востребована в обществе сфера его исследований, и слабо ориентируется в тематике, вызывающей острый общественный интерес.

4. Современный историк не знает и часто не желает знать механизмов коммерческого книгоиздания, да и вообще правил, по которым историческое знание функционирует за пределами научного сообщества.

5. Подавляющее большинство историков старшего поколения не имеют никакого философского багажа, помимо марксистского.

6. Подавляющее большинство историков старшего поколения крайне слабо разбираются в религиозных проблемах, не имеют представления об истории Церкви.

Все это – пробелы в образовании, знаниях и навыках «армии историков», препятствующие полноценной адресации их трудов обществу.

Сегодняшним историкам требуется больше искусства, больше культуры, больше литературы, а вместо этого им... продолжают давать больше математики и «наук о земле».

Историка надо элементарно учить правильно, связно, красиво говорить и писать. Это ведь Ключевский понимал: «Тяжелое дело – писать легко, но тяжело писать – легкое дело!»¹ Ныне косноязычие ученого человека, пусть бы и гуманитаря, порой преподносится как добродетель: дескать, отринув суетный «журнализм», старый специалист «подлинно научно» ворочает булжники неподатливых слов... История всегда была общественной наукой. Она не имеет смысла вне интеллектуальных запросов социума. Но как может современный дипломированный специалист полноценно работать со своей аудиторией, если он не владеет азами техники публичного выступления? Да еще и связно, удобочитаемо – хотя бы удобочитаемо! – выражать свои мысли на письме. Государственные программы чем дальше, тем больше поворачивают его от живого слова к цифири... Хотелось бы прямо противоположного, но о подобном повороте можно только мечтать. Остается радоваться тому, что нынешние студенты и аспиранты хотя бы получают более основательное представление о философии, чем прежде.

Вывод: современный историк, ищущий диалога с широкой аудиторией, должен самостоятельно поработать над своим интеллектуальным арсеналом. Ему следует овладеть русским литературным, освоиться в общении с издателями, понять, что из сферы его исследовательской активности может заинтересовать не-специалистов, и заняться философским самообразованием. Но, пожалуй, главное умение, без которого все остальное обесценивается, это способность четко видеть, кому именно адресуется книга или статья. Что означает, как уже говорилось, – нарисовать для себя образ собеседника, с которым предполагается установить диалог через текст. Создавая такой образ, надо сложить воедино характерные черты целого «отряда» будущих читателей. Лишь увидев образ читателя в деталях, историк сможет до конца определить, как и о чем следует ему разговаривать.

Запросам «аудитории-адресата» должны быть полностью подчинены лексика и весь строй языка, выбор тем, способов их изложения и уместных для данного случая литературных приемов. Самая верная стратегия в подобном случае – определить, зачем понадобится предпо-

¹ Ключевский. 1993. С. 28.

лагаемой аудитории новый исторический текст, как она сможет им воспользоваться, удовлетворяя интеллектуальные запросы.

Работая в этом ключе, историк обосновывает свою претензию быть прочитанным. Это на профессорской кафедре он играет роль господина и повелителя. Студенты обязаны внимательно слушать лектора и хорошенько усваивать сказанное, поскольку им еще предстоит сдавать экзамены. Сталкиваясь со строптивыми читателями, которые вовсе не обязаны фокусировать свое внимание на чьих-то текстах, историк теряет «монарший статус» и сходит с кафедры. Он может установить с читательской аудиторией отношения равного, собеседника. Возможно, вместо этого историку предстоит попробовать роль слуги, обслуги. Но в любом случае ему придется, смиренно склонив голову, раз и навсегда отказаться от учительства.

Нет такой книги, нет такой статьи, которые можно было бы адресовать всему обществу. Однако существуют устойчивые формы адресации, которые привычно воспринимаются огромным количеством людей.

Первый из них – **историческая публицистика**. Журналы, теле- и радиопрограммы, блогосфера и сетевые масс медиа наполнены спорами на исторические темы. Создание новых исторических мифов, выдвижение контрмифов, развенчание тех и других, борьба с «попытками фальсификации», обсуждение «спорных фигур» и «переломных моментов» нашей истории... Одно простое упоминание некоторых тем (Крещение Руси, опричнина, революция 1917 года, Победа, национальный вопрос) и некоторых фигур (Александр Невский, Иван Грозный, Петр I, Сталин) автоматически вызывает бурную полемику. Конечно, знатоку соответствующей темы уместно высказываться в подобных дискуссиях. Он обладает гораздо более глубоким пониманием вопроса, чем подавляющее большинство других участников, – как правило, дилетантов.

Публицистическая адресация рождает две серьезных проблемы для историка:

- во-первых, она в девяти случаях из десяти предполагает сознательное и недвусмысленное соотнесение себя с одним из мировоззренческих «лагерей» нашей общественной мысли, а то и с отдельной группой внутри «лагеря»;

- во-вторых, немислимо большая часть современных публицистических произведений отличается от классических текстов или хотя бы от текстов двадцатилетней давности гораздо более высоким уровнем эмоциональности и менее высоким – корректности. Сейчас публицистика весьма часто делается на лозунге, на крике. Нормальным явлением стало эссе, которое представляет собой несколько страниц истерики.

Спокойного рассуждения, основанного на знаниях и силе ума, оказывается недостаточно. Поэтому историку, вступающему в эту реку, по необходимости приходится повышать голос. Иначе его не услышат.

Вторая форма адресации более привычна и удобна для академического историка. Это **научно-популярный жанр**. Он предъявляет сравнительно простые требования к профессионалу, пожелавшему установить диалог с образованной публикой: правильный, «прозрачный» литературный язык, информативность, да еще показ источников, на основе которых сделаны выводы. Лет пятнадцать назад эти требования были в самой лаконичной форме высказаны одним издателем популярных энциклопедий: «Просто о сложном, интересно о важном».

Гораздо сложнее **историософия**. Зато она дает больше творческого простора. Историософ выдвигает себя на роль интересного собеседника для интеллектуалов. Он предлагает им игру, где хорошая литература – с полным арсеналом художественных приемов, образностью, метафоричностью – совмещена с философической «подкладкой» и поставлена на прочное основание исторического материала. Интеллектуальная игра (в сущности, развлечение для изысканного ума, утонченный досуг образованного человека) составляет суть направления, которому С. А. Экштут дал удачное название «историософский маньеризм». Мастерство историка, ведущего подобную игру, заключается в том, чтобы, задав тему диалога, предвидеть вопросы, которые возникнут у читателей и не разочаровать их своими ответами на еще не заданные вопросы...

С. А. Экштут высказался на этот счет с большой отвагой: «Мы живем в идеальное время для историософских опытов, когда есть все условия для содержательной, а не спекулятивной интерпретации исторического процесса... Тяга к потустороннему и неземному потеснит гуманистический оптимизм... Воображение и интуиция, связь с мистикой станут новыми опорами для деятельности ученого. Он устремится к виртуозности и усложнению традиционных мотивов. Субъективная основа творчества властно заявит о себе: изучение объекта исследования станет диктоваться внутренним чувством мастера и подчиняться ему... Объективизированному изображению мира будет противопоставлено его художественное воссоздание, ставящее эмоции и переживания выше соблюдения внешнего правдоподобия. Историософские опыты станут сплавом науки с литературой и искусством»².

Наконец, четвертая форма адресации – **персональная история**. Игры в ней нет. Она уходит корнями к Плутарху, к житиям святых, к

² *Экштут*. 1998. С. 271–273.

древним притчам. Основная ее суть – дать современному интеллектуалу информацию о тех глубинных пружинах, которые двигали жизнь духовно родственных ему фигур в прошлом.

Человек, специализирующийся в персональной истории, видит в изучении судьбы одного исторического деятеля большую ценность, нежели в исследовании периода большой длительности, истории целого региона или крупной социальной группы. Результат этого исследования рассматривается как самоценный и не предназначается для дальнейшего синтеза. Из судьбы одной персоны – все равно, исключительной для своего времени или встроенной в массовый поток, – извлекается духовное зерно или же экзистенциальная суть. Ее жест, ее каприз, эпизод в ее судьбе могут нести в себе информацию исключительной важности, поскольку «проявляют» скрытые механизмы личности в критической ситуации. Те механизмы, что остаются тайной за семью печатями при ординарном течении жизни. Итог работы историка-«персоналиста» – реконструкция этических, религиозных, психологических образцов поведения личности в обстоятельствах исторического прошлого. Поскольку судьба «портретируемого» во всех случаях уже завершена, вглядываясь в ее обстоятельства из своего времени, историк видит результат слов и поступков персоны, и, следовательно, может в какой-то степени подвести итог... Любые обстоятельства могут повторяться в истории бесконечное количество раз. Значит, сведения о том, как вели себя в них люди прошлого, остается настоящей драгоценностью для современного человека. Он может использовать чужой духовный опыт как своего рода «кирпичики», сознательно выстраивая собственную личность и собственную судьбу. А живым «передаточным звеном» этого опыта и становится историк. Притчевость, содержащаяся в жизнеописаниях людей прошлого, – если, конечно, уметь извлекать ее осознанно, со всем инструментарием современной науки – никогда высокой цены не потеряет.

Во всех перечисленных случаях историк работает без малейшей надежды на то, что ему удастся понять глобальные закономерности истории, объяснить настоящее и предложить достоверные модели будущего. Это пустой соблазн. Точно так же ему не суждено повлиять на решения правительства даже в самой малой степени, и он это знает. Его тексты не станут изучать на студенческой скамье и, стало быть... не забудут их на второй день после экзамена. Его труд не совершит никакого переворота в науке. Но историк может оказывать важные интеллектуальные услуги своему современнику. И в этом состоит главный смысл переадресации его труда: по собственному выбору быть полезным отдельной личности, смиренно послужить ей. «Смирись, гордый человек...».

Десять лет назад очень хорошо сказал об этом известный историк и публицист С. В. Кизюков: «Цель исторической науки вовсе не состоит в том, чтобы предсказывать будущее. Этот ныне успешно опровергаемый лозунг, этот прагматический взгляд инженера-большевика или советского “физика” 60-х гг. – просто короткая дань моде эпохи технологий. Историк, рассказывая “историю”, организует информацию – и в этом состоит его великая, почти что жреческая роль в современном мире, поскольку лишь структурированное знание о прошлом спасет человека от “ужаса бытия”. Здесь, впрочем, у каждого свои способы спасения. Дело историка – не “подбор фактов”, не “предсказание”, не “критика источников”, и уж тем более не какое-либо “открытие законов истории”. Его труд – рассказывать истории о прошлом, оперируя знакомыми всем категориями, укладывая материал в понятные человеческому сознанию формы. Это значительно более благородная задача, чем все вышеупомянутые “псевдозадачи”»³.

* * *

Сумма всех устойчивых форм адресации обществу, какие может использовать профессиональный историк, может быть условно названа *социсторией*. С социальной или, тем более, социально-экономической историей тут нет никакой связи. Речь идет о другом: «аудиторией-адресатом» социсторика служит не государство, не учащиеся и не научные круги, а социум, точнее, совокупность интеллектуалов, интересующихся знаниями о прошлом. И выбор аудитории производится осознанно – со всеми вытекающими последствиями.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Кизюков С. В.* Типы и структура исторического повествования. М., 2000.
Ключевский В. О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 1993.
Эжитут С. А. На службе российскому Левиафану. Историософские опыты. М., 1998.

Володихин Дмитрий Михайлович, доктор исторических наук, доцент кафедры источниковедения исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова; volodih@mail.ru

³ Кизюков. 2000. С. 102–103.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Н. С. Цинцадзе

ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОГО КРИЗИСА В ЧЕРНОЗЕМНЫХ И НЕЧЕРНОЗЕМНЫХ ГУБЕРНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННОКОВ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.*

В статье представлен анализ точек зрения современников на демографические и экологические аспекты аграрного кризиса в черноземных и нечерноземных губерниях Европейской России.

Ключевые слова: аграрный кризис, публицистика, кризис, демографический рост, аграрное общество, общественное мнение, природные ресурсы.

Современники исторических процессов являются самыми внимательными и небезучастными их наблюдателями. Проведенное нами исследование восприятия представителями общественности подготовки и последствий крестьянской реформы 1861 г. показало высокую степень внимания к демографическим и экологическим аспектам аграрного реформирования¹. Особенную активность в обсуждении указанных проблем аграрного общества в пореформенный период проявляли научная и творческая интеллигенция, земские деятели².

Большой пласт опубликованных и архивных материалов обнаруживает мнения современников о специфике проявления аграрного кризиса второй половины XIX – начала XX в. в земледельческих и неземледельческих губерниях Европейской России. Их тщательный анализ позволил выявить оригинальные точки зрения на проблему и дополнить

* Статья подготовлена по результатам научно-исследовательских работ по проекту «Проблемы демографического и экологического развития аграрного общества России во второй половине XIX – начале XX века в восприятии современников» (Государственный контракт № П1141 от 02.06.2010 г.), реализуемому в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.

¹ Цинцадзе. 2009.

² Цинцадзе. 2005. С. 81–84; Она же. 2007. С. 243–251; Она же. 2010. С. 152–166; Она же. 2010. С. 15–48; Она же. 2011. С. 31–34.

объективные сведения о сельскохозяйственном упадке в стране того времени субъективными восприятиями современников.

Крупный землевладелец, общественный деятель, публицист, князь А. И. Васильчиков в рукописной работе «О разстройстве и устройстве сельского хозяйства в России» (1872) отмечал, что при изучении кризиса в сельском хозяйстве необходимо было различать северо-западную или «навозную полосу», имея в виду распространенную там практику удобрения земель, и юго-восточную или черноземную, степную, где удобрение полей встречалось в виде исключения. Он обращал внимание на то, что земли в северо-западной России были истощены и давали низкие урожаи, а скудость пастбищ понижала доходность молочного скотоводства³. В двухтомной книге А. И. Васильчикова «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах» (1876) были поставлены на обсуждение актуальные для того времени вопросы крестьянского малоземелья. По мнению автора, крестьяне были вполне обеспечены землей: «Наше крестьянство наделено таким пространством угодий, какое вполне соответствует рабочей силе этого сословия и едва ли ее не превышает»⁴. Общую причину упадка крестьянских хозяйств он видел в сохранении традиционной экстенсивной системы земледелия, в перенесении «распашных приемов прежнего степного своего быта», характерных для переложной системы, на трехпольные севообороты. Частные причины этого явления А. И. Васильчиков находил в увеличении площади пашни, сокращении лугов и выгонов, истощении почв. Особенно заметны эти процессы, по его наблюдениям, были в Курской губернии, где в начале 1860-х гг. пашни занимали 67% всей площади губернии. Главными же причинами бедственного положения бывших помещичьих крестьян он считал истребление лесов, высыхание рек⁵. В связи с таким видением проблемы, автор предлагал облегчить податные оклады с земли, организовать охрану лесов от порубок и распашки, вводить рациональные и интенсивные методы обработки пашни, поощрять переселенческое движение⁶. Кроме того, он подмечал особенность российского земледелия, заключающуюся в рискованном характере и крайне сжатых сроках земледельческого сезона⁷. Историки и

³ РГИА. Ф. 651. Оп. 1. Д. 735. Л. 79–145.

⁴ *Васильчиков*. Т. 2. СПб., 1881. С. 98.

⁵ Там же. С. 59–60.

⁶ Там же. С. 103. 109.

⁷ «Главное различие нашего земледелия и европейского не в качестве почвы, а в суровости нашей зимы и крайности полевого рабочего сезона. Русский земледelec должен исполнить в 5–6 месяцев, а в северной полосе в 4, те же самые работы, кото-

общественные деятели В. И. Герье и Б. Н. Чичерин соглашались с мнением А. И. Васильчикова о достаточности крестьянских наделов. Единственное, что потеряли крестьяне после реформы 1861 г., как они считали, были льготы в пользовании многими угодьями⁸.

Крестьянин одной из нечерноземных губерний Гавриил Ермаков писал в середине 1870-х гг. о том, что земледелие в этой полосе было неэффективным по причине малоземельности и большого количества неудобных земель, что заставляло крестьян отправляться на промыслы⁹.

Анонимный автор Д. В., проанализировав проблемы «крестьянского дела», замечал, что спустя двадцать лет «спячки» после реформы 1861 г. общественность вновь «оживилась»: в земствах стали обсуждать проблему недостаточности крестьянских наделов, в периодических изданиях – книгу кн. А. И. Васильчикова. Автор считал, что в обществе господствовало пессимистическое восприятие последствий крестьянской реформы, отражавшее состояние упадка России и опиравшееся на не вполне достоверные статистические данные¹⁰.

Согласно Д. В., реформу проводили «не сентиментальные филантропы, а государственные деятели, которые не ставили себе целью обеспечение на веки-вечные крестьянского населения сколько бы его не народилось», а предоставление в 1861 г. крестьянам наделов преследовало три цели: обеспечение выполнения государственных повинностей, предоставление крестьянам независимости от помещиков, предотвращение «быстрого и легкомысленного» переселения крестьян¹¹.

Д. В. считал, что образование Московским земским собранием специальной комиссии для исследования вопроса об упадке крестьянского хозяйства перенесло центр общественного внимания к проблеме со страниц журнальных и публицистических изданий, кабинетных сочинений – в земства, хорошо знакомые с ней на практике¹². Проанализировав данные обследования крестьянских хозяйств Московской губернии, автор констатировал ухудшение их состояния: заброшенность ряда крестьянских наделов, уменьшение количества скота. В этой части Центральной России главной проблемой было не истощение земли, а ее запущенность вследст-

рые немецкий крестьянин производит в 9. Русские крестьяне не успевают как следует обработать пашню, запускают ее, стремясь к расширению своих владений, порят землю небрежной работой». Там же. С. 220.

⁸ Герье 1878. С. 233.

⁹ Беседы крестьянина с собратами... С. 8–9.

¹⁰ Д.В. 1880. С. 3–4, 14–15.

¹¹ Там же. С. 6.

¹² Там же. С. 8.

вие роста числа крестьянского отходничества в города на заработки¹³. Д. В. не соглашался с выводами Ю. Э. Янсона о недостаточности наделов и несоответствии выкупных платежей их размерам. Причину роста недоимок автор брошюры видел в «дурных климатических условиях» и неурожаих¹⁴. Рассуждая о положении крестьянских хозяйств в черноземной полосе, автор обращал внимание на усиленную вырубку лесов, обращение под пашню сенокосов и выгонов, сокращение удобных для земледелия мест, увеличение количества оврагов. Еще в более худшем состоянии, замечал он, находились крестьяне-дарственники. Защищая основные начала реформы 1861 г., Д. В. считал, что «нельзя было достигнуть результатов настолько безошибочных, чтобы не потребовалось никакого добавления, никакой поправки», и видел выход в организации переселений крестьян из густонаселенных черноземных губерний за Урал, а также в развитии земледелия в нечерноземных областях¹⁵.

Н. А. Новосельский отмечал, что повсеместно бывшие помещичьи крестьяне по реформе 1861 г. получили мало земли, подтверждением чего, как он полагал, служил наглядный процесс сокращения скотоводства. В своих размышлениях о крестьянских проблемах автор книги ссылаясь на исследование проф. Ю. Э. Янсона. Он считал, что выводы, сделанные статистиком, вполне реальны, так как крестьянское население со времени 10-й ревизии возросло, а размеры земли и угодий, выделенные ему по Положению 19 февраля 1861 г., остались прежними¹⁶.

Н. А. Новосельский приводил интересные рассуждения о том, как эти вопросы воспринимались общественностью:

Мы знаем, что у нас относительно земельного вопроса установилось мнение, что такого вопроса в России не существует, потому что крестьяне наделены землею, а крупные землевладельцы затрудняются во время иметь рабочих даже за большие деньги. На деле же оказывается, что недовольство крестьян происходит не от того, что у них земли нет, но от того, что у них ее мало, и что они, для удовлетворения своих хозяйственных нужд, вынуждены нести всю тяготу эксплуатации со стороны тех, у кого они нанимают землю или уголья.

Он был убежден в существовании в России своеобразного «социального земельного вопроса», который требовал решения путем предоставления крестьянам государственного кредита на приобретение земли и организацию переселений в малоосвоенные районы станы¹⁷.

¹³ Там же. С. 10–12.

¹⁴ Там же. С. 17, 22, 31.

¹⁵ Там же. С. 25–26, 31, 33, 35–38.

¹⁶ *Новосельский*. 1881. С. 65–66.

¹⁷ Там же. С. 67, 76–77.

Землевладелец Орловской губернии И. Р. Цивинский писал об упадке в стране сельского хозяйства, в особенности – земледелия. Он отмечал презрительное отношение в обществе к земледельческому труду. По мнению Цивинского, крестьянские пашни можно было отличить по узеньким полоскам, называемым «загончиками», образовавшимся вследствие общинного землевладения и частых семейных разделов. Размышляя над причинами упадка сельскохозяйственной отрасли, он пришел к следующим выводам. Во-первых, переход от тяглогового к пореформенному душевому землепользованию способствовал сильному раздроблению и без того небольших крестьянских наделов. Если до реформы 19 февраля 1861 г. крестьянские дворы состояли из достаточно широких участков, т.н. кругов, которые пахались сохой вдоль и поперек, то после реформы наделы стали делиться на крестьянские души и раздроблялись на узкие полосы, которые пахались только вдоль, что приводило к истощению плодородного слоя земли, распространению сорных трав и вредных насекомых. К тому же крестьяне практически не удобряли свои наделы. Землевладелец возмущался тем, что уже через двадцать лет после отмены крепостного права крестьяне успели сильно истощить земли, что грозило превратить Европейскую часть страны в «бесплодную пустыню»¹⁸. Во-вторых, общинное землевладение сковывало инициативу хозяйственных и трудолюбивых однодворцев, препятствовало улучшению способов обработки земли¹⁹. Важной проблемой, по мнению Цивинского, был рост количества безлошадных хозяйств²⁰. Одно из решений проблемы он видел в установлении определенной нормы неделимости крестьянских наделов и в организации общественных запасек, которые сильно не истощали бы почву²¹. По убеждению Цивинского, интенсивное землевладение, предполагавшее переход к многопольному севообороту, ни по экономическим, ни по климатическим условиям не было приемлемо для России²².

Профессор Петербургского земледельческого института, агрохимик и публицист А. Н. Энгельгардт, чье имение располагалось в с. Батищево Дорогобужского уезда Смоленской губернии, в очерках об особенностях ведения хозяйства в северной полосе России замечал, что наделы крестьян недостаточны, в них не было леса, выгонов, сенокосов. Крестьянский рогатый скот и овцы кормились впроголодь. Вследствие

¹⁸ Цивинский. 1883. С. 16–17.

¹⁹ Там же. С. 19–20.

²⁰ Там же. С. 24.

²¹ Там же. С. 31.

²² Там же. С. 32–33.

сокращения скотоводства и недостатка навоза происходило постепенное выпаживание земли, падение урожайности²³. По его мнению, со времен крестьянской реформы 1861 г. «все осталось по-старому, с тою лишь разницею, что запашки везде уменьшены на две трети и потому хозяйство везде сузилось, съежилось и представляет то же старое хозяйство, только в миниатюре». А. Н. Энгельгардт в начале 1870-х гг. отмечал, что земли, полученной по реформе, уже тогда не хватало крестьянам, численность которых еще не успела сильно возрасти²⁴. Крестьян, имевших выгодные заработки дома или на стороне, было мало²⁵.

Экономист С. А. Короленко, выступая с докладом на заседании Петербургского собрания сельских хозяев 6 марта 1890 г., отмечал, что переживаемый тогда страной аграрный кризис признавался всеми. Однако объяснение его причин, основанное на «премудрых западноевропейских экономических учениях», было односторонним, так как не учитывало российских условий, в том числе естественно-климатического характера. Он указывал на то, что в черноземных и южных губерниях крестьяне, «ведя хозяйство хищническими приемами», распахали большинство пригодных для засева угодий, а в нечерноземных областях кустарный льняной промысел практически был уничтожен и вытеснен хлопчатобумажным производством²⁶.

Деятель народнического движения И. А. Гурвич в 1892 г. в США издал книгу «Экономическое положение русской деревни», которую он написал в эмиграции на основе статистических сведений по Рязанской губернии, собранных в 1882 г. В ней он отмечал, какую сенсацию в свое время произвела книга Ю. Э. Янсона, в которой автор убедительно доказал несоответствие между размером выкупных платежей и доходностью земли. Опираясь на факты статистики, Гурвич писал о том, что недостаток земли у крестьян Рязанской губернии, образовавшийся в результате прироста населения, явился причиной обращения в пашню выгонов и пастбищ, которое сократило и без того находившееся в упадке крестьянское скотоводство. Кроме того, по его сведениям, крестьяне испытывали нехватку лесных материалов и водных ресурсов²⁷.

Экономист, статистик и социолог А. А. Исаев обращал внимание на то, что после реформы 1861 г. вследствие прироста крестьянского

²³ Энгельгардт. 1888. С. 81–82, 85.

²⁴ Там же. С. 83, 216

²⁵ Там же. С. 221.

²⁶ Короленко. 1890. С. 2–4, 9, 13, 17–18.

²⁷ Гурвич. 1941. С. 16, 26–29, 40.

населения, пашни расширились за счет сенокосов, что негативно отразилось на состоянии скотоводства. Он ратовал за разрушение общины и развитие частной инициативы²⁸.

И. С. Блюх отмечал начавшийся еще с периода реализации крестьянской реформы 1861 г. процесс истощения почв Европейской России, особенно в крестьянских наделах. Он писал о влиянии климатических условий на частые колебания урожаев. На основе составленной им таблицы распределения основных видов угодий в крестьянских и частновладельческих хозяйствах, Блюх констатировал сокращение лугов, выгонов и лесов в наделах крестьян, их предельную распаханность, катастрофическое истощение почв, рост числа безлошадных хозяйств. Пагубное влияние на состояние почв оказывал и «хищнический, примитивный способ ведения хозяйства»²⁹. Блюх считал крайне важными интенсификацию крестьянских хозяйств, расширение площади лугов, развитие скотоводства, закупку новейших сельскохозяйственных орудий и машин, орошение или осушение земель, чему способствовало бы широкое распространение мелиоративного кредита³⁰.

По мнению М. А. Литвинова, недостатки Положений 19 февраля 1861 г. сказались уже в первое десятилетие после их введения в жизнь, которые выразились в том, что крестьяне были наделены недостаточными земельными наделами³¹. Президент Императорского Московского общества сельского хозяйства кн. А. Г. Щербатов, отмечал тенденцию «высыхания всей поверхности Европейской России», понижение общего уровня почвенных вод, обмеление родников и рек³². В связи с этим, по его мнению, было важно провести обводнительные работы в Центральной России, которая страдала от недостатка воды, как для питья, так и для нужд скотоводства: безводие и засухи становились уже хроническими. Следующей неотложной мерой, считал князь, должно было стать увеличение производительности крестьянских хозяйств, для чего необходимо было опираться на отечественные научные достижения в области агрономии, развивать сельскохозяйственное образование³³.

Статистик и экономист, брат К. А. Тимирязева Д. А. Тимирязев в своих неопубликованных рукописях, посвященных анализу условий и причин сельскохозяйственного кризиса в России конца 1890-х гг., писал

²⁸ *Исаев*. 1896. С. 106.

²⁹ *Блюх*. 1896. С. 182, 190, 214; 192, 195, 203.

³⁰ Там же. С. 182, 211, 214–215, 221–246, 281–282.

³¹ *Литвинов*. 1897. С. 362.

³² *Щербатов*. 1897. С. 6–7.

³³ Там же. С. 8–11, 219.

о росте числа «безлошадных и безхозяйственных дворов». Одной из мер преодоления кризиса он называл распространение знаний и практики применения сельскохозяйственной техники³⁴. Д. А. Тимирязев в рукописи статьи «Местные метеорологические сети и значение сельскохозяйственных метеорологических наблюдений», датированной 20 декабря 1894 г. и направленной им в редакцию журнала «Известия Министерства земледелия и государственных имуществ», обращает внимание департамента земледелия данного министерства на необходимость организации метеорологических наблюдений с целью изучения климата. При этом он предлагал опираться на наблюдения местных жителей, хорошо знавших родные места. Д. А. Тимирязев отмечал, что практически не изучались земляные бури на юго-востоке страны³⁵. По мнению статистика, местные метеорологические центры помогли бы отслеживать погодные явления и их влияние на земледелие, составлять прогнозы и применять упреждающие меры по устранению пагубных последствий климатических изменений. Они содействовали бы формированию основ новой науки – климатологии. Ученый отмечал важность изучения природы суховеев и проведения работ по увлажнению воздуха посредством организации запруд, защитных лесных насаждений³⁶.

Г. Ф. Курносков в рукописной записке «Сельско-хозяйственный кризис и возможность его прекращения в России» от 19 февраля 1895 г., адресованной министру земледелия и государственных имуществ А. С. Ермолову, отмечал, что кризис в сельском хозяйстве был вызван перепроизводством зерновых культур и падением цен на сельскохозяйственную продукцию. По мнению автора записки, необходимо было сократить запашки и способствовать лесоразведению, травосеянию, развитию скотоводства и коневодства³⁷.

Публицист Д. Ф. Самарин писал о часто повторявшихся в центральной полосе России неурожайных и голодных годах. Он полагал, что недороды случались по двум главным причинам: из-за засух и истощения почв. Они, в свою очередь, были вызваны истреблением лесов, усиленной распашкой земель, разрастанием оврагов. Отдельные овраги в средней полосе России, по сообщению Д. Ф. Самарина, достигали 18-ти и более верст длиной и 20-ти саж. глубиной. Он называл леса «резервуарами влаги», защищавшими почвы от ветров и песчаных наносов.

³⁴ РНБ. ОР. Ф. 772. Ед. хр. 9. Л. 1–2.

³⁵ Там же. Ед. хр. 77. Л. 2–3.

³⁶ Там же. Л. 4–8.

³⁷ РНБ. ОР. Ф. 772. Ед. хр. 45. Л. 4, 7, 10–10 об.

Д. Ф. Самарин писал: «У немцев, чтобы спастись от излишка влаги, был лозунг: «Осушить или голодать!». Наш лозунг должен быть: «Накоплять и сберегать влагу или голодать!». Он не сомневался в том, что уничтожение лесов влияло на «изсушение почвы и даже на климат»³⁸. Публицист предлагал вводить в крестьянских наделах многополье, проводить укрепление и облесение оврагов, лесоразведение в губерниях центральной части России, обязывать крестьян уваживать земли, запретить распахивать крутые склоны рек³⁹.

Агроном В. Г. Бажаев обращал внимание на то, что крестьяне «вышли на волю с урезанными наделами». Они были в недостаточной мере наделены выгонными и сенокосными угодьями, что сказалось на сокращении скотоводства и снижении урожайности. Особенно это обстоятельство, по его мнению, ударило по хозяйствам крестьян нечерноземной полосы, где земли требовали удобрения, а животноводство нуждалось в хороших лугах. Решение проблемы он видел в развитии травосеяния и интенсификации крестьянских хозяйств. В. Г. Бажаев был уверен в том, что остроту малоземелья вследствие естественного прироста населения можно было решить посредством «постоянно действовавшего земельного регулятора»: механизма наделения земельными наделами новых крестьянских тягол⁴⁰.

Таким образом, у большинства современников наличие кризисных тенденций в развитии крестьянских хозяйств не вызывало сомнений. Мнение общественных деятелей расходилось лишь по вопросам причин их возникновения и по способам преодоления. На проблему генезиса сельскохозяйственного кризиса в стране существовало, по меньшей мере, две точки зрения. Согласно первой, кризис был вызван экономическими факторами, в первую очередь падением цен на продукты сельскохозяйственного производства, а также низким уровнем технической обработки земель, согласно второй – действием негативных естественно-географических и климатических факторов, которые проявились, говоря современным языком, из-за демографического превышения емкости экологической системы. Сторонников противоположных взглядов на данную проблему объединяло признание того, что ее корни находились в периоде подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г.

В вопросе о способах разрешения кризиса наметились также две позиции: сохранение общины и ее уничтожение. Как правило, и сто-

³⁸ Самарин. 1899. С. 9-12, 14-15, 34-35, 39, 41.

³⁹ Там же. С. 19, 32, 34, 64.

⁴⁰ Бажаев. 1900. С. 176, 181.

ронники и противники общинного землевладения, предлагали интенсифицировать крестьянские хозяйства. Многие делали особый акцент на проведении мелиоративных работ. Современники отмечали, что кризис в сельском хозяйстве выражался по-разному в черноземных и нечерноземных губерниях. В степных, земледельческих областях страны он проявлялся, прежде всего, в колоссальном истощении, выпаживании чернозема, сокращении сенокосных и выгонных угодий, росте оврагов и песков, периодически повторявшихся засухах. В промышленных, нечерноземных территориях кризис выражался в вырубке значительных территорий лесов, понижении качества земель и отсутствии их систематического удобрения, запустении земледелия и ряде связанных с ним промыслов, падении животноводства.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Бажаев В. Г.* Крестьянское травопольное хозяйство в нечерноземной полосе Европейской России. М.: Изд-е К. И. Тихомирова, 1900. 304 с.
- Беседы крестьянина с собратьями. Сочинение крестьянина Гавриила Ермакова. СПб.: Тип. Г. Шредера, 1876. 21 с.
- Блюш И. С.* Мелиорационный кредит и состояние сельского хозяйства в России и иностранных государствах. СПб.: Типо-лит. И. Ефрона, 1896. 283 с.
- Васильчиков А. И.* Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах. В 2-х тт. Т.2. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1881. 393 с.
- Герье В. И.* Чичерин Б.Н. Русский дилетантизм и общинное землевладение. Разбор книги князя А. Васильчикова «Землевладение и земледелие». М.: Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1878. 250 с.
- Гурвич И. А.* Экономическое положение русской деревни. М.: Госполитиздат, 1941. 211 с.
- Д. В.* Крестьянское дело и его современная постановка. М.: Университет. тип. М. Каткова, 1880. 38 с.
- Исаев А. А.* Настоящее и будущее русского общественного хозяйства. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1896. 205 с.
- Короленко С. А.* О сельско-хозяйственном кризисе в нечерноземной полосе России. СПб.: Тип. Тов-ва «Общественная польза», 1890. 39 с.
- Литвинов М. А.* История крепостного права в России. М.: Тип. Вильде, 1897. 367 с.
- Новосельский Н.А.* Социальные вопросы в России. СПб.: Тип. В.В. Комарова, 1881. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 651. Оп. 1. Д. 735. Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 772. Ед. хр. 9, 45, 77.
- Самарин Д. Ф.* Какия возможны меры против периодических голодовок. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1899. 64 с.
- Цивинский И. Р.* Русское сельское хозяйство и земледелие. Двадцатипятилетния практические сельско-хозяйственные заметки. М.: Тип. М.Н. Лаврова, 1883. 363 с.
- Цинцадзе Н. С.* Экологические и демографические последствия крестьянской реформы 1861 года в Тамбовской губернии в оценках земских статистиков 1880-х годов //

Экологические проблемы модернизации российского общества в XIX-первой половине XX вв.: мат-лы межрегион. конф. Тамбов, 5-6 окт. 2005 г.; отв. ред. В.В. Канищев. Тамбов: Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2005. С. 81–84.

Цинцадзе Н. С. Отражение эколого-демографических проблем пореформенного развития Тамбовской деревни в земской делопроизводственной документации // Молодежь Тамбовщины размышляет, спорит, советует: сб. науч. работ молодых ученых к 70-летию Тамбовской области / Отв. ред. А. П. Поздняков. Тамбов: Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2007. С. 243–251.

Цинцадзе Н. С. Демографические и экологические аспекты подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 года в оценках современников. Дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 2009. 235 с.

Цинцадзе Н. С. Демозэкологические аспекты аграрного кризиса центрально-черноземных губерний Российской империи в осмыслении ученых второй половины XIX-начала XX в. // Природа и общество: на пороге метаморфоз. Серия «Социоестественная история. Генезис кризисов природы и общества в России» / Под ред. Э. С. Кульпина-Губайдуллина. Вып. XXXIV. М.: ИАЦ Энергия, 2010. С. 152–166.

Цинцадзе Н. С. Обсуждение демографических и экологических последствий крестьянской реформы 1861 года и причин аграрного кризиса в Центрально-земледельческих губерниях России на страницах периодических изданий второй половины XIX века // Демографические и экологические проблемы истории России в 20 веке: сб. науч. ст. / Отв. ред. В. Б. Жиромская, В. В. Канищев. М.-Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. С. 15–48.

Цинцадзе Н. С. Демографические и экологические особенности развития Центрально-земледельческой пореформенной деревни в письмах современников второй половины XIX века // Фундаментальные и прикладные исследования в системе образования: сб. науч. тр. IX Междунар. науч.-практич. конф. (заоч.) / Отв. ред. Н. Н. Болдырев. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011 г. С. 31–34.

Щербатов А. Г. Современные задачи сельского хозяйства и способы их осуществления. М.: Тип. А.А. Левинсон, 1897. 11 с.

Энгельгардт А. Н. О хозяйстве в северной России и применении в нем фосфоритов. СПб.: Изд-е А. С. Суворина, 1888. 522 с.

Цинцадзе Нина Сергеевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права Института права Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина; *NinaTsintzadze2010@yandex.ru*

Э. Е. АБДРАШИТОВ

ВОЕННОПЛЕННЫЕ СТРАН ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

В данной статье анализируется отношение населения Поволжского региона к военнопленным стран Тройственного союза через призму материалов периодической печати и эго-документов. Автором выявлен ряд концептов, которые активно использовались в печати и формировали отношение к пленным.

Ключевые слова: *военнопленные, Поволжский регион, общественно-политический дискурс, первая мировая война.*

Начало первой мировой войны было полной неожиданностью для российских обывателей. Многих это известие застало на вражеской территории; части из них удалось вернуться на Родину, часть же осталась в Германии и Австро-Венгрии в качестве военнопленных.

На момент объявления войны российская официальная идеологическая машина (как и германская) оказалась в тупике. Необходимо было в ограниченные строки поднять боевой дух подданных. Именно на решение этой задачи были направлены публикации в периодической печати, в которых обыгрывались разные сюжеты славянского единения как результата войны, культивировался образ немца как тевтонского завоевателя, демонстрировалось вероломство Германии. Однако это не дало результата, на который рассчитывали. Как докладывала в Казанское губернское жандармское управление «агент Казанцева» 16 сентября 1914 г. «настроение масс из интеллигенции патриотическое, но особенного подъема теперь не замечается»¹.

Региональная печать старалась не отставать от центральных изданий в деле нагнетания антигерманских и антиавстрийских настроений. Поволжская печать с первых дней войны подключилась к борьбе с германским засильем в органах власти, промышленности и т.п., колониялистами, приезжими подданными стран Тройственного союза².

¹ НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 922. Л. 81. Мы не касаемся здесь вопроса об антигерманских демонстрациях и погромах, проявлениях националистического угара с верноподданнической окраской в первые дни после объявления войны. Один из вернувшихся после семимесячного плена великих князей отмечал, что его больше всего поразило в Отечестве отсутствие злобы против немцев. См.: Мы и они...

² Волжское слово. 7 ноября 1914. № 2117.

Германские коллеги российских пиарщиков лучше справились с поставленной задачей. Сократив до минимума поток посторонней информации и акцентировав ее на военной тематике, немецкая пропагандистская машина сумела вызвать ненависть к русскому элементу и одновременно сформировать у бюргеров уверенность в слабости России и ее армии, в том, что Россия – колосс на глиняных ногах, который из-за сильных сепаратистских тенденций на окраинах развалится при первом же наступлении блистательной немецкой армии. Достаточно показательна и кампания шпиономании, захлестнувшая Германию (Австро-Венгрию в меньшей степени). Власть поощряла доноительство и создавала иллюзию, что Германия буквально кишит русскими шпионами.

Когда армии противников столкнулись друг с другом, и стали поступать первые убитые, особой нужды в поддержании морального духа населения не было. Проблемы начались по мере затягивания боевых действий. В этих условиях эксплуатация устоявшихся ментальных образов «славянских варваров», с германской стороны, и «тевтонских завоевателей», с российской стороны, потеряла эффективность: они выработали свой эмоциональный ресурс, и потребовались новые образы.

Для поддержания образа врага использовался образ пленного (и плена вообще). Сообщения о пленных в прессе можно условно поделить на *информационные* и *экспрессивные*. Информационные содержат данные о том, сколько пленным было доставлено, куда они были размещены или перенаправлены. Для экспрессивных характерен эмоционально окрашенный фон. Их представляют описания или интервью корреспондента, отрывки из писем пленным, воспоминания возвратившихся из плена. Можно выделить две подгруппы: документы *внутренние*, исходящие непосредственно от пленным и содержащие комментарии, и *внешние*, отражающие восприятие жизни пленным иными лицами (очевидцами).

Интуитивно или сознательно журналисты эксплуатировали те культурные концепты, которые традиционно связываются с образом немца в глазах российских обывателей. Естественно, что созданные в прессе образы чаще всего не совпадали с собственным мнением немцев о себе как о народе. Создаваемый образ являлся абстракцией, но заключал в себе своеобразный ключ к российскому дискурсу. Основной тенденцией было либо *разрушение* сложившихся концептов, что естественно вызывало шок обывателя, либо *гиперболизированная* эксплуатация образов, либо *создание* новых концептов.

Долгое время германская нация ассоциировалась с образцом культурного поведения, как нация, которая возвеличивала умственный труд и дала миру множество блистательных ученых. Поскольку жестокость со

стороны немцев сама по себе, вполне объяснимая ужасами войны, могла не произвести на обывателей должного эмоционального впечатления, особое внимание было уделено разрушению образа немцев как культурной нации. В статьях начала войны мы встречаем знакомые знаковые понятия, но противоположного содержания за счет включения дополнительного существительного («культурный варвар») или качественного прилагательного: «кровавый завоеватель», «озверевший культуртрегер». Вообще, широкое распространение получил термин «зверь», противопоставлявшийся «культуре» и «культурному». Это позволило в довольно короткие сроки трансформировать представление обывателей о немцах с положительного до нейтрального и иногда даже отрицательного.

С разрушением традиционных концептов в отношении австрийцев было сложнее, так как это государство было многонациональным. Многим народам с общими славянскими корнями российское общество симпатизировало, и формировать в массовом сознании образ врага-австрийца было непросто. Для этой цели было произведено четкое разделение пленных на своих и чужих. Постепенно начала формироваться связка австриец – мадьяр, славянин – не австриец. Поэтому в связке с мадьярами мы постоянно встречаем слова «палач»³, «кровавый», «озверевший», «изверг». Со славянами соотносятся термины «братский», «добродушный», «душевный», «родненький», «несчастненький»⁴.

Одна из немецкого менталитета – любовь к *порядку* и *чистоте*. В известном утверждении “*Ordnung muss sein*” обратим внимание на идею морального долженствования, а не приказной данности. Порядок понимался в терминах: точность, пунктуальность, аккуратность, умение считать (в немецком языке противопоставляются глаголы *rechnen* и *zahlen*), уважение к приказу, иерархичность, основательность и доскональность, целеустремленность (точнее – осознание цели: *zielbewusst*), рационализм. Стереотипы немецкого менталитета можно частично объяснить особенностями протестантской этики, суть которой в том, что каждый человек персонально отвечает за свои поступки перед Богом, а усердие и трудолюбие, отмеченное повышением благосостояния, является знаком выбора правильного пути. В российской прессе широкое распространение получил именно гипертрофированный рационализм немцев и стремление к тотальной чистоте (например, мытье пленных на улице на морозе; в бараки не отпускали, пока не помоеется последний пленный). Все немецкие действия по отношению к военнопленным вы-

³ Жестокости австрийцев...

⁴ Встреча пленных...; Тихо: пленный спит...; Мы и наши пленные...

ставлялись как детально продуманный план. Даже бесцельное конвоирование русских пленных из точки А в точку Б и обратно на другой день, подавалось как отточенный садизм немцев, акт глумления над больными и ранеными русскими пленными, хотя вполне возможно, что это было связано с тактическими соображениями, обстоятельствами или элементарной глупостью. Неоднократно цитировались выдержки из разговорника, специально выпущенного для немецких солдат и содержащего набор наиболее употребляемых фраз, среди которых фигурировали «Стой», «Отдайте все, что у Вас есть» и т.п.

Не менее эффектно описывались действия немецкой толпы⁵. Сам этот концепт вступал в жесткое противоречие с концептом порядка и рационализма. Со временем печати можно отметить замещение терминов, конструирующих рациональное пространство, иррациональными композициями, ведущей из которых был термин «толпа». Для оттенивания демонстрировались отдельные проявления гуманизма и рационализма ряда немецких женщин, но исключительно тайком от толпы⁶.

Практически все возвратившиеся из плена вспоминали, что пленных во время транспортировки повсеместно называли русскими свиньями. Особенно часто с этим сталкиваешься на страницах периодической печати Поволжского региона. Так пытались вызвать негодование мусульманского населения, которое связывало упоминание свиней со страшным оскорблением. При этом следует отметить, что немцы вовсе не для этого употребляли данное сравнение. Вид жалких оборванцев в лохмотьях, с бурыми от запекшейся крови повязками, невымытых по несколько дней, увязывался в сознании немецких обывателей с образом свиней. Сами немцы приложили к этому руку: отнимали всю одежду (шинели и сменную), не кормили по несколько дней, устраивали длинные переходы с ночевкой в открытом поле или стойлах животных.

Впрочем, анализируя прилагательные, которыми наши авторы отмечали пленных врагов, постоянно натываешься на характеристики телесности, зачастую негативно окрашенные. При этом согласно сложившемуся мнению, неоднократно подтвержденному высказываниями чиновников самого высокого уровня, и даже Николая II, пленные враги не представляли собой монолитного образования. Из них выделялись немцы, которых характеризовали через прилагательные «жестокие», «подлые», «предательские»; мадьяры – «бесчеловечные», «жестокие». Напротив, пленные славянской национальности характеризовались

⁵ Волжское слово. 30 июля 1914. № 2040; 29 августа 1914. № 2064.

⁶ Как немцы обращаются с пленными...

нейтральными прилагательными. Например, «краснощекий австриец», но «красномордый бурша» или «толстый бургер». Со временем применяется все более дружественная терминология: «бодрый», «веселый», «стыдливый». Немецкие пленные напротив характеризовались как «бесстыжие», «бессовестные», «наглые», «нахальные люди».

Через подобные ассоциативные ряды характеризовались и отношения пленных с местным населением или солдатами: русские относятся добродушно, сердобольно, тепло, благожелательно; немцы озлобленно, жестко или даже жестоко. Для полноты картины применялся прием сравнения. Когда в одной статье сравнивались условия содержания наших пленных в Германии и немцев в России, или же приводились отрывки писем. Сравнение, естественно, было не в пользу немецких властей. А вот положительные отзывы о содержании русских пленных не соседствовали с описанием немцев в российском плену; практически всегда фоном выступали статьи о немецких жестокостях на фронте.

Красной нитью практически через все публикации о транспортировке военнопленных проходит идея о том, что все пленные подданные Тройственного союза – попрошайки. Напротив, русские военнопленные стойко переносят муки голода, не опускаясь до попрошайничества: им помогают местные либо они сами берут на бесхозных полях. Австрийским пленным дают женщины.

Вернувшиеся из плена русские врачи описывают, как стоически переносят наши пленные страдания и боль. Истекая кровью, он ждет своей очереди, дымя папиросой, зачастую пропуская товарища или раненного пленного. Читателю представляется образ аскета, святого, понятный в бытовом дискурсе с полуслова.

Большинство публикаций направлено на героизацию русских солдат. Авторы многих публикаций именуют героями и военнопленных: это военнослужащие, исполнившие свой долг перед родиной до конца; образец беззаветного служения Отечеству. Как оттеночный штрих использовалось ласкательно-уменьшительное именование российских военнослужащих: «солдатики». Это вполне укладывалось в бытовой дискурс российского общества: герой должен быть скромн, открыт.

В описаниях иностранных пленных широко использовался концепт *порядка*. Так немцы добивали раненных пленных по приказу, делали все согласно распоряжениям начальства, даже пленные славяне воевали против русских только потому, что под тамошним царем ходили по приказу. Данный конструкт позволял оправдывать пленных славян и в то же время сгущать краски в отношении немцев, посредством гиперболизации. Напротив, в описаниях российских пленных использу-

ется термин «беззаветное служение». То есть иностранцы служат по приказу, русские защищают Отечество по внутреннему убеждению. Так проводилась идея, что защищать Родину, а через нее и свою семью и дом – это моральный долг каждого мужчины; защищать по принуждению аморально и претит русской сущности. В службе честь.

Концепт *честь* составляет одно из важнейших ментальных образований в оценочной картине мира и имеет различное наполнение у разных народов. Так, Г. Г. Слышкин⁷, рассматривая языковые способы выражения концепта *честь* в американской и русской лингвокультурах, убедительно доказал на основе анализа американских толковых словарей, что в американской культуре *честь* понимается как высокая репутация, т.е. высокое уважение со стороны окружающих. Русские толковые словари, напротив, раскрывают этот концепт в единстве внутреннего качества и отношения окружающих. Для американца *honor* ассоциируется с титулами, наградами, привилегиями и т.д. Автор связывает эволюцию данного конструкта с развитием западноевропейского концепта рыцарской чести, изначально связанного с соревновательностью и утверждением в обществе. В России напротив, «древнерусская семья воспитывала своих членов по веками выработанному шаблону, в основе которого лежали религиозные предписания. Понятие чести не фигурирует среди христианских добродетелей, а соревновательность чужда идеалу ортодоксального христианства, культивировавшего терпение и послушание». Поэтому понятие чести соотносится в русской культуре с внутренними качествами человека⁸.

Для русского солдата и офицера огромное значение имела не оценка окружающих, а внутреннее восприятие произведенного действия, похвала, высокая оценка окружающих скорее смущала. Побег из плена, что автоматически причисляло бывшего пленного к героям со слов журналистов и в дальнейшем в общественном мнении, заканчивался возвращением в строй к своим сослуживцам.

Для немецкого офицера особую значимость, напротив, имела внешняя оценка его поведения. Поэтому плен для немецких офицеров был наказанием, бесчестьем. Например, прусский генерал особо обращал внимание на тот факт, что русский полковник не лишил его оружия (внешний телесный атрибут), т.е. повел себя, как рыцарь. Это хоть как-то смягчило горькую пилюлю попадания в плен. В своем большинстве австрийские военнообязанные славянского происхождения имели те же

⁷ Слышкин. С. 57.

⁸ Там же. С. 59.

установки, но так как изначально большинство не горело желанием участвовать в войне с Россией, сдача в плен не считалась чем-то зазорным, позорящим и бесчестящим. Общественное мнение было на их стороне.

Не меньшей популярностью пользовался концепт *долг*, раскрываемый как через деятельность солдат, так и через работу врачей. Для россиянина понятие долг имело моральный оттенок, а не соотносилось с понятием обязанности или приказа. Так, в газетных статьях неоднократно противопоставлялись русские и немецкие врачи. Для русского врача и общественного дискурса понятие «врачебный долг» имело надпатриотичный характер. Раненый или больной, вне зависимости от национальности и подданства, нуждался в помощи и должен был ее получить. Преференции определенным категориям лиц воспринимались весьма негативно общественным мнением. Именно на это и указывали публицисты. Так, немецкие врачи «бросают операцию русского раненого наполовину, если прибыл раненный немец»⁹. Особо публицисты акцентировали, что немецкий врач – прежде всего солдат, подчиняющийся приказам, и для него долг – это защита всего немецкого. То есть фактически проводилась мысль, что их врачи – это псевдоврачи, обладающие всеми необходимыми навыками и дипломами, подтверждающими квалификацию, но не имеющие особого душевного склада. Русские врачи оказывали помощь повсеместно, как их обязывал долг. При этом тот же доктор «прекрасно отзывался об австрийских врачах» и, кроме хорошего, он «сказать о них ничего не мог»¹⁰. По его мнению, именно правильное понимание долга со стороны австрийских коллег и вызывало злону и ненависть немецких врачей.

Согласно Л. Е. Вильмсу, в немецком культурном социуме безрасудочность, демонстрация чувства оценивается крайне негативно, и одновременно отрицается сокровенный характер любви. Русский культурный социум напротив, осуждает легкомыслие, безответственность и нескромность (особенно жесткие требования предъявляются женщине)¹¹. Не меньший интерес представляет исследование этого же концепта в работе Е. Е. Каштановой, которая выделила пять основных семантических параллелей, характеризующих основные мировоззренческие направления в осмыслении любви в русской философии: Бог, семья, свобода, страсть, смерть¹². Тема любви и нелюбви буквально пронизы-

⁹ Истязание немцами пленных врачей...

¹⁰ Там же.

¹¹ Вильмс. С. 20-21.

¹² Каштанова. 1997.

вала военную периодику. Но если при описании жизни наших пленных в Германии, авторы намеренно говорили о том, что определенные группы пленных немцы *не любят*, то в описании положения иностранных пленных в России внимание наоборот концентрировалось на народной *любви* к отдельным группам пленных¹³.

Раскрывая тему взаимоотношений женщин и пленных, публицисты военного времени использовали концепты любви. В газетах намеренно неоднократно публиковались письма солдат с фронта и возмущенные отклики обывателей, повествующие о наличии интимных связей между пленными немцами и австрийцами и русскими женщинами. Для усиления эффекта параллельно публиковались статьи описывающие отношения пленных к русским женщинам, с позиции того, что для военнообязанных подданных стран Тройственного союза — это легкое увлечение, связанное с неизбежным пребыванием внутри России. В отношениях с дамами австрийцы характеризовались терминами «бесстыжий», «нахальный», немцы — через термины «оскорблять»¹⁴.

Впрочем, цель подобных статей — возбуждение ненависти к подданным вражеских стран — достигнута не была. Территория Поволжья находилась в существенном отдалении от театра боевых действий. С войной население контактировало посредством общения с беженцами, пленными, ранеными. Поступление тел погибших, конечно, формировало негативный фон, но это был фон печали, траура, усталости, но никак не ненависти или озлобленности. По мнению некоторых корреспондентов, войны в Поволжье не чувствовалось. Автор недоумевал, «где война, когда на вокзалах толпа, поезда переполнены не военными, газеты извещают о спектаклях...»¹⁵.

Впрочем, кое-чего местная публицистика добилась. Был создан конструкт «немец», весьма однозначно воспринимаемый культурным социумом. Немец стал синонимом врага, саботажника, немецкая фамилия, немецкое происхождение, немецкая речь стали маркерами Чужого.

Образ австрийцев не имел четкой ассоциативной привязки. Славяне воспринимались как младшие братья; только мадьяр (поголовно) осуждали в жестокостях по отношению к российским пленным и развязном поведении в России.

Таким образом, провинциальная публицистика развивалась в рамках общероссийских тенденций, но с рядом региональных особенно-

¹³ Как живут пленные у немцев...

¹⁴ Жизнь пленных....

¹⁵ К землякам с подарками...

стей. Первоначально для возбуждения ненависти к германцам и австрийцам использовались давно сложившиеся стереотипы. Причем образ немца был достаточно четким, а образ австрийца размытым. Идея плена и описание жизни пленных были всесторонне использованы для достижения вышеуказанных целей, но они были достигнуты лишь частично. К середине 1915 года был сформирован концепт «немец», прочно ассоциирующийся в сознании населения с образом врага. Параллельно восприятие «австрийского врага» было дифференцированным. Внутри его выделялись австрийцы славянского происхождения – друзья и братья по крови, воюющие по принуждению; австрийцы и мадьяры – воспринимались как пособники немцев.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Вильмс Л. Е. Лингвокультурологическая специфика понятия «любовь» (на материале немецкого и русского языков): Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Волгоград, 1997. 42 с.
- Встреча пленных // Вятская речь 26.10.1914. № 233.
- Жестокости австрийцев // Вятская речь. 17.10.1914. № 226.
- Движение студенчества и рабочих: Выписка из дневника агентурных сведений по разным сведениям // Национальный архив республики Татарстан (НА РТ) Ф. 199. Оп. 1. Д. 922. 1206 л.
- Жизнь пленных // Казанский телеграф. 10 декабря 1914. № 6454.
- Истязание немцами пленных врачей // Казанский телеграф. 21 февраля 1915. № 6512.
- К землякам с подарками // Волжский день. 13 января 1915. № 9.
- Как живут пленные у немцев // Волжский день. 12.04.1915. № 75.
- Как немцы обращаются с пленными // Казанский телеграф. 3 января 1915. № 6473.
- Каитанова Е. Е. Лингвокультурологические основания русского концепта любовь (аспектный анализ): Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Екатеринбург, 1997. 23 с.
- Мы и наши пленные // Город Казань. 18 сентября 1914.
- Мы и они // Казанский телеграф. 15 февраля 1915. № 6507.
- Слышкин Г. Г. Концепт чести в американской и русской культурах (на материале толковых словарей) // Языковая личность: культурные концепты. Волгоград – Архангельск: Перемена, 1996. 270 с.
- Тихо: пленный спит // Волжское слово. 9 августа 1914. № 2051.
- Абрашистов Элик Евгеньевич*, кандидат исторических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Казанского юридического института МВД России; *b-el@rambler.ru*

С. О. КАЗАКОВ

ЭРНСТ ЮНГЕР В XXI ВЕКЕ

Автор анализирует две крупные биографии, вышедшие в Германии в 2007 г. и посвященные жизни и творчеству немецкого мыслителя Эрнста Юнгера.

Ключевые слова: *Веймарский период, диагноз эпохи, цивилизации, консерватизм, «Новые правые», исторический контекст.*

Сравнение двух биографий, посвященных выдающемуся немецкому философу Эрнсту Юнгеру (1895–1998) и вышедших почти одновременно¹, интересно по нескольким причинам. Обе монографии, насчитывающие в совокупности более 1 300 страниц, претендуют на подведение итогов в исследовании жизни и творчества мыслителя, который к тому же был масштабной личностью. Объем книг вполне объясним, поскольку Эрнст Юнгер отличался завидным долголетием, а его творчество – многообразием, противоречивостью и притягательной силой. Среди юнгероведов можно встретить историков, философов, литературоведов, представителей практически всего спектра гуманитарного знания.

Эрнст Юнгер – один из 11 пехотных командиров – героев Первой мировой войны и кавалеров высшего военного прусского ордена Pour le Mérite, его последнее полное собрание сочинений насчитывает 22 тома, не считая обширного эпистолярного наследия, в котором по-прежнему делаются важные открытия². Военный дневник Юнгера «В стальных грозах» стал литературной классикой. Широкую известность принесли ему публицистика Веймарского периода, а также своего рода трактаты «Тотальная мобилизация» и «Рабочий», где осмысливался опыт проигранной войны, и намечалась перспектива реванша. Именно эти произведения Юнгера сыграли немаловажную роль в формировании в недолговечной республике климата, способствовавшего приходу к власти Гитлера, хотя сам Юнгер оставался вне рядов нацистского движения. Потом последует его отстраненность от нацистского режима, которую ряд исследователей считают неким подобием «внутренней эмиграции».

¹ Helmut Kiesel. Ernst Jünger. Die Biographie. Siedler Verlag. München. 2007. 717 s.; Heimo Schwilk. Ernst Jünger. Ein Jahrhundertleben. Die Biografie. Piper Verlag. München. 2007. 623 s.

² Ernst Jünger – Gershom Scholem. 2009.

Хотя Юнгер общался с некоторыми организаторами военного заговора против Гитлера 20 июля 1944 г., но участия в нем не принимал, занимая позицию наблюдателя. Последовавшая вскоре смерть на фронте старшего сына способствовала его отдалению от гитлеровского режима. После 1945 г. мыслитель пережил сложную эволюцию. Позднее он неоднократно подвергал редактуре свои произведения веймарских времен. Характерно, что оба биографа обошли вниманием опубликованную в 1946 г. книгу известного немецкого историка Фридриха Майнеке «Германская катастрофа», хотя сопоставление с ней первых послевоенных произведений Юнгера напрашивалось. Конечно, это было бы не в пользу их героя, но помогло бы лучше его понять. Характерно, что более чем полувековой поствеймарский период занимает в книгах Кизеля и Швилка намного меньше места, чем 14 лет первой немецкой республики, хотя нет оснований полагать, что оба автора менее знакомы с этим этапом биографии своего героя, чем с предшествующим.

Хельмут Кизель – профессор старейшего интеллектуального центра Германии – университета Гейдельберга и специалист по современной немецкой литературе. Его прежние работы были направлены на изучение немецкого литературного модерна³. Кизель также является составителем и комментатором обширного тома переписки философа с известным и весьма одиозным правоведом Карлом Шмиттом⁴.

Журналист по профессии, Хаймо Швилк не одно десятилетие занимался изучением творческого наследия и жизненного пути Эрнста Юнгера. Он выпустил в 1988 г. альбом, снабженный выдержками из писем и документов, краткими информационными сообщениями от составителя⁵. Ему также принадлежит ряд публикаций в консервативных изданиях, таких как “Welt am Sonntag” и «Criticon»; он один из составителей сборника, посвященного столетию мыслителя⁶. Его личное знакомство с философом и возможность обсуждения с ним различных тем, придают его произведениям особый оттенок.

Надо отдать должное авторам, они проделали большую работу, анализируя обширную «юнгеряну». Каждому по-своему удалось пройти путь к синтезу биографических и творческих аспектов жизни и наследия Юнгера. Обе книги по праву называют обобщающими. Они в целом отражают состояние «юнгеряны» на начало XXI в. Однако можно согласиться с упреками, высказанными авторами рецензий по

³ Kiesel. 1994; *Idem.* 1999.

⁴ Kiesel. 1999.

⁵ Schwilk. 1988.

⁶ Schwilk. 1999; *Idem.* 1998; *Idem.* 2000; Figal, Schwilk. 1995.

адресу обеих монографий. Итоги подведены, но на их базе не было сделано сколько-нибудь значительного шага вперед.

Кроме того, в обобщениях обоих исследователей воспроизводится утвердившийся штамп: в соответствии со сложившейся традицией центральное место отводится Юнгеру Веймарского периода. Однако, дело не только и даже не столько в том, что тогда появились его наиболее резонансные произведения, а он сам играл немаловажную роль в духовной и политической жизни республики. Концентрация внимания на этих сравнительно недолгих годах во многом обусловлена желанием обоих биографов «обелить» своего героя, они не жалеют книжного пространства для оправдательных аргументов. В сущности, такой подход можно считать парадигматическим для всей «юнгеряны».

Правда, Кизель и Швилк избирают разные варианты «отбеливания». Первый, будучи литературоведом, стремится сгладить позицию Юнгера, включая его в литературно-публицистический поток из произведений критиков и противников республики. Тем более, что среди них были видные фигуры, отнюдь не симпатизировавшие нацизму. К тому же некоторые из них, как, например, Томас Манн, не сразу приняли политическую реальность, сложившуюся после 1918 г. Кизель отмечает, что «враждебный республике антидемократизм был свойственен многим, если не большинству интеллектуалов Веймарской республики, и не только правым <...>, но также многим известным представителям левых»⁷. Подобные выводы служат для того, чтобы размыть ответственность Юнгера за участие в «погребении республики». Имея в виду сравнительно короткий период в жизни и творчестве Томаса Манна, связанный с его крайне националистическими позициями в «Размышлениях аполитичного», Кизель пишет: «Бросается в глаза то, что Юнгер со своей приверженностью к антиреспубликанизму и антипарламентаризму не был исключением, скорее им являлся Томас Манн со своим поворотом к республике и демократии»⁸. Кизель считает, что сложно спорить с теми, кто причисляет Юнгера к «могильщикам Веймарской республики» и «пионерам третьего рейха», но, с другой стороны, нельзя переоценивать «силу слова» Юнгера-публициста и его значение в крушении Веймарской республики, а необходимо учитывать множество других факторов и действующих сил⁹. При этом, конечно же, обстоятельный текстологический анализ Кизелем работ Юнгера, прежде всего

⁷ Kiesel. 2007. S. 305–306.

⁸ Ibid. S. 305.

⁹ Ibid. S. 308–309.

тех, которые впоследствии были подвергнуты неоднократной переработке (“Bearbeitungsmanie”) представляет особый интерес и дает понять некоторые особенности мировоззрения Юнгера, его стремление «двигаться по различным слоям истины»¹⁰.

Автор также делает упор на широту масштабов юнгеровского подхода, далеко выходящего за рамки текущей политики. Во вступлении к биографии мыслителя Хельмут Кизель отмечает, что «Юнгер был, прежде всего, активистом цивилизационной модернизации, и только после этого может быть отнесен к решительным критикам цивилизации. Его наследие – это познавательно насыщенная поэтическая хроника многочисленных упущений и деструкций XX в. и одновременно попытка их историко-философского осмысления и преодоления»¹¹.

Именно по этой причине один из разделов вступления книги Кизеля называется: «Эрнст Юнгер в “немецком столетии”». Кизель ставит целью в рамках широкого литературного и исторического контекста показать незаурядность и неоднозначность Юнгера как литератора и мыслителя столь сложной эпохи, как прошлый век. Он ссылается, в частности, на мнение авторитетного антифашистского писателя Карла Цукмайера, который в 1943 г. писал, что юнгеровская оппозиция нацизму «не идентична позиции других военных и консервативных кругов», и Юнгер не связывает свой «идеал о господстве с идеалом господства расы». Вместе с тем, он отмечает, что не следует делать жизнь и труды Юнгера «неприкосновенными». Своей работой, как пишет исследователь, он старается показать подлинный «ранг» мыслителя и непредвзято, «с учетом исторических обстоятельств», избегая искуса табу, отдать ему должное, не подходя к предмету «с простыми формулами»¹².

Тем не менее, Кизель уверен, что философ все же находился во «внутренней эмиграции» при Гитлере, правда, отмечая, что было два Юнгера: «ранний, который мог без проблем находиться в “Третьем рейхе” <...> и поздний, который публично оказался на дистанции к режиму»¹³. В этом суждении можно увидеть расхождение со Швилком, который полагает, что Юнгер не находился во «внутренней эмиграции» подобно многим писателям, оставшимся внутри страны, и даже как автор финансово выиграл от «нового государства», благодаря возросшим продажам дневника «В стальных грозах»¹⁴. Но оба однозначно оценили

¹⁰ Ibid. S. 218.

¹¹ Ibid. S. 14.

¹² Ibid. S. 17-18.

¹³ Ibid. S. 425.

¹⁴ Schwilk. 2007. S. 360.

роман «На мраморных утесах», и относится к тем исследователям, которые видят в нем антиутопию, направленную против нацистского государства. Швилк прямо пишет о том, что в этом произведении 1939 г. «был предсказан конец “Третьего рейха”»¹⁵. Так же и Кизель считает, что эта книга пророчила крушение нацистского режима¹⁶.

Хотя у Кизеля и Швилка довольно много пересечений, второй из них, будучи журналистом, предпочел сделать упор на личностные свойства Юнгера. Именно в них он ищет ключ к пониманию жизни и творчества мыслителя. Швилк говорит о необходимости воспроизвести «внутреннее развитие Юнгера», которое может быть реконструировано на основе писем и документов¹⁷. Автор отмечает сложность мышления философа, подчеркивая, что и для почитателей, и для критиков он долгое время находился «под покровом мифа», но для самого Швилка Юнгер, прежде всего, чрезвычайно «продуктивный автор» и «летописец столетия», эссеист с «неповторимым, сверкающе-агрессивным стилем», в каком «непререкаемо мог бы говорить всемирный дух»¹⁸. Возможно поэтому, Швилк начинает свое исследование с одного из самых поздних фактов жизни Юнгера – его перехода Юнгера в католичество¹⁹.

Швилк пытается раскрыть взаимосвязь между событиями жизни писателя и его творчеством, порой погружаясь в чрезмерные подробности и психологические аллюзии. Так, довольно большое место он отводит детским и юношеским годам жизни мыслителя. На взгляд Швилка, «поход» в детство Юнгера – это важный момент в исследовании: «если мы хотим знать, кем действительно был Юнгер за всеми масками и метаморфозами, то необходимо обратиться к его детству, потому что, несмотря на все превращения, он до конца оставался ребенком»²⁰.

Оба автора фактически проходят мимо книги известного немецкого историка Ганса-Петера Шварца. Его фамилия упоминается лишь раз у Швилка. Это досадный пробел обеих биографий, так как книга Шварца остается одной из самых глубоких интерпретаций Юнгера. Особенно интересна она с точки зрения личностного подхода, столь ощутимого у Швилка. Характеризуя Юнгера как «консервативного анархиста»²¹, Шварц подчеркнул, наверное, наиболее важную черту личности мысли-

¹⁵ Ibid. S. 377.

¹⁶ Kiesel. Op. cit. S. 480.

¹⁷ Schwilk. Op. cit. S. 17.

¹⁸ Ibid. S. 15.

¹⁹ Ibid. S. 21.

²⁰ Ibid. S. 23.

²¹ Schwarz. 1962.

теля, воспрепятствовавшую его сближению с национал-социализмом. Сугубому индивидуалисту Юнгеру было бы тесно в жестких путях тоталитарного порядка. С одной стороны, в нем он видел перспективу реванша, а с другой, его характер противостоял тоталитарному обезличиванию, что было едва ли приемлемо для автора «Авантюрного сердца». Во время войны он ощутил дух «воинского окопного братства», но тщательно при этом оберегал свою личностную автономию.

Естественно, особое значение имеет проблема отношения Юнгера к Гитлеру и нацизму после 1945 г. Здесь переплетаются вопросы генезиса национал-социализма, его прихода к власти, политики «третьего рейха», ответственности за преступления режима и его лидеров. Нельзя сказать, что Юнгер не произвел расчета с Гитлером и нацизмом, но сделал он это весьма своеобразно: из плоскости реальной политики он перенес его в сферу метафизики. Это выглядело масштабно. Гитлер представлялся как некое абсолютное зло, но, в общем-то, абстрактно. Учитывая углубление обоих биографов в образ мыслей и творческую лабораторию своего героя, можно было ожидать, что будет более основательно рассмотрен вопрос о соотношении в подходе Юнгера свойственного ему стиля и вольного или невольного стремления уйти от конкретной оценки нацистского режима и его лидера. С этой точки зрения, характерны такие юнгеровские произведения первых послевоенных лет, как «Излучения» (1949), «Гелиополис» (1949), «Гордиев узел» (1953) и др.

Конечно же, вопрос о происхождении нацизма, а также его корнях и природе еще долго будет занимать не только немецких исследователей. Проблема дистанции Юнгера от нацистского движения и режима – одна из самых острых и спорных. И Швилк, и Кизель считают, что смешивать Юнгера с нацизмом не корректно с точки зрения биографических фактов и творческой эволюции мыслителя. При этом оба обращают особое внимание на собственно юнгеровское понимание «вопроса виновности», стараясь избежать прямых оценок. Общее в обеих биографиях – фактическое подтверждение «ухода» Юнгера от проблемы. Кизель в единственном экскурсе, посвященном этой теме, упоминает и о раннем признании «общей вины», и о рассуждениях Юнгера о «пути модерна» в связи с тоталитаризмом, выводящих феномен нацистских преступлений далеко за рамки Германии²². Схожим образом Швилк говорит и о том, что для Юнгера «техника массового убийства еще одно подтверждение тенденций современной цивилизации»²³, а для обозна-

²² Kiesel. Op. cit. S. 552–557.

²³ Schwilk. Op. cit. S. 435.

чения особой позиции Юнгера приводит в пример факт расхождения с Карлом Шмиттом в вопросе оценки такого события, как «Ночь длинных ножей» 30 июня 1934 г., упоминая о том, что Юнгер не принял оппортунизм Шмитта и демонстративно переправил последнему письмо, в котором запретил «Фелькише беобахтер» публиковать свои работы²⁴.

Вызывает вопросы структура обеих биографий. Как уже говорилось, в них послевоенному периоду жизни и творчества Юнгера, охватившему полвека, уделено менее четверти объема. Это представляется, по меньшей мере, странным, поскольку обстоятельный анализ позднего творчества мыслителя позволил бы глубже раскрыть проблему его ответственности и за крах Веймарской республики, и за то, что после этого последовало. Под этим углом зрения интересны не только его труды, но и его рефлексия, отразившаяся в документах сугубо личного характера. Как раз в связи с этим особого внимания заслуживают исправления, внесенные им в его знаковые труды Веймарского периода. В какой мере они обусловлены стремлением «замести следы» (в чем его фактически обвинил бывший личный секретарь Армин Молер) или же переосмыслением своего исторического опыта? Это тем более непонятно, потому что обстоятельный анализ произведений Юнгера второй половины XX в. мог бы изменить представление о нем, сложившееся по самым шумевшим произведениям. Кроме того, это сделало бы убедительнее его оценку как человека всего немецкого XX столетия.

Обе биографии буквально «напитаны» большими именами и наличие именного регистра в каждой из книг, конечно же, является в этом смысле и хорошим подспорьем при чтении и еще одним подтверждением эрудиции авторов. В обеих работах большое внимание уделяется динамике взаимоотношений с такими персонами, как Гуго Фишер, Герхард Небель, Мартин Хайдеггер, Карл Шмитт, глубокой личной связи с братом Фридрихом Георгом, постоянной критической позиции Томаса Манна, которому принадлежит, наверное, одно из самых жестких определений Юнгера: «ледяно-холодный сластолюбец варварства»²⁵.

Авторы едины в том, что Юнгер – фигура большого масштаба (хотя выражают это в разных понятиях: «сейсмограф» у Кизеля или «европейский классик» у Швилка). Оба сходятся в том, что через изучение наследия как «репрезентанта» прошедшего века можно уловить и понять суть произошедших катастроф и иных событий.

²⁴ Ibid. S. 369.

²⁵ Ibid. S. 433.

Есть своя логика в том, что оба биографа не уделили должного внимания вопросу о характере связи между Юнгером и «консервативной революцией», лишь слегка коснулись проблемы влияния юнгеровской мысли на западноевропейских «новых правых», хотя это чрезвычайно важно для понимания места философа в идейно-политическом спектре. Творчество Юнгера явно выходило за рамки «консервативной революции» или, иными словами, радикального консерватизма. Но для подобной идентификации были определенные серьезные основания.

Интересно в этой связи отметить, что взгляды Юнгера имели меньше отношения к так называемому «консервативному повороту» в ФРГ, чем, например, к французским «новым правым» с их идейным лидером Аленом де Бенуа, который активно применяет в своих философских рассуждениях термин Юнгера «Рабочий», благодаря которому для него «в немецком порядке просвечивает социальная структура индогогерманского устройства»²⁶. В интервью журналу «Шпигель» Бенуа сделал особый упор на присущий Юнгеру «экзистенциальный подход»²⁷. Хотя вдохновлялись «новые правые» не только произведениями «раннего» Юнгера. Источником их интеллектуальной подпитки служил издававшийся Юнгером вместе с известным праворадикальным философом М. Элиаде журнал «Антей». Имя Юнгера встречалось и на страницах журнала подобной же ориентации с красноречивым названием “La Destra” («Правая»). В самом конце XX в. наследие Юнгера привлекло внимание молодых немецких ультраправых из “Junge Freiheit”. Имеется в виду, прежде всего, их идеолог, историк Карлхайнц Вайсманн. На наш взгляд, «новых правых» привлекало то обстоятельство, что у Юнгера идеи, родственные «консервативной революции» и в чем-то вызывавшие ассоциации с нацистскими, были облечены в более абстрактную, даже метафизическую форму, а юнгеровский стиль придавал им внеполитическое и даже не лишнее романтизма звучание.

Несмотря на масштаб проведенной работы и широту обобщения, критическое замечание немецкого издания “Die Zeit”, одним из первых откликнувшегося на вышедшие работы, об отсутствии чего-то нового в понимании трудов Юнгера и открытия новых фактов его жизни, в какой-то мере обоснованно²⁸, но это не значит, что работа проведена зря.

Юнгер относится к числу авторов, которые еще долго будут вызывать споры и дискуссии, и его фигура наверняка не оставит заинтересо-

²⁶ *Christadler*. 1983. S. 200.

²⁷ *Den alten Volksgeist...* S. 162.

²⁸ *Baron*. S. 27.

ванных исследователей его интеллектуального наследия без работы в XXI в. В этом смысле биографии Юнгера в исполнении двух немецких авторов – еще один шаг вперед в этом направлении.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Baron U.* Und über Jünger nichts Neues // *Zeit Literatur*. Hamburg. November. 2007. № 46. S. 27–28.
- Christadler M.* Die “Nouvelle Droite” in Frankreich / Hrsg. I. Fetscher. München. C.H. Beck Verlag. 1983. 268 s.
- «Den alten Volksgeist erwecken». Alain de Benoist über die “Verwurzelungst” – Ideologie der französischen Neuen Rechten // *Spiegel*. Hamburg. 1979. № 34. S. 157–162.
- Ernst Jünger-Gershom Scholem. Briefwechsel 1975–1981 // *Sinn und Form*. №. 2009. S. 293–302.
- Kiesel H.* Wissenschaftliche Diagnose und Wision Der Moderne. Max Weber und Ernst Jünger. Hiedelberg. Manutius Verlag. 1994. 222 s.
- Kiesel H.* Nachwort des Herausgebers. In: Ernst Jünger – Carl Schmitt. Die Briefe. 1930–1983. Hrsg. von H. Kiesel. Stuttgart, 1999. S. 851–881.
- Kiesel H.* Eintritt in ein cosmisches Ordnungswissen // *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. 29 Marz 1999. № 74. S. 55.
- Kiesel H.* Ernst Jünger. Die Biographie. Siedler Verlag. München. 2007. 717 s.
- Magie der Heiterkeit. Ernst Jünger zum Hundertsten. Hrsg. G. Figal, H. Schwilk. Stuttgart. Klett-Cotta. 1995. 332 S.
- Martus S.* Ernst Jünger. Stuttgart. Weimar. Metzler. 2001. 269 s.
- Paetel K. O.* Ernst Jünger in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek bei Hamburg. 1962. 176 s.
- Ernst Jünger – Leben und Werk in Bilddokumenten und Texten / Hrsg. H. Schwilk. Stuttgart. 1988. 320 s.
- Schwarz H. P.* Die konservative Anarhist. Politik und Zeitkritik Ernst Jüngers. Freiburg in Br. 1962. 309 s.
- Schwilk H. Ernst Jünger – A. Hitler. Die Briefe // *Welt am Sonntag* 17.01.1999 [Электронный ресурс]. – URL: http://home.snafu.de/os/juenger/wams17_1.htm
- Schwilk H.* Widerstand durch reine Geistnacht. Ernst Jünger im Dritten Reich // *Criticon*. Konservativ heute. München. Januar. Februar. März. 1998. № 157. S. 22–27.
- Schwilk H.* Ernst Jünger–Prophet der Globalisierung // *Criticon*. Konservativ heute. München. Winter. 2000. № 168. S. 26–30.
- Schwilk H.* Ernst Jünger. Ein Jahrhundertleben. Die Biografie. Piper Verlag. München. 2007. 623 s.

Казаков Сергей Оганович, соискатель кафедры новой и новейшей истории историко-политологического факультета Пермского государственного университета им. М. Горького; teodor730@gmail.ru

Рец. на кн.: *Smith A. D. Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach* / A. D. Smith. – N.Y.: Routledge, 2009. – 184 p.

Ключевые слова: *нация, национализм, этния, этно-символизм.*

Книга профессора Лондонской школы экономики, президента Ассоциации по исследованию этничности и национализма, главного редактора журнала «Нации и национализм» Энтони Смита посвящена изложению этно-символистской концепции, разрабатываемой автором вот уже четверть века. Согласно ей, в основе современных наций лежит относительно древняя история и протонациональное самосознание, воплощенное в ряде культурных феноменов.

Рецензируемая работа – результат исследовательского пути, открывшегося публикацией одной из знаковых книг в современной национальной теории¹. Среди основных задач называются раскрытие теоретических истоков этно-символизма, его главных тем², анализ вопросов формирования и развития наций, роли национализма в этих процессах. По Смит, этно-символизм, не претендуя на статус новой теории, является инструментальным подходом, призванным найти срединный путь между положениями полярных конструктивистской и перенниалистской парадигм, которые не раскрывают сути феноменов нации и национализма (р. 1). Данному вопросу посвящена первая глава, в которой автор подвергает критике теорию конструктивизма (модернизма³) с позиций трех других концепций – примордиализма, нео-перенниализма и постмодернизма, однако наиболее полный вариант критики представлен с точки зрения этно-символистского подхода. Подчеркивая, что этно-символисты сходятся с некоторыми конструктивистами (Э. Геллнер, Дж. Бройи и др.) во взгляде на нацию как на «реальное», динамично развивающееся сообщество, обладающее специфическими историческими чертами, Смит называет несколько аспектов, по которым расхождения во мнениях являются ключевыми. Среди них перечислены темы символических ресурсов, «времени большой длительности», этнии и нации, элит и масс, конфликта и реинтерпретации. В вину конструктивистам ставится их стремление нивелировать роль досовременных этнических связей и сообществ в формировании современных наций, свести статус последних к продуктам деятельности элит вне учета участия

¹ *Smith. 1986.*

² Смит является автором двух книг по истории национальной теории, которые демонстрируют и эволюцию его собственных взглядов: *Smith. 1983. Смит. 2004.*

³ Смит приравнивает конструктивистский подход к модернистскому, подчеркивая приверженность его сторонников идее «современного» происхождения наций.

представителей иных страт общества, игнорируя внутренние конфликты в процессе строительства наций (р. 21).

Опираясь на критику конструктивизма, Смит посвящает главу 2 своей монографии основополагающим темам этно-символизма: символическим элементам этничности, этническим истокам наций и их историческим культурным типам, роли элит и масс в формировании наций, значению образов прошлого для национальной консолидации. Как и в «Этнических истоках наций» (1986), Смит оперирует понятием «мифо-символический комплекс», которое фокусирует внимание на культурной составляющей формирования наций. Этот комплекс включает в себя мифы, ценности и воспоминания, сложившиеся в этнии, определяемой как «обладающее самоназванием и самоопределяющееся человеческое сообщество, члены которого имеют легенду об общем происхождении, общие мифы, один и более элементов общей культуры, включая связь с территорией и чувство солидарности, по крайней мере, среди представителей высшей страты» (р. 27). В отличие от ранних работ, в данную дефиницию включены новые характеристики: «чувство солидарности» и «связь с территорией». Критики этно-символизма неоднократно указывали на то, что ввиду недостаточности источников, сложно определить степень распространенности «идеи нации» в неграмотных слоях населения удаленных исторических эпох. Очевидно, по замыслу Смита, внесение в определение этнии новых критериев должно частично решить вопрос о том, имело ли место в прошлом ощущение культурной общности среди отдельных сообществ и чем оно поддерживалось.

Анализу этничности и этнии в книге уделяется большое внимание. Смит приводит классификацию этнических связей, выделяя две их формы – категорию и ассоциацию. В этнических категориях общность некоторой группы людей выявляется со стороны теми, кто не принадлежит к данной культуре, на основе общности языка, обычаев и религии, но сами члены группы могут не обладать мифом об общем происхождении (финикийцы, эстонцы). Этнические ассоциации создаются вокруг каких-то институтов, например, культовых центров как в шумерских городах-государствах (р. 27). Автор также пытается включить в анализ политический фактор, невнимание к которому часто ставилось ему в вину оппонентами. Политические институты, по мнению Смита, могут играть важную роль в формировании и укреплении этнических связей, но само их наличие не обязательно влечет за собой политическую консолидацию сообщества (р. 28). Выделение типов этнических связей и учет политического фактора в поддержании их стабильности являются ново-

введениями концепции. Они дают возможность эмпирически проверить наличие или отсутствие стабильных этнических (протонациональных) связей в досовременные эпохи.

В трактовке Э. Смита нация как «идеальный тип» представляет собой «обладающее самоназванием и самоопределяющееся человеческое сообщество, члены которого разрабатывают и поддерживают общие воспоминания, символы, мифы, традиции и ценности, населяют и испытывают чувство принадлежности к определенной территории или родине, создают и распространяют специфическую публичную культуру, соблюдают общие обычаи и стандартизированные законы» (р. 29). В который раз перед этно-символизмом встает вопрос о соотношении этнии и нации. Качественными различиями между двумя категориями называются населенная территория, публичная культура, стандартизированные законы, которые могут отличать этнии, но не являются для них существенными (р. 30). Невольно возникает мысль об отсутствии в этно-символизме четкого представления о границе между *этнией* и *нацией*. Однако в главе 2 Смит оставляет это без внимания, ограничиваясь указанным объяснением. Он возвращается к нему в завершении книги в связи с критикой, предъявляемой этно-символизму его оппонентами, констатируя, что провести четкую границу между двумя понятиями не представляется возможным. Таким образом, в этно-символистской концепции четко обозначается существенный изъян – постоянно оперируя данными категориями, она не способна объяснить существенной разницы между ними. Если это и не ставит под удар существование этно-символизма как самостоятельного направления в национальной теории, то все же чревато понятийным хаосом в предлагаемой схеме.

Важным аспектом в этно-символистском анализе нации является предложение рассматривать ее двояко – как категорию анализа (нация как универсальное явление) и как описательный термин (случай конкретных наций). Данное наблюдение является ответом на вызов дискурсивного подхода. В свое время К. Вердери призвала исследовать нацию всего лишь как символ, который в условиях реальных социальных противоречий становится значимой идиомой⁴. А Р. Брубейкер предлагал отказаться от использования нации как категории анализа (сохранив более инструментальный национализм) и превратить само это понятие в объект изучения, чтобы проследить, как оно работает в качестве категории дискурсивной практики⁵. Наряду с двояким пониманием нации как

⁴ Вердери. 2002.

⁵ Brubaker. 1996. Мифы и заблуждения... С. 62–192.

категории анализа и описания Смит предлагает учитывать ее «двойственную историчность» (*double historicity*), которая заключается в том, что, с одной стороны, ее характер обуславливается историческим контекстом возникновения, а с другой – она укоренена в сознании как нечто, существующее извечно. В данных наблюдениях чувствуется влияние теории «идеальных типов» М. Вебера, что позволяет рассмотреть процесс возникновения наций независимо от локальных условий, установить характерные тенденции протекания событий, а также дает возможность сравнивать, насколько каждый конкретный пример по своим качественным параметрам схож с идеальной моделью. Среди исторически существующих «культурных типов» наций Смит выделяет иерархический, договорной и республиканский (р. 39), не останавливаясь подробно на каждом, как в работе «Культурные основания наций: иерархия, соглашение и республика»⁶. Но кажется, это следовало сделать, так как культурная периодизация наций является находкой Смита и могла быть отражена в работе с изложением основных положений концепции.

Согласно этно-символизму, превращение этнии в нацию представляет собой комплексный процесс, характеризующийся не только обработкой основных мифов, символов и воспоминаний (процесс этногенеза), но и территориализацией этнии, формированием единых законов и публичной культуры (р. 45–52). В зависимости от того, каков базис формирования наций – единое этническое сообщество или несколько этний – пути их формирования будут различаться. Горизонтальный вариант предполагает распространение национальной идеи среди представителей высших слоев общества из центра доминантной этнии, в то время как вертикальный – народную мобилизацию масс под влиянием деятельности интеллектуалов (р. 53–55). Здесь Смит фокусирует внимание на социальных основах нации, на том, какую роль в этом процессе играют представители интеллигенции, и как они апеллируют к массам, манипулируя историческим прошлым в целях национальной консолидации и мобилизации (р. 57). Возникает необходимость обращения к идеологии национализма, которой посвящена глава 4.

Как «идеальный тип» национализм – это «идеологическое движение с целью достижения и поддержания автономии, единства и идентичности большинства популяции, некоторые из членов которой позиционируют себя в качестве реальной или потенциальной нации» (р. 61, 88). При этом национализм является идеей о нации, а не о государстве, несмотря на то, что многие нации стремятся к достижению такового.

⁶ *Smith. 2008.*

В трактовке этно-символизма, идеология национализма представляет собой «политическую археологию»: прошлое интерпретируется таким образом, чтобы вызвать живой отклик у рядового населения. Большую роль в этом играет «культ Природы» или *родины* как земли предков, укорененный в эпоху Романтизма (р. 66–70). С этого периода интеллигенция становится главным проводником национальной идеи: интеллектуалы, философы, художники, музыканты создавали «образ нации».

Э. Смит сравнивает национализм с религией, в которой, однако, нет места божественному, так как предметом почитания выступает нация (р. 75, 77). Несмотря на то, что национализм является политической идеологией, он не может быть приравнен к большинству из ее разновидностей, так как апеллирует к таким понятиям, как жизнь и смерть (р. 78). Подчеркивая в полемике с конструктивистами, что национализм не предшествовал возникновению нации, автор, к сожалению, не упоминает своего предположения, высказанного в работе 2008 г., о связи национализма с Реформацией.

В главе «Существование и трансформация наций» анализируются язык и общественные институты, роль интеллектуалов и искусства в развитии и поддержании единства национальных сообществ, в накоплении символических ресурсов, среди которых называются миф о происхождении, избранности, «священной земле», «золотых веках» истории и великой судьбе. Однажды они послужили формированию национальной (этнической) идентичности и, заново реинтерпретируясь в соответствии с потребностями и волей элит, уже не теряют своей значимости. Оценивая перспективы эрозии национальных идентичностей в эпоху глобализации, Смит отмечает, что, ввиду устойчивого и самовоспроизводящегося характера символических основ нации, ее идея долго не утратит своей силы и привлекательности. Кажется, с данным прогнозом следует согласиться. Несмотря на миграции и распространение глобальной культуры, национальные государства стремятся поддерживать свою идентичность. Таков пример Европейского Союза (р. 103).

Финальная глава книги «За и против» вызывает особый интерес. Это анализ критики этно-символизма и ответ на нее. Смит рассматривает вопрос о вреде национализма, заостренный Э. Кедури и У. Озкририми, о соотношении нации и государства, этнии и нации, о значении конфликтов в формировании нации, ее будущей судьбе. Автор монографии предлагает отказаться от позитивных и негативных оценок национализма, но рассматривать его как идеальный тип, который различается в своих конкретных исторических проявлениях (р. 107). Что касается необходимости суверенного государства для развития нации, то это не от-

носится к существенным критериям. По мнению Э. Смита, подкрепленному примерами из истории евреев и армян, потеря территории и государства не стала фактором распада их национальной идентичности (р. 110). При этом связь этнии и нации не является predetermined, этния не всегда может развиваться в нацию (р. 111).

Большое внимание Смит уделяет конкретизации точки зрения на влияние конфликтов. Среди внешних (межэтнических) и внутренних (между группами элит, элитами и массами) их проявлений этно-символизм, в отличие от конструктивизма, уделяет больше внимания последним, так как они позволяют исследовать «внутренний мир» (inner world) сообщества, позиционирующего себя в качестве национального (р. 115–116). По мнению Смита, в этом заключается преимущество этно-символизма перед другими теориями, так как его подход способен предложить инструментарий для проведения сравнительных эмпирических исследований (р. 119).

Ключевое место в главе «За и против» уделено полемике с С. Малешевичем. Э. Смит выступает против его предложения заменить концепцию «идентичности», «национальной идентичности» и «политики идентификации» концепцией «идеологии», так как вопрос о национальной идентичности является актуальным не только для исследователей и в риторике националистов, но также затрагивает чувства и переживания рядовых граждан (р. 122–124).

Э. Смит отмечает, что оппонент, подозревая его в эволюционистских, холистских и идеалистических взглядах, сводит определение этно-символизма к виду неоджоркгеймовской теории, а это является в корне неверным. Так, представление о том, что нация является продолжением этнии, не является выражением идей эволюционизма, так как не все этнии в конечном итоге становятся нациями в силу разных исторических условий (р. 126). В этно-символизме не находится места холизму, так как Смит отказывается приписывать нации чувство морали в качестве ее отличительной характеристики (р. 127). Что касается обвинения в идеализме, то предложенный Смитом подход обращает внимание не на идеи как таковые, а на воспоминания, мифы и символы, существенные для формирования и поддержания национальной идентичности (р. 129). Обращаясь к критике своего подхода, Смит еще раз заостряет внимание на наиболее спорных и существенных моментах концепции, которые либо упускаются большинством исследователей, либо понимаются неверно.

В завершение вновь подчеркивается, что этно-символизм не претендует на статус теории. В центре его внимания находятся «внутренний мир», чувства и переживания «не-элит» (большинства народа), ис-

торическая, а не каждодневная (everyday nationhood) национальность (р. 134). Поэтому Смит называет методологию этно-символизма «случайно-исторической», предполагая, что в свете данного подхода должны изучаться конкретные проявления наций и национализма (р. 136). Однако, помещая свою концепцию между конструктивизмом и перенниализмом, автор, к сожалению, не объясняет, чем его подход, если он предлагает инструментарий, отличается от теории, универсальной для любого случая. Встает вопрос о том, насколько применим этно-символизм в исследованиях наций Азии и Африки. На протяжении всей книги Смит иллюстрирует свои рассуждения конкретными фактами и примерами из древней, средневековой, новой и современной истории преимущественно стран Западной Европы и Северной Америки. Примеры из других регионов мира крайне редки, и в работе это объясняется тем, что большинство наций Азии и Африки находятся на стадии формирования идентичности (р. 100). Однако данное объяснение не кажется исчерпывающим, и вопрос о территориальных границах концепции остается открытым, что делает ее уязвимой для критики.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Вердери К.* Куда идут «нация» и «национализм»? [1993] // *Нации и национализм*. М.: Праксис, 2002. С. 297–307.
- Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. М.: Новое издательство, 2010.
- Смит Э.* Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма [1998] / Пер. с англ. А. В. Смирнова, Ю. М. Филиппова, Э. С. Загашвили и др. М., 2004.
- Brubaker R.* Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in New Europe. Cambridge, 1996.
- Smith A. D.* Theories of Nationalism [1971]. 2nd ed. London and New York, 1983.
- Smith A. D.* The ethnic origins of nations. Oxford, 1986.
- Smith A. D.* Cultural Foundations of Nations: Hierarchy, Covenant and Republic. London: Blackwell Publishing, 2008. 245 p.

Белов Михаил Валерьевич, доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой истории зарубежных стран Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; belov_mikhail@mail.ru

Кузнецова Светлана Вячеславовна, магистрант Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

SUMMARIES

N. N. RODIGINA, T. A. SABOUROVA. 'Forward, to Herzen!': the representations of A. I. Herzen in the memoirs by the 19th –century Russian intellectuals

The article is dedicated to the image of A. I. Herzen in the memoirs of Russian intellectuals. It is shown that the representations of A. I. Herzen were linked to emerging identities of the Russian intelligentsia and its mythology.

Keywords: *representations, intellectuals, identity, memoirs.*

I. M. SAVELIEVA. Historical studies in the 21st century: theoretical frontier

The article presents an analysis and an evaluation of theoretical renewal of historical studies for the last 10-15 years. The object of the study is the part of historical knowledge which forms the conceptual foundations for the studies of the past social reality that defines the contemporary professional views of the 'subject and method' of historical studies. The article deals with new theories, concepts, the developments of terminology, the use of certain methods of scientific analysis to particular subsystems of the social reality of the past, and with the emergence of new interdisciplinary fields, mutual borrowings and interventions. The informational base of the study is theoretical historical journals; leading historical journals that represent the state of affairs in particular fields of historical studies; sociological journals that publish works on historical sociology, and the monographs of 1950–2011.

Keywords: *history, theory, historiography, methodology, historical notions, study, analysis, renewal, temporality, spatial turn, humanities, social sciences, interdisciplinarity, historicisation, historical sociology.*

ALLAN MEGILL. Five questions on intellectual history

To answer the questions the author explains that intellectual history attracted him by its broadness and by its relative epistemological modesty. He does not see it as a subdiscipline of history but rather as an interdisciplinary field oriented towards the clarification of problems and attention to the limits. He thinks intellectual history should not follow one 'right' approach. The author believes that the important topics for contemporary intellectual history are religion, identity, problems of collective motivation and human relationship with the world of nature.

Keywords: *intellectual history, historical method, historical approaches, humanities, historical knowledge.*

T. G. CHOUGOUNOVA. The interpretations of the key Biblical terms in the Tyndale's English translation of the Bible

The article analyses the translation of the Bible into English published by an English reformer William Tyndale, namely, his interpretation of the key Scriptural terms. The translator rejected catholic interpretation of some Biblical terms and offered their new, Protestant interpretation.

Keywords: *Reformation, Scripture, church, ecclesia, priest, elder, penance, confession, mercy.*

K. YU. YERUSALIMSKY. A pamphleteer and the centralized state: I. S. Peresvetov in the works by A. A. Zimin

The monograph by A. A. Zimin on the Russian 16th-century pamphleteer provoked debates of Soviet and world scholars. The interpretation of the life and works by I. S. Peresvetov

changed the views on the emergence of political pamphleteering in Russia and forced the opponents to define their understanding of political pamphlets and their place in past and present political debates.

Keywords: *pamphlets, centralized state, the reforms of Izbrannaya Rada, I. S. Peresvetov, Soviet historical studies, A. A. Zimin.*

P. YU. RAKHSHMIR. *Intellectual defense of a rebellion against intellectuals*

The article analyses the concept by an American writer L. Harris according to which the main problem of the contemporary Western civilization, and especially of the USA, is the contradiction between liberal intellectual elite and conservative populists.

Keywords: *civilization, elite, liberalism, conservatism, populism, identity, Ornerly.*

D. V. SHMELEV. *The ideas of French Christian Democrats (the doctrine of the POI)*

The article studies the ideas and principles of French Christian democracy that construe the base for the doctrine of the POI. It deals with the problems of mutual influences of personalism and Christian democracy, relationships with liberalism and Marxism, an interpretation of humanity, social justice, freedom, property and democracy.

Keywords: *popular republican movement, POI, Christian democracy, personalism, social, economical, and political democracy.*

L. V. SOFRONOVA. *'A cleric from the London diocese': the identification of a Christian thinker of the English Renaissance*

The article offers a model of self-identification of John Colet, an English Renaissance thinker. It presents a new interpretation of the image of Colet and an attempt to verify the existing identifications of his personality.

Keywords: *John Colet, clerics, self-identification, Renaissance, Humanism, Catholic Church, Protestantism.*

O. A. GOKOV. *Personalities of officers in their writings: the memoirs on the Russo-Turkish war of 1828–1829*

The article presents a comparative analysis of the memoirs by A. I. Mikhailovsky-Danilevsky and F. F. Tornau about the 1829 campaign in the European parts of the Ottoman Empire. It demonstrates the main similarities and differences in their world-views and explains the latter. The memoirs reflect the difference in status, age, and education, and it enables a scholar to perceive the personalities of the officers without using any other sources.

Keywords: *memoirs, Russian-Turkish war of 1828–1829, world-views, officers, personal psychology, Nikolay's epoch.*

A. V. KHRYAKOV. *H. Heimpel: personal repentance and the 'overcoming of the past'*

A German medievalist H. Heimpel (1901–1988) who had been an active Nazi collaborator during the years of the 'Third Reich', called German society to admit its guilt of Hitler's crimes after the WWII. Using the categories of 'guilt', 'memory' and 'responsibility' he presented his own version of the relationship between historical studies and historical memory expressed in the concept of the 'overcoming of the past'.

Keywords: *H. Heimpel, German historical studies, memory, guilt, penance, 'overcoming of the past'.*

I. YU. NIKOLAEVA, O. A. SERKOVA. *Submission to authority and social norm in medieval military groups of Japan and Germany*

The article analyses the values of the culture of military groups in medieval Germany and Japan using the earliest sources that reflect the emergence of knights in Europe and samurai in Japan – the Song of the Nibelungs and the Tale of the Heike. The authors analyze the categories of modesty, attitudes to death and suicide. They demonstrate the differences and suggest some explanations for them using various methods of research.

Keywords: *bushido, the code of chivalry, modesty, seppuku, comparative historical analysis.*

N. S. KRELENKO. *Two pictures of the English revolution in films: the image as the reflection of the spirit of the time*

The author analyses the link between historical studies and popular historical imagination. The article is focused on the English history of the mid-17th century and its representations in films in the late 20th early 21st centuries.

Keywords: *Oliver Cromwell, Charles I, revolution, rebellion, ambition, personality in history, spiritual life of a society.*

A. P. KLOTZ. *'Are we going to fuss?' Memorial images of the Soviet childhood, 1930-1950*

The work, based on the oral history method and analysis of written ego-documents, is an attempt to reconstruct memorial representations of nannies of children raised in 1930s – 1950s. The author characterizes types of memorial images of nannies and their place in the hierarchy of childhood representations. She emphasizes the role of nannies as an alternative information channel for soviet children and as carriers of peasant traditions in the families of soviet intelligentsia.

Keywords: *soviet childhood, nannies, memorial representation, oral history.*

M. V. KOROTKOVA. *Spatial images of a region in American Baltic studies of the 1990s – early 2000s*

The article analyzes the work of the Association for the Advancement of Baltic Studies which coordinates Baltic Studies in the USA and in the West in general. Serving the needs of American foreign office the AABS prefers not to analyze contemporary processes but rather to produce the projects for the future development of the region. The AABS studies geographical categories that could be used in connection to the Baltic territories, in order to find suitable definitions of the future region that would sound contemporary and would provide the subject of their studies with 'historical roots'.

Keywords: *Baltic studies, research base for American foreign affairs, regionalism, historical regions, North-Eastern Europe.*

N. G. SAMARINA. *Rostov and Yaroslavl: cultural memory or cultural project?*

An interest in an urban text is determined by desire to understand a city as coherent symbolic space. In the studies by V. N. Toporov and Yu.M. Lotman the idea of an urban text suggests two spheres of urban semiotics: space and name. The contemporary studies of the text of Rostov and Yaroslavl reveal the spheres of memory and time. Methodology that would enable one to follow the events and the evolution of a city in the context of the past, the present and the future as an integral process requires a projective approach.

Keywords: *urban text, name, space, time, memory, project.*

G. N. KANINSKAYA. *French historians on the field of the 'new political history': from its emergence to the challenge of globalization*

The article presents the thoughts of French historians – the graduates and professors of the Paris Institute of Political Studies, as well as the editors of the Gallimard, Fayard, and the Nouveau Monde publishing houses about the tendencies in the French historiography of the last 30 years, especially in political history.

Keywords: *political history, 'Annales', interdisciplinarity, cultural history, universality of historical knowledge.*

A. B. SOKOLOV. 'A remarkable and not an infrequent example of the confusion of thought': on the article 'Two English revolutions as a historiographical problem' by M. I. Batser

The article presents criticism of the approaches used by M. I. Batser in his study of the revision of the continuity between the English Revolution of 1640–60 and the Glorious Revolution of 1688 as viewed by Soviet historians and their evaluation of the latter. The author shows that Batser used the historiographical sources selectively, ignored recent studies by foreign historians and gave unbalanced evaluations of the works by Soviet historians.

Keywords: *M. I. Batser, Glorious Revolution and its consequences, the Revolution of 1640–60s, levellers, Soviet historiography of the two English Revolutions.*

D. M. VOLODIKHIN. 'It is a difficult task to write easily...':

The addressee of the statements by Russian historians

The article deals with problem of the addressing of texts by contemporary historians. The author suggests that the field of addressing should be widened in order to enable the full-scale dialogue between academic historians and readers interested in historical knowledge.

Keywords: *philosophy of history, methodology, academic history, social order, addressing, academic community.*

N. S. TSINTSADZE. *The special features of the agrarian crisis in Chernozem and non-Chernozem regions of the European part of Russia as seen by contemporaries: the comparative analysis of Russian periodicals of the second half of the 19th century*

The article presents an analysis of the views of Russian journalists on demographic and ecological aspects of the agrarian crisis in the Chernozem and non-Chernozem regions of Russian in the 19th c.

Keywords: *agrarian crisis, journalism, crisis, demographic growth, agrarian society, public opinion, natural resources.*

E. E. ABDRAHIMOV. *Prisoners of war from the countries of the Triple Alliance in Russian political and popular discourse*

The author analyses the attitudes of the inhabitants of the Povolzhie region towards the prisoners of war from the countries of the Triple Alliance, using the periodicals and ego-documents. The author found a number of concepts that had been used in periodicals and shaped the attitude towards the prisoners of war.

Keywords: *prisoners of war, Povolzhie region, political and social discourse, WWI.*

S. O. KAZAKOV. *Ernst Jünger in the 21st century*

The author analyses two biographies of German philosopher Ernst Jünger published in Germany in 2007.

Keywords: *Weimar period, the diagnosis of epoch, civilizations, conservatism, 'new right', historical context.*

СОДЕРЖАНИЕ

К юбилею А. И. Герцена

<i>Н. Н. Родигина, Т. А. Сабурова</i> «Вперед к Герцену»: репрезентации А. И. Герцена в мемуарах русских интеллектуалов XIX в.	5
---	---

Теория и история

<i>И. М. Савельева</i> Исторические исследования в XXI веке: теоретический фронтир.	25
---	----

История идей и интеллектуальной культуры

<i>Аллан Мегилл</i> Пять вопросов по интеллектуальной истории.	54
<i>Т. Г. Чугунова</i> Трактовка ключевых библейских терминов в английском переводе Библии У. Тиндела.	82
<i>К. Ю. Ерусалимский</i> Публицист и централизованное государство: И. С. Пересветов в творчестве А. А. Зимина.	100
<i>П. Ю. Рахимир</i> Интеллектуальная защита бунта против интеллектуалов.	129
<i>Д. В. Шмелев</i> Идеи французской христианской демократии (на примере доктрины партии МРП).	142

История через личность

<i>Л. В. Софронова</i> «Клирик из Лондонской епархии»: к проблеме идентификации христианского мыслителя английского Возрождения.	161
<i>О. А. Гоков</i> Отражение личностей офицеров в их мемуарах: на примере воспоминаний о русско-турецкой войне 1828–1829 гг.	189
<i>А. В. Хряков</i> Г. Геймпель: личное покаяние и «преодоление прошлого».	213

История образов и представлений

<i>И. Ю. Николаева, О. А. Серкова</i> Подчинение авторитету и социальной норме в средневековых военных сословиях Японии и Германии.	227
<i>Н. С. Креленко</i> Два кинопортрета Английской революции: образ в искусстве как отражение духа времени.	241

<i>А. Р. Клоц</i> “Нянькаться будем?” Мемориальные образы советского детства 1930–1950-х гг.....	257
--	-----

<i>М. В. Короткова</i> Пространственные образы региона в американских балтийских исследованиях 1990-х – начала 2000-х гг.....	272
---	-----

<i>Н. Г. Самарина</i> Ростов и Ярославль: культурная память или культурный проект?.....	289
--	-----

Интервью

<i>Г. Н. Канинская</i> Французские историки о пространстве «новой политической истории»: от становления до испытания глобализацией.....	299
---	-----

Дискуссионный клуб

<i>А. Б. Соколов</i> «Замечательный и нередкий пример запутанности мыслей»: о статье М. И. Бацера «Две английские революции» как историографическая проблема».....	324
---	-----

<i>Д. М. Володихин</i> «Тяжелое дело – писать легко...». Адресат высказываний современного российского историка.....	343
--	-----

Исторические заметки

<i>Н. С. Цинцадзе</i> Особенности аграрного кризиса в черноземных и нечерноземных губерниях Европейской России в восприятии современников: сравнительный анализ по материалам российской публицистики второй половины XIX века.....	353
---	-----

<i>Э. Е. Абдрашитов</i> Военнопленные стран Тройственного Союза в российском общественно- политическом дискурсе.....	364
--	-----

Читая книги

<i>С. О. Казаков</i> Эрнст Юнгер в XXI веке.....	373
---	-----

Рец. на кн.: <i>Smith A. D. Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach</i> / A.D. Smith. – NY: Routledge, 2009. – 184 p. (<i>М. В. Белов, С. В. Кузнецова</i>).....	382
---	-----

SUMMARIES.....	389
----------------	-----

CONTENTS.....	395
---------------	-----

CONTENTS

The anniversary of A. I. Herzen

N. N. Rodigina, T. A. Sabourov

- 'Forward, to Herzen!': the representations of A. I. Herzen in the memoirs
by the 19th –century Russian intellectuals..... 5

Theory and history

I. M. Savelieva

- Historical studies in the 21st century: theoretical frontier..... 25

History of ideas and intellectual culture

Allan McGill

- Five questions on intellectual history..... 54

T. G. Chougounova

- The interpretations of the key Biblical terms in the Tyndale's English
translation of the Bible..... 82

K. Yu. Yerusalimsky

- A pamphleteer and the centralized state: I. S. Peresvetov in the works
by A. A. Zimin..... 100

P. Yu. Rakhshmir

- Intellectual defense of a rebellion against intellectuals..... 129

D. V. Shmelev

- The ideas of French Christian Democrats (the doctrine of the POI)..... 142

History through personality

L. V. Sofronova

- 'A cleric from the London diocese': the identification of a Christian thinker
of the English Renaissance..... 161

O. A. Gokov

- Personalities of officers in their writings:
the memoirs on the Russo-Turkish war of 1828–1829..... 189

A. V. Khryakov

- H. Heimpel: personal repentance and the 'overcoming of the past'..... 213

The history of images and representations

I. Yu. Nikolaeva, O. A. Serkova

- Submission to authority and social norm in Medieval military estates of Japan
and Germany..... 227

N. S. Krelenko

- Two pictures of the English revolution in cinema: the image as the reflection of
the spirit of the time..... 241

<i>A. P. Klotz</i> 'Are we going to fuss?' Memorial images of the Soviet childhood, 1930–1950.....	257
<i>M. V. Korotkova</i> Spatial images of a region in American Baltic studies of the 1990s – early 2000s	272
<i>N. G. Samarina</i> Rostov and Yaroslavl: cultural memory or cultural project?.....	289

Interview

<i>G. N. Kaninskaya</i> French historians on the field of the 'new political history': from its emergence to the challenge of globalization	299
---	-----

Debating club

<i>A. B. Sokolov</i> 'A remarkable and not an infrequent example of the confusion of thought': on the article 'Two English revolutions as a historiographical problem' by M. I. Batzer.....	324
<i>D. M. Volodikhin</i> 'It is a difficult task to write easily...' The addressee of the statements by Russian historians.....	343

Historical notes

<i>N. S. Tsintsadze</i> The special features of the agrarian crisis in Chernozem and Non Chernozem regions of the European part of Russia as seen by contemporaries: the comparative analysis of Russian periodicals of the second half of the 19 th century.....	353
<i>E. E. Abdrashitov</i> Prisoners of war from the countries of the Triple Alliance in Russian political and popular discourse	364

Reading books

<i>S. O. Kazakov</i> Ernst Jünger in the 21 st century.....	373
Review: <i>Smith A. D.</i> Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach / A. D. Smith. N.Y: Routledge, 2009. 184 p. (M. B. Belov, S. V. Kouznetzova)...	382
SUMMARIES.....	389
СОДЕРЖАНИЕ.....	393